

ВЛАДИМИР НОВИКОВ



**ЛЮБОВЬ  
ЛИНГВИСТА**

Как научиться пробовать друг друга на язык,  
дегустировать, чувствительно и осознанно  
наслаждаться общением, утолять вкус,  
не доходя до пресыщения.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  
НОН ▶ ФИКШН



ВЛАДИМИР НОВИКОВ



ЛЮБОВЬ  
ЛИНГВИСТА



МОСКВА  
2018

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
Н73

Художественное оформление серии *С. Власова*

**Новиков, Владимир Иванович.**

Н73      Любовь лингвиста / Владимир Новиков. — Москва :  
Издательство «Э», 2018. — 512 с.

ISBN 978-5-04-092615-2

В новую книгу Вл. Новикова вошли произведения, пережившие большое количество изданий — журнальных и книжных, — но переработанные и дополненные:

- «Сентиментальный дискурс» — производственный роман о герое-лингвисте, с вымышленной любовно-семейной фабулой, в котором много собственно лингвистического контента;

- «Повесть о Михаиле Панове» — мемуарно-документальный портрет лингвиста, литературоведа и поэта Михаила Викторовича Панова, фигуры культовой у филологов;

- «Пятьдесят свиданий с русской речью» — эссеистический цикл, составившийся из колонок в «Вечерней Москве», о произношении и ударении, о заимствованных словах, о речевом этикете, о типичных речевых ошибках, о языке рекламы, о том, как писать письма и говорить по телефону...

Три вещи, составившие книгу, объединены лирическим героем, который в разговорной манере беседует с читателем о языке, о жизни, о литературе и искусстве.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-04-092615-2

© Новиков Вл.И., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

## О Г Л А В Л Е Н И Е

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС. Роман с языком .....	9
Авторские примечания .....	228

### ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Кто он? .....	251
Откуда он пришел .....	251
Отрочество и юность .....	255
Четвертый опоязовец .....	258
Первая любовь .....	262
О войне .....	263
Учительство .....	268
Профессиональная драма .....	269
Мама .....	271
«Буду ли я есть?» .....	272
На улице Куусинена .....	274
Творцы и сапожники .....	277
Открытое шоссе .....	279
Поиски метафоры: ствол или башня? .....	281
Строитель отношений .....	283
Сослагательное наклонение .....	287
Три источника питания .....	290
Книжность .....	290
Юность .....	293
Женственность .....	295

## Владимир Новиков

О смехе и остроумии .....	298
Все начинается с фонемы .....	303
Краткость .....	305
Традиции и новаторство .....	306
Поэтография .....	307
«Звездное небо» .....	312
Его Пушкин .....	315
О Вознесенском .....	317
Желатель добра .....	322
Панов-критик .....	324
Strong opinions .....	327
Его орфографическая мечта .....	332
Он говорит .....	339
Како веруеши? .....	340
О Ленине .....	343
О Горбачеве .....	345
«Они перешли в другое стадо» .....	346
Почему не вернулся .....	350
«Он угас» .....	355
Смысл его жизни .....	358


## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Расслабьтесь!.. И говорите с удовольствием! .....	365
Извините, что я к вам обращаюсь... ..	368
Материтесь пореже. И потише! .....	371
Хочу быть странным .....	373
Я все вопросы освещу сполна .....	376
Самые интимные слова .....	379
Нельзя ли помягче? .....	382
Наш старый новый язык .....	385


У меня зазвонил телефон.....	388
Сохрани мою речь... ..	391
Побойтесь Бога! .....	394
Да здравствует женский род! .....	397
С чего начинается книга? .....	400
Лишь чистым детям .....	403
Обыватель, чиновник, гражданин... ..	406
«Россиянин» или «нерусский»? .....	409
Крылатые слова должны летать .....	412
Русский и его соседи .....	415
«Милая Незнаю!».....	418
Пишите письма! .....	420
Новые слова получаются нечаянно .....	423
Тут нужна запятая, или Уважайте традицию! .....	426
«Свой» на чужом месте.....	429
«Прикольно» или «качественно»?.....	432
Журналисты, вперед! .....	435
Благородный, богемный, плебейский... ..	438
Как велит простая учтивость .....	440
Пол и секс.....	443
Как нас теперь называть .....	446
Плюс ёфикация? .....	449
Привет из Орфографополя! .....	452
Наши шиболеты.....	455
Борьба смыслов (слово Достоевского).....	457
Фраза как картина (слово Льва Толстого).....	463
Мечта о русофонии .....	468
Элочка — это я? .....	470
Тренди-бренди .....	473
Кое-что о «некотором хамстве» .....	476



Ветер западный, сильный.....	479
Гениальный дилетант.....	482
О дамах и тетках.....	484
Не уверен — не поправляй!.....	487
У каждого свой идефикс.....	490
Поговорим о странностях рекламы.....	493
Онлайн vs Офлайн.....	496
О выражении «гражданский брак».....	498
Родства не помнящие.....	500
Кондукторов убивать не будем.....	502
Не претендуя на совершенство.....	504
На прощанье.....	507



**СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС**  
Роман с языком





## I

В детстве, отрочестве и юности у меня не было детства, отрочества и юности. Во всяком случае таких, о которых стоило бы тебе рассказать. Когда там — по-литературному — кончается юность? В двадцать один? А я в двадцать два года только родился. Предшествующая автобиографическая трилогия, краткое содержание предыдущих серий тянет от силы на одно синтаксическое предложение. Третий из четверых сыновей, он в семье своей родной казался мальчиком чужим, всегда отступая назад или в сторону, как третий нерифмованный стих в рубайях Хайяма: старшим братьям не нужен он был ни для шахмат, ни для шляния по «броду», тревожное внимание родителей сосредоточилось на младшем болезненном Фёдке; в школе все затем было как в семье, а в университете — как в школе.

Почему говорю «он»? Потому что до первого лица юноша еще не поднялся, он эмбрион, которому только предстоит появиться на свет. Вот он своей неуверенно-нервной походкой, не умея ощутить себя в пространстве, бредет к старому университету на Моховой (тогда проспект Маркса), поднимается по высоким стесанным ступеням в круглую тридцатую аудиторию. Идет защищать диплом, считая его по глупости новым словом в теории синтаксиса, хотя на самом деле в худеньком машинописном опусе, одетом в клейкий, ко всему липнущий зеленый коленкор, есть ровно одно новое слово — ф.и.о. автора на титульном листе. Знаешь, за свою жизнь я прооппонировал столько научно-образной мурсы, что теперь могу ответственно констатировать: «новое слово» встречается не во всякой докторской диссертации,

кандидатские порой содержат любопытную комбинацию старых слов, а уж дипломные сочинения (даже переименованные в «магистерские») — это нормальная макулатура, которую в лучшем случае можно рассматривать как детские каляки-маляки.

Но тогда я, конечно, этого не понимал, будучи человеком в высшей степени *арrogантным*. Такого слова в великом-могучем пока нет — и напрасно. Хороший эпитет, имеющийся в языках Европейского Сообщества, к которому нам стоит присоединиться хотя бы лингвистически. «Надменный», «высокомерный», «самонадеянный», «вызывающий» — все это лишь приблизительные эквиваленты. Тут важен исходный французский глагол «s'agoger» — «присваивать себе». Помню, одна студентка в Мюнхене назвала «арrogантным» Фому Опискина — была уверена, что имеется у нас это слово. Главное же — есть такой тип поведения, когда некто, будь он молодой нахал или амбициозный маразматик, совершенно необоснованно *присваивает себе* право говорить от имени Науки, Литературы, Культуры и прочих почтенных институций: «с научной точки зрения будет вот так»; «это литература, а то не литература»... Так что есть предложение ввести в русский язык еще одно энергичное, звучное прилагательное. Нет возражений? Принято!

Вялые члены комиссии слегка зашевелились сперва от моих дерзких речей и тут же погрузились в привычную дрему. Вообще говоря, есть в их сонливости дальновидный стратегический расчет: ничего не принимая близко к сердцу и уму, эти люди отлично консервируются. Через двадцать два года я приду защищать от них докторскую степень, и они будут все те же — только слой пыли, покрывающий их, станет потолще. Но это и защитный слой, неподвластный никакой новой метле, никакому мощному пылесосу.

И все-таки в тяжкой духоте откуда-то возник порыв морской свежести. От самовозбуждения у меня перед глазами все расплывалось, и на темно-сером фоне я лишь уловил присутствие золотого и кремового тонов. Когда я вместе с другими ждал в коридоре своей довольно предсказуемой оценки, это сияние

вновь явилось, обретя плавные контуры высокой золотоволосой женщины в простом х/б платье телесного цвета — не вообще телесного, а цвета именно ее живого и крепкого тела. Насколько я в состоянии припомнить, никаких вольных вырезов там не было, но сама смазанность границы между светлой тканью и светлой кожей создавала ощущение открытости, почти обнаженности. Ничего, кроме страха, не почувствовал я, когда она ко мне обратилась:

— А вы, Андрей, оказывается, гений?

Вот так, между прочим, развращают молодых людей работники высшей школы. Тогда еще слово «гений» только-только приобретало расхоже-жаргонное употребление, в результате которого оно стоит теперь три копейки, и от автора не читанного тобой сочинения легче всего отделаться репликой «Старик, это гениально!» Но юноши бледные и эгоцентричные все понимают с тупой буквальностью, и я самодовольно насупился, хотя сказано-то было с вопросительной интонацией, и требовался ответ «да» или «нет», причем на вопрос крайне тонкий и подтекстовый.

— У вас, вероятно, хорошее будущее, и разрешите мне дать вам на это будущее совет: при разговоре лучше всего смотреть собеседнику в глаза.

Мой неопытный взгляд робко оторвался от желтых янтарных бус и встретился с васильковыми глазами, спокойно и прямо глядевшими из-под ненакрашенных век и ресниц. К счастью, нас никто не слышал, да ясно же — эта женщина и не стала бы меня срамить и воспитывать при других.

Наблюдавший за нами издаലെка однокурсник, плечистый красавец, причастный к комсомольско-стукаческим кругам, через пару минут выдал мне устное досье на собеседницу: Матильда Павловна, инспектор из министерства высшего образования, тридцать три года, не замужем. «Не теряйся!»

«Да ну...» — малодушно отделался я от него и растерянно сошел на так называемый психодром — дворик с дряхло-осыпающимися Герценом и Огаревым и со скамейками, обращенными спиной к Кремлю. Как можно медленнее тронулся в сторону

улицы Горького, но под голубым глазом-глобусом Центрального телеграфа вдруг почувствовал, что должен повернуть назад: физически ощутимая власть женщины уже руководила моими движениями.

В абсолютном центре города, около старого «Националя», я увидел ее вновь, и, что примечательно, город этот осанистый узрел как будто впервые, она навсегда теперь с ним срифмовалась, превратив дальнейшее проживание здесь сначала в стремительную радость, потом в продолжительную муку и, наконец, в неделимое радость-страдание одно.

А пока она ступала по тротуару, как по коридору собственной квартиры, и меня заметила без всякого удивления: наверное, всегда, в любую минуту, была готова к встрече с кем угодно — не только со мной.

— Нам, кажется, сегодня просто так не разойтись. Если вы не торопитесь, то, может быть, посидим в «Московском», отметим ваш триумф?

Иронии в ее словах не было, она, как потом выяснилось, к этому речевому приему не прибегала. Думаю, что по большому счету ироничность и женственность несовместимы, и тебе, кстати, советую иметь это в виду. А триумф тогда действительно имел место, только таинственное место сие не имело ничего общего с университетом и его скучными обитателями.

И зачем ей тогда я понадобился — некрасивый, двадцатидвухлетний, совершенно ничем на нее самое не похожий? Вообще тайну м/ж притяжений и отталкиваний можно сопоставить только с тайной рождения метафоры. Почему в одних случаях подобное изо всех сил тянется к подобному, то есть в поэзии облака именуются барашками, глаза — звездами, женские груди — холмами, а в жизни уроженец африканского племени влюбляется в соплеменницу точно такого же черно-лилового цвета, инвалид ищет через газету партнершу с увечьями, голливудская куколка сходится со столь же кокетливым и заведомо неверным суперстаром? И почему в других случаях все происходит абсолютно наоборот, то есть в поэзии роза белая тянется

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС. Роман с языком

к черной жабе, звезды сравниваются с ухой и глаза — с голубыми медведями или серебряной ложкой, а в жизни чернокожий согласен только на северную блондинку, красавица соединяется с калекой, старец с юницей? Нет, наверное, спрашивать: «почему?» — бесполезно, точнее будет спросить: по какому принципу чередуются сходство и контраст в совокуплениях слов, образов и людей? Даже автор всего на свете, наверное, не смог бы дать вразумительного рационального объяснения, поскольку руководствуется лишь собственными вкусом и интуицией. По-видимому, в нашей ситуации его привлекла творческая возможность построения идеального контраста.

Этот контраст мы создавали, сидя друг против друга, доедая довольно приличные блинчики с мясом и приступая к мороженому просто превосходному: три разноцветных шарика, политых шоколадно-ореховым соусом. (Доступна ли такая роскошь теперь? Не знаю, в том месте на Тверской теперь магнитная подкова при входе, как в аэропорту, не слишком радушный охранник и цена самого дешевого блюда в меню — как тысячи порций мороженого.) А за соседним столиком действовал закон идеального сходства: солист балета, впоследствии невозвращенец, и соразмерная ему полувоздушная балерина сосредоточенно расправлялись с обширными россыпями гречневой каши, вероятно, безопасной для их профессионального изящества.

Она попросила называть ее Тильдой — так, как именуют родные и друзья. Студенческие годы провела в Вене, где и привыкла кайфовать в кафе, которых там тьма-тьмуца: «а самое мое любимое называется “Прюкель”». Ей уже было хорошо, я же все еще тревожно рассматривал чистый очерк ее головы, почти тождественной головке одной из Дейнекиной бегуний с картины «Раздолье» (на первом плане, в белой майке и белых же трусах — только золотые волосы у Тильды были длиннее, а сзади их схватывала перламутровая французская заколка).

Около серого молчаливого дома Совета министров я посадил ее в троллейбус номер два, и она опять опередила меня, поблагодарив «за приятную встречу»: до чего же нерасторопен был хоть



и безгрешный, но бестолковый мой язык! Как я почувствовал свою брошенность: возвращаться домой было рано и незачем, разыскивать кого-нибудь на факультете — поздно и тоже незачем! Все дороги города сходились на этом перекрестке и были вроде бы открыты, но пойти — некуда. Пеший путь домой через полукольцо площадей, Солянку и Таганку впервые показался банальным и пресным. Глупая грусть заслонила самую, быть может, крупную радость в моей жизни: надо было не бояться, а смело предвкушать предстоящее. Увы, не умел, не имел вкуса.

## II

Существует такая литературная условность: в большинстве романов, повестей и пьес женщины стремятся к личному счастью, а мужчины — якобы — к доблестям, деньгам, подвигам и славе (иногда они демонстративно деградируют, но это по сути то же самое, только с противоположным знаком). Так ли обстоит дело во внетекстовой реальности? Очень сомневаюсь. Лишь хилые душой зануды выдвигают на первый жизненный план свои титулы, успехи, должностишки, книжки собственного сочинения. Нет такого большого дела, которое непременно требовало бы принести в жертву любовные и семейные радости. Нормальный мужчина в этом смысле ничем не отличается от нормальной женщины и ориентируется на тот же самый жизненный приоритет: любовь, супружество, отцовство, дедовство. Настаиваю на слове «приоритет», причем на его единственном числе: и латинский корень, и здравый смысл требуют, чтобы приоритет был один — первый, он же последний. А когда наши начальники выкликают подряд десять или двенадцать «приоритетов», среди которых и армия, и преступность, и налоги, и пенсии, и поддержка театров, — сразу ясно, что ничего из этого реализовать они не в состоянии.

...До политики договорился — первый признак наступающего маразма. А ведь речь шла совсем о другом, о том, что постро-

ить сюжет и нарисовать героя, исходя из самого нормального человеческого приоритета, — это целая литературная революция. Будь я писателем, рискнул бы ее затеять.

Дремлешь, друг прелестный? Чувствую, утомил я тебя болтовней. Но чего ты добиваешься от пожилого профессора? Не читала в популярных брошюрах, что в моем возрасте людям нужны уже главным образом разговоры? В твоём тоже? Значит, ничего я в женщинах не понимаю.

А тогда понимал еще меньше. Только с третьей встречи Тильде удалось выяснить со мной отношения. Был июль. От совсем еще нового Нового Арбата, обдуваемые теплым ветром, мы прошли по мосту на Кутузовский проспект и в конце концов оказались перед помпезным подъездом ее дома. Родителей Тильдиных тогда в Москве не было, зато в доме оказалось вдоволь вина со слегка смутившим меня немецким названием «Либфраумильх» («Молоко Богородицы», конечно, — это теперь неграмотные болваны, завозя его в Россию, снабжают наклейкой с идиотским переводом: «Молоко любимой женщины»). Квартира оказалась похожей на Тильду — раздольем, свежестью, европейским сочетанием белого и золотистого цветов в обстановке, — такой тип дизайна только теперь, через четверть века, утвердился в московских фирменных офисах и жилищах нуворишей. Оказавшись рядом с Тильдой на бежевом кожаном диване, я неловко положил руку на круглые плечи и, следуя скорее соображениям вежливости, чем основному инстинкту, потянулся к ее губам.

Откровенно говоря, я был в то время практически невинен, несмотря на номинальный двух-трехлетний стаж встреч с ветреными ровесницами. До настоящей жизни с настоящей женщиной я просто не дорос: прощай за натуралистическую подробность, но тогда я мог на месяц позабыть об этой стороне бытия. Не знаю уж, что потом стряслось в этой сфере и почему теперь арс аманды постигают чуть ли не с детского сада. Неужели человеческая природа могла так стремительно эволюционировать? Одна приятельница мне рассказывала, как ее семнадцатилетний

отпрыск водит в дом на ночь всякий раз разных девиц, другая, стирая рубашку своего пятнадцатилетнего сына, нашла в кармане презерватив и готова его с гордостью публично демонстрировать. Как бы то ни было, в таком поведении этих в целом достойнейших дам мне видится нечто неаппетитное — не с моральной, со вкусовой точки зрения. Тебе это тоже не по вкусу? Ну, как я рад, что мы с тобой оба такие нравственные! Не холодно тебе?

...Тильда уже успела в том году побывать в южноевропейских краях, но не потемнела от загара — адриатическое солнце лишь слегка позолотило тело, чьи нежные, овальные молекулы, коснувшись моих ноздрей, вмиг опьянили до потери сознания. Было бы грубым искажением сути происшедшего сказать, что я «ничего не смог» — верхом интимной близости стало для меня той ночью младенческое приближение к большой круглой груди (ну, Фрейд или нефрейд — все равно как обозвать это беспрецедентное по интенсивности, не нуждающееся ни в словах, ни в понятиях слепоглухонемое ощущение), и Тильда своим полным покоем и неподвижностью подтверждала нашу наступившую слитность.

Что-то не то я сказал? Ты же сама просила всей правды. А, кажется, понял: в разговоре с женщиной не стоит касаться частей тела, принадлежащих другой женщине. Но ты совершенно не права: большая, средняя, малая — это признак не смысло-различительный, и я на твоём (и вообще женском) месте никаких бы комплексов по этому поводу не испытывал. Возвышенная часть женского рельефа оценивается не по размеру, а исключительно на вкус. Там есть точки, где сосредоточено женское электричество, и если найти одну из этих точек кончиком языка, то происходит контакт — в детстве мы так проверяли плоские карбоксилитные батарейки, замыкая языком два металлических штырька и улавливая животворную кислинку...

Мучительно-трудным было утреннее преодоление слитности, возвращение — нет, даже не возвращение к жизни, а появление на свет, поскольку слишком светло было моей смущенной и сумрачной душе в свободном и откровенном пространстве Тильди-

ного дома. Но еще страшнее была мысль о том, что придется уходить: допит кофе из крошечных баварских чашек, Тильде, по-видимому, пора на службу — не возьмет же она меня с собой как малолетнего сыночка, которого не с кем оставить! Требовался выход — и нашла его, конечно, она, а не я: «Может быть, нам стоит пожениться?» Спрошено было в нейтральном тоне, спасательный круг был мне брошен. «Да, да, конечно», — цепился я в неведомую мне возможность, способ находиться рядом с ней. О налагаемых соглашениях и обязанностях я даже и не думал в ту минуту — меня привлекла, притянула предстоящая родственность между нами. До чего же хорош язык наш, в котором есть чудное слово «пожениться», объединяющее глаголы «жениться» и «выйти замуж» во взаимно-двустороннее действие и притом под женским знаком!

Да-а, вот так она тогда меня взяла — и родила.

### III

Понемногу я учился ходить, говорить. Стиль Тильдиной жизни был прост, но нелегко для подражания. Какой это Сервантес сказал, что ничто не дается нам так дешево, как вежливость? Надеюсь, что не Сааведра, который все-таки был довольно наблюдателен в мелочах и ответственен в обобщениях. Мой скромный опыт пока свидетельствует, что простая учтивость — самая труднодостижимая вещь на свете. Мне доводилось встречаться у себя на родине с людьми блестящими, великолепными, глупыми, добрыми, интересными, красивыми, легкими, милыми, незаурядными, обаятельными, остроумными, полезными, приятными во всех отношениях, самоотверженными, талантливыми, умными, хорошими, в двух-трех случаях с подозрением на гениальность, но безусловно учтивого человека я встретил в жизни ровно однажды — в лице Тильды.

Даже не знаю, как описать ее поведение, поскольку учтивость складывается главным образом из минус-приемов, из совокупности того, чего данный человек *не* делает никогда. Вот, например,

замечаний она мне никогда не делала, хотя самое начало нашей лав-стори имело ярко выраженный педагогический характер. Выросший в типичной профессорско-преподавательской семье, где на каждого члена приходилось в среднем по 0,83 защищенной диссертации, я выслушал за двадцать два года столько энергичных поучений, что в результате остался диковатым тинэйджером, каждый шаг которого — неловкость или неприличие. Тильда исправляла меня только сосредоточенным вниманием, под направленным лазером ее взора я начал слегка избавляться от своих наиболее очевидных поведенческих уродств, как-то: бесконечная обидчивость и полная нечувствительность к чужим обидам; склонность к произнесению длинных эмоциональных монологов на темы, интересные только мне самому; туповатая молчаливость в ситуациях, когда непременно надо что-то сказать или ответить на прямой вопрос; ну, и, конечно, то, с чего начали — неумение смотреть собеседнику в глаза. Будь у Тильды еще лет десять — может быть, и изготовила бы из меня человека.

Чего еще она не делала? Не хмурилась, не улыбалась без причины. Услышав смешное, не заливалась хохотом, а только расправляла улыбку пропорционально поводу. Сама не остряла никогда, хотя ее спокойно-доброжелательные реплики порой содержали потенциальную колкость. Не было у нее той «эмоциональности», которую некоторые мои коллеги считают конститутивным признаком женской речи — впрочем, такая точка зрения, по-видимому, верна применительно к статистическому большинству. Тильда свои эмоции умела не выражать, а проявлять, причем в рамках нейтрального речевого стиля; такое умение с тех пор я ценю в людях обоего пола. И еще она никогда не пускалась в долгие рассказы о себе: самый протяженный нарратив у нее не превышал трех-четырёх фраз.

Мне казалось странным, что Тильда не торопилась доложить мне свою историю «до меня», и однажды в подходящую, как мне казалось, минуту я поинтересовался ее прошлым. Глаза ее мгновенно раскрылись, в них сверкнула такая неведомая мне взрослая боль, что я тут же ушел в кусты. Право на тайну... Хотя,

с другой стороны, если бы я по-взрослому и по-мужски добился от нее тогда откровенности, может быть, все дальше двинулось бы по-иному. Эклектика нас губит: от неосторожной твердости переходим к неуместной мягкости. Если уж начал хирургическое вмешательство — доводи до конца, иначе получается, что только пырнул ножом, как пьяный хулиган.

Сдержанность Тильды, безусловно, восходила к семейной традиции. Отец ее был немецкоязычным международником — не то дипломатом, не то журналистом, не то разведчиком, а может быть, и тем, и другим, и третьим одновременно. Похож он был скорее не на советского sentimentalного разведчика из фильма, а на толкового немецкого шпиона, без акцента говорящего по-русски. Шестидесятилетний без намеков на пенсионерство: без морщин, лысин и «накоплений» (так в то время называли жировые излишки), белокурый, под метр девяносто нибелунг с тактично редуцированной усмешкой на непроницаемом лице. Тильда была явно не в мать — маленькую, подвижную и чуть более оживленную, но опять-таки достаточно скрытную. Отношение ко мне этих двух людей, которых я даже мысленно не мог обозначить фамильярными словами «тесть» и «теща», так и осталось непроясненным. А сам я в ту пору не успел как следует поинтересоваться своими новыми полурусскими родственниками. Отец Тильды был не совсем чтобы Зорге, но имел немало беспокойств и волнующих встреч и на немецкой, и на советской территории: от Москвы до Берлина, а потом от Берлина до Барабинской степи. Судя по всему, отделался он сравнительно легко: посидевший, поседевший и похудевший вернулся в столицу подарком к совершеннолетию дочери. Молчал он о многом: думаю, полного текста его одиссеи не знала и родная Пенелопа. Ведь самое интересное, то есть самое чудовищное остается вне огласки и тем более вне литературных описаний. Наиболее жесткую и беспощадную цензуру наши мемории проходят на уровне нашего же собственного подсознания...

Мемориальных генсечных барельефов на том доме еще не было, но номенклатурность его ощущалась в приглушенной со-

лидности внешнего облика: серый каменный костюм прикрывал византийскую роскошь внутренней «спецжизни». А была ли она, роскошь? Не знаю и, в отличие от либеральных верхоглядов, не скажу «за всю» номенклатуру. Тильдины родители представляли лишь одну из разновидностей «спецлюдей», не самую характерную. Они были люди со вкусом, а таких всегда меньшинство — в любой социальной страте.

Что значит «со вкусом»? Ну, конкретно говоря, у них был, например, деревянный круг для сыров, и круг этот выставлялся на стол по-французски в конце обеда, а также по-немецки к завтраку и ужину. От какого-то из сыров в итоге ничего не оставалось, а другой мог так и уйти молчаливо-нетронутым. Здесь я нашел наконец реальный комментарий к тому месту пьесы Блока «Незнакомка», где «Человек в пальто» без всякой логики выкрикивает: «Бри!» Бри стал с тех пор и моим верным другом — наряду с Грюером, Горгонцолой, Реблошоном и некоторыми другими представителями кисломолочной корпорации. Круг здесь был, конечно, не так широк, как на родине названных лиц, но достаточен для того, чтобы проникнуться духом плюрализма и понять главный принцип всемирной практической эстетики — утолять вкус и никогда не доходить до пресыщения.

Сыр понимают языком, а не пузом, его пробуют — и только. А в России ввиду ее особого пути — то есть постоянной памяти о голоде и вечном страхе недоедания — сыров по сути не понимают. Едят помногу и одного вида. Причем, как правило, просто дрянь. То, что у нас по ошибке называют «сыром», — это, конечно же, не «фромаж», не «кезе» и даже не «чиз»... Знаю, что некоторые искренне предпочитают «пошехонский» — пусть себе, но это люди, безусловно лишённые чувства прекрасного: уверен, что они не в состоянии оценить на вкус (а не по учебникам) ту же «Незнакомку» с ее пикантно-пряными коннотациями.

Мир сыров — естественная метафора мира людей. В России мы не умеем пробовать друг друга на язык, дегустировать, чувствительно и осознанно наслаждаться общением, оставлять сво-

бодную перспективу возможного, но необязательного повтора. У нас сразу — сближение, короткая нога, полночные возлияния и излияния, а потом уже не перейдешь на «вы», на сдержанное знакомство — остается приписать друг другу (теперь уже враг врагу) все смертные грехи и расплеваться самым бездарным образом вплоть до невозможности поздороваться на улице. А на самом деле мы просто пресытились, переели друг друга до тошноты. Заметь, что именно в нашем языке глагол «надоесть» связан со значением питания, еды (на англофранконемецкий он переводится только описательно). Вот почему, к примеру, я не очень хорошо думаю про Жутикова какого-нибудь? Ни он мне, ни я ему никаких выдающихся гадостей не сделали, ни физический, ни нравственный облик его меня не волнует. Просто за последние лет десять по воле рока и профнеобходимости я встречался с ним двести двадцать два раза и, естественно, объелся этим малопитательным, невкусным человеком и гражданином...

А тобой? Ну что ты, жизнь моя! Тебя я и распробовал еще лишь чуть-чуть...

В просторной квартире Тильды обитатели не наезжали друг на друга, каждый точно чувствовал интервал и дистанцию. Перспектива потенциального сближения была отодвинута на годы. Поначалу мне казалось, что Тильда находится с предками в состоянии дипломатично скрываемой ссоры: может быть, она сильно огорчила их какими-нибудь эксцессами в юные годы? Так непохож был этот уравновешенный быт на вечно взволнованную соборную атмосферу большой квартиры в Большом Факельном, где я вырос, где все складывалось вместе, а потом делилось на всех: проблемы, болезни, женитьбы, разводы, дети-внуки брачные-внебрачные, выезды-невыезды. Уют там был, но покоя не было никогда... Да, запад и восток достаточно отчетливо поляризуются и в пределах одного города.

У меня и прежде не было персональной резиденции: в четырехкомнатных родительских пенатах все-таки приходилось делить помещение с младшим братом — за вычетом тех перевоз-



ных месяцев, когда он бывал в больницах и санаториях. Потому и в новых условиях я не нуждался в уединении (оно, уединение, вообще нужно отнюдь не всем, оно — удел людей либо богоотмеченных, либо убогих) и не испытывал ни малейшего ущемления свободы от постоянного присутствия рядом другого человека. Я нежился в Тильдиной комнате, как в материнском чреве, словно предчувствуя грядущие испытания и не спеша выходить на социальную инициацию. Без малейшего сожаления выпал я из двух-трех компаний, в которых вяло состоял прежде, и променял вечера с водкой, вольными разговорами на темы «системы» (бедное и невинное греческое слово, сколько ударов приняло ты от симулировавших смелость интеллектуальных боксеров!), с зелеными глазками такси и вероломными глазками однокурсниц на безвылазное сидение-лежание в прохладно-ароматном пространстве, где каждый предмет, каждый флакончик или поясик вызывал инфантильно-фетишистский трепет. Ощущение «маминой спальни» в сочетании с поздновато проснувшимся мужским началом создавали довольно оксюморонный синтез. Я притворялся, что готовлюсь к аспирантурным экзаменам, на самом же деле ежедневно с утра до вечера готовился к встрече с Тильдой, концентрируя все свои энергетические ресурсы на предстоящем мне знакомстве с новыми вкусовыми оттенками. Прямызна широкого шоссе, определявшая облик Тильды, была осложнена таким обилием переулков и извивов, что для всеохватной прогулки требовалась жизнь очень долгая и счастливая.

Обзаведясь одним ребенком в моем лице, Тильда тут же возжелала получить второго, и предпосылки для этого вскоре возникли. Как описать гедонистический эффект приближения к женщине, несущей в себе вторую жизнь, то есть женщины в высшей степени? Слога потребного не имею, потому храню в себе невербализованные воспоминания и молчу. Вообще-то эту житейски важную и более чем распространенную ситуацию должен был воспроизвести Толстой Л. Н., с его богатейшим опытом и не менее богатым слогом, но он сбивался то на модернистскую увлеченность формальной задачей (беременная маленькая кня-

гиня), то на идеологию и дидактику (Кити и Левин). Просто и безотчетно наслаждаться жизнью и женщиной могут только обыкновенные люди, как правило, писать не умеющие. Их внутренний, субъективный мир остается неведом литературе и читателям — как внутренний мир, скажем, медведя. Вкус меда никакая словесность, никакой язык передать не в состоянии.

Однако продолжим. В номенклатурных кругах (как и вообще в цивилизованном мире) две семейные структуры обычно не размещались под одной крышей. Когда Тильдины родители убедились, что пребывание в комнате их дочери, так сказать, «мальчика, но мужа» привело к осязаемому результату, они раздобыли ордер на двухкомнатную квартиру в двух шагах (а если быть совсем точным, в шестистах тридцати моих шагах) от кутузовского дома. То есть ту самую квартиру, где мы сейчас пьем коньяк и обмениваемся исповедями. Ну что, *repetitio est mater studiorum*?<sup>1</sup> Давай, за мое прошлое и за твое будущее!

Обобщенно могу сказать: в том сегменте номенклатурного класса, где я на короткое время оказался, шла, в общем-то, *нормальная* жизнь. Тут к прилагательному «нормальная» понадобится лингвистический комментарий, иначе возможны серьезные мисандэстэндинги. Моему немецкому другу одна здешняя ученая, молодая доцентка и профессорская жена, сказала про доперестроечное время: «Мы жили нормально». Мой друг, довольно аполитичный, но все же последовательно антикоммунистичный, был удивлен, чтобы не сказать возмущен: как же так? А Брежнев? А ввод войск туда-сюда? А цензура-диктатура?

Но, дорогой Райнер, общий латинский корень слов — это, что называется, ложный друг переводчика. У вас слова «норма», «нормально» значат нечто обычное, стандартное, среднее (изучающие наш язык западноевропейцы часто говорят по ошибке: «я нормально не хожу в церковь», «я нормально не пью крепких напитков» — «нормально» вместо «обычно»). У нас же «норма» — это либо заведомо недостижимая (и притом нередко

<sup>1</sup> Повторение — мать учения (*лат.*).

бессмысленная) цель типа «Трезвость — норма жизни», либо завидная редкость, удача. Недаром в молодежном жаргоне словечко «нормальный» означало в шестидесятые годы «отличный, превосходный».

В западном менталитете «норма» — это житейская горизонталь, средняя линия, на фоне которой слегка выделяются вертикально приподнятые люди и судьбы (богачи, правители, знаменитости) и вертикально приопущенные (безработные, преступники, иммигранты и опять-таки знаменитости — та их часть, что предпочитает изгойство респектабельности).

В нашем же западно-восточном (евразийском etc.) изводе «норма» — это высшая часть вертикали (ложной, дурацкой вертикали, сломать которую труднее, чем иглу Кошца Бессмертного!), это олигархическое пространство, где обитают особо отмеченные персоны. Там порой даже не было роскоши и богатства, а привилегией считался элементарный, средний комфорт: нормальная трехкомнатная квартира, нормальная (то есть съедобная, не противная на вкус) колбаса, возможность покупать нормальные (а не мусорно-идеологические) книги и т.п. А в суровые годы понятие «нормы» сужалось до возможности быть непосаженным, несосланным, нерасстрелянным. Жить же «как все», «на общих основаниях» — это для уважающей себя личности всегда было не «нормой», а аномалией, деградацией, поражением.

Никогда не была Россия «страной рабов» — во всяком случае я лично не встречал ни одного настоящего носителя рабского сознания. Если уж у человека какое бы то ни было сознание имеется — он стремится попасть в ограниченно-дефицитное пространство «нормальной» жизни. В этом смысле мы скорее «страна господ». Правильно, что иностранцы нас теперь кличут: «господин Иванов», «господин Петров». Попробуй кто сказать: «раб Иванов» — мы ему напомним азы нашего букваря: «рабы не мы»!

И еще мы не дураки. Клянусь, что абсолютное большинство моих соотечественников никогда не верило в коммунистическую

утопию, в то, что можно дать «каждому по потребностям». Ни Ленин, ни Сталин, ни Брежнев, ни Роберт Рождественский ни на секунду не желали, чтобы у каждого рядового гражданина были свобода, квартира и колбаса — все разговоры о «светлом будущем» были не проявлением наивности или глупости, а сознательной тактической маскировкой истинной стратегии вождей, политиков и прирученных ими деятелей культуры. Стратегия же состояла в поддержании «нормальной» жизни для меньшинства и сохранении уровня ниже всякой нормы для остальных.

Всеобщее благополучие — это буржуазная пошлость, против которой еще в прошлом веке восставали лучшие умы России. Если всем одинаково хорошо — то гордой личности невыносимо скучно. На кой черт мне этот двухтомник Мандельштама, если его может купить каждый! На кой мне фиг этот театр на Таганке, если для попадания в него не надобен ни блат, ни спецпропуск! На кой хрен мне этот Париж, если в него может поехать *простой* человек! Если всем все станет доступно — это ненормально, это просто сумасшествие какое-то!

Что же касается наших с тобой коллег, Райнер, то они принадлежали к самой скромной разновидности олигархической «нормы». Ученые являлись одной из нижних частей верхушки. Ничего уж такого особенного у них не было, но все же никто не мог их оскорбить подозрением, что они «как все». В науку шли, чтобы «от всех» отличиться, и я не возьму на себя смелости сказать, что такое стремление само по себе предосудительно...

Ну, а в моем — по-своему тоже типичном случае — «путь в науку» был в значительной мере данью семейной инерции, подчинением окружающей среде. Нет, я не в том смысле, что выбор языкознания в качестве профессии был ошибкой. Любовь к этому предмету с моей стороны всегда была искренней, и предмет в какой-то степени отвечал мне взаимностью. Я бы постыдился тридцать лет заниматься каким бы то ни было делом без честной рекомендации со стороны природы. Но во время тех двух медовых месяцев, что прошли между окончанием университета и аспирантурными экзаменами, я просыпался под утро

или среди ночи и обнаруживал рядом с собой нечто настолько большое, сильное и свежее, что по сравнению с ним мои гипер- и макросинтаксические структуры начинали казаться делом малозначимым, вялым и пыльным... Слишком легко и просто досталось мне то, за что по совести полагалось бы драться на дуэлях, томиться в застенках и лагерях, рисковать жизнью, лишаться конечностей, жертвовать убеждениями, друзьями, врагами, деньгами. Да что там!

Тильда, однако, к моим юношеским научным потугам относилась в высшей степени серьезно. Так на Западе заботливые родители поощряют всякую деятельность своих отпрысков — лишь бы не «драгз»! Была, впрочем, еще одна фигура, будившая мое воображение, еще один большой человек, влекший меня за собой в малый мир лингвистики. Это Ранов, Петр Викторович.

#### IV

Ранов появился в университете поздно: я был уже на пятом курсе и случайно попал на его лекцию для малолеток. Страшно вспомнить, но я тогда не любил фонологию... Ты ее вообще никогда не любила? Ну, это немудрено — с учетом бездарности и твоих, и моих преподавателей. Когда тебе эту фонему вставляют как арбуз — ничего кроме травмы не получается. На самом-то деле вопрос о фонеме не менее интересен, чем, скажем, вопрос: что такое женщина? Нет, я всерьез, ибо и то, и другое — явления природы. Фонему Ранов определяет как «ряд позиционных чередований», а женщина, согласно лучшей поэтической дефиниции, — это «ряд волшебных изменений». Лекции Ранова сильно возбуждали, и не меня одного. Кто не успевал за полчаса до начала занять место в аудитории, слушал стоя.

О синтаксисе (или, как сейчас бы сказали: «по синтаксису») у Петра Викторовича специальных работ не было, и я с непосредственностью, присущей молодым arrogantным придуркам, подполз к нему после лекции и задал пару неуместных вопросов. Это потом я уже на своем опыте осознал, что после публичного

выступления (особенно после удачного и потому изнурительного) человеку хочется расслабиться, а не подвергаться допросу о том, что он написал бы, если бы занимался тем, чем занимается допрашивающий. Ранов достаточно деликатно отреагировал на мои «гипер» и «макро», сказав, что сейчас об этом появляются некоторые писания, где, правда, словечек больше, чем идей, что и он задумал на этот счет статью под названием «Синтаксические поползновения». Этого выражения было достаточно, чтобы в числе прочих обобщить и меня. Помнишь, Мастер, впервые встретив Ивана Бездомного, говорит, что ему его стихи «ужасно не нравятся», хотя он их и не читал?

Я подал документы в академический институт, где работал Ранов, в надежде заполучить его в руководители. Сдал экзамены — и тут выяснилось, что Ранов ушел, причем ушел «в никуда». Мне никто толком не мог или не хотел объяснить, что произошло. Кто-то вякнул, что, дескать, директор не включил Ранова в состав ученого совета, а тот обиделся и подал заявление. В то время действительно старались, чтобы в ученых советах было поменьше ученых, но Ранов руководил важнейшим сектором, обнести его членством можно было только с разрешения (или с подачи) самых высоких инстанций. Тильда, огорченная не меньше, чем я, стала наводить справки, кое-что разведал и ее отец.

Выяснилось, что Ранов неосторожно защищал своих сотрудников, близко к сердцу принявших чехословацкие события и доступными им способами выразивших свой скромный протест. Сам же он оказался хуже чем подписантом — лично вступил в эпистолярный контакт с Брежневым, отправив ему собственноручно написанное послание за своей одинокой подписью. Леонид Ильич ответил невербальным образом: Ранова исключили из рядов КПСС, в которые он вступил на фронте. Кстати, многие из моего поколения гордились своей беспартийностью, хотя с нашей стороны («наше дело — сторона»), и в частности с моей, невступление в ряды было проявлением не столько избыточной совестливости, сколько осторожности, страховкой от возможных крупных неприятностей.

Ранову припомнили даже такой невинный пустяк, как самочинное выдвижение им на Ленинскую премию «Ахиллесова сердца» Вознесенского: и это теперь уже было криминалом! Андрей Андреич получил положенное десятью годами позже — ну не Ленинскую, а государственную, и уже не за «Сердце», а как витражных и дипломатических дел мастер, но дело было не в нем и не в каких-то там стихах, а в том, что никто никого никуда не имел права выдвигать без согласования с райкомом.

Однако, помимо всех этих поверхностных обстоятельств, была еще одна глубинная причина: Ранов глубоко презирал директора института, кагэбэшного ставленника, причем презирал не за кагэбэшность, а за полную научную бездарность. Да еще и не считал нужным скрывать свое презрение. А вот это самый непростительный грех: куда более политизированных вольнодумцев в научных заведениях все-таки терпели, если им удавалось, воюя с советской властью в целом, смиренно унизиться перед властью институтского масштаба.

Забрав документы из опустелого академического дома, я захотел было перебросить их в опостылевшую за пять лет, но все же привычную альма матер, однако та отнюдь не прижала меня к материнской груди. Даже организованные Тильдой весьма звучные звонки обернулись только приглашением в заочную аспирантуру: мол, через годик подыщем ему местечко. Не исключено, что факультетские клеркши захотели подгадить лично Тильде и их бабья вздорность оказалась даже сильней, чем трепетный страх перед номенклатурными кругами.

Возник вопрос о трудоустройстве, и я с тупым упорством, воспитанным семьей, школой, показушной литературой и слюнявым кинематографом («Доживем до понедельника» и т.п.), решил отдавать сердце детям («Сердце отдаю детям» — название книжки забытого ныне Сухомлинского, великого педагога брежневской эпохи, коррелята сталинского Макаренко). Тильда не препятствовала моей дури и лишь приложила усилия к тому, чтобы средняя школа находилась хотя бы на среднем расстоянии от дома: пять остановок на нашем любимом троллейбусе номер два.

Учитель, перед выменем твоим... Так, бывало, острили мы в студенческие и постстуденческие годы. В глупейшей шутке оказалась большая доля правды. Этим маленьким вампирчикам не сердце твое нужно и тем более не ум, а именно вымя, к которому они могли бы присосаться. Все охотно участвуют в сакрализации образа учителя и учительской профессии, но никто еще честно не объяснил, что это сугубо физический труд с минимальным содержанием творчески-изобретательного элемента.

Расстрелять из рогаток меня не успели, и за пару недель я обучился тому нехитрому искусству, которое директор с завучем определяли формулой «владеть классом». Это означало: добиваться, чтобы дети не галдели и сидели тихо и при том ни в коем случае никого нельзя выгонять с урока — поскольку на свободе они могут натворить черт знает что. «А если им нужны знания для поступления в институт, то пусть им родители репетиторов нанимают», — говорил директор, и мне его позиция казалась верхом цинизма. Хотя кто циник, а кто нет — вопрос непростой. Однажды в понедельник утром директор отозвал меня с урока: у одной из моих девочек (а на меня повесили классное руководство, причем четвертым классом) распутная мамаша уже с четверга гуляет неизвестно где, дочь вместе с младшей сестренкой напустили в квартиру сомнительных подростков обоего пола, которых в воскресенье разгоняла милиция. «Расстреливал бы я таких матерей сраных!» — обращаясь в пространство, произнес директор, и в его голосе, к удивлению своему, я услышал не страх, не служебную озабоченность, а страстную боль. Мое относительное спокойствие показалось мне в эту минуту свидетельством какой-то ущербности, недоразвитости и дефективности. Да, в области педагогики я в ту пору годился скорее в объекты, чем в субъекты.

Неизвестно зачем отправился я на место происшествия. Некоторое время на звонок никто не отвечал, потом дверь открыла высокая, длинно-, русо- и мокроволосая женщина в белом махровом халате. Должен признаться, что расстреливать ее мне совсем не захотелось, да и не за что, пожалуй, было: «Ироч-



ка в школе, младшенькая в садике», в квартире никаких следов буйства и разгула. Нисколько не смутившись, дама предложила мне «пивка», а после моего решительного отказа присосалась к горлышку «жигулевского», рассматривая меня довольно бесстыжими брызгами цвета бутылочного стекла. На первое же мое кратчайшее вопросительное предложение она ответила целым потоком восклицательных: бывший муж в колонии, алиментов не платит, выматываюсь на двух работах. А если что у меня и бывает, то это как праздник; конечно, если бы удалось найти постоянного мужчину, мне не бог весть чего надо — вот хотя бы такого, как вы, только бы, пожалуй, постарше и посолиднее; вы заглядывайте, буду рада.

Чувствуя себя круглым дураком, вернулся в школу. — «Ну, вы ей выдали, надеюсь? Лишением родительских прав пригрозили?» Я кивнул, вспоминая облачко шампуня и тонкие пальцы, державшие бутылку. Вот директор — человек, хотя сам ведет уроки только советской истории (другую уже подзабыл) и последнюю книжку прочел, наверное, лет десять назад. Для него весь мир поделен на два фронта — детей и взрослых, и нет вопроса, на чьей стороне воевать.

Двадцать часов в неделю съедали меня без остатка. Тогда еще было принято проверять тетрадки, я их приносил домой до полудна сотен, и вышедшая в декрет Тильда не выпускала из рук красный карандаш. Девятиклассники присвоили мне не самую обидную кличку «Болконский», а в начале каждого урока меня ждал выписанный откуда-нибудь из словарей мелом на доске банальный латинский афоризм типа «*Omnia mea mecum porto*»<sup>1</sup>. Прочитав его вслух, я с подчеркнутым хладнокровием оглашал русский перевод, что всякий раз вызывало одобрительный гул: количественную эрудицию в нашем отечестве ценят гораздо выше, чем качественные способности. Хуже обстояло дело с марками магнитофонов и джинсов — уже тогда я начал отстаивать от молодежи. Как-то меня спросили насчет «Леви Страус-

---

<sup>1</sup> Все мое ношу с собой (лат.).

са», я автоматически ответил, что это структуральный антрополог и имя его по-французски произносится «Леви-Строс», а откуда вы, собственно, его узнали? Это, кажется, несколько пошатнуло мой авторитет. Только лет через двадцать, сносив не одну пару джинсов разных цветов и фирм, выяснил я, что, в отличие от элитарного Клода с двойной фамилией, производитель массовых штанов имеет простую фамилию Страусс, а Леви — это его first name.

Так или иначе, вымя у меня отросло, и многочисленные телята успешно отсасывали через него всю энергию, которой я успевал запастись за ночь, проведенную рядом с Тильдой. Я стыдился признаться себе, что работа не причиняет мне радости. Настоящий педагог — синтез педофила и демагога. Я же к детям отношусь вполне терпимо, но приятнее и интереснее мне, пожалуй, люди взрослые, и прежде всего с плавными линиями и округлыми контурами тела. Тяготит меня и неразлучный с профессией воспитателя элемент демагогии, манипулирования незрелыми умами. Игра? Артистизм? Нет, не настолько я самодоволен, чтобы возводить свои педагогические уловки в ранг искусства.

Педагогика, как и политика, — искусство-наука в пределах возможного, а значит, и искусство, и наука — менее чем на пятьдесят процентов: поражений здесь заведомо больше, чем побед, инерции больше, чем новизны — как в мукотворчестве версификаторов, верных «традиции русского классического стиха». Одно дело, когда просыпаешься в ужасе, ругаешь себя идиотом и бездарностью, как неподъемную тяжесть взваливаешь на стол «Эрику», раздеваешь ее, со страхом вставляешь лист, постепенно переходя от бессилья к уверенным движениям. И совсем другое — когда в реальной немощи своей бесповоротно убеждаешься по нескольку раз на дню. Ларису из девятого «Б» во время ноябрьских праздников пытался изнасиловать родной отец — утешить ли ее реминисценциями из Достоевского? Я лишь себя малодушно успокоил тем, что не мне как классному руководителю предстоит встречаться с вышеозначенным папашей.

Но и по поводу своего четвертого класса не раз испытывал иван-карамазовское отчаяние. Родительский садизм живет и побеждает — не на один «Дневник писателя» его еще хватит! Ярко-патологических случаев мне наблюдать не пришлось, но до сих пор вспоминаю противненького такого Игорька — все время исподтишка пакостил, пускал по классу шарады типа «Что делает мальчик, надев очки?» (разгадка: «надев очки» = «на девочке» — ни за что не понял бы без подсказки такой тупой юмор). Этого малютку мне и самому не раз хотелось стукнуть хорошенько, но мамаша у него была такая приземистая, с необъятным задом и пористым землистым лицом, непременный член родительского комитета, в школу чуть ли не каждый день навевдалась и все с одним вопросом: «Вы скажите, Андрей Владимирович, а я уж приму меры. Я его разложу — и так напорю!» Подкатывала тошнота — и от уродливых слов, и от соучастия в мерзости. В силу своей психо- и сексологической начитанности я понимал, что эта тетка утоляет свою похоть, истязая сынка, да еще со взрослым мужчиной сладострастно об этом говорит — но попробуй её объяснять такое!

А отец Миши Макеева извращенцем, пожалуй, не был — он просто запирался с сыном в ванной и пускал воду, чтобы заглушить крики ребенка, единственной виной которого была абсолютная генетическая, то есть от отца же унаследованная тупость (причем в рамках психической нормальности, не дающей основания для перевода в школу имени Саши Соколова). Мальчик был «успевающим» только по поведению, но и он однажды сорвался и вместе с другими осквернил в кабинете истории деревянную карту страны с лампочками Ильича и лозунгом электрификации. Может быть, у бедного Миши в этот момент наступило пробуждение сознания и свободной мысли, а я под напором истеричной исторички вклеил ему в дневник двойку по поведению за неделю. Ребенок так отчаянно и некрасиво зарыдал в предчувствии домашней порки, что я тут же зачеркнул двойку и нарисовал цифру «три», да еще пометил: «исправленному верить». И красиво расписался рядом — в полном своем бессилии, навсегда поняв про себя, что педагог не я.

Еще не кончена педагогическая поэма! Будешь знать, как водиться со стареющими занудами! Честно говоря, тебе первой излагаю свою незамысловатую биографию. Раньше никто мне просто не задавал вопросов о прошлом, ни одна собака. Кстати, почему ты не ешь, не пьешь? Всё это ты должна прикончить, иначе обидишь хозяина. На меня не смотри, я уже давно предпочитаю каузативы. Ну, есть у нас такой термин: не «пить», а «поить», не «есть», а «кормить». Сам я в желудочном смысле уже навсегда наелся, исторически...

Так вот, еще один был за мной непростительный грех: непомерно серьезное отношение к своему учебному предмету. Каюсь, но Достоевский и Чехов мне были ближе и дороже, чем Трушин и Харчевский. Кто они? Да два охламона из девятого «Б» — почему-то запомнились именно эти имена и соответствующие им морды прыщавые. Пятнадцатилетний подросток, на мой взгляд, не в состоянии эстетически воспринимать русскую литературу XIX века. Максимум, на что можно рассчитывать, — это элементарное прочтение текста, первоначальное и поверхностное к нему прикосновение. Если ребенок не задремал над «Преступлением и наказанием», да к тому же сумел своими словами пересказать фабулу, — то он для меня уже отличник. А зачем ни в чем не повинных ребят заставляют писать так называемые сочинения, то есть подражания плохим литературоведческим статьям («сочинять» в этом жанре как раз категорически запрещено) — не понимаю до сих пор. Живой подросток может писать только о себе самом и своих чувствах, пусть полную чушь, но через это надо естественным образом пройти. Когда же девочка в пятнадцать лет рождает афоризмы типа: «Противоборство сил добра и зла в душе человека — основной конфликт лирики Лермонтова», — есть в этом что-то преждевременное и нездоровое. А по школьным стандартам полагается такое поощрять и других настраивать на подражание подобным перлам или на их простое списывание.

Ладно, лучше о любви. На факультатив «Поэзия» ко мне записались только девочки. Между шестым и седьмым урока-

ми они все успели сбежать домой, сбросить форменные платья с фартуками, надушиться болгарской дешевой и надеть почти одинаковые голубенькие джинсы и трикотажные свитерки, называвшиеся почему-то «лапшой»; у двоих или троих грудки были обтянуты еще более модными эластичными кофточками, застегивавшимися, как можно было догадаться, в пространстве промежности. Боди? Нет, тогда это точно так не называлось, и потом это не исподнее было, а верхняя, так сказать, одежда. Короче, у всех десяти или одиннадцати оказался один и тот же любимый поэт — Эдуард Асадов. В том числе и у отличниц, писавших вполне правильные сочинения о Лермонтове. Произнося имя своего кумира, эти маленькие женщины смотрели на меня так серьезно и тревожно, как будто доверяли интимнейшую тайну. Чуть-чуть иронии с моей стороны — и контакт был бы навсегда утрачен.

Я ушел в расспросы: чем, дескать, вам эти стихи нравятся и так далее. Ответы были не очень содержательные, но такие страстно-порывистые. Если понимать поэзию по коммуникативной модели Якобсона, то Асадов — гений коммуникации. В нее с ним вступали на моем веку сначала мои одноклассницы, потом мои ученицы, и даже совсем недавно одна студентка пятого курса, которой прогрессивные преподаватели безуспешно впаривали Пастернака с Мандельштамом, призналась мне, стыдясь блеска в глазах, что Асадова как первую любовь никак не забудет. А вот Пушкин с коммуникативной точки зрения — пустое место, адресант без адресата. У какой современной девицы он полежал под подушкой, когда его в последний раз переписывали в тетрадки?

На ходу перестроив свои эстетические критерии, я им говорю: ну, чудесно, Асадова вы знаете основательно. Но о любви еще кое-кто писал. Вот Ахматова — и фамилия похожая, и мотивы. Начал им цитировать по памяти. Более или менее почувствовал контакт, когда огласил строку: «Есть в близости людей заветная черта...» Дойдя до слов: «Когда душа свободна и чужда // Медлительной истоме сладострастья», — немного засомневал-

ся в «педагогичности» того, чем я сейчас занимаюсь с детьми. И, представляешь, именно в процессе декламации столь знакомого стихотворения я впервые уразумел, что в этом высокохудожественном тексте упоминается женский оргазм («медлительная истома»). «Теперь ты понял, от чего мое // Не бьется сердце под твоей рукою»... Я понял, а что поняли школьницы — решил не уточнять. Они, к облегчению моему, вопросов не задали, но в целом мы с ними, что называется, нашли друг друга.

Что тут скажешь? В педагогике контакт — самоцель, как в сексе. А можно ли при этом чему-то научить — для меня остается вопросом открытым. Взять ту же грамотность. В четвертом классе был у меня белобрысый юркий мальчик по фамилии Тюрик. Все правила, все эти так называемые орфограммы он знал не хуже Розенталя, все время тянул руку до потолка, чтобы отхватить очередную пятерку по «русскому устному». Когда же мальчонка принимался за «русский письменный», то в каждой буквально строчке он выполнял норму ошибок, потребную для двойки.

Тюрик навсегда убедил меня в том, что русский устный и русский письменный — два совершенно разных языка, что владение одним не обеспечивает владения другим. Впоследствии мне доводилось встречать множество красноречивых обаятельных тюриков, имеющих огромный успех у теплых всеядных аудиторий, но довольно бездарных на холодной и пустынной площадке письменной (печатной) страницы. Причем, как правило, эти талантливые говорители не довольствуются плодами своего истинного призвания, а рвутся в писатели. Обратное случается реже, поскольку тот, кто научился руководить рукописью, направлять армию, авиацию и флот своих букв вперед, ввысь и вглубь, — тот невысоко ценит возможность поколебать воздух своими голосовыми связками. Лично мне заика-писатель ближе, чем графоман-говоритель, но это дело вкуса. Существуют ли гармоничные писатели-говорители, те, у кого 5/5 по русскому? Не знаю, быть может, поэты футуристической и постфутуристической складки: Маяковский, Пастернак, Цветаева... А сейчас, пожалуй, никто.

Так возвращаясь к школе: норма допустимых ошибок для тройки, как я полагаю, противоречит реальным орфографическим и пунктуационным способностям человека. Когда мои выпускники писали экзаменационное сочинение, классные руководители потихоньку проходились по ним ручкой синего цвета, и то же самое проделывалось в тысячах других советских школ. Зачем? Или сам вот я, сидя в «комиссии» на экзамене по английскому, подхожу к юноше румяному и шепотом начинаю ему переводить текст. А он просит прочитать и записывает за мной русскими буквами: «Ай эм...» то есть он за все эти годы даже читать не научился... Нет, сейчас, конечно, с английским в стране стало лучше — потому что мы себя осознали туземцами, которым необходимо уметь объясниться с белыми господами. Но я в целом беру проблему: в фундамент школьных программ по всем предметам заложена ложь. Если эти программы понимать буквально, то каждый окончивший школу должен быть первоклассным интеллектуалом. Но ты взглядишь в их лица на улице. Да большинство учителей нашей нищей страны не владеет тем, чем должны «по идее» владеть школьники. На кой черт такая «идея»!

Короче говоря, я остался на всю жизнь дурным пастырем, не имеющим истинной веры. Где бы и кому бы ни преподавал — всегда сомневался в оправданности этого занятия, ну, в том, что на немецком языке, более изоциренном в абстракциях, называется «лербаркайт» — возможность научения. И когда наблюдаю своих чего-то добившихся бывших студентов, не уверен, что поумнели они благодаря, а не вопреки мне. Потому и общаться мне легче не с теми, кто благодарит, а с теми, кто перечит. Вот как ты, например.

Да кури прямо здесь — какие проблемы! Мне не нравится только, когда дамы дымят на ходу — как-то неженственно это. А сидя или лежа — пожалуйста. Сигареты у тебя кончились? «Мальборо лайтс» подойдет? Нет, сам никогда в жизни не курил, а эту пачку купил, предугадав встречу с тобой. Интуиция.

V

Хорошее русское слово — «эквивалентность». Да, русское, и отказывать ему в русскости нет решительно никаких оснований. Пусть дедушка с бабушкой у него и латинские, но специфический синтез двух корневых смыслов слово это приобрело здесь, у нас. Я сам терпеть не могу бессмысленного щеголяния иностранными одежками, когда вместо «причинно-временной» говорят «каузально-темпоральный», но, с другой стороны, переименовывать «автомобиль» в какой-нибудь «самодвижник» можно только в порядке филологического юмора — как это делает у Солженицына в «Круге первом» Сологдин.

«Эквивалентность» — это и «равноценность», и «равносильность». Тут имеются в виду и ценность, обеспеченная реальной силой, и созидательная, творящая новые ценности сила. Нет иного способа сплавить эти два смысла, чем бронзово-прочная латынь. Все, что я надумал за последние пятьдесят лет о языке и том, чего мы языком касаемся, охватывается понятием эквивалентности и вмещается в одну пятерню, в пятерку достаточно простых положений. Выстроился такой терем теорем, от пятой до первой. Сегодня показываю самую частную и элементарную.

***Теорема эквивалентности № 5. Событие и мысль в вымышленном повествовании находятся в отношениях условного равенства и потенциальной эквивалентности.***

Почему, узнав из газеты об очередном убийстве или самоубийстве, мы чаще всего думаем: «Как это нелепо и бессмысленно!», а прочитав примерно о том же в романе, начинаем искать в происшествии какой-то смысл?

Потому, что читатель вступил с автором в условное соглашение, принял правила игры. Перед ними два ящика. В первом лежат события: убийство, самоубийство, простая смерть «от органических причин», встреча, разлука, верность, ревность, уход, побег и т.п. — много, больше, чем сорок (как некоторые утверждали), счет на сотни, но общее количество исчислимо. Во второй ящик



насыпаны идеи: «жизнь прекрасна», «жизнь ужасна», «жизнь сложна», «люди похожи друг на друга», «люди такие разные», «человек добр и зол одновременно» и т.п. — много-много, но число, в общем, тоже конечно и определено («бесконечность смысла» — пустая и безответственная квазиметафора).

Далее автору доступны два способа. Он может взять из обоих ящичков по штучке и, соположив их рядом, показать читателю. То есть соотнесенную с событием мысль высказать прямым текстом. Это будет сравнение мысли и события. А может показать только событие, спрятав дощечку с мыслью у себя за спиной и заставив читателя угадывать: что же там припрятано? Это будет сюжетная метафора. Оба способа хороши, и оба требуют от автора душевно-энергетических затрат: чтобы событие и мысль стали равноценными, надо сообщить им равную силу, добыв ее из самого себя, из глубины собственной личности — если такая имеется.

— Что имеется? Личность или глубина?

— И то и другое. Не придирайся к небрежности, вполне допустимой в устном дискурсе. Всегда гладко, «по-писаному» говорят только пошляки... Вот теперь я сбился. Да, описанные два способа, конечно же, могут усложняться: на одно событие могут приходиться две мысли, на одну мысль два события. Возникающие сравнения и метафоры могут, в свою очередь, образовывать более сложные сцепления: сравнения сравнений, сравнения метафор. Но главное — само строение повествовательной молекулы, принципиально состоящей из двух элементов. Соединение их условно и существует только в вымышленном повествовании, только на той маленькой площади «у слова», где по доброй воле встретились рассказчик и читатель.

У этой теоремы два следствия. Одно касается различия между настоящим искусным повествованием и его масскультовым суррогатом. В честной игре автор душевным усилием сцепляет мысль и событие, а читатель затем затрачивает аналогичную энергию, чтобы это соединение вновь осуществить. Потраченная энергия вернется к обоим — отсюда специфическое (хотя

поначалу и нелегкое) удовольствие, сопутствующее и сотворению сюжета, и его постижению. В масскульте же событие с мыслью либо находится в отношениях тавтологического тождества («совершено убийство» — «убивать нехорошо»), либо вообще гуляет само по себе, не нуждаясь в условных сравнениях: читатель-Петрушка волен подбирать к нему любую «идею». Меня внутренний мир петрушек совершенно не интересует, поскольку любой детектив для меня — скука смертная. Но психотерапевтическую полезность такого чтива не отрицаю: пусть лучше люди читают об убийствах, чем их совершают. Пусть лучше они страстно следят за сюжетами мыльных опер, чем с той же агрессивной страстностью ссорят своих детей с их супругами. Сюжеты масскульта — слив избыточной энергии для недобрых и/или глупых людей, а их всегда больше, чем добрых и умных.

Второе следствие. Сами способы сцепления мысли и события время от времени обновляются. То же убийство уже не является такой же сюжетной метафорой, какой оно было во времена Достоевского. Бесплезно сегодня давать в руки герою раскольниковский топор, а новую Анну бросать под поезд. Почему современная проза так вяло читается? Потому что большинство сочинителей не хотят заново сочинять, соединять мысль и событие, они надеются на «культурный контекст» — и зря. Это бездари придумали, что существует некий «гипертекст», сверх которого ничего не придумать. Нужны новые комбинации, причем, как мне кажется, открытые сравнения событий с идеями сегодня могут оказаться сильнее загадочных сюжетных *метафор*. Спрятанная мысль чаще оказывается пустотой, уловкой наперсточника. А мысль, прямо высказанная, может придать сюжету кристаллическую прозрачность и многогранность. Чтобы событие и мысль обрели эквивалентность, то есть равно-ценно-силы, нужно накопать где-то десяток-другой понастоящему новых идей о человеке и мироздании.

Наивно? Пускай, я и хочу быть наивным. Это слово, между прочим, происходит от «nativus» — «природный». Почему бы о природных закономерностях творения не говорить природным же языком?

## VI

Большеротую глазастую девочку окрестили Агриппиной — в память о прабабках по обеим линиям, а изо всех возможных сокращений к ней прилепилось Феня. Для меня это дитя долгое время оставалось чем-то вроде не совсем своего, как бы полученного во временное пользование дорогостоящего электронного прибора: страшно прикоснуться — вдруг сломаешь или разобьешь. Впрочем, такое ощущение испытывают примерно сорок процентов юных отцов. А тридцать пять процентов при этом подвержены инфантильной ревности и страдают от того, что внимание нянчившей их прежде женщины теперь переключилось на новый объект. Я оказался представителем этой тривиальной категории: взирая на малютку, жадно припавшую к любимой части любимого тела, строил бесстыжие подозрения насчет того, что послужил лишь инструментом, а то и игрушкой в руках природы, средством для ее самовоспроизведения и продолжения, что меня «использовали», а теперь я не очень и нужен. На самом же деле Тильды с лихвой хватало и на Феню, и на меня, хватило бы еще на пару-тройку жадных ртов. Не раз вертелось у меня на языке: «Ее ты любишь больше, чем меня» (даже если бы дело обстояло так, то это было бы и естественно, и справедливо), но все же хватало ума заглотить идиотские слова обратно.

Такой был я мальчик скверный. Но муж притом верный: между прочим, посторонних женщин в то время просто не замечал, ни в мыслях, ни в тайниках подсознания отнюдь не грешил. А ведь, как известно, во время дородового и послеродового периода восемьдесят пять процентов мужей встречаются со временными разлучницами (хоть здесь я попал в нетривиальные пятнадцать процентов). Откуда знаю эти цифры? Читаю регулярно «Интернэшнл Сэкшувэл Рисёрч Стадиз». Нет, про твоего мужа и про его поведение в аналогичной ситуации там ничего написано не было. Это эмпирика, а меня, моя радость, интересуют только глобальные теоретические обобщения.

И тут жизнь решила призвать меня за мою избалованность к ответу, прислав мне от имени военкомата повестку с призывом

на действительную военную службу. Понимаешь, в то время не было военной кафедры для студентов моей специальности, и после университета могли забреть на год рядовым. А ты, значит, лейтенант? Тебя заставляли маршировать и равняться на грудь третьего человека? Ну, рад за тебя и готов исполнить любые приказания старшего по званию. Причем с удовольствием.

Тильда отнеслась к этой угрозе в высшей степени серьезно. Хотя то было доафганское еще время, она твердо заключила, что мне из армии живым (или, во всяком случае, непокалеченным) не вернуться. Рядовой с высшим образованием, да еще такой arrogantный (по-народному говоря тот, кто «залуцается») — наилучшая мишень. В то время косить от армии считалось не совсем удобным делом — не то чтобы непатриотичным, но каким-то немужественным. Во всяком случае, сильные мира сего, спасая детишек от этой напасти, действовали тактично, втихую, в рамках так называемого телефонного права. Тильда сконцентрировала все силы, свои и родительские, и спрятала меня в кремлевскую больницу, где мне предстояло получить официальный статус негодника.

Да, кремлевскую — как говорится, леживал, леживал. Но ничего такого уж сенсационного об этом учреждении рассказать не могу. Может быть, в царской палате и имели место чудеса, но в остальном нормальная больница, как Университетсшпиталь в каком-нибудь небольшом немецком городе. Без излишеств, без той помпезно-бордельной роскоши, с какой обставлены нынче сверхдорогие коммерческие клиники (в одной такой недавно навещал знакомого, что-то из себя вырезавшего). Еще раз скажу: номенклатурный быт обладал аристократической сдержанностью, которую вовсе не обязательно было разрушать «до основанья», чтобы затем на обломках выстраивать мелкобуржуазную безвкусицу.

Потому мне так забавны бывают семисотрублевые арбузы, создаваемые понаслышке коллективной фантазией либеральной интеллигенции. Примечательный комментарий прочел я в прелестной книжке «323 эпиграммы», составленной Ефимом Гри-

горьевичем Эткиндо́м. Да вот она, и между прочим, с доброжелательным инскриптом автора: а как же, встречались — и в Сорбонне, и у него дома в Пюто! Много здесь крутых вещиц, но меня в данном случае заинтересовало неприятзательное двустышие Маршака: «Ходит доктор по палатам, // Ставит клизму дипломатам». В комментариях дано следующее пояснение: «С.Я. Маршак лежал в правительственной Кремлевской больнице, где близко наблюдал систему привилегий (обычно клизму ставит медсестра)».

Тут по крайней мере тройное недоразумение: лингвистическое, медицинское и социологическое. В русском разговорном языке слово «доктор» нередко означало просто человека в белом халате, включая сюда наряду с врачами медсестер и даже санитарок. Трудно представить такую «систему привилегий», при которой дипломированный терапевт или хирург рассказывал бы по палатам с кружкой Эсмарха в руках; полагаю, что даже с самим Брежневым такую процедуру проделывала все же медсестра, наверное, очень квалифицированная, проверенная всеми органами, имеющая в импортной кожаной сумочке партбилет и притом обладающая приятными внешними данными. Примерно такая, какая однажды вечером пригласила меня по сходному поводу в процедурную комнату, и я смиренно последовал за длинноногим «доктором», как это бывало, уверен, и с другими нетяжелыми больными, в том числе и дипломатического ранга.

Сей малозначимый эпизод запомнился, впрочем, лишь по метонимической связи с важным событием моей личной жизни, последовавшим непосредственно по возвращении в палату. Да, отдельную, тут уж спорить не стану: вкусил от плода привилегий. В кресле у окна меня ждала Тильда, в том самом платье, в котором я ее увидел в первый раз, слегка разогретая майским солнцем и строго-сосредоточенная: оставив младшего ребенка на домработницу, она хотела поскорее убедиться, что и ребенок-супруг пребывает в безопасности. Заскочив на минуточку в душ и заперев дверь на ключ, я с непреходящей робостью начал отделять платье от сильных, вертикально взметнувшихся

рук. Свежее воспоминание о скользком прохладном вхождении в меня инородного тела вдруг расшевелило мою скромную фантазию, и я решился на новый властный поворот. Тильда со стремительной готовностью подчинилась. До этого момента в наших отношениях не было полной ясности: честно говоря, я не был уверен в реальной, так сказать, двусторонности этих отношений, компренэ-ву? Моя мужская неопытность (а может быть, нравственная недоразвитость) мешала мне доподлинно проверить это по внешним признакам, а открыто спросить я ни за что бы не решился. До сих пор так и не знаю, была ли у нас гармоничная взаимность до этой встречи в больнице, может быть, она и существовала, но негласно, а тут «неги глас», говоря языком поэтическим, послышался достаточно явственно, хотя любимого лица и не было видно. Почему она не научила меня раньше этому подходу с правильной стороны? Очевидно, гордой женщине нужно, чтобы мужчина сам догадался, сам нашел верный путь к ее глубине.

Чувство глубокого удовлетворения — так и только так могу я определить свое настроение в этот миг. Наконец я стал *мужчиной* — в моей внутренней интимно-индивидуальной терминологии это сочетание приобрело именно такой смысл. Кстати, сходное значение я вкладываю и в сочетание *уметь писать*, то есть чувствовать адресата лучше, чем себя самого, дарить радость читающему тебя, а самому радоваться не спешить и своим текстом не любоваться. Доставить удовольствие партнеру — вот высшая этика любви и письма, даже писания в нашем с тобой скромном и вторичном жанре.

Далеко ушел от темы? Это я нарочно. Не уйти, а убежать от нее хочется. Как говорится, я очень спокоен, но только не надо... Не совсем из Ахматовой, из трансвестированной вертинской версии. И мужчины, между прочим, чувствовать умеют.

В войне с советской армией я победил, получив назло районному комиссару, люто ненавидевшему всех «молодых ученых», билет с формулировкой «к нестроевой в военное время». А время было самое мирное, благодаря неутомимому борцу за разряд-

ку Леониду Ильичу, и у нас началась бесстыдная упоительная идиллия, по эмоциональной насыщенности перекрывающая все мои увлечения и приключения как до, так и после. Честное слово, благое супружество может на вкус быть гораздо пикантнее всяких там мартовских пряных ночей и эксцентрических эксцессов.

Вообще скажу такую принципиальную сверхбанальность: ХОРОШО ЖИТЬ ХОРОШО. Неважно, где здесь тема, где рема, где сказуемое, где подлежащее, — члени в любом месте («Хорошо жить — хорошо» или «Хорошо — жить хорошо»). Как существуют безличные предложения: «Холодно», «Жарко» — так существуют и безличные истины, не подлежащие обсуждению. Отклоняться от них можно только в личном, индивидуальном порядке, не навязывая своих парадоксов другим людям, а тем более обществу в целом. Если какой-нибудь пострадавший писатель говорит, что тюрьма или лагерь для него лично были полезны, — это его персональная дурь и его право в пределах индивидуального существования. Но желать того же другим он не имеет ни малейшего права. И уж тем более благополучному литературоведу, самым тяжелым испытанием в жизни которого были хлопоты по переезду с городской квартиры на дачу, и притом берущемуся бесстыдно утверждать, что для полноценного развития писателям полезны репрессии, цензура, непечатанье, тяжелые хронические недуги, — такому безответственному болтуну надлежит самым решительным образом плюнуть в физиономию.

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» — конструкция личная, релевантная только в первом лице единственного числа. Мысли и страдай, сколько угодно, но никому другому ни мыслей, ни тем более страданий не смей навязывать...

Никто с этим не спорит? А, это только теоретически! А кто мне на собственную дочь стучал, инкриминируя ей нечтение Юрия Трифонова и равнодушие к Окуджаеве? Что делать, если дух теперь хочет витать вдали от Арбата и дома на набережной, не отягощаясь памятью о расстрелах? Желай ей только здоровья

и благополучия, а насчет духовности она как-нибудь сама, когда будет нужно, подсуетится.

Что же до моего светлого прошлого, то мне просто не хватило той хорошей жизни, трехлетний кусок которой обломился волею случая. Нет, не случая — иначе это называется. За это время, кстати, в мою небольшую голову пришли (откуда? от кого?) те три-четыре даже не идеи, а задумки, в общем таких три-четыре пролегомена, которые я всю оставшуюся жизнь только эксплицировал, разъяснял разными способами, то есть занимался не столько наукой, сколько педагогикой (в которую, как выяснилось впоследствии, не верю).

А Тильда оказалась, помимо прочего, «ответчиком». У какого-то фантаста есть рассказ на эту тему: человек, не то прибор, который на любой вопрос ответить может. Когда я ночью или ранним утром ковырялся со своей диссертацией, у меня хватало наглости Тильду разбудить и спросить, как мне дальше раскручивать свой дискурс. И она всегда просто и спокойно отвечала, хотя сама окончила нетеоретичный инъяз и в Вене совсем другим занималась, а уж новейшей литературы по лингвистике и в глаза не видывала. Впрочем, иногда будить ее не нужно было: достаточно было взглянуть на линии, особенно на переход от подмышки к груди, чтобы сообразить, как устроено все правильное и щедрое в этом мире, и язык в том числе. В известной мере Тильда была моей натурщицей — не то чтобы я претендовал на высоты каких-нибудь Пикассо или Дали, — ведь и заурядные рисовальщики работают с натуры.

И еще раз скажу: хорошо жить в идеальных условиях, пусть тепличных, — растения, подобные мне, в теплице могут дать кое-какие плоды, пригодные в пищу. И никакого толку не будет от того, что нас выставят на мороз, — увянем и все. Да знаком, знаком я с сомнительными рекомендациями «подморозить Россию». Ты, кстати, знаешь, кому эти слова принадлежат? Здравсьте, какой там Александр Третий! Романовы в метафорах отнюдь не сильны. Это Леонтьев Константин, человек умный, но фатально ограниченный — в том числе и ввиду своей специфической ориентации. Впрочем, не будем об этом...



## VII

Секс да секс кругом... Всюду он лежит: на лотках — иллюстрированным пестрым сором, в элитарной прозе — прикрытый одноцветными переплетами книг и чинными мундирами толстых журналов. Но зря депутаты нервничают — скоро конъюнктура переменится, и без всяких там государственных дум весь порнос отступит в специально отведенные тихие и прохладные места, а дума литературная вынесет неизбежный приговор типа: «И предков скуШНЫ нам роскоШНЫЕ забавы, // Их добро-совестный ребяческий разврат...» (не могу не подчеркнуть между делом роскошный звуковой повтор). Предлагалась, впрочем, и более жесткая формулировка: «Но эта важная забава // Достойна старых обезьян // Хваленых дедовских времен...» «Дедушкина (или бабушкина) порнушка», — скажут с исторически обусловленной иронией целомудренные литературные внуки, которые в добрый час вытеснят всех наших эротических сочинителей.

Но это литература с ее тематическими приливами и отливами. Что же касается не книжной жизни, то в ней, как мне представляется, собственно сексуальные импульсы всегда играют достаточно конкретную, не малую, но и не слишком большую роль. Эрос, как и деньги, не годится на роль всеобщего эквивалента, каковым, на мой скромный взгляд, является внутренняя человеческая энергия. Правда, само греческое слово «энергия» у нас слишком заезжено, обесценено, его нагло применяют к себе люди, энергии совершенно лишённые. Единственный выход — подобрать оживляющий синоним: приблизительно калькируя морфемы, получаем по-русски: *дейность*. Предлагаю такую новинку именно в качестве синонима, а не в порядке тотального переименования; можно просто чередовать два тождественных по смыслу слова. Итак, все происходящее в мире людей суть различные формы обмена *дейностью*, душевно-эмоциональной энергией, которой почти всем и почти всегда не хватает.

Так я, во всяком случае, объясняю самому себе собственную жизнь с ее редкими удачами и многочисленными непоправимыми ошибками. Самую крупную ошибку звали Ира и жила она через двор от Тильдиных родителей, в доме под тем же кутузовским номером. Пространственная близость в образцовом коммунистическом (теперь капиталистическом) городе очень влияет на интенсивность контактов: при всем родстве душ и обитателю Орехова-Борисова не удастся регулярно встречаться с жителем Бибирева, а вот случайное соседство то и дело оборачивается узами дружбы.

Итак, вышеозначенная Ира выросла в свое время под боком у Тильды, принявшей определенное участие в ее выращивании, в вытаскивании девочки из драматической истории с одним из первых в нашей столице тайных молодежных наркоклубов. Испуганные высокопоставленные родители Иры, выйдя на Тильду по каким-то кастовым каналам, с превеликой радостью передоверили ей дальнейшее воспитание юной пионерки отечественной наркомании. Тильда «вела» Иру вплоть до окончания ею гитисовского театроведения и до своей встречи с известным тебе юношей, который занял место рядом со старшей подругой на более веских и природой завещанных основаниях.

Вкусив всех запретно-дефицитных плодов и пресытись ими, Ира работала не то под монашеский, не то под демонический типаж, носила только черное: волосы, ресницы, глаза, платья, свитера, юбки и, как выяснилось впоследствии, все остальное. Плюс модные тогда духи «Мажи нуар». Мы с ней сильно не понравились друг другу с первого же момента нашего знакомства (а он несет в себе значительный момент истины: первое позитивное впечатление может оказаться обманчивым, но первое негативное — всегда верно; в моей практике исключений пока не было). Впрочем, наша вражда имела глубоко материалистическое обоснование: шла борьба за природные ресурсы, за источник светлой, ровной и веселой энергии.

У Тильды достало мудрости и такта отодвинуть Иру на второй план в первый наш медовый год, но дальше Кутузовского задвинуть девушку было невозможно, и она вновь зачастила

к нам незадолго до рождения Фени — тем более что понадобилась Тильдина помощь по трудоустройству: плодя театроведов, институт ведь не ведает, зачем, кому и в каком количестве они нужны. Ира снисходительно согласилась послужить пока в Тильдином отделе министерства, перекладывая с места на место приказы и циркуляры, надменно циркулируя по коридорам и обдавая своим нерадушным ароматом несчастных провинциальных просителей.

Теперь она с полным правом просиживала у нас вечер за вечером, с изнуряющим занудством повествуя об административно-дамских конфликтах и разыгрывая кульминационные сцены в лицах. Как я ненавижу этот эпически-драматический стиль: «прихожу я», «а она мне говорит», «ни за что, — сказала я» и прочее тому подобное! Сам я всегда сообщаю суть события в одной фразе, а потом уже отвечаю на детальные вопросы — если таковые у собеседника возникают. Но то был я один — Тильда же, оторванная от департамента, пристально следила за всем, что там происходит, и слушала всю эту драматургию самым пристальным образом. Часто при этом она кормила грудью Феню, тоже глядевшую на Иру с полным доверием и готовую ей улыбаться во весь свой огромный ротик. Мне в такой открытости виделось ненужное нарушение нашей интимности, иногда я невесело каламбурил: мол, недурно бы провести вечер «сине Ира», но Тильда спокойно увещевала, усовещивала меня тем доводом, что без нас девушка может повторить уже имевшую место попытку суицида, что хорошо бы ей выйти замуж и уйти из родительского дома, а пока...

Самоубийством вскоре покончил, однако, совсем другой человек — доцент-философ, не то удмуртский, не то мордовский, замордованный за свои крамольные идеи (национальная этика и этнопедагогика) местными властями и коллегами. Тильда несколько лет защищала его от гонений, а потом попросила Иру держать дело на контроле. Та, естественно, пропустила все это если не мимо ушей, то мимо души, в которой трудно было отыскать место для бедного и далекого нацмена.

Тильда отреагировала в высшей степени адекватно: она не вступала с Ирой ни в какие объяснения, не выразила ей никаких претензий, она просто закрыла для нее свою душу. Осужденной была предоставлена возможность самой прекратить общение, теперь уже бездушное. Возникла затяжная неловкость — Ира тянула резину до тех пор, пока все разом не порвалось.

Собрался я тогда к Сергею Михайловичу Бонди — ну да, пушкинисту, — расспросить его о музыкальном чтении — это такая штукавина, которую М. Ф. Гнесин изобрел, с повышением и понижением тона, но без перехода на мелодекламацию. Ире вздумалось и тут присоседиться: она якобы изучала Мейерхольда времен студии на Бородинской, а Бонди с братом к этим делам были причастны, и так далее. Стараюсь никого ни к кому никогда не приводить без спроса и поэтому позвонил еще раз. Бонди не возражал и даже более того: «О, Мэйерхольд!..» (именно так он всегда произносил). Я давно замечал, что он любит, когда с ним говорят не о солнце русской поэзии, а о чем-то ином: при всей привязанности к основной специальности живой и уважающий себя человек не хочет быть пожизненным рабом или постоянным поверенным в делах кого бы то ни было — пусть и Пушкина.

Под тальим снегом хрустел песок, когда мы шли по Комсомольскому проспекту в сторону одной из Фрунзенских улиц. Вспомнив, что сегодня пятое марта, я зачем-то стал рассказывать, как в пятьдесят третьем году носил в этот день черно-красную ленточку на лацкане своего пальтишка, как из-за траура передвинули празднование дня моего рождения, а пятнадцатого числа разные гости подарили мне на пятилетие две абсолютно одинаковые коробки детского домино. Ира, в свою очередь, припомнила, что у нее тогда была большая любовь с черным плюшевым медведем, который при нажатии на пузо издавал смешное урчание, а потом, во время переезда на Кутузовский, как-то трагически потерялся. Тут инфантильный голосок ее завибрировал, раскололся, и она разразилась крупными черными слезами.

Какая старая боль пронзила в тот миг ее исколотую душу — не знаю. Единственное, чем я мог помочь, — это достать из кармана пиджака чистую бумажную салфетку (всегда ношу с собой в расчете на самый широкий спектр употреблений), и Ира быстро устранила черноту с лица, не испачкав кружевного платочка, которым она промокнула последние, уже чистые слезки. Все позади!

Мое фонетическое любопытство по поводу «музыкального чтения» было удовлетворено за несколько минут, а вот сюжет о гении и злодействе Доктора Дапертутто обернулся классным моноспектаклем. Может быть, Сергей Михайлович разыгрывал его не единственный раз, но слушательница, ведавшая, кто такие «дзанни» и кто такой Соловьев Владимир Николаевич, явно вдохновила рассказчика, совершенно возвратившегося в свои... речь о 1914-м, — значит, в свои двадцать три года.

— Когда отмечалось сорокалетие Мэйерхольда, мы сочинили для него куплеты. — Тут Сергей Михайлович подскочил к заваленному книгами и альбомами фортепьяно. — Вы меня извините, я по образованию не пианист, я по образованию... (с точностью до десятых долей секунды выверенная пауза) ... скрипач. Но попробую вам это показать.

И запел, ударяя по клавишам:

Многи лета, многи лета,  
Всед Эмильич Мэйерхольд!  
От тебя исходит света  
На сто двадцать тысяч вольт!

Многи лета, многи лета,  
Всед Эмильич Мэйерхольд!  
За тобою на край света  
Мы в мороз пойдем без польт!

Мы оба обалдели, а я про себя еще подумал, что разговорный язык с тех пор изменился гораздо в меньшей степени, чем книжно-литературный: очень уж современно звучит это «без польт».

Хотя естественность всегда нова и свежа — стареют только натуга и надумь.

— А потом он вдруг всех нас отдалил, всех четверых Бонди: меня, Юрия, Алексея и нашу сестру Наташу. Журнал «Любовь к трем апельсинам» поручил вместо Юрия оформлять Головину. Ну, мы тогда собрали все наши к нему претензии, решив, что от общего имени выступлю я. Мэйерхольд слушал мою неотразимо убедительную речь, прислонившись спиной к колонне. (Тут Сергей Михайлович встал и, хотя в комнате колонны не было, очень пластично показал Мейерхольда вместе с монументальной опорой.) А потом огорошил нас всех, сказав примерно следующее: «Те, с кем я имею дело, должны принимать меня таким, каков я есть. Вон Верлен — тот вообще был... знаете кто». И ушел. Уже много лет спустя я понял, что он никого не приближает надолго. Все драматурги, с которыми он потом работал, бывали оскорблены полной потерей интереса к ним по завершении постановки.

Мы с Ирой прямо-таки сжались и приблизились друг к другу, словно тоже оказались жертвами режиссерского вероломства. А разговор тем временем перешел на Блока: «Он пригласил меня и Юрия на чтение «Розы и Креста», а потом подошел к нам и спросил: «Ну, молодые люди, поняли, в чем смысл пьесы?» Мы оторопели, а он сам ответил: «В том, что мальчик красивый лучше туманных и страшных снов». Мы были ошарашены: нам-то казалось, что эти слова прямо противоположны замыслу автора».

Этот эпизод, кажется, мне был уже знаком по предыдущим беседам, но предъявленный нам подлинник записки Блока с приглашением на читку, конечно, впечатлил.

А когда Ира отлучилась в коридор, Бонди наклонил ко мне свой острый галльский профиль (предки его, если не ошибаюсь, имели ударение на втором слоге фамилии) и сокрушенно поведал вполголоса:

— Да, а Любовь Дмитриевна... Ну, в общем, как говорится, на Богородице не женятся. Любовь Дмитриевна незадолго до

своей смерти говорила Веригиной, а Веригина потом мне сказала, что у Любови Дмитриевны с Блоком ну... половое сношение... всего один раз только было.

К тому времени я читал и Веригину, и кое-что другое из доступных тогда текстов о личной жизни Блока, имел представление о проблемах и сложностях, но, конечно, не с такой медицинской точностью. Знание столь интимной тайны, полученное не далее чем из третьих рук (если первыми считать руки Любови Дмитриевны, а вторыми — руки Валентины Петровны Веригиной), наполнило меня гордостью, я бы сказал, гордостью культурологической, но тогда этот термин еще не был в ходу.

Выйдя на улицу, Ира поскользнулась и залясала на ледяном островке, я успел поддержать ее, а потом уже было неловко сразу убрать руку. Так, сцепившись, мы шли по крайней мере до метро «Парк культуры». Тебе, наверное, это все смешно, но в наше досексреволюционное время такого рода скрещенья рук значили не меньше, чем скрещенья ног, и во всяком случае им предшествовали. Я проговорился, что у Тильдиных родителей дома есть книга Константина Миклашевского «Театр итальянских комедиантов» 1914 года издания. Ира возжелала Миклашевского немедленно, а у меня на беду имелся с собой ключ от кутузовской квартиры. Старики тогда на полгода отъехали за рубеж, теперь бы такую жилплощадь да на такой срок непременно сдали бы иностранцам или бандитам, но в те времена подобные вещи были не приняты — туда регулярно навещалась только пожилая домработница.

Ира пылко прижала к груди Миклашевского, пообещав провести с ним ночь и вернуть потом целеньким и чистеньким. Но, к сожалению, этим дело не ограничилось.

— Знаешь, я никогда не была в ее комнате. Не покажешь мне на минуточку?

Как было не удовлетворить это последнее и по видимости столь невинное желание? Если бы я более внимательно изучал фольклористику, то мог бы припомнить третью функцию проповедской

сказочной морфологии — «запрет нарушается» — и учесть роль антагониста: «нарушить покой счастливого семейства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб». Антагонист, согласно предписанной ему четвертой функции, пытался «произвести разведку», а я, отворив дверь Тильдиной комнаты, угодил под функцию седьмую: «Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу». Ох, не зря по западному этикету в свою спальню гостя никто не приглашает, гостю место в гостиной.

Книга, выполнившая роль сценического предмета, тут же была положена на туалетный столик. Высвободив руки, Ира неожиданно меня ими обняла и приступила к страстному театральному поцелую. Как ведут себя в таких случаях высоко-нравственные мужчины? Сжать губы, окаменеть, взять девушку за плечи и отстранить со словами «не надо»? Все это было бы грубостью, если не жестокостью. На грубость, впрочем, я мог бы и пойти в экстремальной ситуации, но на жестокость... А ну как она сейчас придет к себе домой и самоубьется?

Бывают разные степени близости: на всю жизнь (а согласно небанальным представлениям и за порогом смерти), на полжизни, на год, на день... Наша с Иррой честная и чистая близость продолжалась секунд десять, когда мы еще только прижались друг к другу холодными худыми животами, словно пытаюсь вместе защититься от взрослой жизни с ее непомерными требованиями. Тут бы и остановить мгновенье — стоп-кадром, немой сценой, но главный режиссер этого сделать не хотел, пустив сюжет по тривиальному руслу.

Получилось невкусно. Никакого безумия, ум как раз работал в нормальном режиме, а вот душа была отключена. И Ира как будто отсутствовала, как будто не со мной соприкасалась, используя близлежащее тело как оболочку иной души: к ней, а не ко мне она тянулась. Результат ее интересовал больше, чем процесс, по завершении которого она быстро облачилась в черную униформу и оставила меня наедине с разорванным уютом.

Черт возьми, почему никто из взрослых не зашел сюда внезапно, не растащил нас и не наказал, поставив по разным углам!



Впрочем, если Ира еще могла числиться педагогически запущенным ребенком, то я проходил по другой статье. Трехлетняя дочка моего приятеля с математической точностью сформулировала такой закон: взрослый — это тот, у кого есть свои дети, а у кого их нет — тот еще не взрослый. Таким образом, бездетная Ира была реабилитирована, а я осужден на законных основаниях.

Проходя через двор, пересекая проспект, на невыносимо коротком пути в шестьсот тридцать шагов я старательно примерял к пылающим щекам непроницаемое выражение, репетировал ровную походку — как какой-нибудь Чикатило, возвращающийся домой после сладострастного зверства. Ухищрения, впрочем, были напрасны, поскольку ни Тильда, ни Феня до подозрительности никогда не опускались. Дитя вскоре заснуло, а ночная острая взаимная радость полностью изгладила во мне память о вечернем инциденте.

## VIII

В эпитафию к этой главке я вынес бы бронзовую скульптуру Карла Хартунга «Большая лежащая» («Grosse Liegende»): мощное женское тело, левая рука поддерживает огромную круглую грудь, правая согнута в локте, а на ладони покоится небольшая головка этой женщины с устремленным — даже не к солнцу, еще выше! — взглядом. Но поднять сию даму трудно, вынести — тем более, пусть остается так же стремительно лежать в Шлезвигском музее (раздел «Искусство XX века», в помещении бывшей конюшни замка Готторф).

Философию этой скульптуры я читаю в энергичном соотношении горизонтального и вертикального планов, банально говоря природного и духовного начал. Гротескно слитые (погенримуровски) могучие ноги, замыкающие лоно; затем остроугольная гиперболичность сменяется большей округлостью. Смысл женщины — в непрерывном и неуклонном движении снизу вверх (структура же мужчины — многократное погруже-

ние в низменный план и выныривание на поверхность, а потом и прыжок к высотам). У тебя другая точка зрения? Ну, а я вот такой вывод из своей завершающейся жизни вынес. Наверное, суждения мои кустарно-дилетантские, но ведь профессионалов в области жизни и ее смысла просто не бывает...

Тильда свою вертикаль прочерчивала посредством мужчины: я оказался на короткое время в этой выгодной позиции, не понимая, насколько хрупка эмоциональная конструкция, элементом которой я являюсь. Так до сих пор и не ведаю, постаралась ли Ира донести до Тильды излишние подробности наших более чем непродолжительных отношений или же Тильда прочувствовала все сама. На меня итог случившегося обрушился самым тяжелым и беспощадным образом.

Возвращаюсь домой из Суздаля: в самом конце апреля подвернулась халявная автобусная экскурсия, и Тильда посоветовала мне прокатиться-развяться. Компания разношерстная была, но за три дня все основательно перезнакомились, кроме меня, державшего дистанцию и наивно тосковавшего по дому. Гостиница была среднесоветского разлива, с номерами, естественно, не отдельными. После вечерних возлияний молодежь творчески трансформировала гомосексуальный принцип расселения в гетеросексуальный, то есть номера мужские и женские на ночь становились смешанными. Мой шустрый сосед по комнате уже договорился о такой рокировке с двумя веселенькими и чистенькими работницами прокуратуры, объективно говоря, обе были достойны внимания, да только корм был не в коня. Портить соседу малину было бы просто неприлично, и я отоврался: мол, уже есть у меня договоренность на другом этаже. На том этаже я и провел ночь, но не лежа с кем-то на кровати, а одиноко сидя и дремля в коридорном кожаном кресле, до тошноты переполненный нравственностью и, к счастью, никем не замеченный.

Досыпаю в автобусе, волнуемый самыми реалистическими картинками предстоящего утешения. Как правило, я не позволяю себе слишком чувственно мечтать о Тильде, следуя усвоенному

еще в студенческие годы совету Евгения Абрамыча («...близ любезной укротим желаний пылких нетерпенье: мы ими счастию вредим и сокращаем наслажденье», — писал видный русский сексолог полтора века назад). Но не всегда же держаться жесткой дисциплины — и я позволяю себе расслабленно прокрутить в сознании коротенький фильм из двух серий, где довольно автобиографичный герой сначала властно подчиняет себе статную героиню, высокомерно любуясь изгибом ее спины и узлом золотых волос на затылке, и только потом позволяет себе растаять, по-младенчески припав к самой женской и круглой части ее наполненного покоем тела. Это произойдет примерно через пять часов. А что было, для сравнения, пять часов назад? Что ж, совсем немного осталось.

Дома меня встречают тишина и пустота: ни Тильды, ни Фени, ни записки какой-нибудь. Что это значит? «То самое и значить» — внятно и категорично отвечает неодушевленное пространство. Прямо в грязных ботинках бросаюсь в ванную: так и есть! Отсутствие главных признаков жизни — зубных щеток. Моя — в дорожной сумке, а где Тильдина — боюсь угадывать.

Ноги выносят меня обратно за порог и несут к кутузовской квартире: и там никого. Возвращаюсь, через час тянусь к телефону, а он сам вдруг раздражается недобрым звоном и невыносимо нейтральным, непроницаемым голосом Тильдиной матери артикулирует: с ними обеими все в порядке, они на дальней даче, завтра утром все расскажу, нет, разговор очень нетелефонный.

Дальняя дача — всегда меня пугало это сталинское словосочетание, хотя за ним стояло всего-навсего Петрово-Дальнее, где Тильдины родители имели казенную летнюю резиденцию. Мне там за два года побывать не довелось, поскольку самой Тильде принадлежала небольшая и нероскошная дачка в Краскове, где мыться летом приходилось холодной водой, но зато по ночам прохладная женская грудь была еще вкуснее, чем в Москве, а узкая кровать не позволяла отдаляться друг от друга.

Зачем же туда, в ту даль? Вопрос вертится всю ночь на языке, а я нервно верчусь в опустевшей постели. Ладно, в конце концов все живы и здоровы...

— Нет, Андрей, она отнюдь не здорова. У нее страшный нервный срыв. Тут есть своя история вопроса, которую, вероятно, следовало вам сообщить раньше, но в семье нашей все склонно к скрытности: судьба и профессия отца наложили отпечаток... Когда Тильда училась на последнем курсе, она увлеклась одним очень достойным, но, к сожалению, женатым человеком, который был на двенадцать лет ее старше и служил в МИДе. Мы тогда в срочном порядке организовали ей отвлекающую стажировку в Австрию, а того человека вскоре послали по работе на три года в Австралию. Так сказать, развела их жизнь по разным углам. Но потом роман продолжился в Москве и прервался лишь потому, что Тильдиному возлюбленному жена не давала развода, а внебрачного ребенка он заводить не хотел. Когда Тильде исполнилось уже двадцать восемь, она наконец сдалась на мои мольбы, но с ровесниками отношения у нее никак не складывались, и однажды она привела сюда аспиранта-историка, высокого, атлетичного, с черной шевелюрой, ему было тогда, если не ошибаюсь, двадцать три. Тильда всегда выглядела моложе своих лет, и они вдвоем смотрелись очень неплохо. Но вот во время первой беременности, на пятом месяце, бедная моя девочка застаёт своего кандидата в мужья в объятьях вульгарнейшей девицы — прямо вот здесь, в этой квартире. Мне больно вспоминать — скажу только, что тогда все закончилось выкидышем и очень долгим приходением Тильды в себя.

Моя теща (теща ли теперь, после всего, что произошло?) вдавливая сигарету в пепельницу, словно гася последнюю надежду на благополучное разрешение случившегося.

— И вот теперь, как нарочно, удар ровно в то же самое место. Поймите, Андрей, я за то, чтобы все у нее с вами пошло по-прежнему, но для этого потребуется время. Я знаю Тильду

немножко лучше, чем вы, и прошу вас пока не нарушать ее покой. Хотя какой там покой... Речь идет об обретении минимального равновесия. Вы не представляете, насколько слабой может быть сильная женщина, если в ней ранено то самое, откуда эта сила исходит...

— А я могу чем-то...

— Нет-нет, ничем. От вас сейчас требуется побыть мужчиной, а это значит — побыть в стороне. И от Тильды, и от Фени, которая для Тильды сейчас стала всем. Я сама стараюсь минимально на той даче появляться. Обещаю, что буду держать вас в курсе. Знаете, есть такой метод лечения: не прикасаться к ране, но среда при этом должна оставаться стерильной...

Посходив пару дней с ума, принимаюсь за дописывание диссертации. Раньше я для этого использовал Тильдину энергию, а тут вдруг почувствовал, что в производстве такого незамысловатого текста, то есть замысловатого по языку и терминологии, но достаточно простого по сути, вроде бы могу обойтись и внутренними ресурсами. Как избалованный полуторагодовалый младенец, поздно отнятый от материнской груди, перехожу на самостоятельное питание.

В Ленинской библиотеке частенько пересекаюсь с Петром Викторовичем. Разговаривать в курилке нам, некурящим, не очень комфортно, и Ранов по вечерам приглашает к себе домой, где под чаек с эклерами (восемьдесят процентов людей пишущих и при этом думающих — сладкоежки) делится самыми заветными и неподцензурными мыслями. Есть соображения, которыми можно только устно, с глазу на глаз обменяться. Например, все сейчас у нас ударились в психолингвистику, которую Ранов спокойно и беззлобно называет «лингвистикой для психов». У меня такой умственной смелости нет, но душой чувствую: в эту психолингвистическую сторону пойдешь — ничего не найдешь. Незачем науке смешивать «психе» с «лингвой» и из двух хороших вещей делать одну, да к тому же расплывчатую, держащуюся на множестве оговорок и условных соглашений...

Домой добираюсь одиннадцатым номером, как в старину пеший ход называли, вымотав все силы до доньшка, чтобы нормально спалось до утра. В прихожей — черные туфли Тильдино размера, длинный ультрамаринового цвета плащ. Вдруг она себе такой купила — успеваю допустить на полсекунды и тут же вспоминаю, что сегодня предоставил свою жилплощадь для интимной встречи полустаршему братцу. Слово «полустарший» возникло в русском языке в начале пятидесятых годов, когда я, будучи трехлеткой, таким способом назвал брата Алешку, чтобы как-то отличить его от действительно старшего — Саши. Дома посмеялись, но неологизм в рамках семейной подсистемы принял. Похожий на артиста Баталова и именем и лицом, полустарший брат мой с юных лет срывает цветы удовольствия на всех жизненных перекрестках, не прикладывая к этому никаких видимых усилий. При всем том он консерватор и моралист, убежденный, что подлинный знаток женщин в брак вступает лишь однажды и что только невинные лопухи действуют в этой сфере методом проб и ошибок. Откровенно говоря, я всегда был расположен к бабникам, считая, что их хобби — подлинная езда в незнаемое, а если человек при этом обладает наблюдательностью и умеет небанально свой донжуанский список прокомментировать, то это лучшая разновидность собеседника-мужчины. Но сегодня мне хочется поговорить о странностях любви отнюдь не из любопытства, не для развлечения. Сразу поняв мое настроение, братец уводит синюю подружку, сажает ее в такси и возвращается.

— Да, худо твое дело, — с неожиданной жесткостью реагирует он через четверть часа на мою исповедь. — Измена — это очень скверно. Настоящая женщина может простить слабость или даже распушенность, но измены, предательства не прощает. Иначе она предаст самое себя.

Я изумленно разеваю рот, но братец тут же упреждает возможные вопросы:

— Нет, на меня ты не кивай, я своей жене не изменял никогда. Изменял только любовницам.

В другой момент Алешина демагогия меня бы позабавила, можно было бы посмеяться от души над этой словесно-моралистической эквилибристикой, но теперь я с ужасом осознаю дьявольскую разницу между моей честной и убийственной глупостью и тем высшим донжуанским пилотажем, которым владеет брат. Подруга Таня имела у него место со школьных лет, задолго до того, как он встретил свою жену Лену, так что под определенным углом зрения он именно Тани изменил с Леной, но подругу не оставил и после того, как сам женился, а она обзавелась своей семьей. Не пересекать этих двух женщин друг с дружкой стоит Алеше больших усилий, это предмет постоянной заботы и ответственности. Лицо женского пола, знакомое с Леной, автоматически исключается из кандидаток на его мужское внимание. Это делает моего брата представителем редчайшего и поистине нравственного *одного процента* мужчин — в противовес тем грязным тридцати трем процентам, которые вступают в сексуальный контакт с подругами жен (самый легкий путь в этой области), а также тем трусливым шестидесяти шести процентам, что смотрят на этих подруг, да хотя бы на одну, с вожделием, прелюбодействуя в воображении, «в сердце своем», что, согласно самым авторитетным источникам (Матф., 4, 28), неумолимо ведет в геенну огненную.

— Ты пойми, это три большие разницы. Лена — жена, данная мне некоей высшей силой, чтобы я постоянно старался этой уникальной женщине соответствовать, тянулся куда-то ввысь. Танька — настоящий друг, она всегда принимает меня таким, каков я есть, и это тоже необходимо, чтобы не сорваться, как психологическая страховка она незаменима. Ну, а, к примеру, только что покинувшая нас Марина — идеальный секс-партнер, на данный момент. Три функционально разные позиции.

Тут этот экономист-кибернетик невзначай залезает в нашу лингвистическую терминологию, и будь я не в таком отчаянии, мог бы разговор поддержать, углядев здесь принцип позиционного чередования и дополнительной дистрибуции. Но когда рушится жизнь, теоретические рассуждения мало утешают.

— Все равно держись, есть еще надежда на факторы, которые мы не в состоянии принять в расчет.

Эти слова он произносит, уже надев свою нежно-зеленую курточку и клетчатую английскую кепку с полосками трех цветов, гармонично взаимодействующими на светло-коричневом фоне. У меня есть почти такая же, но только фон у нее темный и пасмурно-тревожный.

Кто вам сказал, что язык всегда прав? Язык врет, как все мы, врет и не краснеет, сохраняя розовую видимость невинности. Взять хотя бы его циничную склонность обозначать одним и тем же словом вещи не только разные, но прямо-таки противоположные. «Жизнью» у него называется и все сущее, вечное, и коротенькое брэнное существование, для каждого из нас единственное и одинокое. В интересах ясности в дальнейшем «действительность, бытие» обозначаю как Жизнь (с большой буквы), а свою собственную маленькую жизнь пишу с буквы малой. Рекомендую и другим поступить так же. Только вот у немцев возникнут проблемы в связи с их странной склонностью возвешивать прописными буквами любое существительное. Может быть, им стоит прибегнуть к различию родов и артиклей: все сущее по-прежнему называть «дас Лебен», а отдельную жизнишку именовать с женским артиклем: «ди Лебен» — как женщину, что приходит и уходит?

Вот оно, письмо. С этой убийственной формулировкой: «Я могла бы еще переступить через свою гордость, попытаться тащить на себе вас обоих. Но мне может просто не хватить сил, и поэтому я выбираю ребенка, который имеет на меня большее право».

Сколько же лет я его не перечитывал — лучше не считать! «Беду бедой лишь можно одолеть, а боль большую — только большей болью» — эти строки малоизвестного стихотворца в мою картотеку попали ввиду повышенного скопления в них губных и плавных согласных, а теперь вспоминаю их по



причине скопления в моей жизни одноприродных бед и болей, ставших уже не случайными недоразумениями, а слагаемыми судьбы.

Нет, ну к тебе-то, конечно, никаких претензий...

## IX

Знаешь, «тильда» — это название значка, при помощи которого в словарях повторяется слово или основа слова, для экономии места. Ну, например, пишется: «человек», а потом: «молодой ~», что означает «молодой человек». В своем дневнике тех лет я, играючи, именно таким способом обозначал Тильду — поскольку «Т.» вызывало бы нежелательные ассоциации с некоторыми Танями студенческих лет, а «~» — такой симпатичный иероглиф, намекающий на изгибы горизонтально расположенного женского тела. Не знал я тогда, какую неожиданную горькую правду несет в себе данный графический символ.

Оказалось, что Тильда была моей основой, что без нее я маленький и беспомощный суффикс, что вовсе я не ум | ный, а разве что «~ный»: ни с одной большой мыслью не могу справиться самостоятельно, хожу вокруг да около, обещаю сам себе вернуть науку, а точки опоры нет как нет.

С чисто внешней стороны все выглядело более или менее пристойно: после аспирантуры и защиты нашлось для меня местечко в Институте речи — обшарпанный стол со скрипучим стулом, на котором я сиживал два раза в неделю. Через пару месяцев, впрочем, у этой служебной и, по совести, давно подлежащей списанию мебели обнаружилась более законная хозяйка — вернувшаяся после годового пребывания в Польше энергичная докторица наших наук, молодая относительно своей научной степени, но почти годящаяся мне в матери, полноватая, с победительным блеском в глазах и с совершенно не академическим вырезом темно-зеленого платья на груди. Туда и угодил при нашей с ней первой встрече мой неискuschenный взгляд. Надо

сказать, что, тоскуя по Тильде, я сделался в то время своего рода анти-Гумбертом: молодежь, все эти нераспустившиеся бутончики, да и ровесницы мои меня не интересовали, тянуло спрятаться в мягкое-женское, и вот возможность, казалось бы, представилась.

Когда я наутро — не на следующее, а только через несколько утр — в ясном и неподкупном свете разглядел свою избранницу, то увидел вдруг, что мягкость и круглость были весьма обманчивы: жесткие волевые ягодички лишь слегка выступали над толстыми короткими ногами, а небольшая на поверку грудь явно отставала по размерам от живота, растянутого не столько двукратным деторождением, сколько простым обжорством. Нет, я не против наличия у женщины животика и вообще по идейным взглядам близок к Рубенсу и Кустодиеву, но животик животу рознь. Если Тильда меня в нем как бы донашивала, то эта дама могла запросто меня усвоить и переварить, превратив понятно во что. Угодив надолго в унижительную зависимость от старшей коллеги — и в морально-энергетическом, и в профессионально-деловом смыслах, я только волей случая выбрался на свободу...

Да зачем я вообще тебе это рассказываю? Ты меня, пожалуйста, прерывай в таких случаях. На уровне сознательном я понимаю, что отнюдь не все про себя надо сообщать — даже самому близкому человеку, что автобиографический мусор надлежит уносить с собою в могилу — прах к праху. Но в подсознании, где-то между печенкой и желудком, сидит в каждом из нас самовлюбленный эгоцентрик, не различающий в себе верхнюю и нижнюю половину души, не умеющий отделить свое индивидуальное от стадного (пусть интеллигентно-стадного) и готовый круглые сутки повествовать о том заурядном недоразумении, каким является его бессюжетная жизнь с ее повседневными, не имеющими никакого символического смысла подробностями.

...а все потому, что я андрофоб и филогин. Непонятно? Ну, женщинам я всегда отдаю предпочтение перед мужчинами. Когда сижу в метро на боковом месте, мне безразлично, кто

займет соседнюю позицию: если собрат по полу — вижу в этом дурное предзнаменование, а если женщина, независимо от возраста, образования и национальности, — настроение на какую-то десятую градуса поднимается. Идеи в этом нет у меня никакой, это чисто подсознательное, природное свойство. Я по крайней мере отдаю себе в нем отчет и стараюсь урезонивать себя от дискриминационных по отношению к мужчинам поступков. По-английски и по-немецки существует понятие «сексизм», то есть ущемление человеческих прав по половому признаку. Слово это применяется, естественно, к тем убежденным мужчинам, которые женщин считают неполноценными существами и потому их угнетают. Но я не раз наблюдал в своем отечестве и иной тип сексизма: когда мужик, занимающий определенную социальную позицию, старается окружать себя только бабами, с наглым цинизмом продвигает их наверх, а мужчин на дух не переносит. И дело даже не в сексе: так чаще всего ведут себя мужики стареющие, климактерические, которым не столько интим потребен, сколько беспринципное раболепие. Я недаром сказал: бабами (а не женщинами) себя окружают, поскольку для меня «баба» — существительное общего рода, бабой вполне может быть и обладатель двух точек с запятой. Ну, есть такая эпиграмма у Пушкина, да, да: то самое он так назвал. Ты меня с мысли сбила... Была мысль все-таки у меня... Короче, я так скажу: атмосфера бабства создается представителями обоих полов, когда они живут не сутью своего дела, а всякими там оттенками амбиций и обид, всеми этими «казала — мазала»... Увы, жаждущий вечной женственности довольно часто сталкивается с вечным бабством.

Жизнь тогда была еще впереди, а без этой единственной и теперь недоступной женщины она казалась невысказанной. Я только-только начал понимать вкус в них обеих. Мечты о Тильде меня не оставляли: ведь я столько пропустил в ней, столько не успел коснуться языком. Мои фантазии поначалу питались моей же самонадеянностью: мол, в конце концов она ко мне вернется,

а потом стали приобретать ретроспективный характер, то есть я участвовал в них не в качестве себя нынешнего, а в роли худого нервного юноши первой половины семидесятых годов. Сначала в этом был оттенок ужаса: что я делаю, ведь туда нет возврата! А потом, когда накопилась тяжесть лет, понял, почувствовал, что с определенного момента страстное воспоминание становится основной формой любовного переживания.

*Междунамие* — такое слово у меня придумалось однажды. Им я обозначаю взаимоотношение двух людей, независимо от пола, возраста, степени родства. Оно возникает только при участии нездешних сил — самое искреннее стремление людей к сближению может оказаться тщетным, если не получит подтверждения *оттуда*. Формы проявления такой близости разнообразны: она может сочетаться с кровным родством, любовью, супружеством, приятельством, профессиональным сотрудничеством, но ни для одной из этих земных связей она не является обязательной. Порой люди упорно дружат, сходятся, женятся, заводят общие дела и общих детей, но этого реального взаимоотношения между ними — даже за годы, за десятки лет — так и не возникает. Сущность междунамия непознаваема, его можно чувствовать применительно к себе, насчет же других остается лишь догадываться. Посему данное существительное у меня не только склоняется, но и изменяется по лицам: 1. Междунамие. 2. Междунамие. 3. Междунамие. Форма второго лица, впрочем, едва ли понадобится: если мы с вами можем говорить на столь интимные темы, значит, у нас имеется общая начальная форма.

*Междунамие* (*междунамие*) — субстанция вполне материальная. Она рождается, живет и умирает, причем эти три фазы отнюдь не совпадают с этапами существования партнеров по близости. Может быть, и после смерти двух людей их *междунамие* продолжает жить — этот вопрос для меня остается открытым. Но в чем я уверен, так это в том, что *междунамие* (*междунамие*) — единица человечности, равноценная отдель-

ной личности. Поэтому, говоря о человечестве, стоит включать в него не только совокупность индивидуумов, но и всю сумму существующих междунамий (междунамий). Хотя они, как говорится, есть не просят, а также не требуют жилплощади и не участвуют в выборах.

Если бы я начинал свою жизнь с начала, то попробовал бы, наверное, не идти против природы и не строить с людьми междунамия в тех случаях, когда это не получает утверждения в той высокой инстанции, о существовании которой мы так много говорим, читаем и спорим, — вместо того чтобы выполнять ее указания и не превышать своей земной компетенции. Хотя... Возможности сознательного регулирования здесь невелики.

Наше с Тильдой междунамие еще находилось в очень начальной стадии формирования и подверглось жесткому уничтожению. Не знаю даже, с чем это сравнить — с выкидышем или абортom. Анализировать бесполезно, поскольку вторичное зачатие такой близости невозможно, шанс на нее дается лишь однажды.

## X

Как это ни странно, наступающая старость несет с собой целый ряд преимуществ и привилегий. Вот одна из них. Слабеющая память, наткнувшись на неприятный эпизод из минувшего, тут же наводит на него темно-серое табло:

Сохранить  
Открыть  
Закреть  
Забуть

И мышка услужливо виляет хвостиком в сторону последней команды. Тусклые дни и целые пустые, холостые годы моментально улетучиваются.

А милое сердцу подпадает под следующие категории:

Сохранить как...

Сохранить все

Сохранить всё — и не как прошлое, а как настоящее.

Вот идет по московской земле самый мой любимый год — тысяча девятьсот восемьдесят четвертый. Все складывается как нельзя удачнее. Високосная зима на один день длиннее, и на самом ее финише, двадцать девятого февраля, после трех месяцев, проведенных без единого чиха, я успеваю поймать простуду, полноценную — на тридцать девять градусов. Среда в ту пору — мой присутственный день в институте, там еще не погасла борьба за дисциплину: совсем недавно Андропов помер, а дело его живет, имея шанс недели на три пережить его же брэнное тело. Нужен на всякий случай бюллетень, и я, поглядев на градусник, с полным моральным правом решаю вызвать врача на дом. В районной поликлинике телефон непробиваемо занят — попробуем воззвать к академической амбулатории? Здесь отвечают, и вполне академично при том: «Врач будет. В течение дня».

День течет, впадает в вечер. Да, это тебе не Четвертое управление, а настоящая советская медицина. Теперь, даже если мне выпишут какое-нибудь модное в этом сезоне лекарство (которое через пару-тройку лет признают вредным и снимут с производства), я просто не успею за ним сходить до закрытия аптеки. Впрочем, вред от выхода из дома в таком состоянии в любом случае превысит весьма сомнительную пользу от антибиотика — «противоожизника» в буквальном переводе с греческого. (Болезнь, немощь провоцируют антизападнические настроения и склонность к славянскому корнесловию. Доживем до старческого маразма — так вообще переобуемя в шишковские «мокроступы».)

Включаю прибор, который по-русски следовало бы назвать «дальновидом» — в здоровом состоянии прибегаю к нему крайне редко. Дистанционного пульта у меня еще нет, для переключения надо было бы вставать с постели, поэтому тупо смотрю

одну и ту же программу, пока от безрадостного занятия меня не отрывает звон «дальнозвука» — впрочем, в данном случае звук идет не издали, а буквально с двух шагов, очевидно, из ближайшего автомата:

— Вы какой номер дома назвали?

Голос у заблудившейся врачихи такой двуслойный: сверху — гортанный и нервно-взвинченный, а в глубине — грудной и ровный.

Какой номер я могу назвать кроме своего? Тем не менее начинаю оправдываться... Голос в трубке уже без стервозности обещает: «Ну, тогда буду через пару минут». Надо выйти в холл и встретить. Выбираюсь из-под одеяла. Надеть поверх майки и трусов купальный халат, который давно пора списать на тряпки? Нет, облачаюсь в джинсы и свитер, приобретая вид абсолютно здорового симулянта.

Она, естественно, меня за такого и принимает, когда я отворяю ей дверь, помогаю снять дубленку. Под белым халатом — узкое платье в серо-синюю клетку, из тех, что сейчас продаются в валютных магазинах, как бы престижное, но, по критериям Тильды, слишком стандартное, к тому же с большим процентом синтетики: тело в нем не дышит. Странное, однако, ощущение: почему-то думаю об этом теле не в третьем лице, а как о своем собственном, будто сам я обтянут этой кримпленовой кольчугой и жажду ее сбросить.

Все-таки заходит в ванную вымыть руки — показатель некоторого культурного уровня. Лечение, впрочем, назначает по тривиальному принципу: «Что у вас дома из лекарств есть?» Узнав, что ничего, великодушно вынимает какие-то таблетки из своей потертой бордовой сумки, и это требует ответной любезности с моей стороны: «Не хотите ли чаю? Или кофе?»

— А вот и хочу. Тем более что шофера мне пришлось отпустить, у его матери свадьба.

— Свадьба чья?

— Какой вы непонятливый! Шофер молодой, и мать у него нестарая, выходит замуж.

Глубокие, темно-шоколадного цвета глаза излучают любопытство, изучают меня с абсолютной бесцеремонностью. В кухню она проходит первая, усаживается как у себя дома. Лет ей, думаю, тридцать, от силы тридцать два. Вкуса немного: богатые волосы еле прибраны, в ушах ни к чему не идущая дешевая яшма, да еще не в серебре, а в мельхиоре. Пока варится кофе, разливаю коньяк. Медицина не только не возражает, но даже и нисколько не удивляется. Я тоже начинаю в нее всматриваться:

— Почему вы такая беспокойная? Есть проблемы?

— А у вас их нет?

Разбежался я ей про свои драмы рассказывать! Нет, здесь задаем вопросы мы — и вопросы точные, прицельные. Минута — и потекли горькие женские жалобы на живущих в Подольске родителей, на избалованного ими и настроенного против матери малолетнего сына, на блудного и безвольного мужа, который то и дело возвращается домой по утрам, проведя ночь даже не с дамой посторонней, а с собутыльниками мужского пола.

— Наверное, он вас просто не ценит.

— Это точно! Это прямо в десятку! Именно не ценит... Налейте еще.

Волшебным словом она явно не злоупотребляет. Хотя, кажется, моя лекарша уже перешла в режим расслабления. Не нахожу ничего лучшего, как взять врача за руку и начать тихо перебирать ее пальчики с неострыми ноготками, малиновый лак на которых уже изрядно пооблупился. Еще глоток коньяка — и ей на кухонной табуретке усидеть уже трудно, да и серо-синяя чешуя ее явно сковывает. Мы перемещаемся в комнату, я помогаю ей освободиться от платья. Она еще успевает отдать последнюю и как бы медицинскую команду: «Лягте на спину».

Самому делать ничего не приходится, а завершается все ее пронзительным рыданием. Потом она вскакивает, скрывается в ванной. Я не знаю, что и думать, поэтому ничего не думаю и не шевелюсь, стараюсь не спугнуть ароматную теплоту, еще чуть-чуть веющую надо мной.



Засыпаю буквально на минуту, а открыв глаза, вижу ее уже совершенно одетую, собранную, почти куда-то ушедшую. Она наклоняется ко мне — но всего-навсего касается лба губами:

— А температура уже нормальная.

— Новый успех отечественной медицины, — пытаюсь я острить, пока еще избегая личных глагольных форм и местоимений, минуя оппозицию «вы — ты», — может быть, стоит запатентовать такой метод лечения? Диссертацию об этом написать?

— Диссертация у меня уже написана. По андрологии, а если уж совсем точно — об импотенции. Ты с этой точки зрения никакого интереса не представляешь.

Вот так! С ходу полная фамильярность, да еще мне почему-то ставится в упрек то, что все-таки потенциально заслуживает одобрения!

— Так когда же мы теперь увидимся?

— Выздоровливайте, больной. А там посмотрим. Бюллетень я выписала на неделю. Провожать меня не надо.

Идиот, даже имени не спросил! А, вот круглый штамп на рецепте: «Врач Адельфина Григорьевна Горская». На часах всего-то без четверти девять, детское время! Ничего, никуда не денется, закрывать бюллетень ей все равно придется!

Наутро я действительно абсолютно здоров. Но тут придется писать какие-то тезисы к майскому симпозиуму и статью по поводу конференции прошлогодней. Попробовать узнать домашний телефон врача Горской? А вдруг по ее научным критериям случившееся — еще не повод для знакомства? А потом муж там вроде бы не совсем еще отвалился — одним неосторожным звонком все можно испортить... Ладно, доживем до среды!

Девяносто девять процентов мужчин в нашей стране интересуются цветами только в канун Восьмого марта. Не вступая с ними в борьбу за банальные, как кумачовые транспаранты, гвоздики и за сомнительной свежести розы, доезжаю на автобусе до Белорусского вокзала, сбоку от которого можно найти ботани-

ческие раритеты. То, что я сейчас чувствую, точнее всего можно обозначить синими восклицательными лепестками гиацинтов. С ними и отправляюсь в поликлинику. Пересидев в очереди двух почтенных маразматиков, врываюсь в кабинет и вижу там очень милую спокойную врачиху, ничего, однако, не имеющую общего с так ошеломившей меня на целую неделю нервной Адельфиной. А на дверях-то табличка «Горская» — что же, и здесь не надо верить глазам своим? «Простите, я не ошибся?» — «Не ошиблись. Горская в отпуске, с позавчерашнего дня».

Ну, гиацинтов мне, положим, не жалко и для этой эскулапши (как примерно две трети всех мужчин, испытываю повышенную возбудимость, глядя на женщин в белых или синонимичных белым — голубых, нежно-зеленых и кремовых — халатах: между прочим, это всякий раз нам привет от Танатоса, передаваемый через Эроса, тут своеобразное мemento мори, но мы об этом не задумываемся), однако Горская-то меня интересует совсем не как врач. Какого черта она отправляется в отпуск в марте? Тоже нашла время! И что мне теперь делать?

А ничего. Не живу еще три с чем-то недели, после чего с волнением заявляюсь в то же медицинское учреждение.

— Горская у нас больше не работает.

— Так почему же мне тогда сказали, что она в отпуске?

— Все правильно: уходя в отпуск, она подала заявление об уходе. А вы, собственно, кто ей?

Хотел сказать: «пациент», но вспомнил тему ее диссертации — нет, это нам не подходит. Слово «друг» теперь все чаще означает «любовник», а самозванцем быть не хочется... Дохожу, однако, до отдела кадров. Там, с удивлением на меня глядя, говорят, что Горская на новую работу переводом не оформлялась, а уволилась по сто тридцать первой статье, то есть ушла неизвестно куда. «Домашний адрес дать не можем».

Адрес-то не бином Ньютона, его я без труда получаю через Мосгорсправку, вместе с номером телефона. Но, уже набрав первую цифру, чувствую, что так просто тут не получится: не на

такую напал (или точнее сказать, не такая на меня напала) в тот роковой вечер двадцать девятого февраля.

— Адельфина Григорьевна здесь больше не живет, о ней я ничего не знаю и знать не желаю. Ей уже два года сюда никто не звонит, и вас прошу по этому номеру никогда больше не звонить.

Ну почему уж так сразу «никогда»? А вдруг я чем-то могу быть полезен этой старой гримзе — свекрови или кому-то еще в этом роде? Хотя я же не завскладом, не маклер, не дантист — какие реальные услуги может оказать лингвист? Объяснить, что правильно будет говорить не звонит, а звонит? Но без орфоэпии в жизни можно прекрасно обойтись, и мой коллега, поддепивший на эту удочку неумытую цветочницу со стопроцентной женственностью, — лишь великолепная выдумка драматурга, свежий фабульный поворот и ничего более.

Пытаюсь отвлечься от мучительного воспоминания об Адельфине, уходя в ретро, где меня пыгает своей нежностью Тильда, постепенно теряющая свои очертания, уже почти неуловимая для зрительной памяти, для осязания, вкуса и обоняния. В прошлом только боль. Вспоминаю смерть отца, мгновенную, как казнь. Осколки сумбурного детства. А что там, на самых первых его страницах?

Года три мне примерно. Я сижу в кроватке с книжкой «А что у вас?» в руках. На каждой странице — по одной строчке и по одной картинке. Добравшись до страницы «Доктор лечит нас от кори», встречаю свою первую любовь — женщину в белом халате и белой шапочке, приставляющую стетоскоп к пузу карапузика в пижамных штанишках. Сладострастно прижимаю книжку к своей груди и животу. Черно-белая иллюстрация ошеломила меня эмоциональным эффектом, который впоследствии не удастся произвести никаким «Плейбоем» и «Пентхаусам»: даром не нужны мне фотографии этих девочек, раздевшихся не для меня.

Да, вот оно — мое первое жизненное впечатление, оно же эротическое и эстетическое. Михалков тут, конечно, ни при чем,

а вот что за художник меня тогда так тронул? Неужели клюнул я на какую-нибудь дешевку?

В каталоге Ленинки роюсь в сотнях михалковских карточек. И вот эта книжка тридцать три года спустя снова у меня в руках. С немного смешным мне самому волнением добираюсь до страницы двенадцать — и нахожу там вылитую, как в народе говорят, ее, Адельфину Григорьевну Горскую, в непрофильной функции педиатра. Сходство, конечно, совершенно случайное, но нашу встречу после этого случайной не назовешь. А художник — Алексей Пахомов, не худший все-таки вариант. У врачихи высокий лоб, нервные чувственные губы, а мальчонка, сидящий на столе, так уютно разместил свои босые ступни на ее бедрах.

Заглядываю на следующую страницу: «Есть учительница в школе». Эта тоже похожа на Адельфину, только, пожалуй, менее чувственна, с таким рассудочным анфасом. Хотя... сдастся мне, что Пахомов и доктора, и учительницу рисовал с одной и той же натуры. На всякий случай заказываю ксерокопии обеих страниц и ухожу из библиотеки, оснащенный некоторой иконографией, дающей смутную надежду на обретение утраченного.

## XI

Такой апрель пропадает!

Еду в Шереметьево встречать Сьюзен. Только успеваю сжать чистенькую, душистую коллегу в дружески-товарищески-братских объятьях, как передо мною является — буквально в пяти-шести метрах — моя неуловимая врачиха в черном плаще почти до пят, с распущенными и как будто подростскими за это время каштановыми волосами. Спокойно, Сьюзен меня икскьюзнет, а эту дамочку нам ни за что упускать нельзя.

— Долго же я вас искал, вот даже сюда приехал. (Текст, конечно, так себе, но я и не претендую на лавры опытного обольстителя: что на истомившейся ожиданием душе, то и на языке.)

— Извините, но здесь какое-то недоразумение.

Так хорошо запомнившиеся шоколадные глаза смотрят сквозь меня куда-то вдаль, а даже не заметивший меня высоченный европеец уводит мою Адельфину к стеклянным дверям.

Сюзен уже даже не обижается и не иронизирует, читая черное отчаянье, отчетливо отпечатанное на моем бледном и беспомощном лице. Пока мы с ней едем домой и обмениваемся нейтральными новостями, я мысленно просчитываю историю авантюристки в белом халате. Значит так: успела за время отпуска смотаться за границу, подцепить иностранца, а бывлых партнеров и узнавать не желает. Ну, Клеопатра! Спасибо, что за этот единственный сексуальный сеанс еще и жизни не лишила!

Однако лишила. Иногда отчаянье отпускает, и как только неосторожно обрадуешься чему-то, очередной мешочек, туго набитый песком, оглушает сзади. За что бы ее возненавидеть? Стервозная бабенка, в поликлинике про нее говорили с явной антипатией, потом эта свекровь-несвекровь тоже, наверное, могла бы про нее порассказать... Нет, не то. Алешка, тот, едва услышав, как женщина обзывает другую женщину стервой, тут же спрашивает: «А не дадите ее телефончик?» Я не такой уж стерволюб, но к подобной методике поиска отношусь, в общем, с пониманием.

Слишком мало знаю об этой Адельфине, чтобы компромат собрать. Может быть, ноги у нее кривые? Не знаю, не видел. Считается, что настоящий бабник первым делом на ноги смотрит. Ну, а я, значит, носитель высоких моральных устоев. Только от этого не легче.

На первое мая Сюзен уговаривает меня пойти к одной из ее московских подруг — когда только она успевает познакомиться с таким множеством «хороших женщин»? Я к этому ее кругу ни малейшего интереса не испытываю и иногда отделяюсь переиначенной цитатой из Хармса: «Женщины, с которыми ты дружишь, на мой вкус все некрасивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины». Однако когда утро красит нежным светом, все-таки тянет к людям. Ну, поехали к твоей Лене...

От «Пионерской» идем к белой башне на Малой Филевской улице. Уже по дороге меня кое-что настораживает. Двое тружеников Кунцевского района, отбывших, по-видимому, демонстрацию на Красной площади и уже принявших на грудь, шагая в обнимку, наполняют пространство звуками: «Живет моя отрада в высоком терему...» — странное дело, не фальшивят и не вызывают ни малейшего раздражения. Затем нам навстречу откуда-то вываливает целый клан — персон восемь или девять, все как один рыжеволосые, а две маленькие девочки с косичками и веснушками еще и абсолютно тождественные внешне и одинаково одетые. Что бы это значило?

Подъезд подозрительно чистый и незагаженный. В лифте все кнопки целы, не прожжены садистскими окурками, цифры этажей ясны и четки, на стенах полное отсутствие мата и футбольно-музыкальных символов. Наконец, поднявшись на девятый, встречаемся с Леной, которой, исходя из вкусов Сьюзен, надлежало быть очкастой, кислой и безгрудой мымрой, но которая почему-то оказывается почти американской кинозвездой, смотрящей на меня свысока во всех смыслах и почему-то выдающей себя за сотрудницу химического НИИ и любительницу современной поэзии. Уже интересно!

Начинают знакомить с гостями обоего пола. Я тщательно каждого фотографирую взглядом и при помощи какого-нибудь мнемонического трюка соединяю в памяти картинку и название: терпеть не могу забывать имена и заменять их потом в разговоре неучтивыми местоимениями. Итак, вздернутый носик — это Нина, остренький подбородок — это Варя, кривая усмешка и глаза домиком, как аксанты в слове «Hélène», — это Володя: он, судя по всему, близкий друг Лены, да, со вкусом у нее не очень...

— А вот наша Деля.

Темные глаза, нервные губы, живая грудь под белым шелком. Тут, как говорится, он побледнел и бросился к ее ногам. Но это только в душе, а снаружи я, в отместку за шереметьевскую обиду, решаю притвориться незнакомым.

Немного о самой компании и вообще о компаниях того времени. Бесплезно искать в литературе-искусстве хоть сколько-либо адекватное изображение такого феномена, как средне-интеллигентская компания 60—80-х годов уходящего столетия. «Московские кухни» Юлия Кима? Ну нет, у него там диссидентская элита, своего рода аристократия. Я же говорю о людях принципиально безвестных, людях, для которых общение не было формой общественной деятельности. Но в то же время они сходились друг с другом не только на почве водки-селетки, не только по поводу октябрей и маев, новоселий и дней рождений. В беллетристике, театре и кино эта жизненная сфера изображалась сначала слишком пресно: редуцировались политически опасные разговоры и естественные отношения полов. Потом, наоборот, писатели и режиссеры переборщили в смысле пряности: получается, что люди сходились для пьяных речей о советской власти с постепенным переходом к истерическому мордобою и групповому сексу с апокалиптическими стопами.

Нет, не так все это было. То есть, конечно, и секс был, и алкоголь — как во все времена во всем мире. Кто-то выпадал из общего разговора в туалет и в экстазе обнимался с унитазом, кто-то с кем-то обнимался на диване, нарушая ход дискуссии о «Сталкере», а потом и вообще бесстыдно скрывался для завершения интима в соседней комнате. Дело житейское, но доминанта компании как таковой была не житейская, а — не побоюсь этого слова — духовная. Обменивались не только самиздатом и тамиздатом, не только политическими слухами и околорудожественными сплетнями — обменивались маленькими единицами духовности, невеликими грошиками, без которых невозможно и существование гениальных капиталов великих одинок.

В такой компании просто невозможно было представить присутствие духовного миллионера, ВИПа из перворазрядных поэтов, бардов или актеров. Тут какой-нибудь свой Володя с гитарой успешно замещал хоть Высоцкого, хоть Галича, хоть Окуджаву. А если один из этих богов вдруг слетел бы с небес

в подобную компанию, он по неосторожности просто спалил бы своим огнем и дом, и обитателей — как Зевс бедняжку Семелу.

Что касается меня самого, то протыриваться в элитарные компании я не желал из гордости, а к компаниям «простым», честно говоря, относился с дистанционным высокомерием. Их темпоритмы меня не устраивали: жуют полчаса подробности какого-нибудь поэтического концерта или андеграундных домашних чтений. А уж если кто из них недавно сподобился после вечера в ЦДЛ подойти к Ахмадулиной, выразить свой восторг и услышать в ответ дежурно-театральную пошлость — тот становился на целый вечер национальным героем. Почему-то я в таких случаях ставил себя на место поэтессы и воображал, как же ей осточертели эти «сыры» и «сырихи», как смешны и нелепы их комплименты, когда ей настойчиво хочется совсем другого... Теперь я, пожалуй, на все это смотрю иначе: бессмертная часть Ахмадулиной существовала именно в колебаниях душевных струн Вари и Нины, а на посольских приемах с коктейлями и амбициозным слово- и славообменом присутствовал лишь призрачный двойник, с ним же имела дело и околотитературная обслуга, столь искушенная в домашней жизни поэтессы и ее достаточно тривиальных вредных привычках.

То, что мне казалось скучноватым жеванием, на самом деле было правильным, тщательным пережевыванием духовной пищи. Сотворенное с налета, достигнутое мгновенной догадкой ума подлежит потом обстоятельному рассоливанию, «медленному чтению», разговорам с повторами и возвращениями. Эта душевная медлительность сродни любовной истоме. Оказывается, я просто не умел ловить кайф в такой чистейшей и невиннейшей «групповухе». Где вы, Варя и Нина? Как хочется схватить по пути бутылку «Фетяски» и помчаться к вам в недавнее, но уже недоступное прошлое!

Вернемся, однако, в Past Continuous, в прошлое продолжающееся. За столом, оказавшись между сообразительной хозяйкой и вновь обретенной неуловимой врачом, я продолжаю на послед-



нюю обижаться, старательно уклоняюсь влево, адресуя свои пошлые мадригалы Лене. Тут появляется пара новых гостей, в структуру застолья внедряются кухонные табуретки, в результате чего моя близость с Делей становится довольно интимной. Бедро к бедру — тут уже для молчания просто не остается места.

— Может быть, ты наконец мне что-то скажешь или считаешь неприличным со мной даже разговаривать?

Напоминаю про Шереметьево. Деля заливается довольно громким, не лишенным вульгарности хохотом:

— Да это же была Ангелина, моя сестра. Она преподает русский язык в Клагенфурте.

Вот оно что! Есть учительница в школе, а от кори нас лечит ее близнец! Черт возьми, если бы я простейшим образом обратился к даме в аэропорту по имени и отчеству, недоразумение тут же бы прояснилось. Прав был Александр Александрович Реформатский, который никогда не говорил просто «Здравствуйте!», а всегда добавлял: «Иван Иванович» или там «Марья Ивановна». Вежливость, помимо прочего, способствует коммуникативной ясности.

Для дальнейшего выяснения отношений выбираемся в коридор, потом на лестничную площадку. Она начинает нервно курить, а я продолжаю допрос:

— И все-таки почему ты исчезла? Ведь если бы я сегодня случайно здесь не оказался...

— То ни с чем бы и остался. А так у тебя снова появляется маленький шанс.

Столь нагло со мной еще никто не разговаривал. Вербальные аргументы у меня исчерпаны, и мы начинаем целоваться. Это вновь, поскольку при первой встрече такого не было.

— Коньяк у тебя, конечно, наготове?

— А вот и нет: только водка.

— А я-то думала, что ты ждешь меня в любую минуту, смотришь в окно...

Действительно ждал, но не признаюсь ей ни за что. И «Греми» недопитый, как драгоценную реликвию, храню: граммов сто пятьдесят в той бутылке еще осталось.

Ненадолго возвращаемся в компанию. Сьюзен, тщательно пряча изумление и любопытство, тактично спрашивает:

— Мне, наверное, сегодня лучше переспать у Лены?

— Переночевать, Сьюзен, — так будет правильнее по-русски. А переспать — это я кое с кем сегодня попытаюсь, хотя ни в чем не уверен: возможны любые выкрутасы.

Во мне или в ней причина этого детского трепета? На тридцать седьмом году жизни вроде пора уже охолонуть, поспокойнее вести себя в подобных ситуациях. Что, собственно, может такого из ряда вон произойти? Ну, упадут на стул ее белая кофточка и клетчатая юбка, ну коснусь я губами «изумительных изюминок», которые по законам природы расправятся мне в ответ, как расправились бы и другому, третьему? Принципиальной новизной все это не обладает, так стоит ли дергаться?

Однако попытка успокоительного цинизма не удастся. Я почти ничего не знаю о раскрепощенной врачихе, которую держу за руку, как школьник школьницу, но между ней и мною явно имеет место нечто третье, ни каждому из нас по отдельности, ни нам обоим не тождественное. Вот это место, это *междунамие*, и есть наиболее интересный для меня текст, прочесть который я хочу любой ценой. Не мы ведь его пишем.

Пока она приканчивает коньяк имени нашей первой встречи, я вынимаю из стола ксерокопию пахомовской иллюстрации и молча ей протягиваю.

— Не может быть! Это точно я! Какого года книга? Нет, тогда я еще только собиралась родиться. А ты уже тогда имелся в наличии? Этот карапузик на тебя очень похож... А учительница — вылитая Гелька, ха-ха-ха!

Когда сойдемся поближе, попробую ей тактично внушить, что смех не должен быть таким неистовым, что его стоит редуцировать, приглушать. Хотя, наверное, это элементарная реакция на алкоголь, к тому же врачи страшно устают от маски серьезности, которую им приходится носить на лице постоянно.

Странное дело, но никакого ощущения дистанции. Эту ползнакомую — да что там, на одну шестнадцатую или даже на одну тридцать вторую знакомую женщину я почему-то чувствую частью своего тела и готов ее вобрать в себя — со всей дурью, со всем набором еще неизвестных мне нравственных и физических недостатков. И мне мало повторения той стремительной близости, что уже обрушивалась на меня два месяца назад. Почему главный ваятель дал нашим телам так мало точек возможного соприкосновения: ладони, губы, груди, животы — а далее уже всё, но тем не менее не везде? Пока я переживаю это противоречие, она вновь берет надо мной верх. Глаза закрыты, губы пульсируют, живой и тонкий аромат тела с трудом пробивается сквозь резкие, случайные, без толку выбранные (или скорее всего каким-нибудь пациентом подаренные) французские духи.

Мне хочется как-то ответить на оказанную благосклонность, и я пытаюсь заполнить свои пустые ладони все еще новыми для меня трепещущими округлостями. И этим все порчу.

— Ну что ты дергаешься?! — Деля, совершенно отрезавшая во всех смыслах, отделяется от меня, шлепает по руке, вскакивает с кровати и начинает сердито, с вызовом одеваться.

— Ну тебя! Я ухожу!

Моя гордость не успевает отреагировать на нанесенный ей ущерб, поскольку терпение уже лопнуло. Ну ее к чертовой и более чем к чертовой матери!

Телефон будит меня непонятно даже через какой промежуток времени. Наверное, все-таки уже утро.

— Ладно, я больше не сержусь. И ты не обижайся: все-таки я тебя, наверное, люблю. Ну, что ты молчишь? Почему ты меня снова в гости не приглашаешь?

— Приглашаю, но не в гости. Кодекс гостя тебе явно недоступен.

— А не в гости, значит, все-таки ждешь?

— Скажи лучше, откуда ты мой номер знаешь? Неужели запомнила с того, медицинского визита?

— Конечно. Я и тебя самого запомнила — на всякий случай.

## ХII

Деля органически неспособна к одиночеству: уже в материнском чреве она пребывала в нераздельном единстве с Ангелиной, которая лет двадцать с хвостиком оставалась для нее самым близким существом, пока не отдалилась чисто пространственно, выйдя замуж в Каринтию. Со страху Деля забралась в первые попавшиеся узы Гименя: ее бывший одноклассник, физикохимик или химикофизик, судя по всему, просто не справился с ролью, надорвался от столь психологически напряженной близости и в конце концов нашел себе что-то поспокойнее. Вакансия близнеца осталась свободной, и в это магнитное поле суждено было угодить мне.

В плане вкусовом и гедонистическом следует отметить, что любовь близнеца к близнецу — ощущение весьма специфическое: это двадцать четыре часа интенсивного интима ежедневно. По сути дела здесь нейтрализовано различие между сексуальным и всеми иными видами контакта. Не думаю, что такая жизнь понравилась бы всем, многим она, наверное, ни с какого боку не подошла бы, но существует все-таки такая игра природы.

Мы просыпаемся всегда синхронно, все четыре ока открываются в одно мгновение. Удивленно смотрим друг на друга: каждый из нас за ночь немного перестроился, как стеклышки в калейдоскопе, — вроде бы тот же набор элементов, но сочетание другое. Деля обычно встает первой, а я еще несколько минут занимаюсь как бы раздвоением личности. Оставаясь в постели, я одновременно захожу в туалет, совершаю некоторые действия не по-мужски — не стоя, а сидя. Прodelываю в коридоре несколько гимнастических экзерсисов, призванных законсервировать талию и стабилизировать вес. Выйдя из душа, смотрю в зеркало, с профессиональной бдительностью ощупываю

грудь — маммологический контроль. Раздвоение личности, я сказал? Нет, скорее удвоение! Ведь сам я со своими мужскими желаниями тоже никуда не деваюсь...

— Ну вот, теперь я опоздаю из-за тебя.

— Да? А мне казалось, что это я, идя навстречу пожеланиям трудящихся...

— Трудящиеся желают трудиться, а вот трепологи и бездельники... Ой, десять минут десятого! Петров уже вышел, звонить ему бесполезно. Это будет ужас, если ему придется ждать.

— Я тебя ждал всю жизнь, и то ничего. Не слишком ли много внимания Петрову? Я тоже могу какую-нибудь блоху Петрову к себе позвать для научного диспута.

— Попробуй только, убью!

— А сама?

— Квод лицет Йови, нон лицет бови. Понял?

Да, для столь оригинальной аргументации хватает даже медицинского знания латыни: в ихних учебниках полсотни афоризмов имеется. Но странное дело: в глубине души никакой ревности. Она, Деля, настолько моя, что нет чувства собственности. Собственность на себя, на свое тело — абсурд.

И вот я до вечера ухожу от себя — ею. Натягиваю на свое тело тугое платье, приподнимаюсь на высоких каблуках, пахну «Диореллой». И даже люблю себя — кажется, впервые в жизни.

Все гимны одиночеству, уединению — хорошая мина при плохой игре. «Одиночество — общий удел» — кто это сказал, Сологуб, что ли? Нет, одиночество плодотворно только для гениев, составляющих статистически ничтожный процент или даже промилле. А для нашего брата, простого нормального человека желательна соединенность с другими. Это я уже не о семье — о школе. Научной. Ранов — самый отважный одиночка из всех, кого я знаю, но он чувствует себя звеном в цепи фортунаатовской школы, его индивидуальная смелость укоренена в столетней традиции. Если бы мне удалось пропустить че-

рез себя чужое электричество, отвечать на вопросы, заданные до меня, задавать свои и ждать ответов... А так — занимаюсь каким-то самоопылением, не ощущая никаких результатов. Чеховский герой, находясь в добровольной изоляции, просил для подтверждения правильности своих писаний выстрелить в сад из ружья. Услышать такой выстрел хотя бы раз в жизни — огромная роскошь. О ней я уже и не мечтаю.

Деля куда счастливее меня. У нее в науке школа есть, и она в ней комфортно чувствует себя, как школьница, имеющая свое твердо закрепленное место, свою парту. Проблема импотенции неисчерпаема, никто не берется решить ее с маху. Есть там несколько конкурирующих авторитетов, в том числе шестидесятилетный профессор и «настоящий мужчина» — такой тип во мне вызывает неизменное раздражение. Слишком уверенные в себе специалисты в большинстве случаев оказываются шарлатанами. Впрочем, не берусь судить о законах языка ирокезского, то бишь андрологии. А раздражение Петров вызывает у меня потому, что именно с ним мне приходится делиться Делей — причем нередко в самые не подходящие для этого моменты. Телефонные их разговоры могут длиться часами, причем, как мне иногда кажется, за мой энергетический счет. Иногда я прямо выражаю Деле свои претензии. Она их принимает:

— Выпила из тебя немного крови? Но ты сейчас выпьешь из меня ровно столько же.

Действительно, энергетический баланс между нами всегда регулируется сам собой: ни за одной из сторон неоплаченных долгов не остается. Неужели неподдельная взаимная любовь всегда имеет столь эмпирически-материальную основу?

Впрочем, основа есть у всего подлинного и ненадуманного. А материальная, моральная — кто возьмется различить? Твердую границу между материей и духом пытались проводить только однозначно-аморальные циники вроде Карла Маркса.

Но есть немцы, мыслящие более тонко. Вот, к примеру, Карл Кальтенбах, автор статьи «Реальные условия счастья», которую я недавно прочел в одном «цайтшрифте». Все счастливые семьи счастливы по-разному, утверждает Кальтенбах и предлагает свою типологию благополучных пар, исходя из двух факторов: витальности и самоотверженности. Всех потенциальных партнеров он подразделяет на витальных (В) и хилых (Х), а также на эгоистов (Э) и альтруистов (А). Накладывая эти две антитезы друг на друга, он получает четыре разновидности: 1) витальный эгоист (ВЭ); 2) витальный альтруист (ВА); 3) хилый эгоист (ХЭ); 4) хилый альтруист (ХА).

Возможны следующие любовно-брачные сочетания:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. ВЭ + ВЭ | 6. ВЭ + ХЭ  |
| 2. ВА + ВА | 7. ВЭ + ХА  |
| 3. ХЭ + ХЭ | 8. ВА + ХЭ  |
| 4. ХА + ХА | 9. ВА + ХА  |
| 5. ВЭ + ВА | 10. ХЭ + ХА |

Из всех перечисленных позиций только третья исключает возможность счастья: два хилых эгоиста никак не могут создать общее любовное пространство. Затем Кальтенбах описывает девять моделей счастья, присваивая каждой особое наименование и иллюстрируя ее примерами реальных знаменитостей, фамилии которых, впрочем, не всегда известны русскому уху и глазу. Приведу лишь некоторые характеристики счастливых союзов: «компромисс эгоизмов на основе общих масштабных интересов» (№ 1), совместная борьба с жестоким миром и бесконечное сочувствие к слабостям друг друга (№ 4), социально активный партнер ищет дома «тихую пристань», а другой партнер удачно этим пользуется (№ 6).

Мое внимание, естественно, привлекла позиция за номером два — сочетание двух витальных альтруистов. Кальтенбах присвоил этой модели греческое название «Адельфой», перевода

его в скобках для немцев словом «Гешвистер»; по-русски такой лексемы нет, чтобы одним словом передавалось значение «брат и сестра». Эта модель, пишет ученый, встречается исключительно редко, а среди людей прославленных и очень преуспевающих почти не зафиксирована. Дело в том, что витальный альтруист — лакомый кусок для витального эгоиста, который зорко высматривает такую добычу с целью создания выгоднейшего союза по модели № 5: на этом уровне почти всех витальных альтруистов обоего пола расхватывают. Даже у хилых эгоистов иногда хватает ума сообразить, что почем, и они нередко концентрируют все свои силенки, чтобы заполучить ВА и всю жизнь им питаться, — отсюда не столь уж раритетная модель № 8 (тем более что природа любит соединять абсолютные противоположности). Мудрейшие из витальных альтруистов, однако, выбирают в партнеры неброского, но преданного и верного ХА и живут с ним по модели № 9 до глубокой старости — это несчастные, но самые прочные браки, почти на сто процентов застрахованные от разрывов.

Когда же ВА встречается с ВА, они сразу чувствуют родственность натур, но как бы стесняются ее: в любовной близости им видится что-то кровосмесительное. ВА и ВА могут годами лелеять взаимную симпатию в тайне от самих себя, пользоваться любыми предложениями, чтобы отдать свою любовь не друг другу, а кому-то еще, тому третьему (ВЭ, ХА или ХЭ), который в ней якобы больше нуждается. Однако, если препятствий нет — их теснейшая близость предрешена. Стоит двум витальным альтруистам на час остаться наедине — и между ними вспыхнет роман. Взаимодействие партнеров будет исключительно глубоким и интенсивным, брак — упоительно-счастливым, что, однако, не гарантирует прочности, поскольку обе стороны полны опасной открытости миру.

С пресловутым Петровым Деся продолжает видеться и после своей благополучной защиты: несомненно, их объединяет нечто большее, чем импотенция. К каждой встрече она готовится не



меньше двух дней. Начинает со старательного переписывания собственных «наработок» (противное слово, но уже укоренившееся), которые потом растворятся в монографиях мэтра (выдаст, сукин сын, как говорится, «шутя за свое», а потом ведь отнюдь не общим памятником будет бородатый монумент во дворе институтской клиники), и заканчивает мытьем длинных каштановых волос и подбриванием подмышек: этот ритуал женщины обыкновенно приурочивают к самым ответственным событиям и свиданиям.

— Эта кофточка сюда не подходит? Или юбку серую лучше одеть?

— Надеть — ты хочешь сказать? По-моему, никакой разницы. И вообще не понимаю, зачем женщины меняют туалеты ежедневно. Они это делают друг для друга, а не для мужчин, которые их ухищрений просто не замечают. А поскольку у русских женщин денег поменьше, чем у английской принцессы, то при таком стремлении к разнообразию им приходится дешевку носить, и старье выдавать за новое. Вот если бы нашлась среди вас такая смелая женщина, которая день за днем ходила бы в одной и той же одежде! Это был бы новаторский ход: мужчины, полагаю, тут же вокруг нее забегали бы, просто подсознательно бы на них подействовало такое постоянство. Повтор — сильнейший прием.

— А, что бы ты понимал!

Никогда, даже в шутку не спрашиваю Делю о характере ее близости с Петровым, да и наедине с собой задаваться этим вопросом не хочу. Даже если... Ну, даже если — это, в общем-то пустяк по сравнению с ее душевной и профессиональной ему преданностью. И потом мне не может быть плохо от того, от чего моему близнецу хорошо. Оказывается, я не эгоцентрик. Жизнь раньше навязывала мне такое амплуа, но она же сместила мой центр вбок, вывела его за пределы моего тела и разместила в точке слияния с другим телом, теперь тоже моим.

Деля, напротив, меня мордует (не от латинского ли «мордере», то есть «кусать», это словечко — или все-таки от нашей «морды»?) беспричинной ревностью постоянно. Причем поводом для моральных укусов (иногда и физических, с оставлением следа зубов на теле жертвы) служит такая невинная сфера, как моя преподавательская работа. В джазе только девушки — таков неминуемый удел всех филологических вузов. Случается, что эти девушки мне звонят, чтобы передать листочки со своими каракулями, а до появления Дели они нередко заглядывали ко мне домой. Готов поклясться, что никогда ни в малейшей степени не склонялся к тому, что мои немецкие коллеги называют «техтель-мехтель» (очевидно, по-нашему это будет «шуры-муры»). И не по причине высоких нравственных устоев, а ввиду природы своей. Но Деле объяснить это невозможно. «Не в тебе дело, а в них. Все студентки влюбляются в преподавателей, даже в самых невзрачных и плюгавых». Как-то едем мы в троллейбусе, и вдруг Деля дергает меня за рукав: «Посмотри, посмотри на этого человека». Вижу из окна стоящего у перехода ничем не примечательного субъекта — лысоватого, сутулого, с совершенно бесполом и бездуховным выражением лица, да еще к тому же с бабьей болоньевой сумкой в руках. А Деля победоносно: «И вот в это я была на втором курсе влюблена. Он у нас читал гистологию». Довольно парадоксальная аргументация: она влюблялась в зачуханного доцента, а отвечать теперь должен я.

И что опять-таки парадоксально — никакой ревности к Тильде, а уж здесь-то все основания имеются. В подходящую минуту рассказываю Деле о своей трагической молодости, показываю немногочисленные сохранившиеся фотографии. Увидев стремительную осанку Тильды, схваченной кадром в полный рост, Деля на секунду поджимает губки: «Красивая... Даже удивительно, что ты...», но потом мгновенно перестраивается на пристальную, детализированную заинтересованность, как будто готовится исполнить роль той женщины, о которой идет речь: «Мне через год будет столько же... А как она одевалась? А с едой у нее были проблемы?» Мое повествование прерывается несколькими

минутами молчания, то есть не совсем молчания, а я бы сказал, бессловесности. Мечты о Тильде, мои десятилетние ретроспективно-болезненные фантазии вдруг находят своеобразную реализацию. «Палимпсест», — успеваю подумать...

Стоило, однако, разделить мои рассказы если не на тысячу и одну ночь, то хотя бы на две. Я же, не утерпев, выкладываю все вплоть до разрыва, не умалчивая, естественно, и о причине (поводе?), то есть о том достойном сожаления эпизоде, когда мною овладела пресловутая Ира. Деля приходит в бешеное негодование:

— Да ты просто проститут! Ты мне противен!

Опять уйдет? Да нет, теперь ей и уйти-то попросту некуда. С матерью поссорилась, с сыном встречаться ей приходилось уже здесь, у меня. Никуда не денется!

Да и не намеревается она никуда деваться. Сидя у телевизора с яблоком в руках и отрезая ножом тонкую дольку, вдруг спрашивает:

— Я что-то не пойму, ты жениться на мне собираешься?

Опять я не подумал об этом! Да еще как-то бестолково начинаю оправдываться:

— Да я думал, что мы и так... А потом ты вроде бы...

— Что «вроде бы»? Ты считаешь, что если я формально замужем, то можно обо мне и не заботиться? Вот видишь, даже предложение я тебе должна делать первая!

Действительно, как же это я не сообразил! Женщины ведь так любят, когда им предлагают выйти замуж. Где-то я читал недавно, что в четырех случаях из пяти инициатором брака выступает «представитель сильного пола» (буквально так было написано). Очень сомневаюсь! Это, наверное, сведения 1913 года. Впрочем, если под «сильным полом» имеют в виду женщин — то все правильно. Мужчины же нынче способны осилить никак не больше одной пятой части столь смелых и рискованных решений. Черт, и я не воспользовался столь редкой и эффектной возможностью! Тем более что просто не представляю своего кровообращения и своей нервной системы вне связи с этим чуть

полноватым, горяче-холодным и подвижным телом, с этой заводной, доверчивой и обидчивой душой. В промежутке между браками я находил, как многие мужчины, известное развлечение в том, чтобы в ходе вечерних встреч открывать по снятии одежд нечто слепяще-новое, но вскоре эти «киндер-сюрпризы» начали повторяться. Нет, я не бабник, я другой, созданный природой для долгой и прочной привязанности.

Но вот этот Петров — иногда мне казалось, что Деля ждет от него matrimониальных деклараций не менее страстно, чем от меня. Она женщина порядочная и имплицитно подразумевает, что на ней должны жениться все, кто в той или иной степени с ней связан.

За пару месяцев удастся уладить формальности и разводные, и брачные. Почти не изменившаяся за пятнадцать лет загосовская темно-синяя матрона именем Киевского района снова объявляет меня мужем тридцатитрехлетней, помолодевшей от радости женщины. Интересно: узнала ли регистраторша меня? Хотя что за вздор — у нее таких женихов тысячи, и не так уж редки среди них «дважды мужа».

После предельно редуцированной свадьбы (свидетелей неприлично было бы не пригласить в близлежащий ресторан «Хрустальный», где фужеры отнюдь не хрустальные, но хотя бы скатерть белая и ничем не залита, где, как и везде, можно без риска нацелиться разве что на икру и на котлету по-киевски — в Киеве не был никогда: едят ли там такие? — с десертом, как и всюду, скверно: мороженое напоминает весенний снег и не на вид, а на вкус, а кофе... самое приличное, с чем его можно сравнить, — это застоявшаяся в трубах и наконец хлынувшая из крана после трехнедельного ремонта теплосети грязная горячая вода — после десерта и обмена оревуарами брачная ночь.

— Может быть, наконец проявишь инициативу? Имеешь ведь законное право. Какой ты все-таки робкий...

Но я уже умею не обижаться, а извлекать из этих колкостей дополнительное удовольствие...

— Слушай, как-то действительно все по-другому... Мне даже мысль такая пришла: может быть, для женщин брак — это феномен не моральный, не социальный, а физиологический? Может быть, какой-нибудь гормон или там фермент брачный формируется под звуки Мендельсона? И все разговоры о самостоятельности и равноправии — ерунда? Что считает медицина по этому поводу?

— Это не моя специальность. Ты же знаешь: я занимаюсь только мужчинами. В тебе ничего нового не нахожу, но люблю в принципе быть замужем. И вообще я уже сплю.

### ХIII

А дочке моей теперь тринадцать. Она не помнит ни меня, ни этих стен, ни этого паркета, по которому сделала свои первые потешные шажки. Уже больше десяти лет бедняжку таскают по границам, что, на мой взгляд, отнюдь не лучший вариант образования и воспитания. А мне пока даже до Болгарии добраться не удалось... Ну, давай родим толстенькую румяную девочку, я сам буду с ней нянчиться, гулять, возить ее в колясочке по парку Победы, вступая в дипломатичные разговоры с одетыми в синие, кремовые и зеленоватые плащи водительницами других колясок и осторожно догадываясь, кем они приходятся своим пассажирам — мамами или бабушками.

После того как в ответ на несколько зарубежных приглашений, адресованных мне лично, в приятные дальние странствия отправились институтские начальники, стараюсь на болезненную тему не думать. К тому же вероятность того, что я попаду на международную конференцию, которая будет проводиться в стране, где обитают сейчас Тильда и Феня, равна примерно одной тысячной доле процента. А вот Деся едет на какой-то симпозиум по своей науке в Голландию. Видимо, там мужички перестарались в прогулках по переулкам с застекленными полудетскими девушками, и импотенция сделалась национальной про-

блемой. Приглашающая сторона оплачивает нашим андрологам и полет на КЛМ, и гостиницу, кормит, поит и вообще все-все (что входит во «все-все», я спрашивать не стал, но, надеюсь, все же в рамках нашего «облико морале»).

Среди реликвий, оставшихся у меня от жизни с Тильдой, — бумажка федерального резерва с президентом Грантом на серой стороне и зданием Капитолия — на стороне зеленой. Завалаясь случайно в письменном столе, о Тильде напоминает весьма опосредованным образом. Наверное, материальная значимость банкноты все же выше моральной.

— Вот, возьми и спрячь в лифчик, как это делают все русские женщины. Купишь себе полный гардероб на амстердамской барахолке.

— Так ты еще и валютчик! Какая прелесть! Растешь в моих глазах.

— А пресловутый Петров, конечно, тоже летит?

— «Тоже» — это я, а без пресловутого Петрова этот симпозиум просто не имел бы смысла. Ему там вручат специальную медаль.

Любопытно, какой символ может быть изображен на медали «За победу над импотенцией»? Вслух этого вопроса не задаю, поскольку в смешном положении могу оказаться только я сам. В детстве я читал про сиамских близнецов, что оба они были женаты и имели детей. Наверное, в минуты интима второй тактично закрывал глаза. Никогда не думал, что можно угодить в столь неловкое положение не по капризу природы, а по прихоти судьбы. Мне все время приходится закрывать глаза на живущего в нашей жизни Петрова. Деля слишком ему принадлежит — пусть душой, да еще и не всей (надеюсь, контрольный пакет акций все же у меня в левом нагрудном кармане), — но в наши уже неюные годы именно душевная близость постепенно становится смыслом жизни и полем боя.

Так уж получилось, что за продуктами всегда хожу я: все-таки это грузоподъемное неженское дело, к тому же я свободнее, чем Деля, наконец, просто люблю шляться всегда и везде, в том

числе и по магазинам. Естественно, я не упускаю возможности ухватить какой-нибудь немудреный деликатес для Дели и, что почти противоестественно, иногда прихватываю еще и то, чем она склонна баловать своего учителя.

— Вот тебе твой инжир, а вот эти финики убери скорее с моих глаз.

— Зайчик мой, ты запомнил, кто у нас любит финики! Вот умница! Ну, моя благодарность просто не будет знать границ. Сейчас или подождем до вечера?

— Я-то все помню. А вот знаешь, что, например, люблю я?

— Конечно, знаю. Ты любишь меня.

Крыть нечем. Но если бы издевательство на этом заканчивалось, а то ведь:

— Не переживай, зайчик. Очень может быть, что следующим после Петрова у меня будешь ты.

— Следующим кем?!

Имитируя искреннее негодование, я на самом деле отлично понимаю кем. Мужчиной Моей Мечты — вот как примерно это называется. Есть такая категория женского сознания. Причем если «девушка моей мечты» — всего-навсего эвфемизм мужских сексуальных фантазий или желательного для употребления физического типа женщины, то Мужчина Мечты может быть старым, уродливым, асексуальным, полу- или совсем незнакомым — важно, чтобы он персонифицировал «мечту» не только в современном смысле слова (греза, упование), но и в пушкинском («мечтам невольная преданность»), то есть «мечта» = мысль, идея.

«Идея» недаром женского рода. Мужчины только делают вид, что служат какой-то идее: фактически же они либо работают с идеями как профессионалы, изучая старые и изготавливая новые (если говорить о философах и ученых), либо цинично спекулируют разнообразными чужими идеями для прикрытия своих истинных целей (все без исключения политики). А среди женщин встречаются отдельные существа, в крови которых содержится некоторое идейное вещество, вызывающее особен-

ную страсть, которую не могут утолить ни секс, ни брак, ни материнство. Идея эта проецируется на определенного мужчину: он может быть политиком, ученым, художником, дельцом, вором — кем угодно. Вот Тильда хотела из меня изготовить мужчину своей мечты, но то ли не получилось, то ли терпения у нее не хватило. Может быть, есть какая-нибудь юная дурочка в лингвистических кругах, творящая и из меня свой маленький культик. Нашлась же одна из провинции, что, подойдя ко мне на какой-то скучнейшей конференции, начала со слов: «Разрешите вас потрогать» (то есть убедиться, что автор таких-то работ существует в реальности). И девушка была симпатичная на вид, но меня она этими словами совершенно не тронула. Подальше от идейности — лучше я буду зайчиком, близнецом, частью тела.

#### XIV

Проводив Делю в полет, я тут же приступаю к своим похождениям. Дело в том, что впервые за двенадцать лет на кутузовскую квартиру возвращаются ее истинные хозяева. Все это время телефон там либо молчал, либо обнаруживал чужие голоса. Иногда я набирался наглости и изображал старого знакомого Матильды Павловны, но всякий раз узнавал, что сюда она в обозримом времени не собирается. А вот буквально неделю назад вежливый дальний родственник Тильдиных родителей сказал, что переезжает, уступая жилплощадь законным владельцам.

Трубку там пока никто не брал, но, боюсь, это было бы для меня слишком болезненно — услышать голос Тильды или тем более Фени (какой он, ее голос — такой же глубокий и грудной, как у матери, или низковато-басовитый, каким был в младенчестве?). Я предпочел бы увидеть их — вместе или по отдельности — случайно возле дома. С этой детективной целью облачаюсь в длинный черный югославский плащ (петли с пуговицами спрятаны внутри, что создает ощущение психологической защи-



щенности) и отправляюсь гулять на противоположную сторону проспекта.

Не один я такой красивый-загадочный в плаще. Бродят тут вечерней порой другие романтики: дом-то не простой, а режимный. Я уже начал вызывать интерес и недоумение, а они люди тактичные, к незнакомым не пристают с вопросами, предпочитая отвезти кого надо куда надо и там уж побеседовать со всей откровенностью. На третий вечер моего дежурства, аккурат в момент печального стояния у заветного подъезда, останавливается передо мной черная «Волга». Догулялся, говорю себе, теперь покатаешься. Но на тротуаре показываются сначала черные лакированные дамские туфельки тридцать третьего размера, а вслед за ними миниатюрная в коротком белом пальто не старушка, а женщина лет семидесяти. Мать Тильды. Меня увидела сразу — и никаких изумлений, как будто я тут ее по договоренности встречаю.

Не знал, что так больно будет подниматься на этом лифте, входить в огромную прихожую. Хорошо, что следов прежней жизни здесь немного: все лары с пенатами перекечевали в зарубежное пространство. Узнаю от экс-тещи основные события второй половины семидесятых — первой половины восьмидесятых годов.

— Одно могу сказать, Андрей, вам страшно не повезло. Я много повидала всякого, но не припомню другого такого случая невезения в личной жизни.

Называется утешила! Но, как ни странно, от этих хирургически беспощадных слов становится если не легче, то по крайней мере свободнее. Теперь я могу больше выспросить, больше вытянуть вожаделенных подробностей.

Тильда с мужем и с Феней в Вене и будут там, по-видимому, до самого выхода мужа на пенсию, а ему пятьдесят пять. Впрочем, сейчас все так быстро меняется. Феня называет отчима «папой», но Тильда собирается её открыть правду, когда та повзрослеет и вернется на постоянное жительство в Россию.

— Но ей же через три года паспорт получать, какое отчество там напишут?

— Мужа Тильды зовут Андрей Петрович, так что проблем не предвидится.

Черт, и здесь меня обошли, обложили...

Далее выясняется, что Феня была в Москве по крайней мере дважды (не выследил!), но в основном они втроем приезжают в Ленинград, откуда родом и домом Андрей Петрович. Может быть, теперь Феня сюда к бабушке с дедушкой...

— Нет, Андрюша, у Павла Вальтеровича большие проблемы с ногами. Его наблюдают в Штатах, дают как ветерану войны возможность проходить курсы лечения, и он консультирует там кое-какие фирмы. Через месяц я туда к нему отправляюсь, а что дальше — пока не знает никто.

И тут бесперспективняк! Может, хоть фотографию Фенину мне покажут?

Бабушка моей дочери отправляется в соседнюю комнату, тактично откладывает снимки, на которых пожилой петербуржец торжествует, любуясь отнятыми у меня женой и дочерью, и приносит только те, на которых либо одна Феня, либо Феня с Тильдой.

Четыре цветные фотографии (вдобавок к имевшимся шести черно-белым) — вот все, что я имею на сегодняшний день, все, что я вынес из прошлого и в чем предстоит искать утешения в будущем. Что ж, у многих и такого нет... Скажи спасибо кому полагается.

## XV

Есть части речи, есть частицы — всякие там школьные «бы», «ли», «же». А я вот обнаружил еще своего рода дискурсивные макрочастицы, которые характеризуют говорящего больше и точнее, чем все его рассужданы. Есть, например, *частицы лжи*, типичнейшая из них — Я НИКОГДА НЕ. Достаточно зафиксировать в речи субъекта одну такую последовательность,

чтобы точно знать, что он врун. Частиц истины, к сожалению, нет, зато есть *частица смелости* — ДАЖЕ ЕСЛИ. Стоит ее ввести в свои тревожные раздумья или эмоции — и мелкого страха как не бывало. Даже если я опоздаю на этот поезд — что уж такого страшного произойдет? Куплю новый билет, приеду днем позже, весь убыток исчислится некоторой денежной суммой, а через неделю все забудется. Даже если я уйду с нынешнего места работы и буду сие место всегда обходить за версту — смертельно ли это? Даже если никогда не получу я того или иного *жетона* (так Петр Викторович называет все награды, премии, должности, звания и титулы — хорошее слово) — об этом ли я буду сожалеть на смертном одре?

Еще есть *частицы глупости*, например: КАК ОН МОГ? (во всех лицах и числах: ты мог, они могли и т.п.) — умным этот вопрос быть не может никогда. Есть *частицы мудрости* — такие честные сравнительные обороты, которые доступны немногим говорящим и думающим о себе самом. Когда говоришь: я, мол, считаю так-то, люблю или не люблю то-то и то-то — добавь если не вслух, то про себя: КАК МНОГИЕ или: КАК БОЛЬШИНСТВО, или: КАК ВСЕ. Сколько пустых тавтологических суждений тогда можно отбросить!..

Нет, в статьях своих я такого не пишу. Наука — дело тонкое, этикетное, и выводить на люди свои мысли в столь голом виде у нас не принято. А если всерьез, то на язык я смотрю совсем с другой стороны. Во всяком случае, пытаюсь смотреть. Давно, еще году в семьдесят пятом я задумал надкоммуникативную лингвистику — в самом общем виде. Изучается то, что есть в языке и только в нем, все остальное выносится за скобки. Начертил кое-какие схемы, а потом испугался, убоялся бездны премудрости. Понял, что один сделать эту штуку не сумею, а показать свои чертежи вроде и некому было. Никто не собирался «tangere circulos meos»<sup>1</sup>, и они, в свою очередь, никого не трогали. В нашей науке все больше всего боятся простоты и ясности, не с кем

---

<sup>1</sup> Трогать мои чертежи (лат.).

было усилия объединить. Ранов? Да, он очень сходными вещами занимается, но ты же знаешь: когда двое делают одно и то же — они делают разное. Ранов меня отлично понимает, а я его гораздо хуже: иногда теорему его какую-нибудь три-четыре года перевариваю. А общее научное направление — это когда есть быстрый, оперативный контакт мыслей. Одиночка плюс одиночка — еще не школа. Как в том анекдоте: их двое, а мы — одни.

И потом надкоммуникативная модель отменяет множество удобных направлений для изготовления диссертаций. А молодым выгодно язык изучать вместе с примесями, не разделяя, где говно и где какао. Именно такой пахучий коктейль обычно называется «дискурсом». В Америке это дело процветает, только ихние лидеры каждые три примерно года свои теории меняют — как модельеры «от кутюр», чтобы больше диссертаций по старой моде не писали, а покупали новую. Между прочим, есть там один славист с неслучайной фамилией Бэйби (как говорится: устами младенца), так он периодически появляется на престижных конференциях и объявляет, что очередная теоретическая мода опять не подтверждается материалом славянских языков, в частности, ей не подчиняется конструкция типа «меня тошнит». Вот и меня, как этого Бэйби, тошнит, когда я думаю о том, что мою надкоммуникативность все считают как бы вчерашним днем, а когда день завтрашний ее вспомнит, то уже не с моей фамилией. А пока они лет двадцать пять еще будут коммуникативные аспекты исследовать и хорошо сидеть на своих уютных симпозиумах. Да и сам я двадцать лет с ними дипломатничаю, все иду на тактические компромиссы, оставив свою беззащитную и наивную стратегию в пожелтевших юношеских тетрадках.

Но с чего ты взяла, что дискурс — это наукообразная ерунда? Здравствуйте, пожалуйста! Хорошее, благородное слово, означающее по-французски «речь» — и всегда оно будет это означать, просто придется ему лет через двадцать-тридцать, а может

быть, и раньше сходить в душ и смыть всё, чем его заляпали — не столько лингвисты даже, сколько псевдофилософы и так называемые культурологи.

Милый Эмиль Бенвенист — он ведь хотел как лучше, когда противопоставил объективному повествованию (*récit*) этот самый *discours* — как «речь, присвоенную говорящим», нами с тобой присвоенную в том числе. Идея хорошая — опрокинуть язык в жизнь и посмотреть, что из этого получится. Но, как это часто бывает, экспериментальный объект превратили в свалку. Вслед за Бенвенистом пришло множество, извини за дешевый каламбур, «мальвенистов», начавших произносить слово «дискурс» с невкусным ударением на первом слоге и относить к нему все что не лень. В одном лингвистическом словаре так и написано: мол, «дискурс» — это речь, рассматриваемая с учетом ВСЕХ неязыковых факторов. Извините, но это не под силу ни лингвистике, ни науке вообще. Наши разговорчики с учетом ВСЕХ экстралингвистических факторов может понять только Господь Вседержитель!

Оно конечно, этимология слова «дискурс» дает некоторые основания для легкомысленного с ним обращения. По-латыни-то *discurrere* — «разбегаться», а первое значение слова *discursus* — «бегание туда и сюда, беготня в разные стороны». Я сам обожаю бегать туда и сюда, болтать без толку, особенно с женщинами. Только наукой это не называю.

В нашей профессии сейчас наиболее активны дамы. Женщины с железными локтями, безо всякой розы на груди. Да и какие там розы! С свинцом в груди, как говорится, и с жаждой мести. Мстить готовы и друг другу, и всем, кто не с ними. Но если объективно посмотреть, то некоторая часть их энергии все же служит мирно-созидательным целям. Вот Рита Ручкина — без нее тут многое бы не стояло. С утра до вечера носится, что-то затевает, просит, угрожает, ссорится, мирится. С ее подачи наконец и я стартую из Шереметьева-2. Аэропорт, потом автобус, и, подъезжая к черте города, мы со старшим коллегой (он тоже

в первый раз), скрывая волнение, не сговариваясь, почти хором произносим сбивающую пафос момента цитату: «Казалось: ну ниже нельзя сидеть в дыре.// Ан глядь: уж мы в Париже...»

Первый Париж — как первая женщина: про свою интересно, про чужих — ничуть. Про Лувр, Елисейские Поля, Сену там всякую молчу. Один только эпизодец. В первый же вечер с вышеупомянутым коллегой выходим на Монмартр, тот самый, что в песне Кукина произносится в три слога: «Монмартыр». Фантастическая прорва продающихся здесь блинов еще раз убеждает меня в том, что никакой «русской кухни» не существует: и пельмени, и блины, и кулебяки суть космополитические, наднациональные «гастронемы» (введем такой термин по аналогии с фонемой, морфемой и т.п.), имеющие лишь разные имена под разными небесами. Но так или иначе, блинов мы и в Москве накушаем, а вот пока недоступного нам острого блюда обоим хочется попробовать. И ведь недорого: всего двадцать пять франков. Каждый из нас автоматически вынимает из кармана требуемую сумму, и, не сказав друг другу ни единого слова, мы входим в темный кинозал.

Фильм оформлен как детектив: смутный полицейский инспектор расследует какое-то дело, вступая при этом в интимный контакт со всеми подследственными, свидетельницами, коллегами женского пола. Поначалу нервная система отзывается на зрелище: все-таки одно из существенных последствий открытия братьев Люмьер — это превращение сотен миллионов людей в соглядатаев чужого интима. А ведь сто лет назад такое можно было узреть только «о натюрэль». Интересно, был ли вуайеристский опыт у Пушкина, у Льва Толстого, у этого чистюли в пенсне и похабника в душе Чехонте? Пушкин-то безусловно участвовал в групповухе при свете «зеленой лампы». Да, так я уже отвлекся от экрана и даже отвожу взгляд — не от стыда, а от утомленья. Очень уж там однообразно, хронологическая протяженность события — один к одному, никакого тебе «художественного времени», никаких броских ракурсов. Мы с коллегой начинаем иронически комментировать происходящее, а по-

том вдруг, оглянувшись в пустой на три четверти зал, понимаем, почему режиссер взял на главную роль араба: кроме нас, двух славян, — здесь все зрители до единого представляют жаркий континент, и для них происходящее на экране не «образ» секса, а его субститут, замена — у кого есть больше, чем двадцать пять франков, идут в другие места.

Выходим на вечерний бульвар: насладились — и вполне. Вообще для человека со вкусом многое существует под знаком «однажды»: попробовал, а повторять необязательно. Но судить обо всем лучше по собственным впечатлениям и ощущениям. Рассказываю коллеге о прочитанном недавно романе Василия Белова «Все впереди», где главный герой страшно волновался: не соблазнилась ли в Париже его честная и чистая жена подобными зрелищами? Приходим к единому выводу: очевидно, сюда ходят только мужики, но настоящая русская женщина способна мужественно перенести и такое зрелище.

Заодно оба вспоминаем о своих женах и устремляемся в магазины, чтобы на еще не проеденные суточные прикупить каких-нибудь подарков. Мой коллега довольно быстро убеждается, что ассортимент всего комплекса «Галери лафайет» не включает в себя размера, соответствующего формам его благоверной. Я тоже в затруднении: Деля то худеет, то снова приходит в себя — угадать, что ей подойдет, решительно невозможно. Забретаю в ювелирный бутик. Раньше мне вся эта область казалась царством глупости: дамы украшают себя нелепыми «бранзулетками», которых большинство мужчин даже не замечают. Потом я понял: женщина при помощи этих игрушек концентрирует и переключает энергию, беседует сама с собой, хранит дорогие воспоминания. Вдруг вижу под стеклом золотые серьги с брильянтами величиной с кедровый орешек: точно такие были у Тильды, и я замечал их только тогда, когда перед сном они ложились на золотую тарелочку, стоявшую на комод. Вот бы подарить такие Деле! Мешает лишь один нолик в цене. Сложив все банкноты и оставив себе только мелочь, покупаю сережки гораздо более скромные, но все же

с брильянтиками, которые под увеличительным стеклом даже удастся разглядеть. Зато теперь ни о каких покупках можно не думать.

Сама конференция ничем не отличается от тех, что проходят на родной земле: регламент, доклады, вопросы, ответы. Много воды: минеральной в больших бутылках, метафорической — в научных речах. Приятно встретить «бывших наших» — посерезневших, правильно постриженных, надевших хорошие пиджаки и защищенных очками в дорогой оправе. Павлика вот я не видел десять лет, его неувядающее лицо со вкусом подкрашено средиземноморским солнцем, и под этот цвет подобраны все одежды. Страшно хочет приехать в Москву, побывать «на родной природе». «На природе» — наше общее выражение давних лет с глубоким подтекстом: да, значит, ему тут этого здорово не хватает. Недооценил родину с ее холмами и долинами, контрастами холодных и теплых мест.

Что еще отрадно — в нашем составе практически нет советских начальников, хотя... Как-то уж очень осанисто держат себя прогрессивнейшие коллеги: садясь на председательское место, они начинают вдруг упиваться игрушечной властью. Рита Ручкина портит Павлику всю малину, обрывая его через тринадцать минут при двадцатиминутном регламенте: все скомкано, смазано. Что с ней такое? «Я знаю, за что она мне отомстила», — с драматизмом в голосе говорит Павлик в перерыве, разминая нервными тонкими пальцами миниатюрную, светло-коричневую, как мулатка, сигарку. Оказывается, зуб на Павлика Рита растила и лелеяла со времен какой-то стычки на полуподпольном семинаре в Информэлектро, года так семьдесят второго. Да, Рите бы подошла фамилия Сильвио! Умеет выдержать время решающего выстрела! Тем более что Павлик, как и надлежит при таком раскладе ролей графу, приехал со своей иноземной графиней, которая смотрит на мужа самоотверженно-влюбленно, а Риту называет «просто сукой».



Три дня с утра до вечера произносятся доклады, споров особых не возникает, и я не могу удержаться от горестной калькуляции: в письменном виде я все это прочел бы за два часа в подходящем настроении, у себя дома, наедине с чашкой крепкого чая. Время же, уходящее на аудирование длинных устных монологов, можно было бы отдать музеям Родена и Пикассо, да и простым бесцельным прикосновениям к разным частям тела Парижа.

Но я, конечно, не прав: при чем тут Париж, когда я нахожусь в грандиозном пространстве Большой Деревни? Париж ее не знает, но и она им не очень дорожит. Она протянулась от Москвы до Йоханнесбурга, от Новосибирска до Лос-Анджелеса (представители этих городов сидят сейчас в аудитории). Имя Деревни — Наука Русистика (дошутился Алексан Сергееч: о rus — о Русь!).

Я не умею настроиться на ритм такой жизни. Мой безнадежно устаревший хронотоп — это быстрое чтение работ авторов, находящихся от меня на большом расстоянии (ох, не зря школьники прозвали меня Болконским: именно таким чтением баловались и отец и сын, находясь в отставке; вот и я от рождения отставник). Мои же односельчане живут в ином хронотопе: медленное чтение своих сочинений в условиях тесной пространственной близости. Происходит честная энергетическая складчина: табачок и доллары врозь, но эмоциональные ресурсы все выложили на общий стол, карманы душ вывернуты, никто ничего не зажил. Если бранятся, то только тешатся, и Павлика не надо утешать, поскольку с Ритой у него нормальное «odi et amo», разновидность приятного садомазохизма: заживет его амбиция, а через годик-другой приехав наконец в Москву, он найдет случай бросить обидчице в лицо что-нибудь облитое горечью и злостью, получит он удовлетворение!

Филология сейчас переживает не письменный, а устный, театральный период. Все как один вышли на подмостки, идет изысканный, профанам непонятный перформанс. В воздухе наряду с ионами, протонами и электронами витают маленькие театроны. Я лично открыл эту элементарную частицу и определил ее

главные свойства: быстроту распада и неотразимость действия. Театрону нипочем ни здравый смысл, ни этическая ответственность, ни тем более научная логика. Вот ты выкинул номер, сказанул, насмешил, возмутил, поразил, ляпнул явный вздор — и выиграл. Женщина отдалась, соперник осмеян, толпа покорена и даже может растерзать твоего противника. Потом одумаются — но дело сделано. Против театрона нет приема. Пожалуй, кроме театрона более мощного, но абсолютное большинство людей крепко задним умом и к оперативной импровизации не способно. Не весь мир театр, но наша деревня, наш филологический мирок таковым безусловно является. Я тоже понемногу учусь быть шутлом гороховым, осваиваю незамысловатую технику плохого каламбурного балагурства.

Но при этом то и дело посматриваю в окно и хочу убежать с урока — куда-нибудь на улицу Плохих Мальчиков (да, есть такая — буквально называется Рю де Мове Гарсон, я считаю ее улицей и своего имени). И вечная по улицам ходьба — вот мое главное и истинное призвание. Стрит-уокер — так бы я обозначил свою сущность, если бы слово «street-walker», как и целый ряд других слов английского языка, не имело значения «проститутка».

Пару раз гуляю вместе с неожиданным партнером — Вознесенским. В Москве наше с ним знакомство было не вполне отчетливым: что-то он читал в институтах, где я работал, потом посылал я ему отписки своих статей с разборами его стихов — он отвечал вполне учтиво, гиперболизированными похвалами. Однажды, когда вышел большой черный Хлебников и я его мучительно разыскивал, Вознесенский позвонил в писательскую книжную лавку и попросил, чтобы мне выделили экземплярчик. Тогда еще со мной такой нонсенс приключился. Я заранее справился по телефону, назвавшись по фамилии и сославшись на Вознесенского. Прихожу, поднимаюсь по деревянной лестнице на второй этаж там, на Кузнецком, и сухопарая книгопродавщица, вынимая дефицитный сей том, спрашивает: «А вы кем

классику приходиться? Родственником?» Я так про себя отмечаю: помнят все-таки Николая Михайловича! «Да нет, говорю, скорее однофамильцем». Она на меня как на сумасшедшего посмотрела, и я уже потом сообразил, что под «классиком» она Вознесенского имела в виду..

А тут, после появления поэта на нашей конференции, где он выступил с декламацией двух весьма приличных новых текстов, ничего он не получает, кроме ритуального председательского «спасибо», и создавшийся вокруг него в коридоре вакуум заполняю я своими комплиментами, абсолютно искренними впрочем. Он «весь слух» — чуть ли не впервые понимаю я смысл этого выражения: вся энергетика человека переключена на внимание, впитывание каждой капли из потока сочувственных слов. Тяжка судьба поэтов: наверное, у каждого найдутся стихотворения ни разу не похваленные, не имеющие никакой «рецепции». А они все продолжают отважно ритмизовать, рифмовать, выстраивать строфы, находить эффектные финалы, не задумываясь о том, что в закрома русской поэзии, если считать где-то со времен Кантемира и Тредьяковского, уже загружено не менее двенадцати миллионов стихотворений и поэм, в том числе пятнадцать тысяч отличного или очень хорошего качества. Где на всех найти читателей? Но может быть, литература надкоммуникативна по своей интимной природе и в нас она не нуждается?

## XVI

Что ж, превзошел я Пушкина, Булгакова... По интенсивности посещения Парижа. Даже если никогда мне больше не бывать в этом священном для каждого русского месте — вкус его я, кажется, распробовал. Но, сравнив себя с Парижем, прихожу к тревожным выводам. Про Париж не скажешь с полной уверенностью, что он изящен, чист, уютен, светел, весел, умен, глубок. Нет, он может быть мрачен, холоден, пуст, вульгарен, местами грязноват. Словом, неоднозначен: в современном рус-

ском это почему-то негативный эпитет, а мне всегда нравились неоднозначные женщины и неоднозначные города. Вот и Париж — он перенасыщен смыслами, набит ими сверх меры, он неподвластен единственному однозначному прочтению — и это свойство дает ему возможность существовать даже в сознании тех людей, что никогда его не видели, гарантирует ему жизнь даже при каких-нибудь антиутопических, апокалиптических допущениях гибели Европы, а то и всех континентов разом.

А я? Моя жизнь начала отставать от ее смысла, приобретать слишком элементарные фабульные очертания: быстро написал и выпустил одну книгу, теперь долго буду писать вторую. Быстро женился-развелся, теперь хочу прожить всю жизнь со второй женой. Я не лучше других и не хуже: таких, как я, не миллионы, но тысячи во всяком случае. Где же, в чем же мой сюжет?

Не слишком ли легка жизнь филолога? Даже гении испытывали смущение от того, что называют все по имени, отнимают аромат у живого цветка. А мы отнимаем аромат у имен — собственных, нарицательных, одушевленных и неодушевленных, — и не только не стесняемся этого, но и гордимся, видим себя на какой-то высшей ступени. Может быть, эта arrogance идет от имперской традиции: Петр и Екатерина, Ленин и Сталин — все они были большими языковедами и оттого наша профессия неадекватно возвысилась? Ну, у этих свои проблемы — черт с ними. А возьмем людей созидательного склада. Ломоносов сотворил в лингвистике уж не меньше моего, а скольким он еще занимался! И еще пил! Когда я сравниваю свои подвиги и свершения с результатами коллег, я накидываю четыре года фронтовикам и столько же пьяницам. Например, Сиренев — он и воевал, и пьет: значит, мои итоги к сорока годам надо сопоставлять с его сорокавосемилетними итогами — семьдесят третьего года: пять книжек у него уже было тогда и защищенная докторская степень... Хотя... Что там хитрить: Сиренев — мужик остроумный и занятный, но цена его трудам — правильно Ранов сказал...

- О ком это ты думаешь, негодяй? С кем разговариваешь?
- С жизнью своей.
- Что, у тебя есть жизнь кроме меня? Сейчас убью обоих!

И я вновь возвращаюсь в уготованное мне судьбой пространство. Может быть, думать о себе — вообще пошлость? Мое «я» оказалось не большим, не заглавным: никто от меня ничего исключительного не требует и не ждет. А невостребованную энергию уместнее всего перекачать в мое «ты», которое мне во всех отношениях представляется более интересным и таинственным.

Перекачка осуществляется предельно простым техническим способом: внимательным, сочувственно-напряженным выслушиванием полного текста Делиных событий и переживаний. Каждый день, от «прихожу я» до «и тут я ушла». Я никогда не видел здания ее института, но всю внутреннюю инфраструктуру знаю до мельчайших подробностей: от зарубежных связей директора до интимных связей долговязой, с выпученными глазами лаборантки Регины, от пылящегося в подвале иностранного оборудования до предстоящего в конце года сокращения двух отделов. Каждую новость я адекватно воспринимаю и в синхронном контексте, и в плане историко-диахроническом. Белозубова вернулась, причем на должность ведущего сотрудника. Как? — поражаюсь я, — ведь ее же бесповоротно выжили три года назад! И каково теперь будет Черноглазовой работать «под» закладной врагинеи! Я честно всем этим интересуюсь («inter esse» — находиться между), во всем этом нахожусь. Никогда не позволял себе слушать вполуха, думая при этом о посторонне-своем и воспринимая милый вздор всего-навсего как неизбежную прелюдию к предстоящим и наиболее любезным мужскому уху страстным междометиям, а также свободным от смысловых пут нечленораздельным рефлекторно-звуковым потокам.

И не бог весть каких усилий это от меня требует. Ведь те же байты моей памяти могли бы быть заняты каким-нибудь футболом. Можно, конечно, терзать душу провалами «Спартак» или нашей сборной, а можно ту же энергию потратить на то, чтобы болеть за свою единственную жену, не игрово, а всерьез борющу-

юся с замдиректоршей института. Советы? Нет, никаких советов я ей давать не берусь: экспериментировать на любимом существе я не склонен. Просто я всегда за Делю — в любых ситуациях я по-настоящему, всеми кровеносными сосудами желаю ей успеха, вливаю вещество воли в ее мышцы, настраиваю струны нервов — так, чтобы они были достаточно упруги, но не перенапряжены, стираю губами и языком отравляющие вещества, которыми враги успели поразить незащищенные части тела. Нет, это не жертва, просто я вкус в этом нахожу, специфический, уже неразлучный с истомой сладострастия. Заниматься альтруизмом (если уж придавать какой-то смысл этому слову) — значит погружаться в другого-любимого, а эгоизм в такой системе противопоставлений есть не что иное, как небогатое вкусовыми оттенками самоудовлетворение.

Ужинаю один — чем бог послал и что сам выстоял в очередях. Деля вечером старается в кухню не заходить. Постоянно озабоченная нелепой целью похудения, она к самому процессу питания относится с глубоким отвращением. На нее едящую лучше не смотреть: вилок захватывает, как вилами, огромные куски и отправляет их в широко раскрытый рот. Время от времени с ней случаются «запой», как она сама это называет, а на самом деле просто иногда позволяет себе наесться досыта. Зато каждая победа над природой — праздник. Стоит, как на постаменте, на весах — абсолютно обнаженная, чтобы упаси бог лишних пятидесяти граммов не добавилось, и на устах все тот же бессмысленный вопрос:

- Ну как, я хоть немного похудела?
- Нет, похорошела. А слово «худой» означает «плохой».
- А ну тебя с твоим словоблудием вечным!

## XVII

...Однако что за хамство — звонят в половине восьмого и лишают меня заслуженной неги. Вышеупомянутая лаборантка Регина, которая никогда не представляется и со мной говорит как с безличным субъектом.

— Адельфина Григорьевна подойти к телефону не может, — отвечаю. — Позвоните, пожалуйста, минут через десять или скажите, что ей передать.

— Не знаю, как уж вы это ей передадите... Петров умер. От инсульта, в пять часов утра.

Но она сама услышала, выскакивает из ванной мокрая, вмиг похудевшая, с поникшей грудью, как освенцимская узница перед газовой камерой. Не плачет.

Всего шестьдесят четыре года было этому человеку к моменту наступления острой сердечной недостаточности. Придя на панихиду с единственной целью поддержать Делю (морально, да и физически тоже), я ощущаю стыд за невольное любопытство, которое у меня вызывает новая информация, явно идущая вразрез со сложившейся в моем сознании схемой. Жена Петрова, то есть теперь вдова — отнюдь не седенькая и скромная ровесница преуспевающего и вечно юного «жизнелюба», вынужденная считаться не только с научно-общественным, но и с донжуанским его авторитетом, — нет, это оформленная, живая, самодостаточная дама — из той редкой разновидности женщин, что не стыдятся своего возраста, а потому достаточно долго остаются не подвластными старению. Ее осанка и подтянутость чуть-чуть напоминают мне Тильду. Высокий черноглазый сын и полноватая, но крепко сбитая, грудастая дочка вызывают неожиданную зависть к полноценному отцовству — с ума ты сошел, дурила грешный — завидуешь покойнику! О личности в значительной мере можно судить по эстетическому качеству ее, личности, семейства, и в особенности по облику супруга (супруги). Наверное, человек он был, Петров, и стоило с ним пообщаться, узнать его поближе, тем более, что у нас с ним было, есть нечто общее — онемевшее теперь от страдания и впившееся в мою затекшую от неподвижности руку. Так, может быть, совсем не «жизне-» он был «люб» (иначе так быстро с нею не расстался бы), а «человеко-»: делил себя на всех, кто ему был близок, Делю в том числе? Почему мы с такой подозрительностью относимся ко всякой избыточности и щедрости?

— Ну, по какому вопросу ты плачешь на этот раз? Должен же я знать, какими аргументами тебя успокаивать!

Приходится, однако, прибегнуть к невербальным методам в атмосфере тайны и неизвестности. Потом она с большими предисловьями начинает признаваться...

— Петров это предчувствовал, он много говорил о моем будущем как бы уже без него... Я не хотела, но ему это было нужно...

Снова слезки закапали. Ну что может быть самое страшное? В конце концов я и к этому готов, хотя, прямо скажем, здесь бы имел место более чем парадоксальный способ осуществления научной преемственности в области импотенции...

— Говори. Говори. Все пойму. И с дитем тебя возьму.

Ляпнул и ужаснулся: шутка жутко неуместна, если хоть на один процент допускаешь возможность...

— Год назад... он меня... вступил в КПСС. Чтобы я могла сектор унаследовать.

Смеюсь от всей души — светлым, жизнерадостным смехом.

— Честное слово, никак не ощутил разницы между беспартийной и коммунисткой. Вкус абсолютно тот же.

— Юмор свой идиотский лучше бы ты засунул себе — знаешь куда? Из меня теперь Нину Андрееву делают. Говорят, что коммуняка не может возглавлять сектор.

Тут я наконец врубаюсь в ситуацию и ощущаю всю ее безнадержность. Петрова даже не виню: на всякого муд... реца довольно простоты. Человек науки — тугодум: его мысли годами проделывают путь от тезиса к антитезису, а человек политический должен умом вертеть, как задницей, меняя плюсы на минусы ежемесячно, если не еженедельно. Еще вчера «членство» было знаком активного участия в процессах обновления, а сегодня это позорное клеймо, алая буква, желтый шестиугольник.

«И главное — меня теперь клеймят те, кто сам в партбюро по тридцать лет просидел!» Бедная моя девочка! В твои тридцать шесть лет пора уже понять окончательно, что на политической площадке побеждает тот, кто первым наносит удар. А твоя от-



ветная реплика «От коммуняки слышу!» уже не прозвучит, будет заглушена общим оживлением. Всегда так было, во все времена. И если мы такого не видели (ввиду ограниченности нашего социального опыта), то уж точно об этом читали. Где это уже описано — про кидание друг в друга каменюками-«коммуняками»? Да хотя бы у Воннегута в «Колыбели для кошки». Там «бокониизм» — запрещенная религия, и в то же время все до единого жители этой страны «бокониисты».

Думаю это, но не говорю Деле. Что толку от того, что твоя ситуация уже описана, названа определенным сочетанием букв на бумаге? Твоим единственным, небумажным, невербальным душе и телу все равно предстоит выносить это все как в первый раз.

## XVIII

«А молчальники вышли в начальники...» Нет, теперь ситуация радикально переменялась: в начальники выходят говоруньи. Место Петрова в Делином секторе занял ее бывший однокурсник Кеша — неперемный член диссидентских компаний и активист кампаний предвыборных, друг Галича и академика Сахарова. С Сахаровым он, правда, особенно сблизился после похорон последнего, но смог, однако, предъявить пару прижизненных фотографий, где его отделяет от совести России не более двух-трех голов. Насчет Галича дело обстояло еще туманней: единственным вещдоком является фонограмма последнего домашнего концерта Александра Аркадьевича, где после исполнения песни про Клина Петровича раздается смелое «ха-ха», принадлежащее именно Кеше.

«Да бывал я на одном из таких жутковатых прощаний, — говорю я Деле, — где все смотрели на Галича как на покойника, а друг в друге готовы были подозревать стукачей». — «Но ты не попал ни в фонограмму, ни на фотографии, а он попал. И теперь мне работать под ним, а заодно — и за него, поскольку в деловом отношении он совершенно невинен».

И вот на таком фоне я сам получаю сомнительно-лестную инвитаацию от директора нашего института: ступайте, дескать, Андрей Владимирович, департаментом управлять, то бишь в мои заместители. Предыдущего зама по науке, старого сталиниста, только что отправили на заслуженный, и по этому поводу тут царил эйфория. Я очень смутился, тем более что в кабинете директорском, кажется, в первый раз оказался, — раньше не заносила туда нелегкая. Для меня настолько очевидным ответом был отказ, что я после десятиминутного разговора малодушно соглашаюсь. То есть я, конечно, выторговываю три дня на размышления, но внутренне уже побежден. Благородный мотив возникает в сознании: может быть, еще не поздно вернуть в институт Ранова и продолжить замечательную серию зеленых томов, которые он так здорово начал со своими учениками? Кроме этого высокого соблазна возникает еще один, очень убедительно поданный директором:

— Как, Андрей Владимирович, вы только один раз побывали за рубежом? Нет, так нельзя, мой дорогой! Я, например, очень люблю это дело, с молодых ногтей. Помню, лет двадцать шесть мне было, когда я по линии общества дружбы с народами на Кубе побывал. Просыпаешься в гостинице на берегу океана, и молодая мулатка вносит в номер поднос с чашкой дымящегося кофе. Что уж твердо вам могу обещать — так это не менее двух хор-рошеньких загранкомандировок в год.

К Кубе я довольно безразличен, но перед чашкой хорошего кофе, да еще возведенной в метафизически-мечтательную степень (в реальности мы с директором пили растворимую бурду, изготовленную секретаршей), устоять невозможно. От института до дома иду пешком, занимаясь калькуляцией плюсов и минусов сформулированного предложения — пока еще вопросительного. Раньше беспартийность была гарантией безопасности, надежно охраняла от подобных испытаний, а теперь... Стали активами наши пассивы, как сказал поэт? А ну как наоборот, еще нездоровые посевы наших активов таким способом обратятся в мертвые пассивы?

Делюсь сомнениями с нервно глотающей пиццу моего приготовления Делей, погасшей, подавленной, источающей смертельную усталость и душок выпитого на работе по поводу чьего-то дня рождения сивушного югославского «виньяка».

— Ну, и на хрена тебе это нужно? Не потянешь ты такую контору, да и не любишь ты свой институт, я же вижу.

Страшно раздражает меня такой тон. Сапожник без сапог, я так и не смог научить навыкам речевой культуры даже самого близлежащего человека. Пытаюсь возразить: при чем тут любовь-нелюбовь? Институт мужского рода, я собираюсь не ласкать его, а поставить на более или менее осмысленные рельсы.

— Ладно, можешь хоть всех лаборанток и мэнээсок перетрахать, пожалуйста. Только постарайся меня при этом не потерять.

Шизофрения! Да в нашем институте нет такого обширного контингента лаборантов, как у них там в медицине. А потом они по большей части отнюдь не юны, и многие младшие научные сотрудницы тоже. Если и вступать с ними в нежную дружбу, то разве что с целью уговорить их по-мирному уйти на пенсию. Но на такое коварство я органически не способен.

Всего этого не произношу, а лишь подразумеваю. Сегодня между нами сверкнула молния совсем иной ревности: Деле судьба и общество отказывают в том, к чему она всей душой стремится и чему она честно всецело отдается, а мне, томному сибариту, примерно то же подносят на блюдечке, на халяву. Неделю назад в институте нашем выступала восходящая звезда словесности Татьяна Толстая. Пожилые доктора и докторши наук почему-то обращались к молодой и абсолютно уверенной в себе писательнице как к некоей пифии: «А что вы думаете по поводу перестройки?» «Я-то за нее, но делается у нас перестройка через жопу», — эпатнула звезда чинную публику, навек оставив неповторимый лексико-стилистический след в институтском фоноархиве. Мне такая рассчитанная грубость пришлось тогда не по вкусу, но по сути, наверное, все правильно сказано. Даже в масштабе моей маленькой семьи человеческие ресурсы, так называемые кадры, используются нерациональным способом, а они ведь, говорилось когда-то, решают все...

Нет, Сталин не может быть прав даже случайно! Такие кадры не способны решить ничего. Это я об институте своем. Во-первых, почти все здесь отъявленные филоны: принципиальная стратегия абсолютного большинства моих коллег состоит в том, чтобы ходить в присутствие как можно реже, любую работу по возможности растягивать до черт знает какого года, остальное — тактика, порой довольно изощренная. Во-вторых, уже в первые недели своего скромного начальствования я оказался посвященным в тайну прямо-таки государственного масштаба — нет, никаких подписок я не давал, да и тайна эта официально не зарегистрирована никакими «первыми отделами», заключается же она в том, что процент дураков среди представителей нашей науки примерно такой же, как по стране в целом. Раньше я думал, что все у нас умело притворяются, придурачиваются, как бы пародируют научно-политическую риторику. Ан нет, это не маски, это у них морды такие.

Тебе смешно. А мне не очень. Когда я стоял с ними со всеми в одном горизонтальном ряду, меня вполне устраивало такое убогое окружение, дававшее мне возможность контрастно выделиться (хотя бы в своих глазах), — теперь же, когда я вынужден смотреть на все это с некоторой вертикально возвышенной позиции и отвечать не только за себя, — теперь прихожу в отчаянье при виде того, что выходит под грифом моей конторы.

Открываю раздел «Новое в лексике»: там тавтологические наукообразные навороты сопровождаются примерами из Кожевникова и Первенцева! В разделе «Новое в синтаксисе» цитата из Долматовского! Насколько же надо не любить русский язык, чтобы о нем так писать! Друзья мои, ну почему бы не взять лексику у Довлатова, а синтаксис у Бродского? Это же сорок лет назад была такая установка — использовать для примеров произведения лауреатов Сталинской премии. Беру на себя смелость это указание отменить. Если кто не может жить без команды сверху, пусть зачеркнет «Сталинской» и впишет «Нобелевской». А то ведь засмеют нас, стыдно будет смотреть в глаза мировой культуре...

— Ну ты идиот просто! Оскорбляешь людей неизвестно с какой целью — допустили мальчика до власти! Да этим простым усталым людям плевать на твою мировую культуру. Ты как школьников заставляешь их переделывать то, что прошло утверждение на ученом совете, о чем они забыли давно. Нельзя требовать от людей невозможного. Я у себя знаю потенциалы буквально всех до единого. Что бы он ни сделал, надо его по головке погладить, приласкать...

— А, теперь понял, куда вся твоя ласка уходит.

— Иди к черту, тебе с твоими шуточками еще придется скучить от одиночества. Ты не очень хороший человек и должен это понимать. Ну куда ты опять исчезаешь? Ты мне со своими глупыми амбициями совершенно не нужен, но вот это, это — мое!

Жизнь моя, до чего же скучно быть начальником! Особенно таким вот небольшим «начальничком» (в неперемных интонационных кавычках). Ощущение такое, что шагнул я не вверх, а вниз, в подвал сумрачный спустился. Солнечные лучи в трехконный кабинет категорически не заглядывают, люди заходят погасшие и перепуганные. Да что с вами, дорогие коллеги? Мы же еще вчера говорили на общем откровенном языке, бесконечно ироничном по отношению ко всем официальным статутам и статусам, а сегодня вы навязываете мне оскорбительные для меня условности. В нашей с вами неписаной иерархии свободный, независимый старший (да хоть и младший) научный сотрудник с реальным авторитетом стоял гораздо выше вынужденного корпеть над казенными бумагами администратора. Лицемерно передо мной унижаясь, вы меня прежде всего обижаете. Я ведь такой же, как вы, и в кабинет этот сел только для того, чтобы мы успели в благоприятное время изготовить пару-тройку стоящих изделий. А если это память стен, если вас раньше в этом кабинете опускали, если вы тут роняли себя и друг друга за три копейки продавали — так я об этом ничего не узнаю. С предшественником своим никогда не разговаривал, а в пыльных шкафах его рыться охоты не имею. Да завтра же попрошу уборщицу все это выгрести и выбросить!

Напоминаю директору, что он мне обещал вернуть Ранова в институт. Тот поупирался, а потом, собираясь на две недели в Штаты, расслабился и коварно так соглашается: ладно, даю вам карт-бланш. Беру я этот карт-бланш и прямо на директорской машине заезжаю вечером к Петру Викторовичу. Самая короткая получилась у нас встреча за всю историю. «Нет. И очень прошу вас к этой теме не возвращаться. А пока давайте план по тортю выполнять. Вот эта розочка прямо на вас, Андрей Владимирович, смотрит».

Бреду к трамвайной остановке — шофера мог бы и не отпускать, впрочем, в трамвае травму как-то уместнее переживать — еду с ощущением, что теперь на меня беда за бедой должны посыпаться. Почва из-под ног просто бегом убегает.

## XIX

Неудачу мою с приглашением Ранова широкие научные круги института восприняли с каким-то злорадством. Скрытым, конечно, но для меня очевидным — или, я бы сказал, душевидным. Знаешь, было раньше в русском языке такое выражение, с явно пейоративной, ухудшительной оценочной окраской — «читать в сердцах»: мол, никто не может и не имеет права судить о чужих намерениях и чувствах, высказывать догадки о том, почему некто сказал нечто и что этот некто думает на самом деле. Но... так легко читаются иные сердца! Гораздо отчетливее, чем путаные (или наоборот, слишком гладкие) речи! К тому же у большинства людей в умах тарарам, а в сердцах — четкость текста: «Как же я тебя ненавижу», или: «Чтоб ты провалился», или: «Помешать я тебе не в силах, так по крайней мере способствовать не стану» и так далее. Чужая душа, конечно, потемки, но если взять с собой фонарик и осветить уголки подсознания, то многое можно прочесть, во всяком случае неиндивидуальную, стадную тему внутренней речи. Коллектив нашего института был неосознанно настроен не против Ранова, не против меня, а исключительно против нашего с Петром Вик-

торовичем *междунами*, сулившего всем беспокойство и дискомфорт.

И вот теперь собравшиеся в моем кабинете завсекторами поблескивают своими мстительными диоптриями: так и надо этому выскочке! — Но я же никуда не выскакивал, меня выдвинули... — Значит, выдвиженцу! — Вопрос обсуждается довольно рутинный, пустяковый, но вот тут-то они все любят себя проявить. По мне так собрались бы на пять минут, взглянули на этот проект плана или план проекта и, коли не обнаружили там явных несуразностей, так и разошлись бы по-мирному. А они торжественно выступают, хорошо поставленными голосами мусолят подпункты и формулировки... Я даже втайне радуюсь, когда секретарша, приоткрыв дверь, просит меня ответить на телефонный звонок, очень срочный.

— Привет! Тут мне придется лечь на обследование, но ты не пугайся, это на всякий случай. Запиши, что нужно сюда привезти.

Никогда прежде Дея мне в институт не звонила. Умиротворенное спокойствие ее голоса — обычно звонкого и взвинченного, а тут вдруг ставшего глубоким и грудным — отзывается во мне влажно-холодным ужасом. Страшно не нравится мне такой зловещий адрес: Каширское шоссе, у него отвратительная репутация, но может быть, есть на нем другие медицинские учреждения? Куда там! Все-таки вывеска с неминуемым, неумолимым словом «онкология»...

Ее увели в какое-то УЗИ, узилище. Топчусь в коридоре, пока ко мне не приближается орлиный профиль со смоляной шевелюрой:

— Вы к Горской? Зайдите ко мне, пожалуйста.

Чуткость и учтивость — это худо. Когда все хорошо, мимо больного проходят с небрежной рассеянностью, а уж его посетителей вообще в упор не видят. Не будьте так любезны, скажите лучше, что нечего здесь шляться, что соблюдать надо часы посещения... А он даже присесть просит.

— Положение серьезное, но надежда есть.

Что значит «надежда»? Что за идиотское лирическое слово! В коленках противная дрожь, в гортани застревают какие-то ползвучки. Вспомнив, что я — мужчина, начинаю нарочито ровным голосом задавать обычные в таких случаях вопросы. Брюнет отвечает осторожно, взвешивая каждое слово и заодно зачем-то пристально изучая мою наружность — любопытство, на мой взгляд, совершенно неуместное.

Только мы с ним оба вышли, как ее полноватый силуэт показывается в дали длинного коридора. Впервые вижу ее с такой дистанции — уже не только отдалившуюся, но и отделившуюся от меня, оставшуюся один на один в игре с заведомо превосходящим силой жестоким партнером. Почему-то при брюнете стесняюсь ее обнять, и мы порознь, как чужие, заходим в палату.

И тут она, повиснув на мне, откровенно, отчаянно и некрасиво рыдает, а я не заготовил даже необходимого текста, не подобрал правильных слов, пытаюсь все выразить прикосновениями и поцелуями.

Предоперационные дни провожу в основном в своем институте, дома стараюсь поскорее провалиться в сон, но каждый час куранты сердца будят усталый ум, напоминая ему об ужасе предстоящего. Знал я, чувствовал, что идиллия будет недолгой, но не ожидал именно такой развязки. Лучше бы ты меня бросила, ушла к другому — тогда наше общее тело и душа продолжали бы жить, пусть по частям. А так я навсегда исчезну вместе с тобой, потому что один, сам по себе не составляю жизнеспособной и жизнедостоинной единицы.

А в институте я окружен невыносимой деликатностью и сочувствием: «если нужны какие-то лекарства»; «у меня знаковый консультант есть в Австрийской академии медицины»; «не нужно ли что-нибудь достать, подвезти, принести»; «вы должны и себя беречь» и т.п. безупречные речи. Все правильно: люди — не скажу: «общество», «народ», а просто некоторая совокупность человек, короче и удобнее всего именуемая словом «люди» (нем. «лэйте», франц. «жан», итал. «дженте»; англоязыкие, впрочем, отдыхают: ихний «пипл» слишком от-



дает корневым латинским «популюсом», от «вокса» которого уже воротит) — так вот, эти люди приходят на помощь, чтобы поддержать (и вместе с тем удержать) тебя на общей житейской горизонтали; лишь отдельные нелюди втайне радуются, когда ты опустился ниже ватерлинии и уже наглотался летеиской водички; но эта поддержка — все, на что ты имеешь право. Всякие же вертикальные потуги, поползновения, попытки, порывы, полеты — дело твое и только твое, никого в них втягивать не имеешь права. Тут уж надо выходить один на один с фатумом и честно проигрывать свои деньги, не рассчитывая на кассу взаимопомощи. Короче, выделяемое мне коллективом тепло ни в коей мере не распространяется на мои проекты и задумки: их по-прежнему встречают прохладой. Я уже достаточно стар, чтобы не считать себя умнее или талантливее других, но еще достаточно жив, чтобы ощущать: чисто психологической (или даже «психической» в наилучшем смысле слова) энергии в моем организме больше, чем во всех членах ученого совета, вместе взятых. Я поручик, нервно шагающий не в ногу, и меня ошибочно поставили командовать этой ротой — может быть, природа хотела видеть меня не ученым мужем в сером костюме, а разбойником в красной свитке или еще кем-то в авантюрном роде?

Но о чем это я? Все эти мои проблемы — пустяк, а главное обо мне послезавтра узнает орлинопрофильный хирург, когда взрежет скальпелем мою жизнь.

Ни на кого мне не доводилось глядеть таким умоляющим взглядом, как на этого красавца, когда он неожиданно возник передо мной. «Плохо дело, ничем не могу помочь» и «Слава Богу!» — эти взаимоисключающие ответы я уже слышал от него в своих нервных сновидениях. А что скажет он на этот, реальный раз? Очень отчужденно смотрит, как на попрошайку. Неужели уже отделяется и от меня, и от ответственности? Неужели мне через секунду предстоит историческое бессилье и утешительная таблетка со стаканом воды?

— В общем, оснований для тревоги нет. Диагностировали своевременно, в девяноста процентах таких случаев последствий не бывает. Больше ничего пока не скажу.

По-моему, девяносто процентов — это ничего, да? Это, я бы сказал, нормальная ситуация даже для совершенно здорового человека. Ведь десять процентов опасности — это не только онкология, это и дорожно-транспортные происшествия, и «Аэрофлот», и большая сосулька с крыши... Попробуем все-таки жить?

Точно такое чувство испытывал я, когда Феню из роддома мы привезли в эту квартиру — с некоторой лишь разницей: ребенка тогда я нес на руках, он вопил на весь подъезд, что изголодался и желает немедленно прильнуть к источнику питания, а Деля шагает по лестнице сама, левой рукой держась за меня, правой касаясь перил, и притом она сегодня непривычно молчалива. Дома начинаю бегать вокруг нее, осторожно пытаюсь ее разговорить. Она же на каждую мою услугу отвечает как чужая — «спасибо», сидит на диване, поджав ноги и уставившись взглядом в одну точку. Раньше у нее была такая замечательная душевная ритмика: грусть неизменно чередовалась с весельем, а за мгновенные приступы ее раздражения, за каждую бесцеремонность или резкость я всякий раз бывал вознагражден щедрым порывом нежности... Но стыдно теперь предаваться таким потребительским эмоциям, надо ее понемногу, без напряжения к жизни возвращать. Ну, чем тебя побаловать, какой сладкий сюрприз извлечь из припрятанных в книжном шкафу за самыми скучными книгами?

Ночью Деля облачена в какую-то белую длинную рубашку — прежде предпочитала обходиться без, даже в холодное время («а теперь, если ты мужчина, ты должен меня согреть, только вот это совершенно необязательно») ... Пытаюсь ее обнять так, чтобы не причинить беспокойства и боли. Она в ответ только кладет мне ладошку на грудь.

И утром все не так, как раньше. «Тебе кофе в постель или ну его на фиг?» (цитата из древнего анекдота о русских в амери-

канском отеле). — «Да нет, я встану, встану». И после второй чашки кофе наконец:

— Ты знаешь, я ведь тебе еще ничего не сказала, ничего...

(Что, все-таки что-то злокачественное? Ну что, что?)

— Я люблю Игоря. Хирурга, который меня оперировал. Он настаивает, чтобы я вышла за него замуж.

«Держи удар» — так, кажется, ты мне советовала, когда я сообщал о своих служебных поражениях, ничтожных по сравнению... Ну, держу, держу. А хирург, конечно, действует хирургически: тебя от меня не увести нужно — отрезать. Они теперь и сиамских близнецов распиливают без проблем. Если бы ты была здорова, какую сцену я тебе сейчас устроил бы! Настоящий мужчина должен в таком случае схватить свое имущество, скрутить, спрятать. Можно даже эту дурочку поколотить, чтобы привести в исходное и истинное чувство. А я думаю о том, вынесешь ли ты вторую операцию подряд, выживешь ли после ампутации меня?

Суббота — удобный день для подобных акций. В пять часов его машина будет стоять у моего подъезда. Он поднимется на третий этаж, но в квартиру тактично не зайдет. Раньше, оставаясь один дома, я всегда провожал ее взглядом, стоя у окна. На этот раз мне придется сидеть неподвижно в кресле. Воскресенья не будет: эта суббота не уйдет в прошлое, она навсегда останется моим настоящим.

Я сижу перед включенным без звука, деликатно молчащим телевизором и вспоминаю твои слова, сказанные еще в первый наш год: «Если я от тебя уйду, ты все равно должен меня ждать, и я, может быть, вернусь».

## XX

Раньше мне смешно было наблюдать за приятелями и знакомыми, вдруг севшими за начальственные столы: сразу начнется преобразование бывшего милого человека в бог знает что,

а потом и вознесение его на недостижимую высоту. А теперь понимаю: чтобы быть настоящим боссом, необходимо в известной мере вознестись, собрать с подчиненных энергетическую дань и, сконцентрировав ее, принимать неочевидные, но необходимые и ответственные решения. Так, между прочим, обстоит дело в «цивилизованных» (а если искать русский эпитет — «гражданственных») странах — из художественно-модернистской литературы этого не узнаешь, а вот когда нормально поговоришь с тамошними нормальными людьми, постепенно такая картинка вырисовывается: условно принимая власть босса над собой, каждый работник безусловно ему подчиняется. И ни малейшего унижения от этого не испытывает.

В нашей же академической науке послесталинского и догорбачевского времени такая система сложилась: в каждом институте было, естественно, втайне презираемое официальное начальство — и в то же время существовала своя научная аристократия, не занимавшая руководящих должностей, но имевшая авторитет «по большому счету», работавшая в основном на себя и лишь достаивавшая институт редких посещений. Да что говорить — я сам примерно таким был до посадки в административное кресло. Так вот этим аристократам сам черт не брат, любое поручение они как оскорбление воспринимают. Мне, мол, некогда — нет, ты подумай, ему некогда выполнять свою основную работу, за которую он деньги получает. Слишком маленькие? Извини, радость моя, но я такое оправдание халтурной работы решительно отмечаю. Уважающий себя человек (а уж тем более притязующий на звание «интеллекта» или «личности») независимо от зарплаты работает со стопроцентной добросовестностью — либо уходит. А они готовы здесь только числиться, место занимать, но ведь и место чего-то стоит, за него надо чем-то платить. Почитывая лекции на стороне, в том числе и заграничной, они все же институтскими титулами представляются: без мундира, голышом, не всякого и пригласят.

А главное — я для них слишком достигаем, я стараюсь с ними, как раньше, на равных говорить — им же чувство равенства

абсолютно не свойственно: они другого видят либо выше, либо ниже себя — и в обоих случаях презирают. Наверное, и надо возвышаться, возноситься, а я именно этого не умею и никогда, пожалуй, не научусь.

К тому же оказался я «не сиделец», как мой старший брат говорит. «Сиделец» — это тот, кто извлекает гедонистический эффект из самого процесса восседания в кабинете, кто за начальственным столом чувствует себя, как автофанат за рулем «мерседеса» или «ауди» (или что у них есть еще там). Эти две страсти, кстати, нередко совпадают, потому у современных администраторов автомобиль — филиал кабинета, с телефоном и прочими атрибутами власти. Вкус, батюшка, отменная манера, а у меня этого вкуса — ноль.

Иные, хоть, может быть, и недлучшие мне дороги права. Сажусь дома за старенький, от отца унаследованный шаткий стол, сам себе велю подать кофе, вкладываю черную копирку между двумя листами бумаги, как будто одеяло вставляю в хрустящий пододеяльник, ожидая ввечеру прихода свежей гостьи с таинственной улыбкой на устах. Минут пятнадцать, а то и полчаса неподвижно сибаритствую, как Ботвинник, приходивший на партию загодя, чтобы просто сидеть и смотреть на клетчатую доску с девственными фигурами, еще не вступившими в размены.

Расписываюсь понемногу, но вскоре кожей чувствую, что за мной приехали и сейчас заберут. Директор вошел в азарт, настоящим стал глобтроттером, из-за границ не вылезает, а в интервалах полеживает в приличных больницах. Почти всегда его служебная машина в моем распоряжении, точнее я в ее распоряжении, поскольку появление черной «Волги» под окном я, пешеход до мозга костей, воспринимаю как приезд «черного ворона». Прощай, русский письменный, еду сотрясать воздух бесполезными речами!

«Стол» (дома) и «стол» (на службе) — это омонимы, это совершенно различные предметы. Сидение за домашним столом я просто не ощущаю как процесс, не замечаю его; писание состоит

из выходов, выбеганий. Меня с детских лет волновала тайна абзаца: как это — взять вдруг и перепрыгнуть на следующую строчку? В начальной школе ведь полагалось в таких случаях поднять руку: «Анна Ивановна! Можно я начну с красной строки?»

И теперь для меня абзац — это непременно вставание из-за стола, а уж такой смелый знак, как двойной пробел между строками, — это не меньше чем выход на улицу, в пальто или без оного, по сезону...

Стол же казенный — это каторжная тачка, от него никуда не убежишь. Разговаривать с людьми через такую преграду — для меня жуткий неуют, а выйти и сесть напротив визитера за маленький приставной столик — этот демократичный жест классических матерых бюрократов в моем исполнении был бы просто комичен. Пустился я было на такую полубессознательную хитрость — не вызывать к себе того или иного завсектора через секретаршу, а заходить к нему как бы в гости, все же какая ни на есть прогулка. Так — представляешь — не понравилось это широким массам, решили они, что я таким образом проверяю их присутствие на месте; одна пожилая, неопрятная и мужеподобная «совесть института» тактично до моего сведения этот испуганный вокс попули довела. В общем, довели они меня, достали (уродливое слово, но здесь оно уместно).

В четверг вечером по дороге домой шофер довольно эпично повествует о своих дачно-хозяйственных проблемах, плавно подруливая к мысли о том, что завтра мог бы с пользой провести день и что казенная машина ему бы не повредила, поскольку своя в ремонте. «И вам, Андрей Владимирович, извините за откровенность, нужна небольшая расслабуха. Вредно жить на таком взводе постоянном, вибрировать с утра до вечера, от вибрации даже железо изнашивается. Что там в пятницу случится? Небось Ельцин не позвонит».

Отпустить шофера — не проблема: за сорок минут я с нашим удовольствием дохожу до института пешком. А вот впервые услышанная «расслабуха» меня прямо-таки загипнотизировала.

Захотелось вдруг достигнуть эффекта, обозначаемого этой брутальной лексемой. Раз простое расслабление для меня уже давно недостижимо — попробуем суффикс поменять?

Ночью, как обычно, просыпаюсь раз девять-десять. Кто-то издевательски наклоняет кровать и начинает вертеть ее вместе со мной, меня засасывает в воронку, хочется уже провалиться в узкое отверстие, исчезнуть там навсегда, но ноги упираются в края дыры, и, скрюченный, опять ухожу в неглубокий, нелегкий сон. А то снюсь себе мексиканской девочкой, угодившей в зыбучий песок землетрясения, без всякой надежды глядящей черными глазами на тех, кто орудует лопатами, подносит жерди, спасая уже всего-навсего собственную совесть.

## XXI

Утром нахожу в почтовом ящике клочок плотной бумаги с неровно оборванным краем — извещение о переводе неизвестно откуда. Иду в отделение связи, где, отстояв небольшую очередь из неторопливых пенсионеров, получаю неожиданную денежку за переиздание учебника с моими главами. Ну, чем я себя на этот раз побалую? Книжные приобретения давно утратили праздничную функцию — это сугубая прагматика. Прикупить в «Новоарбатском» бутылку виски, название которого — «Тичерз» — довольно издевательски контрастирует с доходами российских «тичеров»? Так ведь сам же себе его не открою, то есть помимо содовой к этому напитку надо добавить партнера (партнершу). А я, если честно, устал от всех персонажей своей записной книжки — остается только уповать на тот непреложный оптимистический факт, что незнакомых людей в мире всегда остается больше, чем знакомых... Да и с алкоголем у меня в конце концов сложились отношения не любовные (как у по-своему счастливых рабов напитка), не дружеские (как у гармонично-умеренных пьяниц), а дистанционно-приятельские: все по случаю, да и из вежливости, да за компанию. Трезвая калькуляция недвусмысленно свидетельствует, что, взаимодействуя с алкоголем, я свою *дейность* только расходую,

ничего не приобретая. Но с такой целью я и на службу мог бы отправиться. Захотелось человеку купить себе немного энергии, а где ее продают, кто мне подскажет?

В процессе раздумий машинально принимаюсь за дела хозяйственные. «Пылесосить, пылесосу» — этот глагол я легко переношу в чужой речи, готов признать его фактом разговорного языка, но сам не люблю это слово, как, впрочем, и обозначаемый им процесс. Все время испытываю страх, что воюющий прибор поглотит что-нибудь ценное или даже драгоценное. Например, косточки от яблок: Деля, сидя за письменным столом или в постели, любила захватить с кухни яблоко и нож, причем всегда без тарелки, за что я, скованный еще Тильдиным бонтоном, то и дело к ней придирался. Отрезав первый ломтик, она часто протягивала его мне, словно вновь и вновь пытаюсь соблазнить этим плодом, на мой вкус слишком элементарным, я почти всегда отказывался, потом огрызок яблока покоился на лезвии ножа, коричневел, словно уходя в мир иной, я не без раздражения уносил нож на кухню, а останки плода в мусорное ведро. Теперь, оставшись один, я нередко нахожу косточки в самых разных уголках опустелого дома, сердце всякий раз сжимается, а разжимается только после того, как я помещаю это крошечное напоминание о счастливой жизни в красную бархатную коробочку от обручального кольца, которое ныне на далекой Делиной руке символизирует уже не меня, а нового мужа; таких яблочных реликвий набралось не меньше десятка.

Успокоив «Тайфун» и заперев его в стенном шкафу, пытаюсь придумать еще что-нибудь. Да, собирались мы в химчистку. Уложив в дорожную сумку три пиджака и единственные пристойные брюки (продолжительность жизни «низов» гораздо короче, чем быстро вдовеющих «верхов»), решаю на всякий случай позвонить в приемный пункт: а ну как там ремонт, или война с тараканами, или еще что-нибудь непредвиденное?

— Добрый день, вы сегодня работаете?

— Да, конечно. И всегда вам рады.



Томность голоса необычайная: видно, услуги химчистки так подорожали, что у них дефицит клиентов. И эти сирены хреновы готовы каждого просто заманивать в объятия своего сомнительного сервиса: большие деньги сдерут, а пятна не выведут. Но что там требовать от химчистки химической чистоты, будем снисходительны.

— Так я к вам зайду минут через двадцать.

— Вы на машине?

— Да нет, пешком, я тут неподалеку.

— Минуточку-минуточку. Я сейчас передаю трубку девушке, которая вас встретит.

Что за бред? Какая девушка? А из трубки доносится совсем уж детский голосок:

— Простите, вас как зовут?

Я уже не удивляюсь очевидной неуместности вопроса, к тому же мне вспоминаются стародавние времена, когда приходилось звонить по поручениям разрывавшегося между девушками и свиданиями полустаршего брата, представляясь от его имени, и, словно в память о той эпохе, я произношу: «Алексей».

— Значит, Алексей, вы от троллейбусной остановки поворачиваете налево, третий дом — магазин «Цирцея». Там есть телефон-автомат, около него и встретимся. Как вы будете одеты?

При всей своей тупости я соображаю, что сумку с одеждой лучше оставить дома. А вот деньги стоит взять с собой целиком. И еще нелишним будет побриться. «Как ты думаешь, — спрашиваю у отражения в зеркале, — я номер неправильно набрал или же там теперь вместо химчистки разместилось нечто иное?» Оно же молчит насупившись, с некоторым оттенком осуждения. Ну, если так, оставляю тебя дома, исполняй тут временно обязанности солидного человека, некогда молодого, а теперь уже стареющего ученого. Телевизор можешь посмотреть. А я пока попробую заглянуть по ту сторону голубого экрана.

Пошатываясь, как тинейджер, впервые хлебнувший портвейна, ступаю по изменившейся в лице весенней улице. Из киоска звукозаписи меня ударяет по ушам недавно реанимированный

древний шлягер: «Эти глаза напротив — калейдоскоп огней», сладенькая мелодия тут же обволакивает мой язык, но я уже облагородил ее легко легшим на этот ритм Бродским: «Жизнь есть товар навынос — пениса, торса, лба. И географии примесь к времени есть судь-ба!»

Почти беззвучно этот текст напевая, подхожу к означенному магазину с телефоном-автоматом. Да, такого свиданья у меня еще не было: двух-трех незнакомок принял было за ожидаемую, но они все мимо проходили. А вот эти глаза напротив меня явно зафиксировали и устремились ко мне через проезжую часть неширокого переуллка.

— Алексей? Я по вашу душу, Настей меня зовут.

Глаза при ближайшем рассмотрении зеленые. И — в пандан им что ли? — темно-зеленый кожаный костюм, акцентирующий щедрую и неглубокую телесность. Только вот туфли желтые ни к селу ни к городу, но черта ли в них, в туфлях — это все Тильдино воспитание меня обременило ненужными строгими критериями. Семьдесят процентов женщин всегда одеты безвкусно, двадцать пять процентов — то так то сяк, и лишь пять процентов неизменно безупречны. Но стоит ли к самому интересному явлению природы подходить со столь жесткой и искусственной меркой? Женщина со вкусом — продукт утонченной цивилизации, «идушая» ей одежда сливается с телом, делая эту даму в принципе недоступной. А вульгарненькую простушку так и хочется освободить от чужеродной скорлупы и попробовать на вкус. На свой вкус, а не на чей-нибудь там.

Высокая, медноволосая, крепкая. Кобылица молодая — нет, отнюдь не «кобыла», не «лошадь», а именно жеребеночек женского пола. С нею мне вдруг становится спокойно, уютно. Даже интересно, в какие круги заведет меня этот крутобедрый Вергилий.

— Вот, запоминайте, перед этой штуковиной надо повернуть налево, — указывает мне Настя на грязно-зеленый фургон, ржавеющий на вечном приколе. Смотрите-ка, она уже уверена, что я снова сюда приду!

Мы подходим к серой замызганной пятиэтажке, которая мне вдруг кажется подозрительно знакомой. Дежавю? Мерещится или припоминается? Боже правый, это же микрорайон школы, где я работал восемнадцать лет назад, а дом — тот самый, куда я приходил однажды «разбираться» с беспутной мамашей моей четвероклассницы Иры Гореловой! Нет, только не это! Но и подъезд первый, и этаж неумолимо первый, как тогда, — только дверь другая, черная, металлическая, однако опять же вторая слева. «Что-то не так? Вы плохо себя почувствовали?» — справляется чуткая Настя, но не признаешься же ей, что ты просто струсил, самым банальным образом.

Нам открывает миниатюрная смуглянка тюркского типа, ничего общего не имеющая с былыми обитателями. Меня проводят в комнату, где на диване сидят рядком четыре девушки разных мастей и габаритов. Соображаю, что историческая «Ирочка» и даже ее младшая сестра сегодня должны быть постарше девиц, мне предъявленных, так что бывший педагог может быть спокоен. Пытаюсь преодолеть нервное возбуждение и хладнокровно рассмотреть претенденток на мое повышенное внимание. Все четверо не красавицы, но в общем миловидны и умеренно вульгарны; искусственных красок на лице, конечно же, чересчур, но ведь здесь своего рода театр: ампула, маски, грим. И у меня тут есть своя роль, требующая немедленного выбора. Что делать? Ни одна не вызывает даже любопытства, хоть жребий бросай! Наверное, в принципе можно двинуться к порогу и совсем удалиться — как из магазина допустимо выйти без покупки. Но это будет жуткой бестактностью: восемь глаз глядят на тебя с надеждой (если это слово тут уместно). Тут вдруг Настя пристраивается сбоку от дивана: присела на одной ноге, поставив на круглое колено локоть, а на ладонь подбородок. А, так и она участница конкурса! Тогда гораздо легче...

— Ну, поскольку мы с Настей уже чуть раньше познакомились, то... — произношу я с такой интонацией, как будто

передо мной пять студенток и лишь одну из них я могу рекомендовать в аспирантуру. «Как говорится, *prior tempore — potior iure*»<sup>1</sup>, — это у меня уже хватает ума проговорить не вслух, а про себя. Дурила ты: для всего ищешь нравственно-правовое обоснование — вместо того чтобы просто пользоваться своим правом и делать то, что нравится!

Настя явно чувствует себя отличницей и сдержанно сияет. Иду за нею в другую комнату, по пути, в коридоре, руководительница предприятия со спокойным азиатским взглядом тактично называет мне требуемую сумму, довольно божескую, надо сказать. Вот, возьмите, пожалуйста.

В комнате нормальная, стандартная обстановка: ты такую именуешь «мещанской», а я назвал бы ее народной. Светит торшер, на серванте мурлычет двухкассетник, окна малиново зашторены.

— Ну, и что же мы будем делать?

Этот вопрос я хотел задать, но Настя меня опережает. Остается только с доступной мне степенью властности и решительности взять ее за плечи и приблизить к своему повсеместно пульсирующему телу. Согласно западным романам и фильмам представительницы этой профессии вроде бы не должны целовать клиента в губы, но у России, у Насти во всяком случае, особый путь...

Меня отбрасывает (кто? не знаю) лет на тридцать, а то и с лишним назад, когда такие крепкие, простые и отчаянные девчонки были для меня предметом достаточно дистанционного созерцания, в лучшем случае как спутницы полустаршего брата: недаром я сейчас выступаю под его именем.

Кажется, я молодею, даже юнею настолько, что готов довольствоваться поцелуями. Еще немного — и, как в фантастическом фильме, начну уменьшаться до дошкольного возраста и роста. Но Настя-то с моей фантазией не совпадает: вовсе она не шест-

<sup>1</sup> Первый по времени — сильнейший по праву (*лат.*).

надцатилетняя драчунья из рогожского двора, а взрослая женщина, находящаяся при исполнении определенных обязанностей. Спрашивает разрешения раздеться, и я не могу ей в этом отказать. Однако... Одним словом — обнаженщина... «Какая красавица!» — вырывается у меня безо всякой иронии, на наивно-первозданном серьезе, и в ответ на меня движется высоченная белая волна такой безотчетной и бесконтрольной симпатии, с какою прежде мне встречаться просто не доводилось. Сознание, так мне осточертевшее, полностью выключается. «Ну что, оденем резинку?» — вопрошает как будто издалека нежный голосок, и я окончательно сдаюсь в многолетней профессиональной борьбе за правильное употребление глаголов «одеть» и «надеть»...

Отрезвление, однако, наступает раньше, чем хотелось бы: нервная скрученность, длительная вибрация дает о себе знать. В молодые годы это у нас называлось: выступил неудачно. За секунду отчаяния в голове успевает прокрутиться достаточно пространственный внутренний монолог. Когда-то любил я в легкомысленных разговорах с дамами пройтись по Чехову Антону Палычу: дескать, этот ваш Чехов пошляк был наипервейший. Как он похвалялся в письмах своими интимными встречами с японкой, с бронзовой индуской на Цейлоне! Но ведь эти азиатские девушки ему отдавались не как автору «Каштанки», не из уважения к тонкостям стиля! Он их просто за деньги покупал и был для них неким иностранцем, одним из тысячи клиентов, и притом, быть может, не самым приятным! После такого беспощадного ниспровержения признанного столпа нравственности и интеллигентности собеседница иной раз даже устремлялась в мои объятия, как бы демонстрируя полное бескорыстие своих помыслов. И вот теперь я перед самим собою рухнул с былой высоты: купил себе эту восхитительную дурочку за умеренную сумму — вместо того чтобы честно охмурить ее разговорами на скамейке, или на диване, или еще на чем-нибудь, предназначенном для сидения, на первом этапе. Э-эх, несчастный я, сделал члены свои орудием греха...

Очевидно, я невольно исторгаю какое-то междометие, выражающее досаду и стыд, потому что в ответ слышу:

— А мне даже нравится, когда мужчина быстро... Это значит, что он от меня просто «ах» — и все тут.

Скажите, какая деликатность! Но насчет «ах», пожалуй, справедливо. Тоскливый стыд как рукой снимает, и я начинаю еще внимательнее и смелее изучать новую знакомую. Она, в свою очередь, меня:

— А ты вообще нормальный мужик.

Я вздрагиваю — оттого, что впервые в жизни меня столь юное существо называет на «ты». Из всех моих близких и знакомых это могла бы делать разве что Феня, но она не обращается ко мне никак.

— А что же, сюда только ненормальные приходят?

— Да нет, всякие... Да ну их!

Лежим, болтаем. Настя не спешит одеваться, на ней только охватывающая шею золотая цепочка с кулончиком-сердечком посередине. Моя юная собеседница оказывается почти коллегой — кончила пединститут, факультет начальных классов. По специальности и полугодом не проработала, директор достал ухаживаниями: «Не мог мою задницу спокойно видеть, мудака». Повествуя о житейских трудностях, Настя не удерживается от пары матерков, но, заметив мою чопорность, легко меняет лексику. Замужем? Ну, есть такой муж-не-муж. Кто он по профессии? Да... бандит...

Прошу пояснить, конкретизировать — и узнаю, что Настин друг время от времени получает заказ на выколачивание денег из кредиторов, на взыскание недоимок по рэкету. В случае попадания в милицию он использует свое право на один телефонный звонок, и тогда братва его срочно выкупает — за три тысячи зеленых, а если взяли с оружием в руках, — то за пять тысяч. Для меня это все — неведомый, новый мир. Описаны ли такие обычаи в никогда не читанных мной милицейских боевиках?

Я тоже оглашаю некоторые о себе сведения, пытаюсь бравировать возрастом: «Между прочим, в отцы тебе гожусь».

И называю цифру. — «Хорошо сохранился. Не-пьешь-не-куришь?» Всюду-то она умеет комплимент вставить, даже когда я облачаюсь в нехитрые свои одежды: «Как у тебя все по цветам подобрано...» Галантерейное, черт возьми, обхождение! Это у них, что ли, подготовка такая? Способ заманить еще раз?

На прощание целую ее по-отечески в лобик с пленительным клинышком сходящихся посередине двух рыжих волн. Она же роняет двусмысленное «Пока!» — будто следующая встреча уже намечена. «Приходите еще» — это произносит уже не Настя, а провожающая меня до железной двери начальница — между прочим, рысьи глаза ее не лишены пикантности. Вручает мне на прощанье визитную карточку с телефонным номером (ну да, на одну циферку отличается от химчисткиного) и набранным крупными красивыми буквами в цветочной рамочке словом «Массаж». А, вот где, оказывается, я побывал! Так что все в рамочках морали и нравственности.

С этим, однако, не согласна рыжая горизонтальная такса, покрывающая меня по выходе из подъезда гневным и беспощадным лаем. «Тутси! Тутси! Первый раз с ней такое!» — комментирует ее владелица, бросая на меня встревоженный взгляд. Да, не бывать мне больше безупречным нравственным неврастеником, не употреблять гордой частицы *я никогда не*. Черный от стыда, шагаю по противной улице, но почему-то чувствую, как сердце горит на этом темном фоне красным матиссовским солнышком. А может быть, для того, чтобы найти себя, надо себя для начала немножко потерять, уронить? Сумерки. Выхожу на проспект и над сталинскими домами вижу то, чего давно уже не замечал. Звезды!

## XXII

**Теорема эквивалентности № 4. Факт и вымысел в пределах эстетической сферы находятся в отношениях условного равенства и абсолютной эквивалентности.**

Что лучше: факт или вымысел, правда или вранье? Опять задаю детские вопросы, но без них не обойтись. Человечество вконец изовралось, изуродовав свой язык множеством ненужных двусмысленностей. Сейчас вот, кстати, все, как попки, залопотали: «виртуальный, виртуальный», не задумываясь даже о том, как это вдруг слово «virtual» со значением «действительный, реальный», с такой мужественно-прямой латинской корневой основой вдруг начало обозначать «возможный», а то и «мнимый». Или то же многострадальное слово «миф» — им называют и красивый творческий вымысел, емкую онтологическую метафору, и элементарную циничную дезинформацию. В нормальной человеческой жизни, в области не-искусства, любой вымысел есть обман и ничего более. И Жизнь, взятая сама по себе, без мифологических примесей, без налета вымышленной вторичности, достаточно интересна и вкусна.

Не очень верю во всяческие теории о «мифологизированности» массового сознания. По моим наблюдениям, эти самые простые, «массовые» люди скорее склонны к позитивизму и трезвому расчету. Не думаю, например, что простой человек на слово поверит какому-нибудь Пушкину, который облыжно приписал некоему Сальери отравление некоего Моцарта. Хотя бы потому, что все трое названных лиц ему либо неизвестны, либо глубоко безразличны.

Тот же, кто способен воспринимать выдуманный диалог двух композиторов, разговаривающих почему-то русским нерифмованным пятистопным ямбом, уж как-нибудь отдает себе отчет в том, что поэт отнюдь не лицезрел гофкапельмейстера Венского двора бросающим цианистый калий в бокал автора «Волшебной флейты». Вменяемый читатель ответственно вступает с писателем в игру «веришь — не веришь», получая специфическое удовольствие от невозможного в обыденной жизни амбивалентного ощущения. На родном языке Сальери этот гедонистический эффект передается формулой «*Se non è vero è ben trovato*»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Если и не правда, то хорошо придумано (*итал.*).



И только на территории искусства правда и выдумка вступают в отношения условного равенства, с-равнения.

(Кстати, сравнение, являющееся необходимейшим приемом искусства, молекулой вещества художественности, в утилитарном дискурсе не только бесполезно, но и порой вредно. Это хорошо демонстрирует устная речь так называемых простых людей, реагирующих на «сопряжение далековатых идей», на логически не мотивированные сравнения поговоркой: «Сравнил х... с железной дорогой». Иногда вместо «сравнил» даже говорят «сровнял», подчеркивая уязвимость творческих аналогий перед лицом здравого смысла.)

Знаком «se pop è vego» помечено любое событие художественного повествования — от потери персонажем собственной тени или превращения его в насекомое до нормальной женитьбы или естественной смерти. Стирание границы между фактом и вымыслом не есть заслуга какого-то отдельного сочинителя — это органическое свойство сюжетно-повествовательного искусства. Любой, самый захудалый сочинитель, едва ступив на эту двусмысленную почву, получает энергетический аванс — весь вопрос в том, как он его отработает. Эквивалентность достигается тогда, когда две взаимоисключающие версии («правда — неправда») достаточно плотно прилегают друг к другу и в то же время сохраняют свою химическую отдельность, разноречивость.

Странное дело: вроде бы давно уже искусство отделалось от реализма, а все равно мы то и дело продолжаем оценивать сюжеты и картины с точки зрения их житейского правдоподобия: мол, не мог он убить, не могла она полюбить, таких больших мышей не бывает и т.п. Это говорит о том, что реалистическая полоска есть в любом художественном спектре, что реалистический бок есть в каждом произведении и никто не запретит читателю смотреть на опус и с этого боку.

В свою очередь самая правдивая правда (в том числе военная, лагерная, уголовная) может оказаться никому не интересной, если она не приправлена хотя бы малой толикой вранья

и не эквивалентна энергичному вымыслу. В приведенном выше расхожем итальянском выражении «ben trovato» переводится на русский как «хорошо придумано», хотя буквально оно означает «хорошо найдено». Ценны только находки, только жемчужные зерна, выхваченные либо из хаоса достоверной информации, либо из хаоса нашей фантазии. Остальное — mal trovato, плохо найдено.

Одно практическое следствие, вытекающее из этой теоремы. Сочинителей часто спрашивают: вот тут у вас правда или вымысел? Спрашивают из естественного читательского любопытства. Без любопытства нет живого контакта между читателем и текстом, и тем не менее лучше прямого ответа на такие вопросы избегать. Ответите: «правда» — люди скажут: да он всего-навсего описал то, что с ним было; какой он художник? Ответите: «вымысел» — скажут: да это он все выдумал, не было у него в жизни ничего такого уж интересного. То есть вам предлагают два варианта на выбор: признать себя либо лишенным творческого воображения, либо убогим «по жизни». Как говорится, оба хуже.

### XXIII

Душа вкуша... Давно не спалось так глубоко и так всеобъемлюще. Нервная пыль, покрывавшая меня снаружи и изнутри, вся куда-то удалась. Да, в занятой химчистке мы вчера побывали... И довольно трудно будет себя убедить в том, что этого не было.

«Является ли оппозиция «нормативность/ненормативность» релевантной для описанной выше коммуникативной ситуации?» — вяло читаю я машинопись данного мне на рецензию сборника статей, пытаюсь уйти в скучную работу от блуждающих во мне неуместных эмоций. Ох, не является — вынужден я признать, отодвигая в сторону эту тягомотину.

В таких случаях ждешь неожиданности, повода для бегства, и просто подарком звучит телефонный голос все той же

неизбывной Сьюзен, уже три дня проживающей в академической гостинице с тараканами, но проявившейся только сейчас и имеющей для меня соблазнительно-пригласительное письмо из Калифорнии, за которым я должен прибыть незамедлительно, поскольку у подруги моей сегодня еще три встречи, а вечером отъезд в Питер, откуда она отбудет уже непосредственно в Сан-Франциско. Ладно, еду.

Гостиница действительно академична, то есть все здесь старое и облезлое, но насчет тараканов — типичная антисоветская гипербола (ну где они? покажи хотя бы одного); тут же к Сьюзен подваливает еще одна гостья, а woman of no importance<sup>1</sup> неопределенного возраста и цвета, и я, упаковав заокеанское письмо во внутренний карман, ближе к сердцу, дипломатично вытекаю на Ленинский проспект. Между прочим, люблю его, и вообще Москва для меня не сводится к набору таких общих лирических мест, как Арбат, Чистые пруды, пречистенские и сретенские переулки с их внутренними дворами. Москва бывает еще и юная, длинноногая, не обремененная тяжелой исторической памятью. Так смотрится она своими проспектами (само слово «проспект» появилось на карте города меньше чем сорок лет назад, в весенне-оттепельное время), особенно Кутузовским и вот этим, по которому я вместе с отцом и его институтом ходил на майские и октябрьские демонстрации. По красным транспарантам отнюдь не ностальгирую, они тут ни при чем — просто остропрустовских воспоминаний, недочувствованных эмоций, недодуманных мыслей здесь много развешано. Когда я в последний раз проходил мимо серости Госстандарта и желтизны Жолтовского дома? И что здесь так радикально изменилось — никак понять не могу.

Где-то напротив Минералогии до меня начинает доходить, что изменился не район, перестроилось зрение мое, острым лучом вылавливающее из толпы все, что напоминает Настю: рыжие ли волосы, круглые сверкающие плечи или еще какие-ни-

---

<sup>1</sup> Женщина, не стоящая внимания (англ.).

будь сегменты разогретых майским солнцем девичьих тел — или же просто то суперсегментное свойство, что зовется юностью. Столько ведь лет мой взор был надежно от всего этого защищен профессионально-педагогическим фильтром: любая девица, потенциально годившаяся в студентки и даже в аспирантки, автоматически выводилась из зоны моего мужского внимания. Известную роль, конечно, сыграли и годы с Тильдой, превратившие меня в того самого анти-Гумберта, равнодушного к невзрослой, непроросшей женственности, и годы с Делей, не позволявшей сводить с себя взгляд куда бы то ни было. Так или иначе, вчерашняя Настя словно удалила бельма с моих зениц и зрачков, повернула меня лицом к природе. Казалось бы, такое прозрение — факт достаточно тривиальный, типологический: эльзасский психолог Эльсон-Плюфреш подобную метаморфозу описал еще в те времена, когда Фрейд даже родиться не успел, но что мне с того, что я об этом *уже читал* («дежалю» — так я по аналогии с «дежавю» определяю чисто книжный, умозрительный опыт), когда я это переживаю в данный момент и еще не знаю, как переживу, куда меня теперь занесет нелегкая!

Крупная сочная капля шлепается на мое темя, и серый тротуар начинает делаться пятнистым — надо прятаться, иначе чего доброго этот дощ-щ-щ (именно в старомосковском орфоэпическом варианте, а не коротенький «дошть») доберется до американской бумаги в кармане, подмочит мои международные позиции. Укрываюсь под аркой, и тут же меня чуть не сбивают с ног залетающие вслед за мной две дико хохочущие дурочки, постриженные по новейшей моде, как липы на аллее в Сен-Жермен-ан-Ле: снизу, над шеями, очень коротко, а нависающим кронам волос оставлена густота; обе с щекастыми личиками-бутончиками и беззастенчивым натуральным ароматом, особенно ощутимым на фоне грозовой свежести и запаха влажной пыли. Черт, оказывается, и ноздри мои были прежде зарешечены от всех этих набокровских «знойных душков», старался я не обонять то, что слишком молодо по моим понятиям. Что же проснулось на старости лет? Стыдиться или удивляться?

Чья-то тяжелая лапа ложится на плечо — я нервно оборачиваюсь и уставляюсь в нечто древнее, седое, неопратно-расплывчатое и снисходительно-глумливое:

— Что ж ты, как неродной, проходишь мимо и не заглянешь даже к товарищу по несчастьям?

Если бы еще вспомнить, как товарища зовут! Что-то такое мерещится в районе семидесятого года и Малой коммунистической улицы, где собирались мы у бывшего одноклассника в красном доме слева от храма Мартина Исповедника. Старше других был там мгимошный раскованный юноша, только что вернувшийся из Штатов, по фамилии Хренников и по кличке, естественно, Хрен. А вот христианское его имя — хоть убей, ладно ориентируемся в процессе. Дождик все-таки лучше где-то пересидеть, чем так вот переставать.

Экс-приятель увлекает меня на седьмой этаж, звеня бутылками в простонародной кошелке. С усилием вставляя ключ, отворяет дверь. «Ну почему так долго, Славка?» — раздраженно спрашивает, не замечая меня за грузным корпусом — Славы, значит, Хренникова, — образцово-показательная девица с телесными параметрами мирового стандарта (где-то шестьдесят сантиметров, где-то девяносто — никогда не знал, какие части имеются в виду) и совершенно правильными чертами лица, подпорченными, на мой вкус, только одним — прицельно-хищным взглядом и точным знанием нарицательной стоимости своих внешних данных.

— Карочка, я привел тебе показать единственного порядочного человека, которого теперь можно только случайно встретить под весенним дождем. Андрей, это жена моя.

Изо всех сил стараюсь не выказать удивления столь очевидным мезальянсом — во-первых, и контрастом между чистеньким еврообликом Карочки и холостяцкой затхлостью, загаженностью квартиры немолодого и неблаговонного Хрена — во-вторых. Меж тем я оказываюсь в гостиной, которую можно было бы назвать просторной, не будь она так загромождена предме-

тами старинной мебели вперемешку с картонными коробками и завалена разносоставным хламом. По привычке обозначаю для себя метонимическими штрихами тех, кто сидит вокруг низкого стола, уставленного дешевыми напитками типа «плиски», пока Слава торжественно-пренебрежительно их представляет: «Нана — самая опасная женщина СНГ» (крашенный перекисью Кавказ, миндалевидные), «сексуальная разбойница Вера» (маленький кукольный рот, рост почти баскетбольный), «свободный художник граф Безбородко» (лет шестьдесят, востроглазый, ну и седенькая бородка, конечно, при нем — по оксюморонному принципу), «издательский магнат Дима, духовный растлитель русского народа» (модные круглые очки на утином носике, волосы в косичку) ... Меня им подает как «рыцаря интеллигентности», но зачем-то с фамилией (магната-то не раскрыл полностью), да еще и с приложением институтской должности. Куда-то я влипаю — буквально чувствую, что брюки мои пристают к заскорузлой обивке кресла.

«Последний дипломат сгнувшей империи», как успевает себя по ходу аттестовать Слава, закручивает пружину разговора об отсутствующих и совсем неведомых мне лицах, точнее не лицах, а черт знает о чем, довольно скоро переходя в тональность для меня просто неприемлемую:

— Нет, у Таньки жопа обвислая — не то что у Ленки Харинной, зато влагалище у нее га-а-раздо слаще!

Ну вот зачем надо было подниматься на этот седьмой этаж и одновременно опускаться до такой компании? В паузе между похабными тостами («плиску» из грязного стакана не пью — лишь имитирую глотки) выбираюсь в коридор. Признаюсь себе, что одним из поводов для захождения в этот бедлам была возможность решить одну маленькую проблему: у Сьюзен в гостинице это сделать забыл, а общественных туалетов на Ленинском — ноль, дошагай хоть до Кольцевой, хоть до Калуги! Вот так карает нас провидение за мелкий меркантилизм!

Вымыв руки в грязнощей ванной (нет, врет Хрен, что это жена — неужели она обнажается и моется в такой клоаке?)

и вытерев их носовым платком, быстро решаю, что в компанию уже не вернусь и нацеливаюсь на английский уход, становясь по пути свидетелем доносящегося из кухни диалога, точнее фрагмента разговора, достаточного, впрочем, для реконструкции контекста.

— Ну, сходишь с ними в баню, перепихнешься с каждым по разу — и двести баксов, — убеждает кого-то ровно и бесстрастно хозяйка дома. — Вот как раз за Димкину спецшколу и заплатишь.

— Противно, Карин, про-тив-но! — отвечает глубокий грудной голос.

Успеваю бросить по пути осторожный взгляд в открытый дверной проем кухни и заметить Димкину маму, не желающую облажать в бане Диму-издателя: она нервно курит, положив одну полноватую ножку на другую, пухленькая, домашняя, совсем не похожая на этих... Карина, которая мне не видна, продолжает увещевания:

— Не знаешь ты, какое бывает настоящее «противно». Вот попутанила бы с мое за бугром, поняла бы. А тут нормальные, в общем, мужики.

— Ну да, нормальные! Один этот...

Все! Рецензии на графа и магната мне неинтересны. Какое счастье, что меня юная Димкина мамаша не видела, и ее «противно» ко мне — пока! — относиться не может. Хорошо также, что замок здесь несложный, и я легко с ним справляюсь, открывая дверь изнутри. Вот она уже за мной захлопнулась. Лифт мне не нужен, с седьмого этажа я и пешком сбегу — с большим удовольствием!

Да, обновился, однако, традиционный перечень профессий. Когда-то была такая детская азбука: Петя — пожарник, Рома — рыбак... Что там было на «с» — не помню, а теперь, стало быть: Слава — сутенер. Куда только не забрасывает судьбина моих сверстников! Но мне ли, завсегдатаю массажных салонов, его судить! Заклеймив себя несправедливой

обвинительной гиперболой, я тут же сам себе подаю на апелляцию — и в итоге оказываюсь почти оправданным. Что там говорить, претендовать на статус грешника мне с моими маленькими, почти детскими приключениями ну, по меньшей мере нескромно.

Прежде чем стереть из памяти события последнего часа, пытаюсь разгадать нехитрую хитрость Хрена: его опущенность носит явно театральный характер, но в чем смысл игры? Имитация бедности, попытка скрыть свои старые сокровища и новые доходы? Но рэкетире не дураки, они судят не по одежке и не по толщине слоя пыли на мебели, им эту пыль в глаза не пустишь. А может, Славиному ограниченно-элитарному контингенту по вкусу именно грязный секс? Не как во вчерашнем салоне, напоминающем аккуратный медпункт. Что-то есть натужное и фальшивое в этих якобы эпатажных разговорах о влагилице — как в выдаваемых за «народные» вымученных похабных частушках. Грязь как средство возбуждения — почему бы и нет? Но я здесь скорее с демократическим большинством, которому нужны сентименты, возвышенные речи, таинственные встречи, трогательные воспоминания.

В русском эротическом дискурсе, как и в нашем языке в целом, явно не хватает «среднего штиля». «Обладал ею» — стиль высокий, «трахнул ее» — низкий, а что будет нейтральным? Медицинский и юридический язык («совершил половой акт») явно уходят вниз. Нету нейтралитета в столь принципиальной сфере: либо — либо. А раз приходится выбирать, то я предпочитаю высь.

Ну, вот уже почти все забыто — только чей-то тяжелый, пристальный взгляд за мной увязался, два круглых нацеленных глаза еще остаются на распавшейся картинке. Козлоподобный граф Безбородко с его странной живостью засел на экране моей памяти. Зачем он здесь? То есть ты хочешь сказать, что у меня есть все шансы заделаться в скором времени таким же похотливым старикашкой, примитивным похабником, чей взгляд зажигается от соприкосновения с любой биомассой, чья небольшая



душа механически отзывается не на душу, а на любую близлежащую тушу?

Страшно обижаюсь, но принимаю к сведению. К некоторой черте, границе я подошел, но переступить ее совершенно необязательно. Так называемая нравственность бывает разной степени стойкости, сила сопротивления распаду у всех неодинакова. Один живым выйдет из кромешного разврата, а другой духовно загнется после заурядного грешка. И сам про себя человек в этом смысле всей правды не знает никогда.

Проходит совершенно бесфабульная неделя, к концу которой в моей борьбе с самим собой верх берет тот, кто сильнее. В пятницу он засиживается в институте до шести часов и, дождавшись ухода секретарши, нервным пальцем набирает телефонный номер «Массажа» и просит позвать Настю. «Извините, но мы девушек к телефону не зовем. Девушку можно только заказать». Ладно, согласен и на это. «Видите ли, Настя сегодня не работает, но мы можем предложить вам другую, с такими же данными. Нет? Тогда приходите завтра. Ну, не так рано, конечно. Часа в два». Это через двадцать часов — начинаю я уже считать время, остающееся до поцелуя.

## XXIV

Теперь, когда у меня с огромным опозданием появился некоторый вкус к Жизни, я нахожу его в том, чтобы успеть как следует *предвкусить* те немногие радости, которые она дарит, — нет, не дарит даже, а с надменным видом выдает, неохотно извлекая их из потайного ящичка и тут же его стремительно захлопывая. У нее правильный овал лица, прямой нос, грустноватые зеленые глаза и тонкие, нервически-тревожные губы. Это я уже о Насте. Завтра попробую тщательнее ее изучить, прежде чем проваливаться в безумие: не сразу надо к ней приблизиться, а сначала зафиксировать ее облик общим планом, затем, слегка соприкасаясь с круглой прохладной грудью, прочувствовать, действительно ли

что-то тогда возникло между нами, потом вчитаться в глубину взгляда. Да, еще не забыть посмотреть на ноги, чего я, конечно же, не сделал в прошлый раз, — посмотреть не с целью оценки: теперь меня уже не отпугнет короткость или кривизна, — а просто для полноты картины. И еще расспросить — о родителях, о детстве, о первой любви, а если сама захочет рассказать, — выслушать и обо всем остальном. Любопытство? Может быть, но любопытство все-таки не порок, о чем теперь могу говорить не машинально-фразеологически, а достаточно компетентно, поскольку на стезю того самого порока неделю назад я ступил как бы случайно, а теперь отправляюсь уже вполне сознательно.

Книга жизни должна быть прожита, а не прочитана. Не знаю, кто это сказал первым, — цитирую в дословном переводе с немецкого, где антитеза «прожита — прочитана» подкреплена еще и звуковой переключкой (*gelebt — gelesen*), но не исключено, что первоисточник более древний. А мы ведь с вами больше читали, чем жили, — такая уж наша судьба. И где-то на полпути стал я примечать, что происходящее со мной то и дело смотрится некоей цитатой, чем-то ложноизвестным, тем самым, уже упоминавшимся «дежалю». Тогда мы еще все на свете пытались называть «текстом»: очень престижное было слово, хотя значит оно всего-навсего «ткань», а ткань может быть и грубой, и дешевой, и отвратно-синтетической, не дающей дышать телу и душе. Вот и сейчас литературные прецеденты только мешают проживать происходящее. Противно идти по улице, ощущая себя ходячей цитатой.

«...И рука *подлеца* нажимала эту грязную кнопку звонка...» (курсив не мой, а цитируемого автора). Совсем она не грязная, даже белая. И насчет «подлеца» — не надо: я, в отличие от некоторых поэтических завсегдатаев подобных заведений, здесь только во второй и, надеюсь, в последний раз. Сразу начнем разговор с установления другого способа связи: уверен, что и неделю назад Настя поведала бы мне свои координаты, помимо

рабочего, так сказать, телефона. Сильно стучит сердце — уже не от страха и даже не от стыда: пусть смотрит на меня своим глазком черная железная дверь сколько ей заблагорассудится.

На восточное радушие руководительницы предприятия отвечаю со сдержанной строгостью: «Добрый день. Я к Насте».

В рысьих глазах вижу усмешку, но сейчас я неуязвим для иронии, чьей бы то ни было: можете хоть снимать меня скрытой камерой и показывать потом всем моим знакомым — мнение этой ограниченной аудитории меня не так уж волнует.

Сажусь, как и в первый раз, в зрительское кресло и жду появления своей рыжей инженю. Однако в комнату входит и на демонстрационный диван садится легко одетая блондинка, совершенно незнакомая. В ту же секунду ведущая начинает озвучивать как будто заранее написанный и наизусть выученный текст:

— Видите ли, у Насти неожиданно изменились обстоятельства и сегодня она не сможет прийти. К вашим услугам Яна (представляющий жест в сторону блондинки) — и... я. Вот-вот подойдут еще две девушки, примерно такой же комплекции, как Настя. — Тут она грациозно опускает свою попку, обтянутую белыми шортами, на тот же диван. А, так она играющий тренер — или режиссер. Или даже драматург, с успехом сочиняющий несложные пьесы для лопухов-клиентов.

— А когда же будет Настя? — пытаюсь я действовать по своему сценарию. Уйти я всегда успею, а своего буду добиваться любой ценой!

— Не раньше чем на следующей неделе. Не денется никуда ваша Настя. Успокойтесь, отдохните. Надеюсь, вы у нас не в последний раз.

Нет, товарищи, это никуда не годится! Опять, как при советской власти, за меня решают, чего и кого я должен желать. А эта турчанка еще к тому же абсолютно убеждена в своей неотразимости и, по видимости, без проблем подчиняет себе людей обоюго пола. Такая могла бы и моим институтом командовать — только не согласится, конечно, за нашу зарплату. Интересно было бы

с ней поговорить за жизнь, только не здесь, а на нейтральном поле, да и, объективно говоря, есть у нее, помимо разреза глаз, еще и пропорции, осанка, даже предпосылки изящества. Но назло ей, да к тому же за свои трудовые я позволю себе быть субъективным. Хотя бы здесь должен действовать принцип свободного выбора! Я выбираю Яну! Вот так!

Уединившись с Яной, мы исполняем роли, диктуемые ситуацией. Ее медленное тело еще сохраняет утреннюю свежесть, только что вымытые волосы источают простенький аромат шампуня. Но, конечно, девушка вполне заурядная, что обнаруживает и наш с ней взаимно-вежливый диалог. Яна родом из Липецка, где выучилась на товароведа. Ведая, какой товар теперь самый ходовой, приехала в Москву. Снимает неподалеку комнату, раз в месяц ездит в родной город отдохнуть на два-три дня. «Друг» имеется, он на несколько лет ее старше, чем-то торгует. Главная цель — заработать на квартиру. Как, в общем-то, у всех теперь.

— Надеюсь, у вас это получится и все будет хорошо, — с вялой искренностью говорю ей я и осторожно спрашиваю о главном для себя:

— А с Настей вы хорошо знакомы?

— Да нет, она ведь здесь не очень часто бывала.

Почему «бывала», почему в прошедшем времени? Скрывая легкий ужас, выведываю у Яны совсем еще свежие подробности конфликта между Настей и Зухрой — так зовут начальницу. Амбал-охранник, дежурящий в соседней квартире («сейчас его еще нет, он обычно приходит часам к пяти»), потребовал от Насти услуг на, так сказать, общественных началах. Та воспротивилась, а Зухра предложила ей на выбор: либо ублажать стража за ту же зарплату, либо покинуть заведение. Поскольку ни в каком КЗоТе подобные коллизии не предусмотрены, то спор оказался неразрешимым. Насти не было в салоне уже три дня, и звонить она тоже не звонила.

Что же делать, черт возьми? Рассеянно проведя взглядом по круглым веснушчатым плечам Яны, машинально уставившись

в ее легкую, робкую грудь, начинаю сосредоточенно соображать. Пишу на клочке бумаги номер своего телефона. Да, но кто я? Не совсем «Алексей», которым по глупости назвался, а имя «Андрей» Насте ничего не скажет и может сбить с толку. Остановимся на Алексее — все равно ведь сам трубку подниму.

— Яна, я вас очень-очень прошу в случае появления Насти передать, чтобы она позвонила по этому номеру.

Подкрепить просьбу мне решительно нечем, но хотя бы успел ее сформулировать. А то Зухра уже стучит в дверь:

— Задерживаетесь!

— Да мы просто разговариваем! — спешит оправдаться Яна, набрасывая на голое тело вульгарно-цветастый халатик, подобный тем, какие напяливают поверх нормальной одежды продавщицы в магазинах.

Ну что, можно на нее положиться? Так ведь положился уже, а больше не на кого. Сам спешу выбраться в коридор, чтобы не навлечь на своего единственного агента неприятностей, не вызвать лишних к ней вопросов.

— Если так понравилось, то еще приходите, — издевается вдогонку гостеприимная хозяйка.

— Непременно, — отвечаю, пытаюсь придать интонации высокомерную двусмысленность, хотя в такой ситуации амбициозничать, прямо скажем, нелепо. Все-таки стихотворение, с которым ты спорить пытался, правильно называлось — «Унижение». Тебя унизили.

И каково после всего этого домой возвращаться? Чего ждать от так называемой Жизни?

## XXV

Об институте вообще не говорю, он окончательно превращается в забытую деревню. Барин-директор иногда о ней вспоминает и откуда-нибудь из Миннеаполиса предостерегает меня от подписания сомнительных договоров и соглашений. А на усадьбу нашу покушаются со всех сторон: китайский ресторан хочет

арендовать один этаж и притом кормить сотрудников института льготными обедами, палочки для еды обещают выдавать совсем бесплатно; клуб шейпинга, если мы его к себе впустим, берется придать изящные формы всем нашим необъятным сотрудницам; международное общество по борьбе за долголетие гарантирует нам всего за четыре комнаты доживание до лучших времен. Последний проект наименее популярен в нашем коллективе: лозунгом дня стало элементарное выживание.

Мои коллеги готовы отдать новым хозяевам вишневого сада хоть все здание, за исключением разве что бухгалтерии: два раза в месяц они согласны забирать свое скудное жалованье, а больше и нечего здесь делать. По-своему они, конечно, правы, но меня как-то смущает тот факт, что памятник архитектуры, внутри которого мы толкуем о предикативности, все-таки нам не принадлежит, что это чужое имущество. Говоришь, что это совковая логика? Возможно, но, на мой примитивный взгляд, заповедь «Не укради» однозначна и универсальна: ни в Исходе, ни во Второзаконии нет ни словечка о том, что на социалистическую собственность она не распространяется.

Согласен, что на кого-то теперь легла историческая миссия разворовать всё ничье и бесхозное, но пусть это осуществляют люди талантливые в данном отношении, наделенные соответствующим даром. А таскать бездарно, по мелочам — это мне не столько этически, сколько эстетически претит.

— Любить — так красавицу, воровать — так миллион?

— Нет, то и другое я, пожалуй, не потяну. Ограничусь присутствующей здесь красавицей.

Если ты совсем или почти совсем не говорил с тем или иным лицом по телефону, то первый звонок от этого лица звучит как незнакомый, нужно еще привыкнуть к эфирной копии голоса, его иному акустическому оформлению. Но в данном случае я сразу узнаю, кто это обращается ко мне с довольно непривычным, нарочито-фамильярным и в то же время немножко смущенным зачином:

— Здравствуйте, молодой человек!

Еще до того, только выйдя из лифта и стоя на площадке, я по настроению звонка уже почувствовал, кто там, на другом конце провода. Замок заело — так готов был дверь выбить плечом.

Ворвавшись, в трубку вцепился так, что пластмасса захрустела в руках. Дверь и душа настежь. «Настя?» А голосок такой детский и звонкий у этой, насколько я помню, отнюдь не миниатюрной девушки.

— Да я догадалась, что ты не Алексей. Ладно, будешь Андреем... Когда? Да хоть сейчас. Ты один? Более чем? Ладно, потом мне объяснишь, что это значит. Я на «Водном стадионе», схвачу тачку и приеду.

После всех необходимых приготовлений минут двадцать уже стою на балконе, встречая взглядом один автомобиль за другим. Высокая особа в большой соломенной шляпе стремительно шагает со стороны проспекта. Женщины любят щеголять шляпами, но в девяти случаях из десяти выглядят в них огородными пугалами. Эта же вроде бы ничего... Тем более что это... Настя моя, которую в пешеходном контексте (где тачка-то?) я просто не узнал. Хорош!

— Сначала я села на частника одного. Он все рассматривал меня в зеркало, а потом вдруг так мрачно: «Как я хочу т-р-рахнуть тебя в этой шляпе!» Ну, я на светофоре у «Сокола» выскочила, матом ему сказала, что думаю, а дальше уже на метро. Чтобы не достаться кому не надо. Правильно? Я вся мокрая, пустишь меня в ванную?

«...Художник — и Цезарь и Рубикон//любви и разврата...//он мать и блудница, мастер мужчин//и женского жеста...» Хотел я спросить у автора стихов, какой это «женский жест», но не уверен, что он мне ответил бы: для него это, наверное, только звуковой повтор, паронимическая аттракция. А я со временем для себя нашел интерпретацию: самый женственный жест — это откинутые руки и открытые взору подмышки.

Неважно, лежа или сидя. Нижняя часть тела может при этом быть даже закрытой или прикрытой — как у моей любимой «La dormeuse» — «Спящей» Ренуара.

Подмышка — очень интимное и вместе с тем поэтическое место женского мира. Знаешь, есть такие французские тематические альбомы серии «Части тела» с фрагментами живописных шедевров самых разных художников: «Руки», «Спина» (сюда заодно включается и попа), «Грудь» и так далее. Вполне можно было бы выпустить еще и альбом «L'aisselle» — так красиво подмышка у них называется. У итальянцев от того же корня — «l'ascella». И тут любопытное соответствие между языками и живописью. По-английски и по-немецки, например, эта часть тела трактуется как пустое место, как дыра и именуется через смежное понятие плеча, руки («плечевая ямка», «плечевая дырка»); то же, в общем, по-русски: «под мышкой» — значит под плечевой мышцей. Французский же и итальянский языки видят здесь не пустоту, а средоточие жизненной энергии, не менее значимое, чем женская грудь. Может быть, потому Ренуар и открыл для искусства эту территорию, а Модильяни и Матисс потом так здорово продолжили ее освоение. Да, а самое-то главное: общая латинская основа этих слов в романских языках — «axilla» — происходит от «ala», «крыло». У женщины в этих местах крылышки находятся, и она их расправляет только в полете.

Точно так, закинув руки за голову, ничего не скрывая, предстает она передо мной, когда я захожу в комнату с двумя бокалами холодного «Шаблизьен» на небольшом жостовском подносе.

— Ну, кла-асс!..

Отнюдь не уверен, однако, что такой класс мне удастся выдержать и дальше. Довольно тупо пытаюсь сыграть роль знатока и гурмана, спрашиваю:

— А тебе какой способ больше нравится?

— Самый простой, — отвечает она самыми простыми словами.



...В какой-то момент она кладет ладони мне на ягодичы и, как партнерша, которая вдруг берется вести неумелого танцора, то придвигает, то отдаляет меня от себя. Страсть или техника? Кто-то там не хотел, чтобы на нем играли как на флейте... Но если так владеют моими клапанами...

... Какой пошляк назвал это «маленькой смертью»? Почему не Большой Жизнью?

И опять она, присев на диване и приникнув розовыми губами к бокалу:

— Кла-а-а-а-а-а-а-а!

Да, пора нашим словарям фиксировать переход этого существительного в междометие.

— Постой вот так немножко! Я хочу посмотреть, какие у тебя ноги.

— Ноги у меня довольно красивые. Это даже моя мама признает.

## XXVI

Стыдно мне теперь вспоминать, что когда-то, да совсем недавно смотрел на пожилых друзей молодых подруг и на престарелых мужей юных жен со снисходительной усмешечкой: мол, понимаю, товарищи, ваши объективные трудности. Теперь только уразумел, что главное оружие мужчины — язык, а не то, что обычно думают. Владеющий языком всегда доставит женщине радость.

— В том смысле, что женщина любит ушами?

— Ну да, в том числе и это...

Чудесная дурочка есть у меня, и лучше той дурочки нет... Потому что у тебя самые зеленые глазки, а родинки на попке составляют Кассиопею. Точно. И потому еще, что я хочу тебя поцеловать. Нет-нет, чуть-чуть на коленках приподнимись, пожалуйста. Все-все...

Теперь у нас уже есть свой контекстик на двоих, своя история вопроса: «а знаешь?», «а помнишь?», «да ты что!» — и так далее.

— Они мне тогда вместо тебя посулили девушку «такой же комплекции»...

— Вот уж вранье-о! Нету там больше такой! Там в основном ведь девки совсем несимпатичные, приезжие, грубые. Умеют только пить по-черному и деньги считать. А какие тупые-е! Ты просто не представляешь.

— Да, ты знаешь, я ведь как мужчина не очень опытен и, встретившись с тобой в этом салоне, даже подумал: вот где, оказывается, можно настоящую женственность найти! Но уже после контакта с Яной...

— Янка-то еще лучше других, с ней хоть можно разговаривать. Лицо у нее такое немножко лошадиное, но трахается она классно. Не заметил? Ну, значит, она просто на тебя не завелась.

— Положим, я ее заводить и не собирался. Мне, как разводчику, надо было на тебя выйти. И этой Янке я теперь готов каждое Восьмое марта цветы дарить за то, что она тебе мой телефон передала.

— Очень ей твои цветы нужны! Нет, уж ты их мне принеси — розы такие темно-темно-бордовые, почти черные...

Ни с кем мой язык так не распускался. Мы разговариваем даже во время. Настя не склонна к бурным проявлениям, но закрытые глаза все же подергиваются, а губы свиваются в лестную для мужского взгляда гримаску:

— Ну, давай уже, давай...

— Скажи, что меня хоть немножко любишь...

Столь идиотский текст срывается с моих уст без прохождения через такую высокую инстанцию, как разум — или хотя бы просто ум. Право, не знаю, в каком месте он зародился. Но Настя вдруг отвечает не экстатическим «Да! Да!» (входящим в банальный сценарий мужской амбиции), а с неожиданной логичностью и, главное, по самой сути заданного вопроса:

— Немножко — люблю, а нравишься — очень. Я от тебя балде-е-ю.

Балдеть бы и мне, вдыхая росу этого юного и сильного тела, но глупая моя голова не может отложить аналитический разбор диалога до наилучших, до одиноких времен. Что значит «нравишься»? Слово из лексикона средней школы. Классе в седьмом-восьмом, когда глагол «любить» казался слишком взрослым, говорили, к примеру: «Ивановой нравится Петров». На роль Петрова утверждался кто-нибудь рослый и «симпатичный» (обывательский синоним слова «красивый»), желатель но брюнет с орлиным профилем. Я же принадлежал к тому невзрачному большинству, которому надлежало долго ждать взросления, а потом либо жениться на такой же, как я сам, либо подбирать красавицу Иванову после того как коварный Петров неожиданно оставит ее и переметнется по расчету к дочке какого-нибудь выгодного Сидорова. Так что, старик, одним подростковым комплексом меньше: наконец ты понравился, да еще девочке, которая сантиметров на пять выше тебя ростом, хотя и на двадцать лет моложе! А любить тебя этой девочке пока не за что, ты и за «немножко» ей (и еще кое-кому) спасибо скажи. Кстати, не только в русском простонародном, но и в английском та же оппозиция: like — love. «The peacock I like, but the dove I love»<sup>1</sup> — что-то вроде этого, да? Тильда и Деля меня любили — это точно, но именно как голубка, как родного человека. А тут на склоне лет у меня и павлиний хвост прорезался.

— Так ты мне тоже расскажи про свою жизнь, чем так вот молча вспоминать. Или ты меня вправду дурочкой считаешь?

## XXVII

США и ПМЖ. Эти две аббревиатуры взорвали тишину институтской жизни. Директор наш обрел Постоянное Место Жительства в Соединенных Штатах Америки. Пока он, в ков-

---

<sup>1</sup> Павлин мне нравится, а голубя я люблю (англ.).

бойской шляпе и черных, по-юношески узких джинсах, спускается по лестнице со второго этажа своего скромного, в рассрочку купленного домика, садится в подержанное, с открытым верхом «шевроле» цвета мокрого асфальта и едет по тому самому, мокрому после ночного дождя асфальту к ближайшему супермаркету, в брошенном им институте длится нескончаемая немая сцена. Каждый, услышав новость, открывает варезку на несколько секунд (жаль, что я не фотолобитель, — можно было бы препотешную серию портретов изготовить) и лишь потом переходит к бессмысленным вопросам: как выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС, автор докторской диссертации о реакционной языковой политике США против коренного индейского населения, утонченный юдофоб, способный распознать примесь чуждой крови хоть в корейце по фамилии Ли, произносивший словосочетание «проблемы изучения русского языка» с таким логическим ударением на слове «русского», что само упоминание имен вроде Романа Якобсона становилось жутчайшей бестактностью, — как мог этот человек вдруг превратиться в американца?

«Вот что значит настоящая демократия», — комментируют некоторые с таким радостным видом, как будто сами рассчитывают на получение «грин кард» и пачки зеленых портретов Франклина в придачу. «Просто получил новое задание», — проникают другие. Третьи брезгливо отмечают, что бывший советский VIP опустился до преподавания в третьесортном университете, если вообще не в колледже. Новое ПМЖ экс-директора называется Augh: ни в каком атласе его обнаружить не удалось, да к тому же не было уверенности в том, как этот топоним надлежит транслитерировать по-русски — «О», «Ок» или еще как-нибудь. Впрочем, этот достаточно отвлеченный дискуссионный вопрос тут же сменился более насущным: кого теперь выбрать в директоры?

Мои немногочисленные союзники считают, что я должен выдвинуть свою кандидатуру, выступить с программой и прочее. Но не могу же я в этой программе честно написать, что институту надо

все начинать с начала, что десятка два теток в мохеровых кофтах должны уйти на пенсию, что задача «сохранить коллектив», к сожалению, вступает в непреодолимое противоречие с внутренней логикой развития нашей науки, что все лучшее делалось здесь, под крышей старинной усадьбы, одиночками, а главной традицией «коллектива» было устранение или ущемление этих одиночек... Пардон, я увлекся. Слишком завожусь, есть грех.

Но ты послушала бы их речи! Люди, профессия которых язык, ворочают этим языком, как лопатой. Притом сплошь метафорами сыплют: то сравнивают институт с кораблем, которому нужен умелый лоцман (оригинально до ужаса!), то говорят, что мы идем, взявшись за руки, по краю обрыва и главное — не сорваться в пропасть. Тут я не выдерживаю и напоминаю, что это, кажется, из книги Ленина «Что делать?» метафорка, что иным ленинцам не повредило бы и полететь в тартарары. Обижаются — страсть! Да, согласен, хамство это было с моей стороны, и в спокойном, лежащем, как сейчас, состоянии я это понимаю, но когда просидишь с ними целый день... А ты в это время проходишь мимо.

Ни одно свидание с Настей не состоит без серьезных препятствий и приключений. Пресловутый муж-не-муж, долго работавший на выездах, вдруг засел дома и сковал ее по рукам и ногам, один раз даже буквально.

Стою на «Маяковской» и предвкушаю выход из последнего вагона возвышающейся над согбенным большинством вертикальной фигурки (суффикс «к» не уменьшительный, а сугубо ласкательный), затем приближение к моему лицу двух под углом сходящихся рыжих волн и тонких розовых губ. Потом мы будем рассматривать булгаковский дом (культурный роман Настя читала), потом пройдем по трем Садовым, я куплю ей мороженое и пообещаю в следующий раз сводить в зоопарк («Класс! Как я об этом мечтаю!»), потом свернем направо, на отрезке Нового Арбата между кольцом и Калининским мостом голова начнет кружиться и перестанет только после того, как на мосту я поце-

люю ее в губы и она обовьет меня длинными сильными руками. Я так и не понимаю до сих пор, что именно мой полустарший братец называет идеальным секс-партнерством, но знаю точно, что в Насте нашел идеального партнера для хождения по городу: как и я, она никогда от этого не устает и готова шляться до второго пришествия. Дома мы упадем на диван, но она тут же вырвется и скроется в ванной, я последую за ней и начнется игра в мытье маленькой девочки, тем более забавная, что девочка почти достает головой до потолка...

...После сорокапятиминутного ожидания я понимаю, что воздушный замок рухнул. Еду эскалатором вверх, набираю семь цифр, слышу неприятное мужское «да», для конспирации говорю что-то вроде «Лену, пожалуйста», получаю в ответ: «Правильно надо номер набирать» — и с двумя пересадками следую домой.

Там пытаюсь отвлечься немногими доступными средствами: листанием журналов, пригубливанием коньяка, пробежкой по всем телеканалам и обратно — пока не забываюсь неверным сном в кресле, чтобы через полчаса вздрогнуть от телефонной трели:

— Понимаешь, — шепчет она на пределе допустимой громкости, — он увидел, что я куда-то собираюсь, и надел на меня наручники, а потом ноги связал и два часа продержал в таком состоянии. Сейчас он заснул. Как только он завтра выметется, я тебе позвоню.

Заснул он, видите ли. Соперничек! А эта дурочка просто не понимает границы между игрой и криминалом. Чувствую, что влипну с ней в историю.

— Может быть, ты все-таки его любишь?

— Не-а. Буду я такого любить!

— Так зачем же жить с ним вместе?

— А он без меня жить не сможет. Ты видел бы его квартиру!

Все стены в дырах: он, когда психует, из пистолета лупит по ним. Если я уйду, он тут же в себя выстрелит.

— А если в тебя?

— Никогда! Я только вот так на него посмотрю — он тут же шелковый делается.

— Так почему же ты свой магический взгляд на него не обратила, когда он тебя в наручники заковывал?

— Обратила, да только он в глаза не смотрел, когда меня скручивал. Ну что ты все время мне о нем напоминаешь? Я тебя сейчас хочу поцеловать.

## XXVIII

Настино слепяще-белое тело, ее просторная и наивная душа заслонили для меня маленький, потный мир института с его локальными ценностями и амбициями. На долгих бессмысленных собраниях по выдвижению кандидатов в директоры присутствую не я сам, а муляж, робот, из которого тайком вынуты ум, душа и даже, наверное, печенка, потому что в ней у меня теперь никто не сидит. Довольно много гадостей говорят про некоего Андрея Владимировича, и я всякий раз с удивлением догадываюсь, что это все обо мне. Права, очень права оказалась Деля: я достиг фантастических результатов, умело превращая во врагов тех людей, которые по всем земным законам должны были быть моими союзниками («Ты ведь такой же, как они, обыкновенный человек. Зачем ты их запугал завиральными, заоблачными задумками? Зачем изображать из себя гения и гиганта, если ты им не являешься, если ты все равно не пойдешь до конца?»). Сколько теперь у меня зложелателей! И никакого сговора или заговора, каждого из них я персонально чем-то обидел, и каждый Сильвио ждет возможности ответно унизить меня.

До абсурда доходит: одна из наших мыр инкриминировала мне фразу: «Без мене не можете творити ничесоже». Дескать, я сравниваю себя с Богом. Но контекст-то какой был! Пришли ко мне две дамы профсоюзные с письмом в Моссовет по поводу каких-то там подарков ветеранам. Этим вообще-то должен за-

ниматься зам по хозяйству, а я по добродушию своему не только подписал, но и переписал всю бумагу правильным официально-деловым языком (не «дайте, пожалуйста», а «просим предоставить»): грамотный человек и таким должен владеть, а уж лингвист — вне всяких сомнений. Дамочки эти шарообразные передо мной в очередной раз свою профнепригодность продемонстрировали, ну а я, чтобы ситуацию разрядить, немножко пошутил, перейдя с бюрократического языка той бумаги на более мне близкий церковнославянский.

Теперь я понял наконец, что шутить в принципе нельзя, что любая острота в быту есть нарушение приличия и более того — безнравственная акция. Даже если кто-то получает садистское удовольствие от того, что другого вышутили, он, этот кто-то, в глубине души испытывает боль и страх: мол, и надо мной так же точно можно посмеяться. А всем острякам-самоучкам Жизнь говорит (только услышать это надо): хочешь шутить — иди работать Жванецким или пиши свои «Двенадцать стульев». Человечество не желает расставаться с дорогим ему прошлым, поэтому оно предпочитает смеяться только в местах, специально для этого отведенных, и, конечно, в нерабочее время. Смех же не к месту и не вовремя можно сравнить, можно оградить (даже: оградить, если уж совсем быть верным изначальному написанию) примерно таким вот образом: что если профессиональная садистка-«госпожа», с ног до головы обтянутая в черную кожу, выйдет из своего тайного секс-салона на улицу с хлыстом в руках и начнет лупить всех подряд прохожих? Ей за это не только не заплатят гонорара, но более того — ее немедленно арестуют за оскорбление людей действием в общественном месте!

Как бы то ни было, рейтинг в институте у меня весьма неважнецкий. На первый план сейчас выдвинулся бывший парторг, у него и связи старые в деловых кругах сохранились, и лозунг прелестный: «Сохранить коллектив как редкую коллекцию». Так и хочется добавить: коллекцию монстров и уродов. Но тех, кому это хочется добавить, гораздо менее пятидесяти процентов...



А тут — и по-видимому не случайно — припомнился мне древний эпизодик из студенческих лет. (Все теперь сравниваю с Настей, а она в ту пору еще пребывала в круглом чреве одной симпатичной рыжей москвички лет так двадцати двух — двадцати трех.) Уже в середине шестидесятых годов наша филфак-овская компания предвосхитила многие культурные веяния конца столетия. Например, интертекстуальный бум — тогда он у нас, правда, самокритично именовался «цитатным идиотизмом». Словечка в простоте мы тогда не произносили — все с культурным подтекстом! «Поэму без героя» бедную просто разодрали на клочки. Помню, когда начался арабо-израильский конфликт, Борька возвещал при встрече: «Меир-Голдовы арапчата затевают свою возню!» — и все понимали, что он имеет в виду. А то еще в духе входившего в моду «раблезианства» мы позволяли себе, сидя в соседних туалетных кабинках и подражая царственному голосу, известному нам по пластинке, продекламировать: «А так как мне бумаги не хватило...». Но дальше туалета подобными «интертекстами» не блистали и никак уже не могли предположить, что лет двадцать пять — тридцать спустя такое сортирное балагурство станет чуть ли не магистральной линией поэзии и культурологии.

А на втором курсе возникло у нас нечто вроде кружка по изучению матерной речи. Вспомнили Бодуэна де Куртене, выступавшего против фетишизации языкового знака и выпустившего под своей редакцией самый полный Словарь Даля. Реформатский тогда еще был жив, и до нас доходили слухи о том, что к мату он неравнодушен — и научно, и сердечно. Стали собираться то на квартирах, то в общаге — всухую разговаривали, что примечательно, о выпивке даже забывали. Мишка (потом он филфак бросил, стал артистом довольно известным) предложил все это назвать НИИХМАТЬ. Директором выбрали Леву, а я как матерщинник менее изощренный стал заместителем по науке. Заслушали Борькин доклад о сортирных надписях на стенах (культурным словом «граффити» их тогда еще не име-

новали). Ицик, теперь уже покойный — царство ему небесное, настолько расщедрился, что предложил присвоить докладчику звание старшего научного сотрудника, но тут Игорь на полном серьезе заявил, что уровень работы не дотягивает до такого отличия. Кстати, видишь, вон там, на третьей полке сверху слева, толстые красные книжищи? Эротический фольклор, школьный фольклор и прочее. Там теперь питерские филологи опубликовали сортирные надписи, даже с фотографиями, но без особого, я сказал бы, осмысления. У Борьки-то и пошире было (он все вокзалы облазил), и поаналитичнее. Не пожалели бы мы ему тогда игрушечного титула — глядишь и не бросил бы наш товарищ столь перспективную тему. Наука ведь — занятие для сверхтерпеливых: никак не меньше тридцати лет нужно, чтобы интересующие тебя пустяки и мелочи превратились в общепризнанные «крупночи».

Но самое, конечно, удивительное было, что нас на этом деле не замели. Ведь тогда люди гремели из универа за вещи гораздо более невинные, а нас никто не засек, не заложил. Это говорит о том, что не такой уж всепроникающей была система «стука», что у «Галины Борисовны» не до всех доходили руки. А длились наши посиделки не меньше четырех месяцев — пока не пришел «Интер-Шурик». Очкастый, прыщавый, в лягушечьего цвета свитере, он имел необъяснимый успех у девиц всех континентов. Когда он с небольшой температурой лежал на общежитской койке с вонючей копеечной кубинской сигаретой в зубах, за право сварить ему на кухне кофе боролись худенькая немка, широкая в кости финка и идеального сложения африканка. Чем покорила их этот зануда — загадка. Наше веселое дело он загубил, загноил мгновенно: пробив себе должность ученого секретаря, насочинял тут же всяких циркуляров, отпечатал на подаренной немкой малюсенькой машинке и уговорил Льва подписать. Институт переименовывался из «Ниихматери» в НИИ НЦФ (нецензурной филологии), шутить запрещалось... Ну, ясное дело, все в момент развалилось. Казенщины нам и в университете хватало выше крыши.

А не в такие же детские игры я сейчас играю? Может быть, настоящая взрослая жизнь — там, где нет условных «командиров», где не воюют за уцененные лавры первого парня на деревне, а взыскиуют града и мира, ищут честного и свободного диалога со всем прекрасным множеством незнакомых людей? Но когда уже в игру включился, следишь за ее ходом, а тем более когда сделал ставку, пусть даже не крупную... Короче, не явиться на выборы, где выберут не тебя, уже нельзя.

Те, кто на собрании сдержанно ратует за меня, имеют довольно бледный вид. Мне перед ними неловко: все-таки выступая из вежливости за безнадежного претендента, они рискуют подрастерять кое-какие очки, усложнить себе отношения с будущим директором. Поэтому после голосования я следую совету моей главной соратницы и ритуально поздравляю парторга с успехом. Тот, пьяный от счастья, меня чуть не обнимает: «Родной мой, с коллективом вы не сработались, но мы найдем применение вашему таланту, мы вас используем». Тут мне припоминается эпизод из «Архипелага», когда в ответ на слова: «Мы хотим вас использовать» старый ученый-лагерник начинает спускать штаны и поворачиваться задом. Аналогия, может быть, нескромная с моей стороны (куда мне до лагерника!), но не совсем случайная, поскольку свежеиспеченный директор голубоват.

Уединившись со мной в не моем уже кабинете, самая преданная мне женщина пытается приободрить: «Андрей, есть еще один ход...» Но я-то точно знаю, что единственно возможный ход называется — уход. Шахматист я неумелый, но все же не пятого разряда и, завидев неизбежный себе мат, останавливаю часы, не дожидаясь, как малыши, когда моего короля положат на доске голым задом вверх.

— Светлана, у меня к вам нескромная просьба: наберите этот номер, пожалуйста, и если ответит женский голос, передайте трубку мне, а если мужской — то попросите позвать Настю.

Моя милейшая коллега дарит меня таким искрящимся удивленным взглядом, что мне делается весело: за кого же она меня

раньше держала — за монаха, импотента, гомосексуалиста? Выполняет поставленную задачу она, однако, исправно и даже с молодым кокетством отвечает бандиту, очевидно, спросившему: «А это кто?» — «Све-ета».

Выхватив у нее трубку и уже никого не стесняясь, диктую: «Через сорок минут жду тебя возле той почты на Ленинградском шоссе».

Опоздав всего минут на семь, она с детективной осторожностью ко мне приближается, интенсивно телепатируя просьбу воздержаться от объятий и поцелуев.

— Еле вырвалась, но не уверена, что он не...

Про волка речь, а он навстречь... Широкоплеч, коротко острижен, с простыми, но правильными чертами лица, не лишённого даже признаков сознания, но явно перекошенного целым пучком комплексов.

— Беги! Пусть лучше он меня убьет, чем тебя!

Сказать, что я никогда не, было бы неправдой. Бежал от опасности быстрее, чем заяц от орла, когда мы с двумя мальчиками на детской площадке обзывали «бомбой» одну толстушку, ставшую впоследствии самой красивой женщиной в нашем доме; она расплакалась, помчалась домой и, видимо, театрально наврала, что ее побили; озверевший папаша выскочил во двор с широким армейским ремнем в руках; приятели мои заблаговременно ретировались, я же зазевался и, с некоторым опозданием поняв назначение ремня, вылетел в Большой Рогожский переулок, финишировал в глубине детского парка, а потом, оглядываясь, пробирался домой в своих коротких и, честно сказать, не совсем сухих штанишках. Было это тем летом, когда Берия потерял доверие, и, будь на моем месте элитарный прозаик, он непременно поставил бы данный случай в исторический контекст.

Неподвижно стоя в полуметре от Насти и метрах в десяти от соперника, пытаюсь найти подходящие слова, чтобы упредить применение молодым человеком кулаков или оружия. Мож-

но ведь в принципе сказать нечто такое этому не волку, волчонку...

Серый «опель» резко тормозит у тротуара, из него, как в кино, выпуливаются два крепыша, очень похожих на Настиного муж-не-мужа, обнимают его с двух сторон и уже втроем дружно упаковываются в автомобиль, который тут же берет стремительный старт. Институтская тягомотина съела слишком много моих нервных клеток, и на удивление их сейчас просто не хватает. А есть чему изумиться.

— Поехали к тебе, там все расскажу.

С этими словами Настя поднимает руку — и чуть не вызывает дорожно-транспортное происшествие, поскольку сразу три машины прилипают к обочине, рискуя поцеловаться бамперами. Молча едем, молча входим в дом...

— Коньяк я не люблю, но немножко налей. Значит, после твоего звонка я что-то наплела и выбежала. Знала, конечно, что Егор за мной потащится. (Егор он, оказывается. Раньше Настя номинировала его тремя способами: «мой», «дурак» и «мой дурак».) Успела еще из автомата позвонить одному своему женишку...

— Кому?

— Ну, это я так его называю. В «Метелице» была как-то вечером с подружками по профессии, и подкатился один. Знаешь, там кругом все черные...

— Негры?

— Да нет, кавказцы. Ну, на этом фоне он мне показался приличным человеком. Хотя, конечно, криминальный товарищ, но не шестерка, как мой Егор, а настоящий вор в законе. Миша Рыбинский. Свозил меня зимой в горную Австрию, недельку там на лыжах покаталась. Он меня несколько раз замуж звал, хотя о постели даже речи нет — что-то у него там не в порядке с этим делом. Понимаешь, я ему нужна, чтобы в ресторанах со мной появляться, ну и все такое.

— Ты-то как к нему относишься?

— А никак. Совсем в нем нет теплоты что ли... Денег не жалеет, но не умеет заботиться о женщине. Почему-то одни бан-

дюки на меня клюют. Профессоров, кроме тебя, у меня пока что не было. Слушай, а может, ты тоже из этих и только хорошо маскируешься?

Шутки шутками, но все чаще думаю: неправильно прочел свое призвание, решив почему-то, что я так называемый «человек науки». Не бывает таких людей, за редким исключением, и я — нормальный *человек жизни* — пусть не бандит, но в известной мере авантюрист, приключенец, начинающий себя понимать только тогда, когда с ним случается что-то небудничное и неправильное.

— Короче, — продолжает Настя, — когда Егор меня совсем заколебал своими скандалами и я об этом под настроение Мише рассказала, тот предложил его немножко воспитать. Тогда я отказалась, а сегодня звякнула — вот они и приехали, как по заказу. Обещали его даже не бить, только предупредят...

— Так за кого из этих двоих все-таки ты замуж бы вышла?

— А ни за кого. Ты меня извини, но если я за кого-то и захотела бы выйти замуж, то за тебя.

Честное слово, такое предложение опять звучит для меня неожиданно. Ну, никак не видел я себя рядом с Настей в роли «женишка».

— Да? Так я ловлю тебя на слове.

— Лови, если поймаешь.

## XXIX

Да, но оба мы оказались без работы, без службы — for the moment, конечно, — только вот как долго продлится этот момент... У меня после ухода из Речи осталось еще почасовое университетское преподавание, достаточное лишь для того, чтобы удовлетворить пресловутую лев-толстовскую «похоть учить» (а она у меня, как я тебе уже говорил, весьма умеренна), деньги же там даются два раза в год, столько раз на них можно и поесть.

Должен признаться, что проявил полную и непростительную самонадеянность, то есть понадеялся на себя и на свой автори-

тетец. И мне и ему во всех возможных местах трудоустройства оказали заслуженный прием. Да еще мой недолгий опыт начальствования сыграл роль волчьего билета: ну кому нужен рабочий с лидерскими амбициями, равно удаленный от пенсионного возраста и от интересов коллектива. Попробуй теперь докажи, что у тебя нет таких амбиций, что не волк ты по крови своей. Не поверят: где гарантия, что ты после примерного дремания на трех заседаниях ученого совета вдруг не проснешься на четвертом и не ляпнешь, что почтенный институт занимается ерундой? Невелика наша научная деревня, и чтобы понять свое в ней место, необязательно от каждых ворот получить поворот — иные отлупы можно и предугадать, вычислить.

Рита Ручкина — наш верный барометр и флюгер, та сразу на меня рукой махнула. Бывало, по часу мы с ней телефонную сеть эксплуатировали, обсуждая национальные особенности русского филологического быта, а теперь словно и номер мой забыла. Впрочем, она по-своему права, переключившись с меня, ставшего теперь почти ее ровесником, на новые, растущие кадры. Она ведь не случайно горит общественным энтузиазмом двадцать четыре часа в сутки: муж у нее не то пьет, не то гуляет, не то совсем ушел из дому. А я для Риты что-нибудь реальное сделал за все годы нашего знакомства, с одиночеством помог ей справиться?

Жизнь вообще помолодела. Научную ситуацию постепенно начинают контролировать некоторые наши бывшие студенты — собранные, целеустремленные, чуждые сомнения в себе. Я уже не назвал бы их просто arrogantными — пора этому прилагательному перейти в существительное, из отдельного признака в сущность — «арrogанты». Это люди, которые с ходу присваивают себе монопольное право распоряжаться в науке, как у себя дома. Талантливы они скорей в административном плане, к концепциям всяким относятся со здоровой долей цинизма, а к их производителям — с вежливо скрываемой высокомерной иронией. Во мне как-то с возрастом arrogantность непрерывно убывала, поэтому с новейшими arrogantами у меня не конфликт, а просто полное отсутствие контакта и диалога.

Однако гораздо больше меня удручает, что и Ранову в их мире места не нашлось. К нему относятся с почтением, но никаких выводов из его довольно категоричных трудов для себя не делают. Вот сейчас появилась такая должность — «ведущий научный сотрудник», хотя в нашей области носители этого титула обычно никого никуда не ведут, а копают каждый свой небольшой огородик. Ранов — классический ведущий, природный лидер, хоть и совсем немолодой по нынешним меркам. Не знаю, как в политике, но в науке лидеры, по-моему, необходимы. Снова думаю о том, что сам мог бы сделать больше будучи не кустарем-одиночкой, а рядовым «ведомым» рановской школы.

Односельчане, между тем, все одно спрашивают, когда кого-нибудь из них случайно встретишь в библиотеке или в книжном магазине:

— Вы теперь где?

Так и хочется ответить в рифму. Потому что вопрос — хамство четырехкратное. Во-первых, неблагоприятно, на мой взгляд, отождествлять человека с должностью, с позицией в штатном расписании. Во-вторых, так можно наступить на любимую мозоль: а что если у человека именно сейчас именно с этим проблемы? В-четвертых, вопрос обнаруживает неосознанную корыстность: дескать, чем спрашиваемый мне может быть полезен.

Забыл «в-третьих»? Ну пожалуйста, при всем при этом вопрошающему совершенно до лампочки, что происходит с респондентом. Получив ответ, он его забудет, отойдя от тебя на первые же десять метров.

У Насти ситуация все-таки иная. Как-то днем возвращается она с Дорогомилковского рынка и вся насквозь сияет. Что уж такого на рынке-то радостного могло произойти?

— Ты представляешь, кого я сейчас встретила?

Общих знакомых у нас пока очень немного, тем не менее угадывать не пытаюсь, чтобы не смазать последующий эффект изумления.



— Зухру! И она меня чуть не на коленях упрасивала вернуться на работу. Она вообще на похвалы не щедрая, а тут прямо открытым текстом призналась, что лучшие постоянные клиенты ее все время достают насчет меня.

— Я их в определенном смысле очень даже понимаю, но что — ты хочешь туда вернуться?

— Да нет, нет! Ты пойми, что моральная победа за мной осталась!

Понять могу, теоретически. Чувственно же мне знаком только вкус морального поражения. Судите сами: мне сорок пять лет; четыре книги у меня вышли, вроде бы не совсем пустые, есть полученная без хлопот и унижений докторская степень, даже известность имеется какая-никакая: пусть не первый я парень на нашей русистской деревне, но и не самый последний. Словом, и си-ви более или менее пристойное, и силы есть нерастраченные, а вот на фиг всем сдался. Определилось мое занятие — уходить. Да, в области массажа и интима человеческую энергетику больше ценят. Настино упругое тело с его тонизирующим излучением оставило больший след в душах людей, чем мои монографии и доклады...

— Слушай, что я про Янку узнала! Она копила деньги на квартиру, и был у нее парень, москвич, с которым они хотели пожениться и его комнатенку как-то там с доплатой менять. Короче, отдала она ему все свои восемь тысяч...

— Долларов?

— Ну не купонов же украинских! А он вместе с денежками куда-то скрылся.

Я нервно вскакиваю с постели. Курильщики в таких случаях вставляют в рот сигарету, а мне приходится идти на кухню за рюмкой «Хеннеси», купленного по разумной цене в «дьюти-фри-шопе» заграничного аэропорта еще год назад.

— Слушай, твоя Янка, да и ты сама — вы хоть смотрели фильм «Ночи Кабирии»?

— Про Янку не знаю, а я — нет.

— Там точно такой случай показан был, причем задолго до вашего рождения.

Нет, зря теперь так тотально отрицается познавательное значение искусства. Нужен, нужен все-таки людям учебник жизни!

— И что же она теперь?

— Поехала в свой Липецк привести нервы в порядок, а потом вернется и начнет с нуля. Она девушка упертая, восстановит, что потеряла.

Черт, а я практически ничего не потерял, но вот упертости, целеустремленности никакой. Учись у художаво-мужественной Яны, которая хотя и не читала по всей видимости Киплинга, но сумела ведь она то, что стало уже привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать с начала...

— Куда ты убежал? Мне Янку очень жалко, но ты так переживаешь, что я ревную уже. Может быть, ты на ней женишься вместо меня?

— Боюсь, что ей я не подойду ни по возрасту, ни по имущественному статусу. Она хоть и дурочка оказалась, но, наверное не такая бескорыстная, как ты.

— Да-а, я такая одна-а-а. Так что теперь нужно сделать? Неужели я, темная, должна это профессору объяснять?

Жизнь гораздо менее системна, чем мы полагаем. Вот приключатся с тобой подряд две-три-четыре мелкие или даже крупные неприятности, ты эти обиды сплывишь в своем сердце в горький монолит, потом разложишь по полочкам сознания, придешь к научно достоверному и аргументированному выводу о том, что весь мир ополчился против тебя, — и тут же поступят новые данные, разрушающие твою трагическую концепцию и ехидно свидетельствующие о том, что мир пестр и рассеян, что он до сих пор не имел возможности на тебе сосредоточиться, а уж ополчаться против тебя не было у него ни малейшего намерения. Это просто в твоей душе справили свадьбу гордыня и уныние, заключили союз мания величия и мания преследования...

А мир настолько широк, что готов и тебя приглубить, и отправляет он из Вены приятно-угрожающее письмо: немедленно пришлите подтверждение своего участия в весеннем симпозиуме Школы Звучащего Слова и ваше «актуальное фото» (то есть последнего времени — что ж, согласен: меня самого не то смешит, не то раздражает, когда семидесятилетние бабульки вместо себя дают в журналы или сборники свои семнадцатилетние косички с бантиками). Затем идет анкета пунктов на тридцать с Yes и No. Встречать ли вас в аэропорту? Нужны ли вам для выступления аудио- и видеотехника? Согласны ли вы прочитать что-нибудь также в кафе Штадтпарка? Кофе будете пить со сливками или без? Последняя альтернатива оказывается наиболее мучительной: венский кофе сам по себе, говорят, хорош, а с другой стороны — сливки из молока альпийских коров... Ладно, надо принять мужественное решение, поставить крестик в одной из клеток и скорее посылать это все факсом: тридцатого марта, как они пишут, dead-line, а помирать нам рановато...

— Можешь мне гарантировать, что будешь ждать меня до двадцать второго апреля?

— Я и больше могу, до гробовой доски.

— Чьей?

— Общей.

### XXX

Кровь из вены, кровь из Вены... Сильное внутривенное вливание ощущаю с первых шагов и минут. Хорошо, что меня с ней сразу оставили наедине, не помешали первой интимной близости. «Она» — я всегда так думаю о любом городе и в этом смысле согласен не с родным языком, а скажем, с немецким, французским и итальянским, где слово это женского рода. Только сразу же подальше от цитатных бедкерев: «В Вене я видел святого Стефана»... Так сказать можно и не видя ничего. Доберусь еще до Стефана, ориентир прост — иди за японцами, щелкающими

своими фотокамерами. У меня же свой пароль — «Прюкель». Сейчас спрошу, где это кафе, у первого же встречного спрошу.

Выйдя из пансиона «Ридль» и миновав буквально три квартала, утыкаюсь в заветную вывеску: даже искать не пришлось. Вот здесь она, золотоволосая и светлокожая Тильда, сидит за кофейной чашкой, лет так двадцать пять тому назад, еще не догадываясь о моем существовании. Наверное, ее привычное место там, у окна, выходящего на Штубенринг. Сажусь за столик и тихо благодарю того, кто поселил меня в такой близости к эмоционально-смысловому центру австрийской столицы. Главная встреча состоялась.

Пройдя мимо памятника сумрачному венскому градоначальнику, замечаю в заднем стекле стоящего на тротуаре серого «БМВ» золотую волну женских волос — сердце сжимается, но автомобиль трогается с места, и я успеваю только заметить, что номер у него швейцарский, с гербом кантона Золотурн.

Узкие переулки, в одном из них, Уксусном (Essiggasse), на круглом столбе неожиданно вижу маленькую розовую афишку, где наряду с Андреем Битовым, а также несколькими иностранцами (есть даже Шопен, но не Фридерик, а Анри), фиксирую и себя самого, причем в первой половине алфавитного перечня: немецкий J в начале фамилии выручил, а то в России, начиная со списка первоклассников и далее везде, я всегда последний, если только нижнюю строчку не перехватит у меня какой-нибудь Яковлев или Ярцев. Завтра зазвучим!

Не забыть два события тебе рассказать — Труды и Битов.

Труды трудится в каком-то академическом институте социально-экономического профиля, к нашему звучащему слову прибилась случайно и уж не знаю, почему забрела в тот самый «шрайб-класс», где я рассказывал юным венкам и венцам о Хлебникове и Туфанове, а они демонстрировали свои англо- и немецкоязычные упражнения в русском жанре «заум». Она была настолько маленькая и очкастая, что я и заметил ее, только

когда она подошла ко мне по завершении занятий и без лишних предисловий пригласила пообедать в «Прюкеле». Слово «приглашаю» в западноевропейском языке означает «оплачиваю счет», и это меня несколько смутило, но отказаться было бы явно невежливо.

— Класс! — Настя вмешивается. — Ты тут же поступил на содержание к богатой даме!

— Если бы! Я сразу уловил, что она явно пижонит, выкладывая разом четыреста шиллингов, и потом уже сам платил в тех кафе, куда мы с ней забредали. Ею руководило простое любопытство, которое западные люди склонны вполне открыто удовлетворять. Сама Труди никогда не бывала в России, а ее младшая сестра, слетавшая в Петербург по дешевой турпутевке, рассказала, что главное русское слово — «ПЕКТОПАХ», это она вывеску «РЕСТОРАН» по-латински интерпретировала (ну прямо по Ильфу и Петрову). Пока мы обхаживали Вену по ее кольцу (подковообразному, как наше Бульварное), я не спеша, со вкусом повествовал Труди о прелестях и странностях страны «Пектопах». Она же в свою очередь доложила мне полную повесть своей жизни, как выяснилось — уже почти сорокалетней: отец был богатеньким зальцбургским адвокатом, мать — польская аристократка, с амбицией и с приветом. Осердившись на мужа, она поклялась его разорить и преуспела на этом разрушительном поприще. Сестра унаследовала от матери славянскую психологическую неуравновешенность, причем уже на уровне клиническом, вследствие чего Труди приходится держать ее под контролем, а сама она обычно вкалывает на двух-трех работах, только вот сейчас ненадолго оказалась в простое и старается наслаждаться свободой. «В вас я вижу свободу, которой мне не хватает», — не то чтобы в порядке комплимента, а скорее констатирующе изрекла она. «А я бы у вас поучился умению свободой наслаждаться», — ответил я, и наш кратковременный союз нашел идейное закрепление.

Знаешь, когда я был школьником, вся страна вела диспут на тему: возможна ли дружба между мальчиком и девочкой. Что касается меня, то я в такую дружбу верил всегда (я скорее сомневался и до сих пор сомневаюсь в возможности дружбы между мальчиком и мальчиком). Вот и с Труды мы, несмотря на солидный у обоих возраст, подружились именно как мальчик и девочка — между взрослыми невозможна такая бескорыстная откровенность. Она призналась, что ее бойфренд — высокий и красивый немецкий дипломат, отношения с которым отягощены, однако, двумя проблемами. Первое — нежелание дипломата заводить детей (а Труды уже более чем пора). Второе — его некоторые игровые пристрастия: требует, например, чтобы партнерша представляла перед ним в костюме официантки и с подносом в руках, а также не может обрести полного счастья, если женщина не прикована к ложу любви железными цепями. Да-да, как видишь, и русский бандит, и европейский дипломат на одном и том же могут быть сдвинуты — долюшка женская нелегка повсюду, приходится и таким спутником дорожить.

С содержательной точки зрения наши разговоры, наверное, небогаты были — как говорится: значение темно иль ничтожно. Но понимание друг друга было полное. А оно не только в откровенности заключается: опрокинуть свою душу, как ведро, в полузнакомого человека — это ничего не стоит. Важна и естественная мера сдержанности, когда каждый из говорящих точно чувствует, что нужно вот здесь остановиться, дать собеседнику возможность усвоить, переварить услышанное. Чтобы синхронно двигаться к взаимопониманию. Я ни разу не устал от Труды, надеюсь, что и она от меня тоже, и вот что примечательно: говорили мы на чужом для обоих усредненном английском, а ее речи мне запомнились по-русски. Так что все богатство языка вовсе не нужно для человеческой коммуникации, общение и художественная литература — разные вещи, абсолютно. Язык в настоящем разговоре передает только основной прагматический смысл, а оттенки сообщаются взглядами, жестами, дыханием.

Одна только Трудина фраза мне по-английски запомнилась — наверное, тут и был обрыв коммуникации или во всяком случае какой-то барьер. Когда я показал ей твою фотографию (делать этого, наверное, не следовало), она так сдержанно сказала: «She is very pretty»...

— Ну и нахалка же эта твоя Труди! Причем здесь «прити»? Я — бьютифул!

— Умница моя, так что ж ты придурялась, что не сечешь по-английски, если ты такие тонкости языка различаешь?

— Когда этот язык меня касается, я все чувствую. Но не думай, что я там ревную или еще что-нибудь. Я, между прочим, совершенно уверена — и не в тебе, а в себе. Меня променять даже на иностранку невозможно.

Так умиляет и веселит меня это твое самохвальство! Когда женщина исполнена природной избыточности, ей просто необходима некоторая доля самолюбования — для того чтобы сфокусировать взгляд на себя извне и придать ему верное направление. Взгляд ведь у большинства людей расплывчатый, полуслепой: сколько мужиков видели и видят в Насте всего лишь навсего «клевую телку», не догадываясь, что перед ними, если уж прибегать к животным метафорам, нежно-юная кобылица редкой элитной породы, погубить которую ничего не стоит, а дать развиваться — трудно и ответственно.

Справлюсь ли я? Воспитывать такого крупного и хрупкого ребенка, когда ты сам до сих пор не изжил в себе остатки инфантильности и еще — страшно сказать! — не завершился как личность... Тяжеленькая вещь — счастье, за каждым углом гибельная угроза.

Да, так о Битове. Не уверен, что ты его читала, но это, как у нас говорят, факт твоей биографии — будем считать, что радость встречи с первоклассной прозой у тебя еще впереди. Своих симпатий и антипатий никому не навязываю, но для меня Битов в каком-то смысле писатель номер один, речевой лидер, и ког-

да состоялось официальное представление нас друг другу около Школы прикладного искусства, рядом с каменной головой Оскара Кокошки (кстати, зарубежные поездки дают иногда возможность поболтать не только с иностранцами, но и с дефицитными соотечественниками), у меня было такое ощущение, что я разговариваю с самим Русским Литературным Языком. Я, ты знаешь, из тех ихтиологов, которым нравится, когда изучаемая рыба сама раскрывает свои секреты.

Не у каждого писателя есть вкус, а у Битова — целых два. То есть у него есть рассказ «Вкус» невероятной силы, вот одна фраза: «Светочка спала, расстегнув рот» — и все ясно; хочешь — когда-нибудь прочитаю тебе вслух, как детям читают перед сном? И есть у него точный вкус в построении своего собственного образа. Коротко стриженная седина. Уместные усы. Усы как таковые, вне сочетания с бородой, имеют два основных театрально-художественных смысла. Первый — попытка неврастеника придать себе уверенности; второй — фатовство, претензия на женское внимание, — на мой взгляд этот прием малоэффективен: уroda усы красивее не делают, красавцу же придают оттенок слащавости, приторности. У Битова ни то ни другое, у него усы вызваны скульптурной необходимостью: они скрадывают слишком большое расстояние между носом и верхней губой, потому так органично смотрятся.

Или такая вещь, как очки. Если в творческом человеке богемности больше, чем интеллигентности, то, надевая их, он становится немножко похожим на пожилого работника, которому надо вдруг прочесть письмо или расписаться в ведомости. Так, мне кажется, выглядит в очках Евтушенко. А Битов — он как будто в очках родился. Эдакий европрофессор, а «евро» — это все-таки аристократичнее, чем американский стандарт, на который сориентированы, к примеру, Аксенов и Вознесенский.

И вот, пожалуй, самое главное: Битову блестяще удалось соблюсти принцип «act your age»<sup>1</sup>. Те же Аксенов и Вознесен-

<sup>1</sup> Блуди свой возраст (англ.).



ский, они ведь оба постарше Битова будут, а в одежде слишком тщательны, да все еще продолжают прибегать к молодежным декоративным элементам, к «фенечкам» каким-то. В итоге они смотрятся *старыми мальчиками*. А Битов, оформляющий себя в небрежно-сдержанных тонах (темно-серый пиджак, старенькие твидовые брюки, усеянные там и сям шерстяными катышками) — это *молодой старик*. Имидж более честный и, пожалуй, более выигрышный — в высшем смысле. Хотел бы я тоже...

...Но я тебе еще не все рассказал. Как-то вечером лидер нашей школы — жесткий, лысоватый и худой Иде Хинтце (он звуковой поэт, сочиняет «Rufe» — кр-р-рики, гро-омкие такие) — собрал в кафе «Принц Фердинанд» нечто вроде педсовета. Между прочим, никакой халявы: каждый пьет-ест что хочет и получает отдельный счет. Битов и я, мы по рюмочке водки (один грамм — один шиллинг) выпили, а русский ночной разговор продолжили уже у него в номере старинно-престижной гостиницы «Грабен»: настоящий склеп, и с потолка текло, помню. Писатель достал бутылку «абсолюта» и под него абсолютно гениальные вещи стал произносить. Я поначалу пробовал вступать, соглашаться или оспаривать, а потом уже только слушал, поняв, что присутствую при рождении нового текста, который черново проигрывается на собеседнике. Такой утонченный, богатый полутонами язык слишком роскошен для простого человеческого общения. Причем тут не отдельные тезисы важны, а именно поток речевой. Идеи были самые фантастические: слово «хер», например, он возвел к немецкому «хэrr» — «господин», словно и не зная, что так буква «х» в кириллице именуется. С Пушкиным делает что хочет, но тут уж только Пушкин лично автору «Пушкинского дома» может претензии предъявлять...

Жалею, правда, что как раз по поводу «Пушкинского дома» постеснялся автору один вопросик задать, очень меня занимавший много лет. Там Лева Одоевцев у своей коварной возлюбленной Фаины из сумки вытаскивает кольцо. Оно якобы

дорогое, а на поверку оказывается подделкой, Лева его Фаине в конечном счете возвращает, но я не о подробностях сейчас, а о том, что русский интеллигент в такой сюжетной трактовке предстает способным на воровство. Уж бедного нашего русского интеллигента поносили и так и сяк, но при всех нравственно-политических грехах существуют все-таки у этих хлюпиков кое-какие табу, и вот это «не укради» уж точно. Интеллигент есть не-вор по определению, а те, что сейчас бесхозное народное достояние рвут на куски, — это не интеллигенция, даже при наличии ученых степеней. Я не утверждаю, что бизнесмен хуже интеллигента, но сама граница важна...

Ну ладно, может быть, и не стоило спрашивать. Зато одну окрыляющую мысль из битовского монолога я для себя вынес. «Гонорар, — сказал он, — это та энергия, которая к нам возвращается после написания текста. А мы еще какие-то деньги пытаемся требовать...» «Мы» — он, конечно, из вежливости сказал (в душе имея в виду: «Мы с Пушкиным»), я почти исключаю возможность того, что он хоть одну мою книгу или статью видел, но на обратном пути из «Грбена» в «Ридль» я немножко попробовал и к себе эти слова примерить. Все-таки и ко мне, когда я напишу что-то по-своему, языком о языке, вся затраченная энергия аккуратно возвращается. А после изготовления казенного, общепринятого текста (что порой делать приходится) только изнурение сплошное. Очень может быть, что все мои старания напрасны: абсолютное большинство коллег считают непреложной нормой мертвописание. Но ведь и у наших научных трудов хотя бы теоретически имеется читатель, а когда пишем учебники для студентов, то читатель просто за спиной стоит. Почему бы информацию ему не передать с речевым ускорением, не протянуть руку братской помощи?

Помню, шагая с этим настроением в третьем часу ночи, я все искал дорогу подлиннее, запутался на Краснобашенной улице, потом по Беккерштрассе выбрал к доминиканскому монастырю с витыми зелеными колоннами. Во всех храмах шла пасхальная

католическая заутреня, а из украинско-униатской Святой Варвары вдруг грянуло — не по-немецки, не по-латыни, на нашем родном языке: «... и сущим во гробех живот даровав!»

## XXXI

**Теорема эквивалентности № 3. Язык и не-язык находятся в равноправном взаимодействии. (Следствие: художественная динамика литературного произведения создается в равной мере двумя неслиянными и эквивалентными факторами — словесным и композиционным.)**

Двадцатый век ознаменовался колоссальным преувеличением реальной роли языка. Щедрую дань лингвистическому фетишизму отдали и художники, и журналисты, и политики. Любый малоначитанный полунинтеллигент может сейчас тебе вдохновенно процитировать, что слово — это Бог, что солнце останавливали словом да еще, дескать, словом разрушали города. Но солнце пока вроде на месте, а города и до и после Гумилева разрушали и разрушают экстралингвистическими средствами. Давайте без гипербол порассуждаем. Любить язык для человека так же естественно, как любить самого себя, свою мать и свою родину. Но, когда эти природные чувства выходят за нормальные пределы, они оборачиваются соответственно эгоизмом, инцестом и национализмом. А экстатически-языческое идолопоклонство перед языком ведет к словесному бессилию, тавтологичности, когда что-то наговорено, но в итоге ничего не сказано. Любопытно, что тавтологическая речь на холостом ходу наиболее свойственна представителям таких отдаленных друг от друга сфер, как политика и поэзия.

Язык многое может, многое хранит в себе, но делиться всем этим он начинает с нами только когда мы предлагаем ему нечто равноценное и равносильное: новые логические построения; свежие, не захватанные словами эмоции; новые факты, которые еще только предстоит назвать и обозначить; подробности и оттенки, до которых язык еще не добирался. Язык дан нам как

орган речи и вкуса, но и сам он постоянно пробует нас на вкус: чем мы можем быть ему интересны, что мы можем ему предложить?

Во-первых свою индивидуальную глубину и высоту, вертикаль своей личности, соизмеримую с той вертикалью, которая пронизывает язык, — от фонетики до синтаксиса, которая создается сообразностью, изоморфностью всех уровней.

Во-вторых, гибкость мысли и чувства, на которую язык может отозваться присущей ему бесконечной гибкостью.

Гибкая вертикаль. Она есть и у языка, и у экстралингвистического мира, то есть не-языка, всей невербальной реальности. На этой основе язык и не-язык пребывают в постоянном равноправном диалоге. На таких же основаниях может вступить в диалог с языком и отдельная личность, причем свидетельством глубины такого диалога будет не «красивость», не экспрессивность речи индивидуума, а ее естественность, органичность для данного субъекта. Лингвистически интересный человек — не тот, кто говорит «красиво», а тот, кто говорит по-своему. Ведь обыденная наша речь как минимум на девяносто процентов состоит из цитат, из клише. Свой неповторимый язычок в нехудожественном пространстве можно высунуть не более чем на одну десятую.

В иных, сплошь интимных отношениях с языком находится писатель стихов и/или прозы. Обручившись со словом, он уже без него ни единого слова сказать не может — все у них теперь общее. Однако это иллюзия — думать, что язык сам по себе что-то «диктует» пишущему: подкаблучник, раб, пассивный исполнитель этому властному, но в то же время гибко-податливому существу не нужен. «Поэт издалека заводит речь. // Поэта далеко заводит речь» — цитируя Цветаеву, обычно акцент делают на втором стихе, но что значит «издалека» в стихе первом? Значит, из своей глубины, из дословесного и внесловесного космоса, из боли, проходящей, согласно той же Цветаевой, «всего тела вдоль». Подлинная духовная вертикаль, кстати, проходит и через нижнюю половину души. А вертикаль половинная, «верх-

няя» — это всего-навсего «культура», духовность поверхностная, не космическая.

Поздний и пост (ный) модернизм взамен глубинного диалога с языком вступили в дешевую интрижку с легкомысленным двойником языка, с речью-проституткой, па-речью (пользуюсь древней словообразовательной моделью: не «сын», а «пасынок»). В этом симбиозе от мира взят наносной, поверхностный хаос, от человека — эгоцентрический цинизм, от языка — легкодоступная свобода игрового плетения словес. Это словоблудие почти неуязвимо для разоблачения, его невозможно призвать к ответу, поскольку оно ни за что не держится и ничем не дорожит. Тем не менее есть один обобщающий аргумент против бесконечно-«горизонтальной» болтовни: она не создает новых композиционных форм. Здесь мы подходим к приведенному выше следствию из нашей теоремы.

Настоящий, живой язык по своей натуре строитель. Он всюду видит корень, укрепляет его приставками и суффиксами, венчает окончанием. Так он строит слово, фразу, речь в целом. Он не просто ткёт «тексты», он текст разворачивает одновременно как сюжет и как словарь. Литературный талант — это не «хорошо подвешенный» язык, не болливый «язык без костей», это *природная связь приемов языка с приемами композиции*. А большие композиционные задачи сегодня можно решать только вкупе с философскими вопросами об устройстве человека и мироздания.

Как это ни грустно нашему брату признать, филологическая эпоха кончилась. Не навсегда, конечно: через пару жизней, может быть, и нагрянет следующая. Но вот сейчас, когда я пишу эти строки, а вы пишете свои, уже наступила эпоха антропологическая, когда надо заново понимать человеческую природу, и думать при этом придется не языком, а головой. При участии души, если таковая имеется. Языку же выпадает труднейшая работа по обретению нового баланса между разумом и чувством, по обозначению природных связей, открытых на этом пути.

## XXXII

Наверное я циник, коли Настина «профессия» ни разу не вызвала во мне шока или хотя бы отталкивания. Судя по всему, после второй нашей встречи к ее телу кроме меня имел доступ разве что психованный Егор — и то вряд ли: не поклонница она мужских истерик и секса в наручниках, да к тому же со связанными ногами. «Жила» она с молодым бандитом в последнее время в самом первичном и буквальном значении этого глагола. Ну а потом ко мне перебралась, навсегда, надеюсь. Денег, уезжая в Вену, я все-таки сколько-то ей оставил: получил как раз за допечатку учебника, причем на этот раз спускать эту сумму в салоне Зухры не было ни малейшего намерения. Другое дело, что такой гонорар сама Настя могла заработать, вернувшись туда, за одну смену. Всякий профессионал падок на лесть, на разговоры о его незаменимости и т.п. А ну как Настя поддалась на восточные комплименты и согласилась поддержать коллектив в трудную минуту... Хотя она и непохожа совсем на одноименную героиню пьесы Горького «На дне», во мне, в моем статусе, увы, есть сходство с Бароном, который разъезжает в «кажете прошлого» и живет несчастной девушкой «как червь яблоком».

Такие вот банальные реминисценции донимают меня по дороге из аэропорта. Дома ждет меня сюрпризик мой медноволосый в новом экстравагантно-коротком, белом с блестками платье, да и почти в новой квартире: древние портьеры сменились, большая комната перегорожена новым диваном, как в интерьерах западных фильмов. На столике передвижном легендарное шабли. Почему-то я мрачнею, а Настя спокойно так повествует:

— Меня тут классно трудоустроили.

— Кто?

— Соседка наша с тобой, со второго этажа, под нами.

Поскольку за двадцать лет мне не удалось ни разу залить эту даму водой, да и танцев на ее голове я также не устраивал, то наши отношения были всегда сугубо добрососедскими, то есть:

«Доброе утро! — Добрый день! — Добрый вечер!» — весь тезаурус из трех существительных и одного прилагательного. Ну-ну...

— Звонит как-то она в дверь, с цветами и извинениями: «Пардон за вторжение, но мне необходимо с вами поговорить. Я обнаружила на лестнице между вторым и третьим этажом сильное биополе. Потом заметила, что его интенсивность совпадает с запахом определенных духов. Потом установила, что так пахнете именно вы...»

(Ну, духи-то не такие уж уникальные — «Дюн», я же сам их Насте подарил, исходя скорее из названия. Дело в том, что Насте тело пахнет дюнами — морской свежестью в сочетании с разогретой солнцем сосновой хвоей. Но этот аромат можно уловить только при очень прямом и тесном контакте.)

«Сначала я пользовалась вашим биополем для себя. Если огорчение какое или давление прижмет — выйду на лестницу, и полегчает. Однако теперь вы мне нужны для дела. Недалеко отсюда начала работать небольшая частная школа. Это сложные дети сложных родителей. Они обеспечены всем, кроме покоя: постоянная угроза киднэппинга, страх. Мы бы вам предложили подготовительную группу и первый класс». Я подумала и говорю: «Я не против, тем более у меня и диплом есть». Она так улыбнулась: «Ну, диплом нас меньше всего интересует. Тысяча двести в месяц вас устроит?» Так что работаю теперь: утром уроки, потом продленка. Сейчас удалось вместо себя одну девушку оставить, чтобы тебя встретить.

Да, на педагогическом поприще она меня явно обставила! А я-то вчера наивно чувствовал себя богачом, меняя перед отъездом на доллары две банкноты необыкновенной красоты с портретом Моцарта: австрийцы этого композитора действительно ценят высоко, в сто раз больше, чем Фрейда, портрет которого на скромной пятидесятишиллинговой купюре я смог даже вывезти в качестве сувенира... Не сдержав профессиональной ревности, задаю хамский по сути вопрос:

— А дополнительных услуг от тебя там не требуют?

Настя так грустно, по-взрослому на меня смотрит, что мне сразу стыдно становится:

— Да я в том смысле...

— Смысл я поняла. Проституция, Андриюшенька, отнюдь не лучший способ заработка, даже в материальном отношении. Анекдот «Повезло мне, повезло» сочинили люди, не бывавшие в борделе даже в качестве клиентов. Так что ты мог чуть-чуть лучше в этом разбираться. Теперь о школе. Папаши моих детишек даже взгляда грязного себе не позволяют. Ко мне обращаются: «Анастасия Валерьевна». Не потому что воспитанные, а потому что отцовские чувства сильнее всех прочих. Понимаешь?

— Понимаю. Хотя бы потому, что к тебе сильное отцовское чувство испытываю, правда, с примесью некоторых прочих.

Эта реплика приходится Насте по вкусу, настроение ее вмиг меняется.

— Ой, вот так ты мне говори почаще. Мне от таких слов так хорошо, что больше уже ничего не нужно.

— Совсем ничего?

— Почти совсем. Но сначала все-таки мне расскажи про похождения свои австрийские.

«Валерьевна» — смешное отчество, какое-то игрушечное. Среди людей моего поколения никого с таким отчеством не припомню, а вот само имя было густо распространено: с конца тридцатых оно шло косяком, в честь Чкалова. Сейчас подросли дети многочисленных Валериев, но одновременно становится немодным употребление имен-отчеств, вытесняемое западными способами называния («господин такой-то» или по первому имени). Так что формы «Валерьевич» и «Валерьевна» остались только для паспортного стола. Да и сами промотавшиеся отцы по большей части люди несолидные: так, Настин отец, несмотря на полковничье звание, в штатском костюме никак не тянет на Валерия Михайловича — типичный Валера. Он оказался лет на шесть старше меня, а вторая жена его моложе, чем Настя. Не скрою, это меня немного успокоило, когда мы встретились



в доме Настиной матери, высокой грудастой дамы, строгой и набожной, смерившей меня весьма скептическим взглядом. На этом подобии свадьбы, точнее wedding-party, Настины родители встретились впервые после развода. С моей же стороны прийти оказалось некому: мать в больнице, братья в разных делах своих. Ну ладно, третий брак состоялся, а уж четвертому не быть.

— Нет, ты мне скажи: чем эта Линка хороша? Вешалка! И отца она совершенно не любит, квартира его только ей и нужна.

Честно говоря, высокие женщины мне, как и многим моим собратьям среднего роста, всегда немножко нравятся. Стоя в метро рядом с такой «вешалкой», все-таки испытываешь маленькое волнение от самой вертикальности. Но юная жена Настиного папаши с ее хищными остренькими зубками и слишком прозрачными серыми глазками и у меня оставила ощущение фальши, во всем такой фэйк, как говорят англоамериканцы.

— Да, в отличие от тебя, я ее настоящей красавицей не называл бы.

— Тогда скажи мне, как ты распознаешь красавиц, по каким признакам.

— Боюсь, что универсальных признаков нет. Не берусь судить о далеких кинозвездах и супермоделях — не пробовал, а в пределах доступного мне круга я всегда опознавал красавиц по тому, что они, как правило, проявляли интерес ко мне.

— Ну ты даешь! А казался таким скромным, интеллигентным!

— Скромность тут ни при чем. Просто природа любит контрасты, сцепление противоположностей. Поэтому дурнушки всегда ищут себе красавцев, а красавицы...

— Уродов?

— Не перебивай старших. Все не так элементарно и симметрично. Красавица ищет в мужчине личность, а личность может быть на лицо и красивой, и безобразной.

— Ой, это уже высшая математика, у меня от нее голова пухнет. Все это слова, а я вот никакую личность не искала. Мне

нужно, чтобы со мной рядом всегда был человек, с которым все было бы просто и хорошо, чтобы никуда больше не хотелось...

— Ну и как, получилось?

— Не скажу.

### XXXIII

Проблема работы-службы рассосалась сама собой. Я попал, как многие, в положение как бы досрочного пенсионера. Пенсии, правда, не платят, зато свобода. Раз или два в неделю прочел пару-тройку лекций взволнованным девушкам и сосредоточенным юношам — и все. К тому же появилась такая штука, как гранты. Сначала само это слово вызывало у меня эмоциональное отталкивание: почему-то этот «грант» в моем сознании прочно связался еще в юные годы со строкой из шекспировского сонета, номера сейчас не помню, того, что нарочито выдержан в юридической терминологии. Так там примерно: «For how do I hold you but by the granting // And for these riches where is my deserving?»<sup>1</sup> И дальше: «So thy great gift upon misprision growing // Comes home again on better judgement making»<sup>2</sup>.

Что меня раздражало — что эти гранты стали сплошь и рядом раздаваться кому попало, без всяких *deserving*' ов. Увидев список «огрантованных» имен и названий, я однажды просто ахнул. Большая часть тематики заведомо никому не нужна: «Наименования пуговиц в западнославянских языках» и т.д. Или наоборот — глобалки непомерные, где научная схематизация невозможна, а ведется только бесконечный квазинаучный треп: «Образ языка и язык образов» и т.п. Много всяких «языковых картин мира» — красиво, конечно, но все-таки я считаю, что картины лучше рисовать художникам, а наше научное дело —

---

<sup>1</sup> В переводе С. Маршака: «Я как подарком пользуюсь любовью, // Заслугами не куплена она».

<sup>2</sup> У С. Маршака: «И не по праву взятую награду // Я сохранил до нынешнего дня».

чертежи и схемы. И кстати, никакой ответственности и отчетности — про многих грантоносцев я прямо могу сказать: если он за пятьдесят-шестьдесят лет ничего не родил, то за два года и две тыщи баксов тоже не напишет! Элементарная халява, а халявщиком быть как-то противно. Мол, дайте денег, чтобы я написал (или не написал) работу, которая никому не нужна. Сам я раньше, и даже в советское время, свои книги в основном продавал под видом «учебности» и «популярности», выпускал их в массовых издательствах за нормальные скромные гонорары. Относительная прозрачность и читабельность этих книг, конечно, не способствовала росту моего престижа в нашей научной деревне: писать о языке языком нормальным — неприлично. Но зато ходил с прямой спиной, не строчил множества униженных бумаг, начинающихся словом «прошу».

А теперь понял: гордость эта была смешна, она просто не учитывала того непреложного факта, что всё, нами получаемое на этом свете, предоставляется в конечном счете одной самой высокой инстанцией. По заслугам никому ничего не положено, всё хорошее есть *great gift*<sup>1</sup> — надо только понимать чей. Главный распорядитель финансов (а также всех остальных видов энергии) даже не «наверху», не в кабинете каком-нибудь, а гораздо выше, и его решения обсуждению не подлежат. И через какую бухгалтерскую ведомость он дары свои проводит — через Сороса или гуманитарный фонд, через частных лиц или организации отечественные и зарубежные, — это мелкие технические детали.

Короче, навалял прошение (с советских времен этот жанр почему-то неадекватно именуется «заявлением») — и очередную книжку пишу не просто так, а под присмотром. Кстати, словно нарочно, именно с меня начиная и денег стали меньше давать, и выполнение контролировать: объем, сроки, представление рукописи и вся прочая суета, успокаивающая нервы, уводящая от последней и окончательной ясности. Иногда только кольнет,

---

<sup>1</sup> Великий дар (англ.).

если вдруг какой-нибудь рассеянный-с-улицы-бассейной при случайной встрече бестактно ляпнет: «А всё, что вы тогда в Институте Речи затевали, так и ушло в песок? Жалко, из этого мог толк выйти».

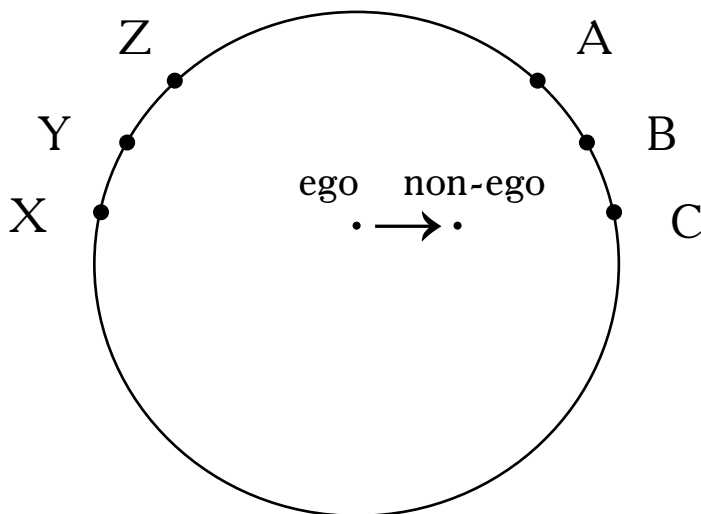
Бывают медицинские ошибки, когда человека лечат вовсе не от той болезни, которой он страдает. Понятно, к чему это нередко приводит. А с болью души человек должен справляться сам. И тут нас подстерегает опасность ошибочной самодиагностики. Давно я стал обращать внимание на случаи неадекватных переживаний по мелочам. Потеряешь какую-нибудь любимую ручку или карандашик — можно же новый купить, а ты в отчаянии. Или кто-то у тебя книжку возьмет на время и зажилит — это ведь, как правило, не прижизненное издание «Войны и мира» с автографом автора, а ты прямо изведешься. Ну, у женщин свои симптомы этого недуга: отлетит каблук или колготки порвутся — так нежное создание готово умереть на месте. А что на самом деле происходит в подобных случаях? На самом деле обостряется более глубокая боль, живущая в другом месте нашего душевного организма. «Не там болит!» — не раз говорил я себе в таких случаях, и слова эти даже слились в одно — «нетамболит». Звучит почти по-гречески и вполне годится для обозначения описанного выше синдрома.

Жизнь есть боль, точнее система болей. И противостоять им можно только выстраивая адекватную (для тебя лично) иерархию болей. Ощутив малую, попытаться понять: где большая, где на самом деле болит. Многие люди думают, что их боль — недостаток денег или успеха, между тем как отнюдь не все природно расположены к сребролюбию и честолюбию, не у всех просто к этому вкус есть. Вот и я сейчас вдруг понимаю, что за моими профстраданиями кроются бóльшие боли. Во мне болит Деля: до сих пор не могу восстановиться отдельно от нее. И еще сильнее моя далекая дочь, о которой мне остро напоминает Настя, принадлежащая почти к той же, что Феня, возрастной группе. При чем эта боль посещает сразу же после самых радостных минут.

Насчет себя я окончательно успокоился. Ничего уж такого выдающегося со мной случиться не может ни в ту, ни в другую сторону. Жаль только, что бóльшая часть жизни, да даже почти вся жизнь уходит на преодоление эгоцентризма. До какого-то момента ты стоишь один в центре, и все находятся от тебя на одинаковом расстоянии. Ты хочешь от них любви не любви, но какого-то позитивного отношения. Бóльшая же часть людей к тебе не относится никак. Ты придумываешь себе, что они окружили тебя плотным кольцом и не дают вырваться в другой круг, добрый и хороший. Такое примитивное мирочувствование присуще примерно восьмидесяти процентам мужчин так называемого интеллигентного круга — это наше с вами общее свойство столь же банально, как дерганье коленки под молоточком невропатолога. Эгоцентризм такой более или менее терпим, наверное, в гениях, но в нашем брате — человеке со способностями разве что выше средних — это противнейшая черта. И в плане социальной реализации пагубная: восемьдесят процентов нашей энергии уходит то на упоение мелкими успехами, то на тоску ввиду отсутствия оных. Опять скажу: гений отличается от нас тем, что неуспехов он по спасительному своему идиотизму не ощущает, а всякий успех автоматически, со стопроцентной сохранностью перерабатывает в новую созидательную энергию.

Но вот вдруг тобой занялись, тебе пошли навстречу (не люди окружающие — поднимай повыше), организовали тебе — для твоей же высшей пользы — пару-тройку житейских потрясений, и ты, потрясенный, смещаешься в сторону от точки «ego» в точку, которую мы условно назовем «non-ego»:

Если в тебе, в твоём «эго» какое-то «суперэго» (или хотя бы «суперэжко») имело место (т.е. талант, длинная идея или на худой конец верность выбранной тропке), то оно никуда не девается, продолжает на автомате прежнюю работу. Впрочем, наши негенияльные трудовые будни мало кого интересуют, потому коснемся отношений человеческих.



Раньше, до смещения, все люди, от А до Z, были тебе одинаково близки-далеки. Свое равнодушие к ним ты мог маскировать моральными или даже религиозно-философскими доводами — но все это, конечно, скромная демагогия в рамках индивидуального сознания.

Теперь же всех, кому придавал неадекватное значение, ты спокойно, без злости, посылаешь на XYZ — и с изумлением замечаешь, какие чудесные отношения у тебя и с главной звездой твоей отрасли академиком Иксом, и с самым влиятельным президентом чего-то Зетом, и с коллегой Игреком, честным занудой, который раньше тебя неизвестно за что превозносил, а теперь ставит подножки по мелочам (милый Игрек, не будь Сальерей — хотя бы потому, что не Моцарт я, абсолютно!). Не желаете мне добра, ну а я вам не желаю зла. Вот такое будет у нас честное статическое соотношение.

Полукружье XYZ (и иже с ними) отодвинулось, зато придвинулись по-настоящему близкие А, В, С. Это те, с кем связь тебе дана судьбой, реальными, крепкими и узкими узами род-

ства, любви, неподдельной тяги друг к другу. Это те немногие, которым ты желаешь добра больше, чем самому себе...

— А я для тебя какая буква?

— Первая, первая...

Как будто катаракта сходит с глаз: ты радостно видишь вещи такими, каковы они на самом деле (жизнь не искусство, и в ней реализм стоит выше всех других точек зрения). Но насколько глубже становится и мука бытия, когда у тебя болит не «я», а «ты», — это уже не комариные укусы амбиции, а боль, доходящая до самой сердцевины.

Что, кстати, за пошлость — конструкция типа «маленькая хрупкая женщина»! Эти маленькие, как кошки, упадут, вскочат и помчатся дальше успешно решать свои проблемы. А у больших и сильных такая сложная архитектура, один удар может нанести непоправимый ущерб. Хрупкость внутри, в глубине.

Захожу за ней в школу, с трудом пробираясь сквозь засилье «ауди», «БМВ» и прочей породистой машинерии. Настя стоит обступленная со всех сторон юными наследниками криминальных капиталов, один из которых довольно бесцеремонно обнял ее за бедра и уткнулся в живот. Со вкусом парнишка. Да, это тело создано для того, чтобы нести в себе новые жизни, а я как-то даже не озадачивался этим, думая только о себе, да о том, что у меня уже есть где-то далеко девочка на шесть лет моложе Насти.

— Я очень хочу от тебя родить, — прямо отвечает она, когда я перед сном касаюсь этой темы и ее тела. — Но все не так просто. У меня уже была неудачная попытка.

— С Егором?

— Нет, до него был один человек, которого я, в общем, любила. Но еще не так, как тебя.

И я целую со всей доступной мне нежностью ее недоступность и хрупкость.

Сколько же в тебе всего! И хочется прожить тебя так, чтобы последнее в тебе мгновение было самым чудным...

### XXXIV

Сны, которые мне обычно снятся, не подлежат никакому фрейдизму, поскольку совершенно не нуждаются в истолковании. Они абсолютно реалистичны, с некоторым моментом смысловой гиперболизации, но в рамках правдоподобия. В них слегка сгущены краски моей обыкновенной жизни — с целью беспощадной критики моего поведения. Символов — ноль, до архетипов не докопаешься.

Чаще всего под знаком Морфея собирается множество людей, с которыми я был близок и знаком в разные времена и в разных пространствах. Я мечусь между ними, желая каждого удовлетворить и в итоге снискивая всеобщее презрение. Просыпаюсь с чувством неподъемного стыда и успокаиваю себя простым соображением: с этими получилось скверно, да. Непоправимо. Значит, и поправлять бесполезно. Попробуем жить с новыми по-новому...

Вполне можно принять за сон этот четверг, когда Насти уже нет дома, а я сибаритствую в постели, не наблюдая часов. Непредсказанный звонок гонит меня сонного, в пижаме, к двери.

— Так не договаривались! Ты же мне обещал ни на ком не жениться!

Нисколько, оказывается, мы друг от друга не отдалились, не отделились. Деле стоило только потянуться ко мне — и вот мы снова одно нервное, трепещущее целое. Мой, моя, мое — это ко всему, обо всем. Это мои кругленькие ягодицы, шлепаясь, опускаются на мои бедра. Это моя левая грудь с моим послеоперационным шрамом подскакивает при каждом движении. Это моя глубина, в которой тает моя высота в миг моего, пронизывающего оба моих тела, стона.

Я еще лежу побежденный и ошеломленный, а Деля уже облачается в простенький лифчик, в ветхие, явно не предназначенные «на выход» трусики. И на лице никакого «мэйк-апа», и парфюмом никаким от меня не отгорожена.



— Да я, услышав про твою теперешнюю жизнь, как была, так и бросилась сюда, даже не понимая зачем. Хотелось выволочку тебе устроить, забыла, что ты у меня уже взрослый, даже, пожалуй, пожилой. Скажи честно: ты не в лапах у авантюристки?

— Да нет, скорей авантюристка у меня в лапах. Выпьешь чего-нибудь?

— Нет-нет, это я с тобой была пьяницей, а у Игоря трезвенницей стала. Ты меня прости, ладно? Все-таки ты самый родной, а значит, остаешься навсегда моим. Да?

— Остаюсь.

Остаюсь один. Ну, что стоило еще на десять минут ее удерживать, расспросить обо всем! Хотя и больно было бы узнавать подробности новой Делиной жизни, представлять, как она, нервная и взвинченная, возвращается с работы, расхаживает голая по чужой квартире, рассеивая по ее метражу свое электричество, как, внезапно сверкнув округлившимися глазами, берет верх над своим хирургом, как — а вот это пронзительнее всего — срезает ножом кожуру с темно-малинового ребристого яблока сорта «Старкен», — меня влекут все эти ранящие душу подробности, меня тащит в эту бездну, засасывает в эту воронку, где глубина и боль сливаются в неделимое целое.

Настя возвращается поздно, после какого-то лукулловского банкета в новом ресторане, куда ее пригласили благодарные родители одного из воспитуемых (да, это тебе не письменный прибор с макетиком Останкинской башни — таков был единственный дар, полученный мной в годы недолгого школьного учительства в связи с «мужским» днем двадцать третьего февраля). Веселая и возбужденная, ныряет в постель и начинает делиться впечатлениями о нескольких известных лицах, впервые ею увиденных без посредства телеэкрана.

— Ну а молодежь-то хоть была? Натанцевалась ты там?

— Под завязку! И не только с молодежью, но и с такими же, как ты, старенькими и лысенькими. Ничего, ты у меня еще тоже попляшешь!

Что если Деля меня всего исчерпала и это сейчас обнаружится? Осторожно приближаюсь к совсем другому, всегда от меня отдельному, таинственному телу, пульсирующему в каждой точке, которой касаешься губами. Тонкий, то и дело убегаящий, словно ветром сдуваемый аромат разогретой солнцем сосновой смолы так непохож на властную, взрослую мускусную терпкость, царившую в этой постели пять лет вплоть до позапозапрошлого года и вновь подразнившую сегодня утром. Две природы, ничем не объединенные и потому ничем не противоречащие друг другу. Сестринская и дочерняя. Интенсивность контраста запредельная: для такого безумного ощущения, наверное, люди лезут на Джомолунгму или в петлю, обрушиваются в наркотическую впадину...

— Какой ты сегодня новый... Сильно по мне соскучился, да?

Да, как это ни странно и даже кощунственно прозвучит, соскучился. А потом опять соскучусь по Деле. И ведь я не какой-нибудь выдающийся подлец, а обыкновенный, нормальный человек, как мужчина принадлежу к статистическому большинству. Почему про меня нигде никем не сказано, не написано? Не донжуан со спортивными рекордами, но и не нудно-бытовой мужчина-семьянин, а просто живое существо. И живу (не только сегодня, но и, конечно же, все это время) сразу в двух женщинах. Деля только подтвердила, подчеркнула сегодня нашу никуда не уходившую близость. Может быть, мы с ней полноценного человека составляем только вместе, вдвоем? Игорь — наш муж, Настя — наша жена...

Внезапный глубокий сон перелистывает страницу дня, а завтра все уже будет иначе.

## XXXV

**Теорема эквивалентности № 2. Искусство и не-искусство — две равноправные и равноценные части единой метасистемы.**

Все разговоры на тему «искусство и жизнь» заведомо уязвимы на словесном уровне. Дескать, почему «и»? разве искус-

ство — это не жизнь, а жизнь не искусство? Язык мешает разобратся в этой проблеме. Что ж, попробуем действовать не языком, создав на минуточку условный метаязычок из трех элементов.

«И» у нас будет не соединительным союзом, а острым мысленным лучом, разрезающим пополам любую материю, ничего притом не разрушая.

Под словом «искусство» будем попросту разумеать тот смысловой объем, который в это слово включают все люди, его употребляющие. Промежуточные случаи, дискуссионные моменты оставим для конкретных разговоров и споров.

Остальное в мире условно назовем «не-искусство» — это будет совокупность всего, что искусством заведомо не является и искусством быть никогда не намеревалось. Ну, скажем, такие предметы и явления, как Апельсины, Благополучие, Водород, Гинекология, Деньги, Ельцин, Ёж, Жандарм, Зима — и так далее до Электромагнита, Юдофобии и сибирской реки Яя.

Граница между искусством и не-искусством извилиста, но мы ее мысленно спрямим, чтобы условно уравнивать две такие неравные сущности, две системы. А затем положим эти две штуки на разные чаши весов. Внимание! Если нам удастся отвлечься от власти мелочей, всяких там мнений и мнений о мнениях, и мы увидим изумительное равновесие. Искусство и не-искусство обладают абсолютно одинаковой энергетической ценностью, одинаковой *дейностью* (этот русский синоним «энергетики», не связанный с «калориями» или иными эмпирическими единицами, был предложен выше в главе VII).

Это равновесие — закон природы. Логически, пожалуй, недоказуемый, но ощущаемый теми, у кого есть вкус и к искусству, и к внеэстетической части мироздания. Чем и как ощущаемый? Разумом головы или эмоцией сердца? Да скорее всего, кончиком языка, безотчетно и невыразимо. Сколько в мире людей, способных искренне, не притворяясь и не снобствуя, ощутить это равновесие? Не знаю, такие люди, как правило, скрытны и тактично утаивают богатство своей внутренней жизни — по-

добно тому, как умные двоелюбы (или двоелюбки) ни с кем никогда не делятся впечатлениями от равноприятного наслаждения двумя разными партнерами.

Искусство не может обойтись без не-искусства, постоянно прибегая к нему как к источнику, делая его свои материалом. Что же касается обратной связи... Наговорено и написано на эту тему столько, что «историю вопроса» уже не разгрести. Остается махнуть рукой на все эти эстетические трактаты и высказать только свое мнение, основанное на своем же житейском опыте. Встречались мне так называемые «простые» люди, не читающие ни стихов, ни прозы, не бывающие ни в театрах, ни в консерватории, ни в музеях, — и притом абсолютно полноценные и самодостаточные. Некоторые из них, право же, бывали умнее и оригинальнее иных моих знакомых или коллег, способных высказывать веские соображения по поводу семантики строк «У него без всякой прошвы//Наволочки облаков» или еще чего-нибудь в этом роде. Не всякому и не всегда эстетические ценности идут в жизненный прок. В общем, отдельно взятый человек может обойтись без искусства и при этом быть вполне человеком. Рискну обобщить, что и вся сфера, условно определенная как «не-искусство», самодостаточна и в искусстве не нуждается. Высшее мужество художника — спокойно, без истерических сарказмов признать: «Наши письма не нужны природе».

А чтобы добиться хоть какой-то ясности на вечно избитую тему «искусство и жизнь», предлагаю воспользоваться разграничением понятий «Жизнь» и «жизнь», предпринятым ранее в грустную минуту (см. выше, в главе VIII). Моя, твоя, его, ее частная и отдельная *жизнь* может а) не иметь с искусством никаких пересечений — и при этом быть ненапрасной, интересной, осмысленной, красивой, полноценной; б) содержать в себе искусство как важную, необходимую и незаменимую часть — как это бывает у заинтересованных любителей и полноценных профессионалов, которые в экстремальном случае — в) — всю собственную жизнь делают частью искусства. Важно при этом

подчеркнуть, что разновидности «а», «б», «в» не должны рассматриваться иерархически — представители этих типов не равны перед Фридрихом Шлегелем, но, по моему мнению, равны перед Богом и человечеством.

(Напомню что Ф. Шлегель, любимый мной мыслитель и сочинитель выдал такой фрагмент: «Чем люди являются среди прочих творений земли, тем являются художники по отношению к людям». Это прелестная гипербола, которая иной раз подходит *под настроение*, но воспринимать ее как объективный закон было бы непростительной глупостью.)

Что же касается Жизни как синонима мироздания, бытия, существования, — то она и будет для систем «искусство» и «неискусство» объединяющей метасистемой («искусство» + «неискусство» = «Жизнь»). В такой Жизни искусство будет всегда, оно никуда деться не может, а всякими грозными прогнозами (вроде пародийной зощенковской сентенции «Вообще искусство падает») занимаются в основном люди, по своей внутренней, природной сути к творчеству непричастные.

## XXXVI

Не сразу соображаю я, что это за Лена звонит, обращаясь ко мне на «ты» и без отчества. Да это же та самая, у которой я тогда на Малой Филевской нашел потерянную было Делю! И после того еще раза два-три встречались. Радостной реакцией стараюсь компенсировать неучтивость своей памяти, но Лена держит такой бесстрастно-нейтральный тон, от которого делается не по себе.

— С Делей что-нибудь случилось?

— Нет, с ней все очень даже хорошо. (Ну, очень-то хорошо, замечаю про себя, с ней не может быть по определению!) Но у меня к тебе разговор не телефонный. И лучше не у тебя дома. Я еду из центра, давай на «Кутузовской», у первого вагона.

Нервно, с кровью, бреюсь. Ну пожалуйста, не надо, не нужно мне больше никаких сюрпризов! Неужели даже на скромную, бедную, бесславную, но спокойную жизнь я права не имею?

Примчался на десять минут раньше. Не сидится мне на этом потемневшем и обшарпанном деревянном диване, сную туда-сюда по платформе, мешая поступательному движению целенаправленных пассажиров. И вдруг снисходит. Полный Покой. Так получилось, что в этом — профессионально как бы неудачном для меня — году основательно покатался в метрополитенах: парижском, лондонском, сан-францисском и, наконец, венском, порой незаметно переходящем в наземный трамвай и вновь ныряющем в норку... Метро везде — и разное, и одинаковое одновременно. Четыре иностранные картинки накладываются на одну отечественную и соединяются в объемную кристаллическую пентаграмму. Мир един в своей сути, и вот эта не блещущая красотой «Кутузовская», где года четыре назад с потолка отвалилась бетонная плита, никого, по случайности, не задавив, — тоже полноправная часть вселенной. Логически эта мысль ничего не стоит, но когда почувствуешь ее и верхней, и нижней половинами души... Именно для того чтобы поймать это ощущение, и пускаемся мы во все странствия, меняем небосводы, не меняя души, но обновляя ее и укрепляясь в своем праве на единственную родину. Иным ненасытным для этого нужно посетить и потрогать все полторы сотни государств — членов ООН — простому же человеку вроде меня может хватить и нескольких мимолетных встреч с четырьмя чужбинами. Шел на встречу с малознакомой, двоюродной женщиной, а приключилось вдруг свидание с мирозданием...

Лена выходит из вагона с улыбкой, и я окончательно успокаиваюсь. Как и все, я не в восторге от того, что делается в стране, но один позитивный момент должен отметить: красивые женщины в новых исторических условиях становятся еще красивее. Не знаю, в одежде ли дело, в косметике или иных прибабасах, которых раньше не хватало, чтобы оттенить, подчеркнуть богатство наших главных природных ресурсов. После обмена поверхностной информацией друг о друге, слышу слова, которые сначала разлетаются в разные стороны, как искры, и лишь по

прошествии нескольких секунд дают понять заключенную в них информацию:

— Неделю назад Деля родила дочку, назвала ее Машей. Авторство не вызывает сомнений.

При этом Лена так красноречиво и пристально смотрит на меня, как никто, кажется, никогда не смотрел. Что это она вдруг? А, еще раз подтверждает для себя самой свою безошибочную догадку. Мое же сознание в эту минуту успеваеt подсчитать, что между нынешним маем и прошлогодним августом, когда Деля меня навестила, примерно девять месяцев.

— А как она мне... она меня...

Членораздельное вопросительное предложение у меня никак не складывается, но Лена объясняет все достаточно вразумительно.

— Она хотела родить, года два уже говорила об этом. Мне казалось, что имеется в виду все-таки Игорь. А уже перед самым роддомом она мне позвонила и говорит: «В моем возрасте всякое бывает. Если со мной что-то случится, а ребенок будет в порядке, дай, пожалуйста, знать Андрею». Я удивилась, но промолчала. А когда пришла к ней в роддом, то об Андрее уже речь не заходила. Но на девочку я успела взглянуть и заметить некоторое сходство не с Игорем. На тебя вышла сейчас, можно сказать, в порядке самодеятельности. Не уверена, что поступаю правильно. Игорь считает Машу своим ребенком, а юридически отцом является только он, насколько я в этом разбираюсь.

Ты абсолютно правильно, Лена, поступаешь, даже благородно поступаешь. Это было бы чудовищно, если бы от меня скрыли... Но ты по вполне понятным причинам не представляешь силу удара — ведь ты не знаешь, что у меня отнимают уже вторую дочь подряд. Сейчас мне надо — для начала — подняться с этой скамьи, проводить тебя до вагона, улыбнуться на прощанье. А потом будем искать выход. Из станции и из ситуации.

Какие тут могут быть стратегии, тактики! Жизнь рушится окончательно, и остается только идти напрямую. Набираю

вспомненный не без труда номер, называю себя и прошу дать мне поговорить с Делей. «Нельзя», — отвечают мне как ребенка, и я вдруг понимаю, что встретился с тем, что на юридическом языке называется непреодолимой силой. Рассчитывать на возвращение Дели с моим ребенком ко мне я мог бы только если бы был свободен. Я не соблюл условий договора и теперь за это расплачиваюсь. А может быть... Родить от меня, но не для меня — слишком изощренное коварство, Деля на него неспособна. Да, коварства в ней нет, но странность ее, нестандартность могли подтолкнуть на любые действия...

Ну, давай сначала. Чего ты конкретно хочешь? Чтобы рядом с тобой были Настя, Деля и маленькая Маша. Какой волшебник, какая золотая рыбка могут устроить тебе такой вариант? Остаться с Настей и забыть обо всем ином? Деля сделала немало для того, чтобы я разлучился с ней окончательно, на уровне души. Но Машу я должен увидеть. Увидеть, а там как Бог даст. Возьму да похищу, Настины бывшие криминальные знакомые помогут. Настя меня простит, и будем мы с ней растить эту девочку...

Правда, что это все со мной происходит в данном времени и пространстве, это не фантазия, не сон? Боль слишком настоящая, чтобы в ней сомневаться.

Приход Насти чуть-чуть анестезирует, успокаивает. Держусь, с подчеркнутым вниманием слушаю ее новости. Потом говорю, что неважно себя чувствую, и ложусь. Она так хлопчет вокруг меня...

Ночь на реланиуме, утро в прострации.

— Ну, скажи мне всю правду, — умоляет она. — Нет ничего такого, что я не могла бы не принять от тебя.

Делаю последнее сдерживающее усилие — и рассказываю все. Настя никак не реагирует, просто онемела, а я уже не могу остановиться...

Зеленые глаза смотрят в одну точку мимо меня, тонкие губы дергаются, произнося только три слова:

— Ты меня убил.



Идиот! Забыл, что она еще маленькая для подобных истязаний! Это третья твоя дочь, и ты ее предал не как муж, а как отец-отступник! И к тому же ей сейчас в школу уходить. Вот и уйдет.

С балкона смотрю на ее поникшие плечи, укороченные рыжие волосы — вчера постриглась, а я не заметил сразу. Она не оборачивается.

Звонит из школы:

— Изабелла Львовна придет за моими вещами, я переезжаю к маме.

Вещей немного, но собрать их у меня не было сил. Соседка со второго этажа сама сделала это по моей просьбе. Она же вызвала неотложку.

## XXXVII

«Микроинфаркт», как все слова, начинающиеся с «микро», для моего слуха звучит довольно спокойно — все-таки не «макро». В общем, не тот диагноз, чтобы долго распространяться о подробностях пребывания на больничной койке. Скажу только, что это не Четвертое управление, где я симулировал в юные годы, а вполне народное лечебное учреждение, где самые тяжелые больные лежат в коридоре — поближе и к дежурной медсестре, и к моргу.

Я же в нескудной палате на пять человек и уже доступен для посещения. Приходят мать, братья. Алешка уже успел дважды наведаться — сначала с Леной, а потом с Катькой. Светлана из Института Речи прорезалась: трогательно, конечно, но пришлось выслушивать эпопею о коварстве и лихоимстве нового директора, разоряющего научное гнездо, сдавшего два этажа из трех в аренду жуликам, строящего себе двухэтажные хоромы в Рублеве, а зарплату сотрудникам зажавшего. Ну, а чего вы, собственно, от него ждали? Здесь два этажа — в минус, там — в плюс — закон сохранения действует по-прежнему. А вы еще свои статьи добросовестно начинаете с цитат из его дураломной монографии о «языковой ментальности» или что

там у него? Честное слово, Маркса и Ленина не так унизительно было цитировать: все-таки они были люди грамотные, отчасти остроумные, не лишенные лингвистической жилки. Ильич — тот довольно грамотно защищал французский глагол «будировать» от неправильного употребления. И вот вы сбросили оковы коммунизма, чтобы поклониться мелкому усатому таракану из партноменклатуры четвертого сорта. Впрочем, что я на Свету-то наезжаю — она как раз не такая и, судя по всему, в институте недолго еще продержится.

— Тут один странный молодой человек приходил, — сообщает мрачноватая, изможденно-худощавая медсестра, прилаживая капельницу. — Подробно расспросил, как ваше состояние и все такое. Я говорю: да вы пройдите к нему в палату. А он даже как будто испугался и быстро-быстро так к выходу.

— Как выглядит?

— Плечистый такой, коротко стриженный, в кожаной куртке. Качок, одним словом.

Ну, я понял: это, конечно, Егор, приходивший по заданию Насти. Значит, она с ним: опять отдает свои силы слабейшему. Как бы успокоить медсестру, объяснить, что это не был посланец мафии, что убивать меня с пистолетами и автоматами сюда не прибегут? А вот Дея никакого интереса не проявила к отцу своего ребенка. Что же получается: мавр сделал свое дело?

Ревнивые мысли перемежаются дремотой. Ключки воспоминаний переходят в полусон, когда ты вроде бы и сам выбираешь тему, а она начинает варьироваться иррациональным соавтором, мало заботящимся о мотивированности переходов. На пороге палаты вдруг появляется Тильда, да еще такая юная, какой я ее знать просто не мог. Значит, все-таки ошиблись врачи и передо мной сейчас начнет выстраиваться заключительная панорама моей потерянной жизни со всеми ее участниками? Ну что, простила ты меня наконец за заурядную и довольно типичную для полумальчика-полумужчины оплошность, расколовшую такую волшебную нашу жизнь? А она будто и не понимает, о чем речь

идет, и почему-то утверждает: «Я Груша». И добавляет в порядке пояснения: «То есть Феня».

Боже мой, да это все еще жизнь, с ее природной, щедрой и надежной реалистической логикой. Нет, не пришло пока время предсмертного символизма... И это не призрак, а моя старшая дочь, немножко изменившаяся за последние девятнадцать лет: росточка изрядного, не худая, но волосы по-прежнему светлые, а глазки детские и голубые.

— Как ты меня нашла?

— Бабушка дала мне адрес и номер телефона. Я звонила-звонила, потом пошла туда. Когда нажимала клавиши домофона, подошла Изабелла Львовна со второго этажа, она мне все рассказала, назвала номер больницы.

Выясняется, что Феня, постепенно переименованная в Грушу, проучившись год в американском университете, выпросила стажировку на год в Москве. Бабушка ее сопровождала, на днях улетает обратно, а Груша остается в кутузовской квартире, половину которой занимают сейчас американцы, люди симпатичные, но по-русски с ними не поговоришь...

— Вот тебе ключи от твоей самой первой квартиры. И там ты мне, когда я выпишусь, обо всем исключительно по-русски расскажешь. Идет?

### XXXVIII

Когда-то я дал тебе жизнь, а теперь ты дала ее мне — в момент, когда все остальные источники иссякли. Некого было больше ко мне послать, и тот, в кого только и можно и надлежит верить — спасиБо, спасиБо, и — забросил тебя на московскую территорию. Мы с тобой успели вместе исходить пока незначительную ее часть, но уже свернули однажды с бульвара в переулок к Меншиковой башне, посидели на скамейке у входа в храм, постояли внутри. Первый раз я пришел сюда с твоей матерью в семьдесят втором, потом приходил еще с двумя женщинами — без умысла, как-то само собой это получалось. Без тебя я долгое

время не приближался к этому чувствительному месту, даже по четной стороне Чистопрудного избегал проходить, боясь боли. А когда пришли туда с тобой, то это место сказало мне, что они все от меня никуда не делись, во мне онѣ — втроем — сидят глубоко и надежно, хотя и оказался я им всем не нужен. Но тебе-то буду нужен всегда, во всяком случае, и в пределах моей недлинной жизни.

По вечерам ты не можешь оторваться от русскоязычного телевизора, засиживаясь за полночь на левой, женской половине раздвинутого дивана и часто здесь засыпая. Через несколько минут пробуждаешься и переходишь досыпать в свою комнату. Я бы переставил туда к тебе этот для меня самого малоинтересный электронный прибор, но боюсь тебя обидеть, к тому же мы много разговариваем в эти часы, и я получаю особое удовольствие от того, что, как Робинзон Пятнице, сообщаю тебе достаточно первичные и элементарные сведения о нашей стране. Ты, как говорится, с любопытством иностранки узнаешь о существовании Никулина, Пугачевой, Евтушенко, а я ищу самые короткие и быстрые слова, чтобы объяснить, почему эти лица мелькают на экране чаще, чем другие. Но на завтра у нас, слава Богу, есть альтернатива телевидению. Будут в гости к нам Аня и Борис Смеянов. Кто они такие?

Аня — журналистка. Она приходила в институт года три назад изучать мои энтузиастические мечты и проекты. Просидела тогда она у меня часа два, расспрашивая обо всем, сначала под диктофон, а когда он вышел из строя (хозяева новых газет бросают огромные деньги на презентационные выпивки с дорогой закуской, элементарной же техникой своих работников обеспечить не могут), уже просто так. Никакого газетного материала, насколько я помню, из этого не получилось, но она начала мне звонить уже без информационных поводов по домашнему телефону, а потом, в период между Делей и Настей, я пару-тройку раз приглашал ее домой. Нет, одну не случилось, всегда в сочетании со Смеяновым — так уж сложилось исторически.

А со Смеяновым я еще раньше познакомился, в магазине «Академкнига». Стою у прилавка, листая что-то, и вдруг слышу за спиной, как некто вслух озвучивает мою фамилию и название последней моей книжки. «Прошла уже», — нелюбезно отвечает продавщица. Оборачиваюсь, чтобы впервые в жизни увидеть настоящего своего читателя (приятелей и знакомых таковыми не считаю, тем более что они и не очень меня читают, уважая книги только непрочитанные или нечитабельные в принципе). Человек этот мне сразу понравился: довольно молодой (по моим понятиям), массивный, матерый, упакованный в серо-зеленоватую хлопчатобумажную куртку с коричневым кожаным воротничком — не соцстрановская и не турецкая, со скандинавским акцентом курточка, — в целом же этакий красавец с ударением на последнем слоге; на лице при этом выражение неоднозначное — добродушие плюс некоторое ехидство. У меня с собой в портфеле случился девственный экземпляр, никому еще не надписанный, и я, разбираемый любопытством, к нему обратился: «Извините, не могли бы вы сказать, чем вам эта книга интересна?» Он смерил меня удивленно-ироничным взглядом, но после слов: «Дело в том, что я автор» — сразу же взял почтительный, без подобострастия тон и признался, что собирает все книги, в которых встречается слово «Окуджава», а тут как раз есть кое-что о языке последнего.

Естественно, он оказался не гуманитарием, а биологом. Почему «естественно»? Потому что многие специалисты по естествознанию тянутся ко всему естественному и живому, к «био», а гуманитарии по должности к своей профессии нередко относятся довольно казенно. Короче, книжку я ему подарил, обменялись телефонами — и стал он ко мне захаживать, начав одновременно с Аней да еще с несколькими бывшими студентами составлять круг молодых моих знакомых, — я ведь постепенно перехожу в чин старика.

Грушу гости занимают едва ли не больше, чем меня самого. При ней Борис впервые вдруг исповедуется на темы своей основной профессиональной деятельности: «Я специалист по

свинству». Конкретно же в области свинства Смеяновым была изобретена вакцина для новорожденных поросят, чтобы они не болели чумкой. И тут к нему изо всех сил начали присоединяться начальнички: даже за кандидатскую защиту пришлось заплатить двумя третями авторства, пропустив в верхней строчке публикаций вперед себя замдиректора и завсектора. (Да, в филологической сфере свинства тоже немало, но именно такого, слава богу, нет: ни ко мне никто не пристраивался, ни сам я в короткую пору администрирования отнюдь не пытался откусить часть авторства таких грандиозных изобретений, как «Интонационные особенности взволнованной речи женщин среднего и пожилого возраста» или «Семантические аспекты футбольной лексики».) И тут, говорит Смеянов, знакомый киносценарист рассказывает ему о молодых годах одного великого нашего режиссера. У того при всей устремленности к метафизическим глубинам был житейский принцип, облеченный в двестишестнадцать страниц собственного сочинения: «Оглянись вокруг себя: не гребет ли кто тебя?» Остепенившись и оглянувшись, Борис ощутил унижительный дискомфорт сзади и покинул академический институт, тем более что пространство для свинства расширилось: кооперативы появились, потом вообще частные фирмы. Вакцину стала закупать Украина, Борисовы бывшие начальники попробовали было свои нечестные две трети оттуда затребовать, но тут как раз Ельцин с Кравчуком хорошо посидели на даче у Шушкевича, и российские академические руки стали коротки. В итоге спасенные смеяновской вакциной поросята нагуливают теперь незалежное сальце, а у нас на Дорогомиловском рынке эти милые свинки так дороги, как будто они из любекского марципана изготовлены.

Долго на этой теме Смеянов не задерживается, его конек — разоблачение ошибок, выслеженных им в беллетристических и филологических книгах. У меня он, между прочим, заметил два таких фактических ляпа, узнав о которых я две ночи не мог заснуть. Какие? Так я тебе и сказал! Поправлю при переиздании, если таковое вдруг приключится.

Сегодня Смеянов раздевает самого Лотмана — не спеша, со вкусом:

— Книга «Карамзин» замечательна во многих отношениях. Но что там, в частности, утверждается? Что восемнадцатый век хотел видеть в женщине именно женщину, ее тело...

— Паслушай, пачему только васэмнадцатый? — бестактно, хотя, как ни странно, по делу перебивает Аня.

Мы смеемся, а не понимающая «кавказского» языка Груша растерянно-вопросительно смотрит на меня. Я успокаиваю ее взглядом: это, мол, незначащая частность, потом ее тебе откомментирую.

— А в качестве аргумента, — спокойно продолжает Смеянов, — Юрий Михайлович цитирует строки, автором которых он называет небезызвестного Генриха Гейне:

Но ты мне душу предлагаешь —  
На кой мне черт душа твоя!

Ну, начнем с того, что это на минуточку не Гейне, а весьма известная эпиграмма Шиллера в вольном переложении Лермонтова. Дальше. Душа здесь, то есть у Шиллера с Лермонтовым, вовсе телу не противопоставлена, это не к женщине обращено даже, а скорее к мужчине. По крайней мере унисекс. Помните первые две строчки: «Делись со мною тем, что знаешь, и благодарен буду я...»?

Чувствую подленькую радость: если уж у Лотмана такие накладки встречаются, то что с нас, простых смертных, взять! Аня же из чистого духа противоречия продолжает сомневаться:

— А может, там, в оригинале, о женщине говорится?

— «Aber du gibst mir dich selbst, damit verschone mich, Freund»<sup>1</sup> — вот что там говорится! Ни слова о бабах!

— Это скучно!

---

<sup>1</sup> Ты же отдаешься мне весь (букв.: даешь самого себя), а вот от этого избавь меня, друг (нем.).

Аня никак не хочет признать объективную правоту нашего веселого педанта. Для нее Лотман — фигура слишком отвлеченная, заоблачная, доступная только телевизионному созерцанию, словом, практически неинтересная. А мне на какое-то мгновение становится вчуже понятно, как этого утомленного многолетним правдивым писаньем авторитетного и серьезного человека вдруг начинает заносить в неправильное, авантюрное пространство, где все шиворот-навыворот, где даже на вопрос: как тебя зовут? — надо придумывать новый ответ, а уж между Гейне-Гёте-Шиллером разницы нет решительно никакой. Надоедает говорить правду, пассивно воспроизводить информацию, пусть и малоизвестную. «Факты — воздух ученого»? — Ох, и ученому тоже иной раз хочется открыть форточку и проветрить свою седовласую голову.

Но Смеянову я этого не говорю. Такой вздор только самому себе можно молоть, про себя. Послушаем лучше, что там Аня рассказывает, забравшись с тоненькими ногами в бледно-голубых джинсовых трубочках в глубь дивана.

— Я тут сделала забойное интервью с Аверинцевым, а он учинил мне потом жуткий скандал. Совершенно человек переменялся: то был сама мягкость и деликатность, а то категоричность такая, самоуверенность абсолютная...

— А из-за чего сыр-бор? — осторожно спрашиваю, чувствуя, что, по всей видимости, окажусь не на стороне прелестной газетчицы.

— Да заголовок ему не понравился, довольно невинный, взятый из его же текста.

— Ну, а какой заголовок-то?

— «Мои родители были плебейского происхождения». И это не я придумала, а ведущий редактор при сдаче в номер вытащил такую фразу...

— Без ведома интервьюируемого?

— Андрей Владимирович, вы меня смешите. Какой там «ведом» во время этой запарки!



— Ну, я, конечно, не такой ви-ай-пи, как Сергей Сергеевич, но тоже бы обиделся. Он, вероятно, слово «плебейский» употребил в греческом или в таком русском девятнадцатомвечном значении: «не дворянский», а сейчас это слово в значительной степени напоминает о советском хамстве. И вообще: зачем вырывать из контекста, тем более что это, наверно, не самая главная мысль беседы?

Кажется, я Аню обидел. Смеянов пытается разрядить напряжение дурашливой импровизацией. Вознесенские рулады у него довольно похоже получаются:

— Нет в Рихтери-и-и и Аверинцеве-и-и ат земских врачей — ни черта-а... Па-а-скольку са-а-мо-уверенность — главная их черта-а...

(Не смешно, не метко, даже грубо. И с чего он это вдруг начал Ане подпевать?)

— Ну, про Рихтера ничего сказать не могу, с ним дела не имела...

Щечки раскраснелись, губки прильнули к бокалу с банальным калифорнийским вином, которое сама же Аня и принесла, купив его по пути в дорогом супермаркете — судя по наклейке с ценой. В магазинах попроще та же жидкость стоит почти вдвое меньше, но дешевкой этот «Пол Мэссон» остается и там и там. Нет, я не сужу огульно, не охаиваю всю Калифорнию, где, например, братья Галло, Эрнесто и Хулио в скромном городе Модесто производят очень приятное каберне совиньон, разливая его в высокие бутылки с таким кольцеобразным ободком поверх горлышка. Но сюда, к сожалению, с того берега не всегда едут самые достойные.

Аня — женщина. Как-то раньше мне это в голову не приходило, хотя подсознание, наверно, внесло ее в свой мужской список — не основной, а скорее дополнительный. Когда она, Аня, заводится и начинает возбужденно себя доказывать — именно себя, а не какое-то там абстрактное положение или утверждение, — мне хочется провести рукой по ее остроуголь-

ным плечам, чтобы они стали хоть чуть-чуть круглее, чтобы слегка расправились ее бедные нервы, закрученные сволочной и унижительной работой, чтобы вышла наружу та боль, которую с нелепой гордостью таит Аня от себя и от других. Скорее всего, эта тайна проста и совсем не страшна, как неразгаданные мной тайны Тильды, Дели и Насти. Наверное, я уже окончательно устал от незаурядных женщин, чья природа на порядок сильнее моей, чья энергия меня захлестывает с головой. Здесь же существо, что называется, одной со мной весовой категории — обыкновенное, обидчивое, обделенное вниманием. Может быть, не в контрасте, а в равенстве радость?

Гости расходятся в половине одиннадцатого, а через час меня достает нервный Анин звонок, и мы говорим с ней минут пятнадцать. Груша успевает нахмуриться, хотя это совсем не то, что она подумала. Объясним ребенку ситуацию:

— Аня звонила посоветоваться по поводу некрологической заметки, которую она срочно должна для своей газеты написать: только что умер Лотман, о котором мы сегодня болтали. Вот чем кончаются все наши споры, дитя мое...

### XXXIX

Есть у меня три любимых слова, не имеющих точных эквивалентов в русском языке.

*Существительное* — *ESPRIT*. Оно может означать и «ум», и «рассудок», и «дух», и «остроумие», и «смысл», и даже «характер» (происходя от латинского «спиритус», оно имеет еще и значение «спирт», но его я, как человек слабопьющий, отбрасываю). Конечно, в каждом контексте актуализируется одно значение, но душа слова всегда помнит и об остальных. Нравится мне, что французы поверили в единство рассудка и духа, в то, что остроумие может сочетаться с настоящим умом. У нас под «духовностью» часто разумеют вялое занудство, остроу-

мию обычно отказывают в наличии серьезного смысла. А здесь одно «эспри» столько разных, разнородных ценностей обнимает разом.

*Прилагательное — STRAIGHTFORWARD.* Оно вроде бы переводимо нашим прилагательным «прямой», но, пожалуй, не в узко-современном, а в пушкинском смысле: «души прямое благородство», «духом смелый и прямой». Может быть, я слишком влюбился в это слово, но чувствую в нем, прямо так физически ощущаю духовную вертикаль. И еще дорогá мне здесь связь значений «простой» и «откровенный». Straightforward style — значит «простой стиль». В нынешней речевой ситуации, как мне кажется, отказ от простоты чаще всего свидетельствует о неоткровенности, замысловатые «навороты» скрывают покорность обстоятельствам и грязенько-циничное равнодушие к людям, к миру. Хочется, согласно внутренней форме английского слова, подняться с колен, выпрямиться — и вперед!

*Глагол — GÖNNEN.* Это слово подарила мне Паула Линденмайер, долго и безуспешно искавшая для него русский перевод. В советском немецко-русском словаре на этот счет нечто невразумительное: под цифрой «один» — «не завидовать (чему-либо)». Но ведь «не завидовать» по-русски — это либо знак равнодушия, либо — в ироническом смысле — знак злорадности («Не завидую» — говорят, покачивая головой, про чью-нибудь неудачу). Под цифрой «два» собраны слишком приблизительные переводы: «позволять, разрешать, удастивать». Примечательно, что, если мы возьмем русско-немецкий словарь, то ни через один из этих трех глаголов на искомое «гён-нен» не выйдем. Не нужно нам, русичам, такого слова, потому что нет у нас такого понятия.

Остается взять немецко-немецкий толковый словарь издательства «Дуден» и процитировать оттуда довольно пространную дефиницию таинственного глагола (в коряво-буквальном переводе): «Охотно и без зависти видеть счастье и успех дру-

гого, потому что считается, что упомянутый в этом нуждается или это заслужил». Во как! Двадцать три слова самим немцам понадобилось для объяснения своего же родного глагола. Но есть все-таки у них сама идея о том, что чужое счастье и чужой успех могут восприниматься позитивно, что субъект речи может реально содействовать благополучию объекта речи — причем именно в том, что для объекта наиболее важно.

Среди примеров, приведенных в словарной статье, такая фраза: «Ich gönne es ihm, dass er endlich Professor geworden ist». Ее перевести довольно легко: «Я рад за него, что он наконец стал профессором». Это в прошедшем времени. А как насчет будущего? Можно считать удовлетворительным эквивалентом для «гённен» наше «желать»? Нет, не получается. «Желать» кому-либо чего-либо — это риторически-ритуальный жест, поздравительная формула, не более. Кстати, все толковые русские словари честно определяют это значение глагола «желать» как «высказывать пожелание». Высказать самое распрекрасное пожелание — это ничего не стоит, для этого нетрудного действия сойдет и незамысловатый глагол «wünschen». А «гённен» все-таки обозначает не однократное действие, а постоянный процесс, ровное доброжелательное отношение к заслуженному, честному благополучию другого человека. Не скажу, что все немцы данным качеством обладают, они такие же разные, как и мы, как и все народы. Но именно дефицит ровной европейской доброжелательности в наших соотечественниках — одна из фундаментальных причин всех наших ревразрушений и раскулачиваний. Да и так называемая интеллигентная среда довольно равнодушно относится к унижению чужих достоинств и заслуг. Тот же Лотман умер членом всяких американских и евроакадемий, но отнюдь не академиком по-русски. Институт его именем, между прочим, назвали немцы в Бохуме, поскольку они просто рассуждают: er hat das verdient, он это заслужил. И при жизни в сторону Лотмана из Германии шел тот поддерживающий силы поток, который определяется именно словом «гённен».

Ну, я ушел в примеры исторические, а вообще-то мне кажется, что и в отношениях людей обыкновенных вполне реальным, физически действенным фактором является простое и тихое доброжелательство. Если кто-то нам действительно желает добра, то пусть даже он не делает нам подарков, не оказывает протекций-промоушнов, не пишет, не звонит — он все равно энергетически участвует в нашей жизни и влияет на нее. Паула потому и рассказала мне про глагол «гённен», что это была доминанта ее жизни, именно *это* она делала многим людям, и мне в том числе...

— А в родном языке у тебя такого любимого слова нет?

— В родном я люблю всё. Разве ты этого не замечаешь, не чувствуешь?

## XL

Неужели навсегда нас покинет эта бело-голубая зубная щеточка, гнущаяся посередине гармошкой, а моя желтая будет теперь одна куковать на стеклянной полке у зеркала в ванной? Что, опять по вечерам открывать дверь в темную молчаливую пустоту? А потом, чтобы не ужинать в одиночестве, тащиться с тарелкой к телевизору? Нет, без нее, сидящей рядом, мне ни одна программа в горло не полезет...

— А я знаю, о чем ты думаешь, — голубые глазки по-взрослому прямо глядят в меня. — Я все сделаю и бабушку уже подключила, чтобы после университета получить работу в Союзе.

— Союза теперь нет.

— Это у них нет, а у нас с тобой есть.

Делаю вид, что мне нужно отлучиться, а то вдруг голос задрожит от старческой нежности. В туалете даже условно присаживаюсь на единственный и неотъемлемый предмет мебелировки, чтобы осмыслить происходящее. Точно так здесь однажды я праздновал первую близость с Делей, еще, впрочем, не зная ее имени. Разберемся по порядку: ребенок мой давно стал самостоятельным и независимым, и морально, и юридически. Никто не может запретить Груше жить здесь, у меня. Ура? Ура!

Но до этой новой прекрасной жизни не меньше двух лет. Могу и не дожидаться, не дожить. Все кругом как-то так дружно и весело помирают, в том числе и люди помоложе меня. И вот ведь что характерно: в густо населенной (в том числе и знаменитостями нашпигованной) Москве восприятие человеческой кончины полностью утратило драматический оттенок. Аня то и дело таскает в сумочке полученные на работе информационные факсы со стандартным набором ключевых слов: **РОССИЯ — КУЛЬТУРА — ПИСАТЕЛЬ — КОНЧИНА** (готовый ряд символов, да еще к тому же выстроенных четырехстопным амфибрахией; будь я Вознесенским или хотя бы Евтушенкой — взял бы это рефреном, а перед тем пририфмовал бы что-нибудь вроде: «Любила нас дура — босая отчизна...»). Прежде по телевизору каждый некролог отбивался многозначительными паузами до и после, у дикторов была надлежащая сдержанно-скорбная интонация. А теперь бодренькой скороговоркой извещают, экономя время и пафос для иных событий. И в газетах — без черных рамок, с радостными заголовками типа «Блестящего парня не стало» — точно-точно, так о довольно молодом режиссере было написано, не помню только, стоял ли в конце заголовка еще и восклицательный знак...

И еще я заметил у долгожителей — таковыми среди людей умственного труда можно считать всех, кто достиг восьмидесяти или даже семидесяти пяти — постоянное выраженье слегка глумливого веселья на лице: дескать, почти все мое поколение околело, а я вот живчик такой. Эту эгоцентрическую искорку в глазах можно уловить и у моих безвестных старейших коллег, и у самых что ни на есть прославленных и достойных сограждан, подмигивающих человечеству из телевизора.

Знаки, намеки... После Грушиного отъезда они меня на каждом шагу преследуют. Выбрался я тут наконец в Питер — после шестилетнего, кажется, перерыва. Гуляем мы с Володей Петрашевским по Летнему саду, а он с каждой аллеи все в одну и ту же тему сворачивает:

— Ты не был на похоронах Турганова? В месяц человек сгорел. Мы подошли во время панихиды к вдове по какому-то ритуальному вопросу, куда, мол, и что, а она отвечает: «Спросите у Эдика». То есть Турганова самого — настолько при его жизни она привыкла к тому, что Эдик все у них решает...

...А сестра его вдовы, врач по профессии, буквально через неделю идет по улице и видит впереди шагающего высокого, статного офицера, засмотрелась на него даже. Вдруг он падает на тротуар, к нему люди сбегаются, и через минуту милиционер уже спрашивает: «Есть здесь врач? Смерть можете зафиксировать?»...

...А у брата Турганова жена была такая красивая, крупная, крепкая — твой, думаю, вкусовой тип. (Почему именно мой, Володя? Семьдесят процентов мужчин ценят эти три «К», я здесь, как и во многих других вопросах, принадлежу к демократическому большинству.) А он сам маленький, невзрачный, всегда вокруг нее вьюном вился, стараясь угадать каждое ее желание и как бы ограждать от посторонних посягательств. И вот она пошла в магазин — и под трамвай нелепейшим образом угодила...

В завершение же этой бесконечной эпопеи — точнее танатопопеи, Володя, развалясь на скамейке, вдруг заявляет: «Что-то мне нехорошо, прилечь хочется» — и неспешно так растягивается, портфель кладет под голову. Я уже высматриваю телефон-автомат, чтобы «скорую» вызвать, а он, однако, поднимается: пошли, мол, дальше, еще на ахматовскую Фонтанку надо успеть до следующих докладов.

Вечером мы с ним на Московский вокзал приходим, и теперь уже у меня ноги подкашиваться стали, в глазах странные узоры замелькали. До отправления еще полчаса остается, и медпункт с крестиком красным на двери кстати подворачивается. Толстушка в белом халате говорит: «Вы присядьте на минуточку» — и начинает рыться в лекарствах. Тут мой взгляд падает на лежащий под стеклом перечень медуслуг и среди всяких процедур выбирает почему-то строчку: «01.561 — констатация смерти». Сразу как-то я взбодрился, вскочил. Спасибо, говорю, ничего уже не нужно!

## XLI

**Теорема эквивалентности № 1. В пределах человеческой жизни Божий промысел и наше житнетворчество эквивалентны (обоснование «философии соавторства»).**

Могу я еще что-нибудь изменить в жизни своей бестолковой? Если только на себя полагаться — определенно нет. Инерция негативная слишком сильна («И с отворачиванием...» — и далее по тексту). Главная ошибка — моя неверность моей же собственной иерархии ценностей, неразумная трата эмоций, нерациональное использование своих скромных ресурсов — уже неисправима. Банально говоря, времени мало. Но когда начинаешь очень уж себя корить и клеймить, — чувствуешь, что это своего рода гордыня навыворот, ослепленность своей самостью: нет у меня оснований считать себя единственным автором собственной судьбы. А есть у меня, как и у всякого другого смертного, ответственный соавтор, планы которого всегда не вполне ясны.

Источниче Жизни наша, что ты там пишешь мною?

Будучи, как большинство людей, позитивистом, я нередко задумываюсь о пропорции такого соавторства, о соотношении нашего самостоянья и высшего промысла, свободы и предопределения («чего больше в жизни?»), но всякий раз наталкиваюсь на неразрешимость задачи. Сказано было, что «нет меры сравнения Бога и человека» — может быть, это риторически означает неизмеримость Божьего величия, я же понимаю эти слова разумно-логически: нет меры сравнения — ну, я и не сравниваю. Единственный непротиворечивый вывод и выход — признать всякую отдельную, единичную человеческую жизнь равнодействующей двух факторов, двух соавторских волей, работающих в равных долях — пятьдесят на пятьдесят (простите столь грубую калькуляцию в метафизических делах).

Самый талантливый творец своей судьбы все равно работает в соавторстве с Творцом и обязан уступить ему прописную букву. Но и самый отстающий, неуспевающий «по жизни» подлелжит точно такой же закономерности. Нам остается только угадывать логику Соавтора в его совместной с каждым из нас



работе. Счастливый финал не гарантируется, но последующая главка может оказаться осмысленнее и глубже предыдущей. Вот и все что я могу попытаться сделать.

Называя свои доморощенные построения «философией соавторства», я ни в коей мере не посягаю на какую бы то ни было философскую или религиозную оригинальность. Вероятно, все мои рассуждения — это ересь № 1111, совпадающая с уже где-то давно зафиксированными силлогизмами. Тут важен сам эмоциональный фон, сам процесс приближения к общим истинам. Таких, как я, много — если не миллионы, то уж тысячи во всяком случае. С этими *людьми моего типа* мне и хочется сверить свои ответы на принципиальные вопросы бытия. Оригинальную философию способны создавать очень немногие, заниматься же философствованием, изобретать очередной велосипед позвоительно всякому.

Тем более что по своей единственной жизни можно проехать только на велосипеде собственного изобретения.

## XLII

Аня приходит первой и, как выясняется, последней: у Сменянова за час до назначенного срока экстренное что-то приключилось — он извинил-позвонился, то есть позвонил-извинился. Мизансцена немного непривычная: обычно именно Сменянов у нас солирует, вовлекая остальных в дурашливо-безответственный полемический дискурс, где важен сам процесс спора и обмена легкими колкостями, а кто за что стоит — не так существенно. Без Бориса же все начинается с тишины, холодный вечер с улицы пробирается в помещение, и мы с Аней замечаем в глазах друг у друга круглую сосредоточенную грусть.

— Опять я безработная.

Пыгаюсь проникнуться сочувствием, но Анина новость для меня отнюдь не сюрприз: за время нашего знакомства она поменяла не один печатный орган, с пугающей ритмичностью чередуя две позиции.

Позиция номер один: открывается новое издание (или переделывается и перекрашивается старое), сулят фантастическую валютную зарплату (за работу, замечу, довольно механичную и примитивную, не требующую ни особого таланта, ни опыта, ни знаний) и даже раз-другой эти деньги выдают, после чего Аня некоторое время разъезжает на такси и совершает безвкусно-неразумные покупки, а также пьет и закусывает на всяких халявных презентациях, весьма занятно, впрочем, об этом потом нам рассказывая.

Позиция номер два: журнальчик (газетка) скоро погибает, либо в редакцию приходит новая «команда» с новой «концепцией». Выброшенная без объяснений и расчетов, Аня продолжает бодриться, запудривая тревожные морщинки на инфантильном личике. Как вот теперь. Чем могу помочь ей я, еще более задвинутый в бедность пролетарий умственного труда? Разве что произнести нечто ритуально-утешительное.

— Не стоит из-за этого так убиваться. Уверен, что новая работа вас уже ищет. Вот вернетесь домой, а она лежит у двери и виляет хвостом.

— Нет, не лежит и не виляет. — Она серьезно качает головкой и спиралеобразными прядями на висках. — Меня там никто не ждет, потому что сегодня утром я прогнала его навсегда.

А вот тут мне Аню становится по-настоящему жалко. Пусть возмутятся феминистки всего мира, пусть эти железные женщины отгородят меня железным занавесом от контролируемых ими университетов и международных конференций, но вынужден признаться, что женская доля меня трогает в первую и главную очередь своей любовно-семейной стороной; профессиональная карьера уж как-нибудь приложится. Поэтому Анино скоропостижное одиночество отзывается во мне кратковременной болью, и в это мгновение наши неблизкие души успевают чуть-чуть соприкоснуться. Я слушаю ее тихо и осторожно, стараясь не помешать свободному, нервно-трепетному излиянию усталого и перенапряженного сердца.

«Прогнала *его* навсегда»... За местоимением стоит мало что мне говорящее имя непризнанного стихотворца, которого Аня тащила на себе лет около десяти. Имея какую-то инженерную профессию, да к тому же еще умея руками работать, чинить всякую электронику, этот красавец почему-то решил, что складывание в течение целого дня в среднем от двух до двенадцати зарифмованных строк, содержащих одну вторичную мыслишку да пару метафорок не первой свежести, требует от автора полного отрыва от производства. Увы, Аня сама поощрила своего избранника к паразитическому образу жизни, положив все силы на доведение до печатного станка его эгоцентрической лирики. Это ведь сейчас достаточно трехсот-пятисот долларов, чтобы мечта жизни в момент сбылась: десятки типографий готовы помочь тебе сравниться с двадцатидвухлетней Ахматовой, держащей в руках свой «Вечер». А в те поры, в конце восьмидесятых, что-то там еще нужно было «пробивать»...

— Он встретился с Хавским, который тогда занимался поэзией в новом кооперативном издательстве. Где-то они сидели, а потом приехали допивать к нам домой. Максим совершенно вырубился, но, отключаясь, успел потребовать, чтобы я Хавского проводила до автобусной остановки. Путь туда лежит через парк, и там этот деятель начал меня заваливать. Прижал к дереву, здоровый, черт, тяжелый... Тут на счастье компания молодых ребят проходила, спугнула. Как я его в автобус засовывала — еще та была картинка...

С Хавским, между прочим, я случайно знаком: он в аспирантуре учился двумя годами старше меня. Всегда я знал, что он не семи пядей во лбу, что книжки его и статьи довольно макулатурные, но такого кретинизма даже от него не ожидал. Сколько бы там ни было выпито — как можно надеяться на то, что интеллигентная женщина отдастся тебе в публичном месте, царапая свои чистые белянькие ягодицы о корявое дерево или пачкая их на усеянной окурками траве? Да надо нам сейчас просто взять и написать письмо в ВАК с предложением лишить этого недоумка степени доктора наук. Он ее решительно недостоин!

Аня тем временем продолжает, нервно теребя свои крупные, демонически-тревожные бордовые бусы:

— Наутро я стала с Максимом объясняться, тут со мной истерика приключилась, я так ногой о пол топнула, что вывихнула ее. Пришлось ему на руках меня в поликлинику тащить...

Аня уже привстала из кресла и, кажется, готова роковой жест повторить — настолько живо в ней воспоминание. Делаю решительный шаг к ней навстречу, обнимаю за плечи и неожиданно для себя поднимаю... Ни Тильду, ни Делю, ни Настю носить на руках в буквальном смысле я даже не пытался — ввиду их значительного реального веса и своих весьма умеренных атлетических возможностей. Ощущение новое и специфическое. Но куда нести?

Ближайшей целью оказывается диван. Анины глаза обморочно закрыты, тело обмякшее, как у больной. Поцелуй напоминает искусственное дыхание «рот в рот»: не сразу ее язык оживает и твердо встречается с моим. «Да, да» — шепчет, когда моя ладонь ложится на область сердца, освобожденную от легкого ажурного лифчика. Но руки ее не отброшены назад, а как будто готовы к сопротивлению. Не Хавский ли я? Нет, джинсики вроде бы покорно сползают с тонких бедер.

И вдруг — недружелюбный жест руки, защищающей последний рубеж и отводящей мою руку от трусиков. С такими афронтами я не сталкивался со студенческих времен, слегка обижаюсь — но не более чем на полсекунды. Она ведь только автоматически протестует, у нее, бедняжки, даже на честное согласие нет сил, и я раздеваю ее, как врач «скорой помощи», как пугливого ребенка перед уколом. Ум-то мой довольно ясен, вожделение несильное: всего несколько дней назад я встречался с молодежью, а в моем возрасте...

Почему она вся такая влажная? Может быть, температуру надо было измерить? Чувствую, как ввожу, ввожу в нее свою энергию, немного опасаясь передозировки. Тянусь губами к ее бордово покрашенным, а они капризно шепчут:

— Ну скоро?

— Но я хотел... — оправдываюсь растерянно.

— Да я уже давно...

Ну, старик, до сих пор не постиг ты элементарных вещей, не научился различать женские состоянья... Не советую тебе корчить из себя знатока и секс-разбойника... Ну вот и все, все... Неловко как-то, однако.

— Нет, нет, ты не уходи...

Прямо с имени-отчества — через ступеньку на «ты», минуя стадию «вы-Андрея». Знак родившейся близости? Может быть, возникло все-таки междунамие? Примерно полчаса дремлем, теснясь на узком пространстве, потом поднимаемся и раздвигаем диван в ночную ширину. Первое совместное деяние.

— Вот когда я посплю как следует! — Аня даже улыбаться начинает.

Поняв ее буквально, тактично дистанцируюсь, но она, закрыв глаза, оплетает мою спину тонкими ручками:

— Нет, вот так мне будет хорошо.

Она действительно вмиг засыпает, не давая мне выбраться на свободу и озадачивая незнакомым, слабо-горьковатым ароматом усталого тела. Сложная жизнь моя выстраивается на экране сознания в более или менее стройную таблицу. И так, раньше в моей судьбе имели место:

*жена-мать (Тильда)*

*жена-сестра (Деся)*

*жена-дочь (Настя).*

Вроде нет больше позиций, полным-полна уже парадигмушка. Или триадный принцип недостаточен? Если верить тому, что «в этом мире всего по четыре», то возможно... Не бывает ли еще такой позиции: *жена-жена*? Вариант для морально состоятельного мужчины, который всю ответственность берет на себя...

Засыпаю и я, а она, прижавшись ко мне, ни одну из троих не пускает в мои сновидения.

Кофе вдвоем — для меня, может быть, важнейшая составляющая интима. Скажем, с женщиной, употребляющей «инстант», эту растворимую бурду, возможность гармонии почти исключена. Открываю новый полукилограммовый пакет «Мёвенпика», заполняю фильтрующую воронку «Филипса» — маленькой кофейной машины, тезки моего утюга и приемника с магнитофоном. Поймет ли мою систему ценностей эта худышка с маленькой грудью, только что проскользнувшая в одних трусиках в ванную?

— Ооу! — сделав первый глоточек, реагирует она дифтонгическим междометием, выражающим правдоподобное удовольствие, без излишней аффектации.

Есть контакт! И для его подтверждения существует гораздо больше способов и ситуаций, чем мы думаем.

— Ну и что мы теперь будем делать? — спрашивает.

Да, устраивает мне жизнь еще одну проверочку на вшивость: мол, вперед! Ощувив прилив азарта, дерзко и решительно отвечаю:

— Поженимся!

В серых глазах — рыжая вспышка изумления, но со стула не сползает. Неужели задаст пошлый вопрос: «Серьезно?» Нет, реагирует довольно достойно и откровенно:

— Что ж, от таких предложений не отказываются. Тем более что получаю его впервые в жизни.

### XLIII

Я тоже получил предложение из разряда тех, от которых не отказываются — французское письмо под названием «Attestation» с красивым гербом-щитом из красных и желтых полос, там сообщается, что я «рекрутирован в качестве приглашенного профессора» на май текущего года. Складно так составлено: эта непреднамеренная рифма «рекрютэ-калитэ-энвитэ» звучит не хуже, чем «либертэ-эгалитэ-фратернитэ». И семантически, в общем-то, довольно близко: дают кусочек свободы, как равному, поступают вполне по-братски.

Наш брат, способный выезжать за рубеж только «с научной целью», все еще испытывает детскую радость в преддверии каждого странствия — не то что новое поколение, проходящее через контрольно-пропускные пункты без всяких эмоций, дежурно-делово. А между тем пришла уже для нас финальная эпоха, когда каждая встреча с человеком, страной, книгой может оказаться последней. Пора прощаться — с Пушкиным, Пастернаком, Петербургом, Парижем...

Аня пока живет у себя в Теплом Стане, оттуда ей ближе с больной матерью нянчиться. А Максима ее моментально подобрали, и не кто иной, как ближайшая подруга, заблаговременно отследившая ситуацию. Ну, это случай настолько типичный, что не нуждается ни в детализации, ни в комментариях.

Спрашиваешь, как ко мне Аня относится? Раньше такой вопрос и меня бы занимал в первую очередь. Теперь же важнее, что я к ней отношусь довольно прямым, непосредственным и действенным образом. Без меня она фактически вянет-пропадает, а в моем присутствии начинает лучиться и играть новыми цветами. Да нет, я не о том, нет у меня иллюзий насчет влюбленности с ее стороны. Я и сам в себя не влюблен, с чего мне этого ждать от других? Просто я наблюдаю и физически ощущаю, как даю что-то необходимое другому существу. Может быть, и не свое даю, а полученное от предыдущих женщин. Иногда я чувствую себя папирусом, дощечкой, на которой женщины по очереди писали что-то друг другу, предыдущая — последующей, писали своей кровью и нервами, ароматами и вкусами своих тел и душ. Существует и такой способ невербальной коммуникации.

Есть ли у меня друзья? Понимаете... понимаешь, с этим как раз проблемы. Само слово «друг» в романских языках происходит от глагола «любить», в германских — от глагола «радоваться», а в славянских — от прилагательного «другой». И вот что любопытно: если посмотреть в западную сторону, то найдутся там у меня безусловно *deux amis* плюс *zwei Freunde*, а вот здесь стрем-

ление к дружбе рано или поздно наталкивалось на непреодолимую «другость» — мою или кандидата в друзья, неважно. Наверное, это мой душевный недостаток, но с братьями по полу мне более адекватными кажутся отношения не интимной близости, а честного профессионального партнерства, нормального товарищества. Зато я очень хорошо понимаю то значение, которое придавали слову «друг» два Василия — Розанов и Чередниченко. Сначала о последнем, поскольку с ним познакомился раньше.

Вася Чередниченко был нашим соседом по Факельному — типичный «гегемон», худющий и пьющий. Частенько звонил в нашу квартиру, чтобы стрелнуть рубль, который порой даже возвращал — чтобы не лишиться кредита. И вот как-то в мою подростковую пору он зашел за очередным рублем, с выражением реальной скорби на лице, и стал эпически так мотивировать, почему ему выпить необходимо: «Понимаешь, у меня был друг, очень хороший друг. И вот этот друг — взяла и замуж вышла». Понять его чувства я смог гораздо, гораздо позже, а вот с такой же лингвистической номинацией встретился примерно на первом курсе, когда принялся читать Розанова, который часто именовал словом «друг» свою Варвару Дмитриевну.

Так что «друг» для меня соотносится со словами «она», «моя». И, что характерно, звание «друга» почти с ходу присваивалось мне ответно. Всю жизнь я слышал при первом знакомстве: «Ты похож на одного моего друга». Ну, ладно, думаю, значит, я не исключительный урод, а человек, подобный многим. Это меня очень устраивает. Я принадлежу к тому типу людей, которые искренне хотят быть нормальными и обыкновенными, но которым обстоятельства и окружающая среда постоянно навязывают ампула какого-то неврастеника и мизантропа...

Мы разговариваем почти всю ночь, а потом Аня провожает меня до самого Шереметьева. Но и в самолете мне не спится, неспешно дочитываю книжку Питера Мэйла «Год в Провансе». Между прочим, совсем неизвестный у нас тип литературы. Про автора сообщается в аннотации, что он работал в рекламном биз-



несе, потом что-то администрировал, теперь только книги пишет. Про возраст его сказано очень тонко: «He is approaching fifty as slowly as possible»<sup>1</sup>. В меня, как ты понимаешь, это попадает более чем точно, ну и плюс к тому здесь мне занятен диалог языков, англо-французский, довольно остроумный. Автор с женой покупают домик в Провансе и занимаются его обустройством, вступая в контакт с французскими работягами. Мы в России привыкли считать, что только наши мастера способны растянуть ремонт на вечность. Нет, не только. Или описывается процесс покупки дома. Главная задача — избежать уплаты налогов. С этой целью в момент передачи черного нала из рук в руки нотариус, приглашенный для оформления сделки, тактично отлучается в туалет. При всем том покупатель должен быть бдителен: задним числом может выясниться, что продававшему принадлежала только одна двенадцатая часть дома, а на остальные части свои права предъявят многочисленные родственники... В общем, судьба людей повсюду та же, и не надо думать, что только русские жульничать умеют. Все дело в приемлемой пропорции честности и воровства.

Число англичан, собирающихся поехать в Прованс и тем более купить там дачу, наверное, невелико. Сколько же читателей может быть у подобной книги? Тыща? Две тыщи? Как бы не так! Уголок обложки украшен почетной красной ленточкой с надписью: «Продано 500 000 экземпляров». Не знаю, почему такая книжка оказалась интереснее и нужнее не только элитарной классики, но и детектива или там любовного романа.

Я же ищу для себя у Мэйла вполне конкретную информацию о городе, которому при первой встрече хочется сказать пару комплиментов. Мол, конечно же, знаю, что это — знаменитая Кур Мирабо, с ее идеальными пропорциями (ширина улицы равна высоте домов), с могучими платанами (они же чинары) по обеим сторонам. А где тут ваше знаменитое кафе «Les deux garçons» с потолком карамельного цвета, продыmlенным мил-

---

<sup>1</sup> Он приближается к пятидесяти как можно медленнее (англ.).

лионами выкуренных здесь сигарет, с задумчивыми девушками, сидящими на террасе и прячущими свои внимательные взоры за темными солнечными очками?

#### XLIV

...но я пишу короче. Как сиделось вечером в кафе, как на горизонте женственной возвышенностью в разных ракурсах маячила многократно осезанная гора Сент-Виктуар, как купались мы в средиземном Лестаке, прямо внутри одной из Сезанновых картин, как и что понимали и не понимали студенты, к чему пришли наши с Марком дебаты по поводу коммуникативной и надкоммуникативной функций — об этом еще успеем поговорить.

Вот летит по французской влажно-зеленой утренней равнине се-ребристо-стремительная ртутная полоска — TGV, un train à grande vitesse — поезд высокой скорости. Мой жанр — тоже ведь тэ-жэ-вэ, un texte à grande vitesse — с постоянной сменой суждений, событий, состояний, словечек, причем любая из этих единиц может быть отброшена, если путается в ногах. *De la vitesse avant toute chose* — за скоростью лишь только дело, — так я переиначу обоих...

Но мой реальный, неметафорический поезд ТЖВ «Марсель — Париж» начинает вести себя совершенно неадекватно. Едва проехав Лион, он надолго залегает в поле без малейшего движения. Потом включает задний ход и начинает энергично пятиться... Какой-то минус-хронотоп. Зачем мне такая оригинальность? Мне же надобно в Шарль-де-Голле прямо на самолет пересесть! Когда у поезда проходит приступ безумия и он трогается уже в правильном смысле, по вагону шествует бравый железнодорожник, оповещая всех, что состав опаздывает примерно на час. «Но я же опоздаю на мой авьон?» — растерянно спрашиваю его. «Вы можете получить соответствующее папье», — отвечает. Но что значит для нашего «Аэрофлота» французское папье! Плакал мой билетик горькими русскими слезами! Покупать новый на «Эр Франс»? Так оно ведь, подлое, бастует! Полный провал,

причем с панически-пророческим оттенком: чувствую, что в жизни рушится какая-то более важная связь, чем неразумно спланированная мною пересадка с поезда на самолет. Почему было не приехать вчера и не провести спокойно ночь с Парижем, а утром нежно с ним попрощаться? Тут же вспоминаю, что в последний раз звонил Ане целых восемь дней назад и как-то странно она со мной разговаривала, избегая местоимений и глаголов второго лица: дескать, поговорим обо всем при встрече.

До терминала номер два еще надо доехать, а автобусы один за другим приплывают с цифрой не «два», а «один». Врываюсь, уговариваю шофера-африканца сменить курс. Даже автомат к нему не приставляю, только убедительной аргументацией и интонационными средствами действую. «Ну, deux так deux, — говорит, — поехали». Самое смешное, что за тридцать пять минут до вылета родина все же берет меня на борт. Расслабился, жду посадки в очереди из соотечественников, и вдруг трое мужиков рядом со мной начинают визгливо хихикать по какому-то своему поводу. Против смеха никогда ничего не имею, но зачем такое бабье прысканье, почему они это делают так некрасиво, так нагло и униженно вместе с тем? Когда же научимся мы достойно смеяться?

В тесном автолайне, где на заднем сиденье между тремя широкими женскими натурами четвертое место остается весьма номинальным, добираюсь от аэропорта до станции «Речной вокзал»: отсюда какой-нибудь бедный и честный частник обойдется во много раз дешевле, чем услуги шереметьевских «бомбистов», каждый из которых может ограбить не только в переносном, но и в буквальном смысле. Почему-то страшноато ехать к себе. Давай снимем это напряжение, позвоним Ане домой.

Пожилой женский голос вежливо сообщает, что Аня находится по такому-то номеру. Записываю его на осевшей в кармане багажной квитанции и изо всех сил делаю вид, что номер мне незнаком. А он такой простой: Сокольники — Мандельштам. Первые три цифры я обычно запоминаю по местонахождению телефонной станции, а для последующих ищу хронологические ассоциации.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС. Роман с языком

Девяносто один — тридцать восемь совпали с годами рождения и смерти поэта, всего-то сорок семь лет прожившего и ставшего теперь моложе, чем я. Это Бориса Смеянова телефон, в прежние времена Аня никогда у него в гостях не бывала, только на моей территории они виделись... Ну, давай, пей до дна!

Она отвечает готовым, продуманным текстом:

— Здравствуйте, с приездом! Да, да, так получилось, что я теперь у него, с ним. Мы оба очень хотим увидеться с вами снова.

— Конечно, конечно, о чем речь... Непременно встретимся.

Нет, ну вы посмотрите на идиота! Пятьдесят лет мужику, а он ухитрился поставить себя в положение обманутого пятнадцатилетнего подростка! Она просто меня использовала, чтобы сойтись со Смеяновым. Неосознанно, конечно, но я-то должен был за нее, в ней это осознать...

А он... он явно был к ней безразличен, не ради нее приходил он на наши посиделки — уж это точно. Он в мое отсутствие здесь с Аней встретился, когда она была мной намагничена, и принял это ее временное состояние за открывшуюся глубину. Будем называть вещи своими именами — хотя бы в разговоре с самим собой. Смеянов просто заскучает с ней без энергетической подпитки — вот потому-то и хочет Аня встречи втроем. Я буду у них за истопника — своей душой отапливать их слабое междуимие. Что ж, объективно сам привел себя к столь жалкой роли... Подходящий эпилог для биографии нормального пожилого неудачника.

Теперь — тебе, с тобой, больше некому и не с кем.

Как это все назвать и определить? И что дальше? Смиренно признать, что в жизни у меня не было Жизни?

Нет, нет и нет! Все-таки ты у меня была!

## АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Автор исходит из того, что роман в общем понятен и без комментариев. Нижеследующие примечания — не приложение к тексту романа, а его своеобразное продолжение. Продолжение разговора с читателем, которому будут интересны подробности общественного, литературного и филологического быта 1960—1990-х годов.

Здесь поясняются некоторые имена и реалии романа. А прежде всего раскрываются скрытые (преднамеренно) литературные цитаты, реминисценции, аллюзии и трансформации, которых немало в речи героя-филолога. «Нормальному» читателю знать все литературные подтексты необязательно, общечеловеческий смысл романа, его месседж можно воспринять и без них. Однако существует и специфический читатель-филолог, для которого этот слой романа имеет существенное значение (см. об этом статью О. Ф. Ладохиной «Диалог автора «филологического романа» и читателя-эрудита (Вл. Новиков «Роман с языком»)» // Русская словесность. 2009. № 1, а также ее монографию «Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века?» (М., 2010).

Читатель-эрудит имеет возможность проверить свои догадки и порефлексировать на тему интертекстуальности, столь широко представленную в современном филологическом дискурсе. В примечаниях можно увидеть цитатный мир филологического поколения последней трети двадцатого — начала двадцать первого века.

С. 11. *В детстве, отрочестве и юности у меня не было детства, отрочества и юности.* — Обыгрываются название автобиографической трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» и фраза А. П. Чехова «В детстве у меня не было детства».

*...он в семье своей родной казался мальчиком чужим...* — Перефразируются строки из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Она в семье своей родной/Казалась девочкой чужой» (глава вторая, строфа XXV).

С. 12. *...арrogантным.* — Отдельные попытки употребить слово «арrogантн<sup>ый</sup>» как русское предпринимались еще во второй половине XIX в. — например, в «Письмах из деревни» А. Н. Энгельгардта (1872–1887). Однако окончательно в русском языке это прилагательное не утвердилось. Оно присутствует в Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой (толкование: «высокомерный, надменный; самонадеянный»), но не вошло пока ни в новые издания словаря С. И. Ожегова, ни в Русский орфографический словарь.

С. 14. *...радость-страданье одно.* — Ср. в пьесе А. А. Блока «Роза и Крест» (1912–1913):

Сдайся мечте невозможной,  
Сбудется, что суждено.  
Сердцу закон непреложный —  
Радость-Страданье одно!

*...некрасивый, двадцатидвухлетний...* — Перефразируются слова В. В. Маяковского из поэмы «Облако в штанах» (1915):

Мир огрóмив мощью голоса,  
иду — красивый,  
двадцатидвухлетний.

*...женские груди — холмами...* — Пример такого сравнения можно найти в стихотворении Р. Бернса «Ночлег в пути» (перевод С. Я. Маршак):

Владимир Новиков

А грудь ее была кругла, —  
Казалось, ранняя зима  
Своим дыханьем намела  
Два этих маленьких холма.

С. 14—15. *...роза белая тянется к черной жабе...* — Ср. в стихотворении С. А. Есенина «Мне осталась одна забава...» (1923):

Дар поэта — ласкать и карябать,  
Роковая на нем печать.  
Розу белую с черною жабой  
Я хотел на земле повенчать.

С. 15. *...звезды сравниваются с ухой и глаза — с голубыми медведями или серебряной ложкой...* — Ср. в стихотворении В. В. Маяковского «Лунная ночь» (1916):

Это Бог, должно быть,  
дивной  
серебряной ложкой  
роется в звезд ухэ.

А также стихотворение В. В. Хлебникова «В этот день голубых медведей...» (1916):

В этот день голубых медведей,  
Пробежавших по тихим ресницам...  
.....  
На серебряной ложке протянутых глаз  
Мне протянуто море и на нем буревестник...

*...солист балета, впоследствии невозвращенец...* — Александр Годунов (1949–1995) в 1979 году, во время гастролей Большого театра в Нью-Йорке обратился к американским властям с просьбой о политическом убежище и остался в США.

«Раздолье» — картина А. А. Дейнеки (1944, 204 x 300 см, Государственный Русский музей).

С. 17. *Дремлешь, друг прелестный?*<sup>2</sup> — Ср. в стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее утро» (1829): «Еще ты дремлешь, друг прелестный...».

*...ars amandi...* — «Ars Amandi» («Наука любви») — поэма Публия Овидия Назона (I в.н.э.).

С. 19. *Какой это Сервантес сказал... ~ вежливость.* — «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» — популярная цитата из романа Мигеля Сервантеса де Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615).

*...учтивость складывается главным образом из минус-приемов, из совокупности того, чего данный человек не делает никогда.* — Безусловно, навеяно описанием Татьяны в восьмой главе «Евгения Онегина» (строфа XIV):

Она была нетороплива,  
Не холодна, не говорлива,  
Без взора наглого для всех,  
Без притязаний на успех,  
Без этих маленьких ужимок,  
Без подражательных затей...

С. 21. *...не на советского sentimentalного разведчика из фильма...* — Имеется в виду Штирлиц-Исаев в исполнении актера В. В. Тихонова из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны» (1971–1973).

*...не совсем чтобы Зорге, но имел немало беспокойств...* — Попытка комического каламбура: «Sorge» — «забота» по-немецки, «беспокойство».

*Мемориальных генсецких барельефов...* — Мемориальные доски генеральным секретарям ЦК КПСС Л. И. Брежневу и Ю. В. Андропову были установлены на доме № 26 по Кутузовскому проспекту в Москве. Доска Брежневу была демонтирована в 1988 году и восстановлена в 2013 году.

С. 22. *...реальный комментарий к тому месту пьесы Блока «Незнакомка», где «Человек в пальто» без всякой логики*



выкрикивает: «Бри!» — Такая реплика дважды звучит в пьесе: сначала из уст «Человека в пальто» в трактире, затем из уст «толстого человека» в светской гостиной.

С. 23. ...человеком и гражданином... Ср. в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского слова Свидригайлова, обращенные к Раскольникову: «Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Затем, что еще гражданин и человек?»

С. 25. ...дорогой Райнер... — Грюбель, Райнер (Grübel, Rainer), современный немецкий филолог-славист.

С. 27. Роберт Рождественский (1932–1994) — ортодоксальный советский поэт, воспевавший в своих стихах и поэмах «светлое будущее» коммунизма.

С. 28. Ранов, Петр Викторович. — Прототипом этого персонажа является М.В. Панов, которому посвящена документально-мемуарная «Повесть о Михаиле Панове», входящая в настоящую книгу.

С. 28. ...«ряд волшебных изменений». — Цитата из стихотворения А.А. Фета «Шепот. Робкое дыханье...» (1850):

Свет ночной, ночные тени,  
Тени без конца,  
Ряд волшебных изменений  
Милого лица...

С. 30. ...самочинное выдвижение им на Ленинскую премию «Ахиллесова сердца» Вознесенского... — Об этом в «Повести о Михаиле Панове», с. 319.

...забытого ныне Сухомлинского... — Сухомлинский Владимир Александрович (1918–1970) — советский «педагог-новатор», Герой Социалистического Труда.

С. 31. Учитель, перед выменем твоим... — Перефразированная строка из поэмы Н.А. Некрасова «Сцены из лирической комедии «Медвежья охота» (1866–1867):

Белинский был особенно любим...  
Молясь твоей многострадальной тени,  
Учитель! перед именем твоим  
Позволь смиренно преклонить колени!

С. 32. ...*рассматривая меня довольно бесстыжими брызгами...* — Ср. в стихотворении С. А. Есенина «Сыпь, гармоника! Скука... Скука...» (1923):

Излюбили тебя, измызгали,  
Невтерпеж!  
Что ж ты смотришь так синими брызгами?  
Или в морду хошь?

С. 32—33. *Насчет «Леви Страусса» ~ «Леви-Строс».* — Леви Страусс (Ливай Страусс, англ. Levi Strauss) (1829—1902) — американский промышленник, основатель компании Levi Strauss & Co., изобретатель джинсов. Леви-Строс, Клод (фр. Claude Lévi-Strauss) (1908—2009) — французский этнолог, социолог, этнограф, философ и культуролог.

С. 34. ...*не на один «Дневник писателя» его еще хватит...* — В «Дневнике писателя» (1876) Ф. М. Достоевский затрагивает тему родительской жестокости и истязания детей.

С. 35. ...*педагогическая поэма!* — Намек на роман А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (1931).

...я уже давно предпочитаю *каузативы*. — Каузатив — «особое наклонение в индоевропейских, а также в некоторых других языках, означающее, что подлежащее глагола, стоящего в этом наклонении, не само является носителем действия, выраженного данным глаголом, а побуждает другое лицо производить это действие» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).

С. 33. *Асадов Эдуард Аркадьевич (1923—2004)* — поэт, чья любовная лирика пользовалась и поныне продолжает пользоваться большим читательским успехом.

С. 36. *Коммуникативная модель Якобсона.* — Якобсон Роман Осипович (1896—1982) — легендарный русский фило-

лог. С 1920 года жил и работал в Праге, с 1941 года — в США. Разработал функциональную модель коммуникации (речевого события), описанную в статье «Лингвистика и поэтика» (1975).

«*Есть в близости людей заветная черта...*» — стихотворение А. А. Ахматовой 1915 года.

С. 37. *Розенталь* Дитмар Эльяшевич (1900–1994) — известный лингвист, автор общепринятых учебников и справочников по орфографии и пунктуации русского языка.

С. 38. ...«*лербаркайт*» — немецкое слово *Lehrbarkeit* переводится как «обучаемость».

С. 39. *Хорошее русское слово* — «эквивалентность». — «Эквивалент» — от французского *équivalent* («равноценный»), образованного от латинских корней *aequus* (равный) + *valens* (*valentis*) имеющий силу, здоровье; крепкий, основательный.

...«*самодвижник*»... — пародия на попытки изобретения русских эквивалентов иноязычных слов путем калькирования («авто» — «само», «мобиль» — «движник»).

*Сологдин* — персонаж романа А. И. Солженицына «В круге первом», изобретающий русские эквиваленты в замене иноязычных слов (например, «зиждитель» вместо «инженер»).

С. 42. ... *восемьдесят пять процентов мужей встречаются...* — шуточная квазистатистика, мистификация (как и в ряде других мест романа).

...«*Интернэшнл Сэксуэл Рисёрч Стадиз*» (англ. *International Sexual Research Studies*). — Может быть, такое издание и существует, но здесь герой придумал это название шутки ради.

С. 43—44. *Ефим Григорьевич Эткин* (1918–1999) — известный русский филолог, в 1974 году был изгнан из СССР за политическое вольнодумство, преподавал во Франции. В 1988 году автор романа познакомился с ним в Гренобле и получил в подарок книжку «323 эпиграммы».

С. 45. *Чувство глубокого удовлетворения...* — пропагандистское клише советского периода, часто употреблялось в речах Л. И. Брежнева. В речи интеллигенции нередко ис-

пользовалось иронически, с обыгрыванием сексуальной коннотации.

...я очень спокоен, но только не надо... — Имеются в виду строки из стихотворения А. А. Ахматовой «Чернеет дорога приморского сада...» (1914):

Я очень спокойная. Только не надо  
Со мною о нем говорить.

В песенной версии А. А. Вертинского эти строки были переделаны и звучали от мужского лица:

Я очень спокоен. Но только не надо  
Со мной о любви говорить.

*И мужчины, между прочим, чувствовать умеют.* — Апелляция к популярной цитате из повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792): «ибо и крестьянки любить умеют!»

С. 46. *Неважно, где здесь тема, где рема...* — Тема и рема — лингвистические термины, описывающие актуальное членение предложения, при котором выделяются известное, данное (тема), и то, что сообщается о данном, новое (рема).

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»... — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» (1830).

С. 47. ...«подморозить Россию» ~ Леонтьев Константин... — «... надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не «гнила»...» — из статьи «Газета «Новости» о дворянском пролетариате» (1880) Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) — философа, писателя, публициста.

С. 48. *Секс да секс кругом...* — Ср. начало народной песни: «Степь да степь кругом...»

«...И предков скуШны ~ разврат...» — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

«...Но эта важная забава ~ времен...» — из «Евгения Онегина» (глава четвертая, строфа VII).

С. 50. ...«сине Ира»... — каламбур: латинское «sine ira et studio» означает «без гнева и пристрастия».

С. 51. ... к Сергею Михайловичу Бонди... — Бонди Сергей Михайлович (1891–1983) — знаменитый ученый-пушкинист. В молодые годы был знаком с А. А. Блоком и В. Э. Мейерхольдом. Эпизод, в котором он рассказывает вымышленным персонажам о том времени, носит абсолютно подлинный характер, как и процитированные здесь куплеты к сорокалетию Мейерхольда.

Гнесин Михаил Фабианович (1883–1957) — композитор и педагог, преподавал в студии В. Э. Мейерхольда.

*Под талым снегом хрустел песок...* — строка из стихотворения А. А. Блока «Дух пряный марта был в лунном круге...» (1910).

С. 52. *Доктор Дапертутто* — псевдоним В. Э. Мейерхольда.

«дзанни» (вариант: цанни, по-итальянски zanni, уменьшительное от имени Giovanni) — один из основных персонажей итальянской комедии дель арте.

Соловьев Владимир Николаевич (1887–1941) — режиссер, театровед, педагог, соратник Мейерхольда.

С. 53. *Журнал «Любовь к трем апельсинам»*... — журнал В. Э. Мейерхольда, выходивший в 1914–1916 годах и получивший название по театральной сказке Карло Гоцци. Обложки первых номеров выполнял Ю. М. Бонди (брат С. М. Бонди), а последующих — А. Я. Головин.

«...мальчик красивый лучше туманных и страшных снов...» — ср. в пьесе «Роза и Крест» монолог Бертрана:

Счастлива будь, Изора!  
Мальчик красивый  
Лучше туманных и страшных снов!  
Пусть найдет  
Покой и усладу  
Бурное сердце твое!

Любовь Дмитриевна... — Л. Д. Блок изложила собственную версию своих отношений с мужем в воспоминаниях «И были и небылицы о Блоке и о себе».

С. 54. *Веригина* Валентина Павловна (1882—1974) — актриса, участница студии Мейерхольда, близкая подруга А. А. Блока и Л. Д. Блок, автор книги «Воспоминания» (1974).

*Скрещенья рук ~ скрещенья ног.* — Обыгрываются строки из стихотворения Б. Л. Пастернака «Зимняя ночь» (1946):

На озаренный потолок  
 Ложились тени,  
 Скрещенья рук, скрещенья ног,  
 Судьбы скрещенья.

С. 54—55. ...*пропповской сказочной морфологии*... — Имеется в виду структура русской волшебной сказки, описанная филологом Владимиром Яковлевичем Проппом (1895—1970) в его легендарном исследовании «Морфология сказки» (1933).

С. 56. ...*на невыносимо коротком пути в шестьсот тридцать шагов*... — Ср. в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» о Раскольникове, идущем на убийство: «Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался».

*Хартунг*, Карл (1908—1967) — немецкий скульптор.

...*по-генримуровски*... — Мур, Генри (1898—1986) — легендарный британский художник и скульптор.

С. 58. ...*Евгения Абрамыча*... — Е. А. Баратынского (1800—1844), цитируется его стихотворение «Ожидание» (1825).

С. 61. ...*длинный ультрамаринового цвета плащ*. — Ср. в стихотворении А. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...» (1908):

Ты в синий плащ печально завернулась,  
 В сырую ночь ты из дому ушла.

С. 63. «*Беду бедой лишь ~ большей болью*». — Квазицитата. Таких стихов не существует.

С. 64. ...«*тильда*» — это название значка... — Знак «~», помимо использования в словарях, также применяется в матема-

тике как знак эквивалентности (это центральная мыслительная категория романа, лежащая в основе пяти «теорем эквивалентности»).

С. 65. *...своего рода анти-Гумбертом...* — От имени героя романа В. В. Набокова «Лолита» (1955) Гумберта Гумберта.

*...в ясном и неподкупном свете...* — Ср. в стихотворении А. А. Блока «Перед судом» (1915):

Вот какой ты стала — в униженьи,  
В резком, неподкупном свете дня!

*Андрофоб* — от «андрофобия» (греч.) — «боязнь мужчин». *Филогин* (греч.) — «любитель женщин».

С. 66. *...двух точек с запятой...* — См. стихотворную миниатюру А. С. Пушкина «Сравнение» (1816):

Не хочешь ли узнать, моя драгая,  
Какая разница меж Буало и мной?  
У Депрео была лишь запятая,  
А у меня две точки с запятой.

Французский поэт и критик XVII в. Никола Буало-Депрео в детстве перенес хирургическую операцию, последствием которой стала импотенция.

С. 74. *...мой коллега, подцепивший на эту удочку неумытую цветочницу со стопроцентной женственностью...* — Генри Хиггинс, герой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» (1912).

С. 78. «*Московские кухни*» — «музыкальная пьеса в песнях» Ю. Ч. Кима (1990).

С. 80. *Реформатский* Александр Александрович (1900—1978) — знаменитый языковед.

С. 84. *Квод лицет Йови, нон лицет бови.* — Латинское изречение «*Quod licet Jovi non licet bovi*» означает: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Восходит к Теренцию.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ДИСКУРС. Роман с языком

«Одиночество — общий удел». — Первая строка незаглавленного стихотворения Ф. К. Сологуба 1896 года.

С. 86. ...*Карл Кальтенбах, автор статьи «Реальные условия счастья»*. — И имя автора, и его «статья» — мистификация. Однако, понимая шутку, некоторые читатели углядели в ней долю правды. Так, один из блогеров приводил в качестве примера гармоничного союза двух «витальных альтруистов» брак Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича.

С. 88. ...*как говорится, «шутя за свое»*... — Ср. в стихотворении А. А. Ахматовой «Поэт» (1959):

Подумаешь, тоже работа, —  
Беспечное это житье:  
Подслушать у музыки что-то  
И выдать шутя за свое.

...*отнюдь не общим памятником будет*... — Ср. в поэме В. В. Маяковского «Во весь голос» (1930):

... пускай нам  
общим памятником будет  
построенный  
в боях  
социализм.

С. 94. ...*«мечтам невольная преданность»*... — Из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа XLV).

С. 100. *Бенвенист, Эмиль (1902–1976)* — французский лингвист, заложивший основы теории дискурса.

...*пришло множество, извини за дешевый каламбур, «мальвенистов»*... — Происхождение фамилии «Бенвенист» соотносят с испанским «bienvenido» — «добро пожаловать», «желанный» (о госте). Выдуманное слово «мальвенист» означает нечто противоположное, нежеланного гостя.

*Женщины с железными локтями, безо всякой розы на груди*. — Ср. в стихотворении А. А. Блока «Май жестокий с белыми ночами!...» (1908):



Владимир Новиков

Женщины с безумными очами,  
С вечно смятой розой на груди!

С. 101. «Казалось: ну ниже ~ в Париже...». — Из произведения А. К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868):

Казалось, ну, ниже  
Нельзя сидеть в дыре,  
Ан глядь: уж мы в Париже,  
С Louis le Desiré.

...тот самый, что в песне Кукина произносится в три слога: «Монмартр»... — В песне Ю. А. Кукина «Париж» (1964):

Монмартр у костра,  
Сегодня — как вчера...

С.104. ...дошутился Алексан Сергеич: о rus — о Русь!) ... — Эпиграф ко второй главе «Евгения Онегина» носит каламбурный характер: цитата из Горация «O rus!» («О деревня!») сопровождается авторским восклицанием: «O Русь!».

С...«Odi et amo»... — популярная цитата из Катулла.

С. 105. И вечная по улицам ходьба... — цитата из стихотворения Геннадия Айги «Вторая весть с юга» (1963).

С. 106. «А вы кем классику приходитеесь? ~ однофамильцем»... — В этом эпизоде дается первый намек на фамилию героя, которая в романе обозначена энигматически, в форме загадки. Первая подсказка: обнаруживается, что герой — однофамилец известного русского литератора, которого зовут Николай Михайлович.

Где на всех найти читателей? — Ср. у В. С. Высоцкого в песне «Мишка Шифман» (1972):

Нет зубным врачам пути —  
Слишком много просятя.  
Где на всех зубов найти?  
Значит — безработица!

С. 107. *...отнимают аромат у живого цветка...* — Ср. в стихотворении А. А. Блока «Когда вы стоите на моем пути...» (1908):

Ведь я — сочинитель,  
Человек, называющий все по имени,  
Отнимающий аромат у живого цветка.

С. 111. *...по какому вопросу ты плачешь...* — Ср. в книге К. И. Чуковского «Живой как жизнь» (1962): «Молодой человек, проходя мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и плакала. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал: — Ты по какому вопросу плачешь?»

*Все пойму. И с дитем тебя возьму.* — Ср. в песне В. С. Высоцкого «Лукоморья больше нет» (1967):

Мол, Русалка, все пойму  
И с дитем тебя возьму...

*Из меня теперь Нину Андрееву делают.* — Андреева Нина Александровна — автор статьи «Не могу поступаться принципами», опубликованной в газете «Советская Россия» 13 марта 1988 года и обозначившей позицию консервативного, «антиперестроечного» крыла в руководстве КПСС.

С. 112. *«А молчаливники вышли в начальники...»* — Цитата из песни А. А. Галича «Старательский вальсок» (1963).

С. 113. *Стали активами наши пассивы, как сказал поэт?* — Ср. в стихотворении А. А. Вознесенского «Гекзаметры другу» (1974): «Стали активами наши пассивы, Василий».

С. 114. *...так называемые кадры ~ решают все...* — «Кадры решают все» — ходячая цитата из речи И. В. Сталина 1935 года.

С. 120. *...поручик, нервно шагающий не в ногу...* — Ср. в повести А. И. Куприна «Поединок» (1905): «Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу».

С. 124. ...за рулем «мерседеса» или «ауди» (или что у них есть еще там)... — Ср. в «Песне о двух красивых автомобилях» В. С. Высоцкого (1968):

Покатались колеса, мосты, —  
И сердца... или что у них есть еще там...

...Иные, хоть, может быть, и нелучшие мне дороги права... — Ср. в стихотворении А. С. Пушкина («Из Пиндемонти»): «Иные, лучшие, мне дороги права...».

С. 129. «Эти глаза напротив — калейдоскоп огней...» — из песни «Эти глаза напротив» композитора Д. Ф. Тухманова на слова Т. А. Сашко (1970).

«Жизнь есть товар навывнос — пениса, торса, лба. И географии примесь к времени есть судь-ба!» — Цитата из стихотворения И. А. Бродского «Строфы» (1978).

С. 131. Меня отбрасывает (кто? не знаю)... — Ср. у В. В. Хлебникова:

Гонимый — кем, почему я знаю?  
Вопросом: поцелуев в жизни сколько?

С. 134. Галантерейное, черт возьми, обхождение! — Из монолога Осипа в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836) — действие второе, явление 1-е.

С. 134. ...рысьи глаза... — цитата из стихотворения А. А. Ахматовой «Это рысьи глаза твои, Азия...» (1945).

...сердце горит на этом темном фоне красным матиссовским солнышком. — Имеется в виду «Икар» А. Матисса (1947).

...вижу то, чего давно уже не замечал. Звезды!.. — Реминисценция «Божественной комедии» Данте Алигьери (1307–1321), где каждая кантика («Ад», «Чистилище», «Рай») оканчивается словом «звезды» (stelle).

С. 137. Душа вкуша... — из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827):

Душа вкушает холодный сон,  
И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он.

С. 138. ...a woman of no importance... — «A Woman of No Importance». — Название пьесы Оскара Уайльда (1893).

С. 139. ...эльзасский психолог Эльсон-Плюфреш подобную метаморфозу описал... — Мистификация. Эта вымышленная фамилия образована от французской фразы «Elles sont plus fraîches» («Они свежее») — остроты Дениса Давыдова, использованной Пушкиным в эпиграфе ко второй главе повести «Пиковая дама» (1833).

С. 143. ...пристальный взгляд за мной увязался. — Реминисценция повести Н. В. Гоголя «Портрет» (1833–1834): «Два страшные глаза прямо вперились в него...».

С. 145. «...И рука подлеца нажимала эту грязную кнопку звонка...». — Ср. в стихотворении А. А. Блока «Унижение» (1911):

Этих голых рисунков журнала  
Не людская касалась рука...  
И рука подлеца нажимала  
Эту грязную кнопку звонка...

С. 150. «Да я догадалась, что ты не Алексей. Ладно, будешь Андреем...». — Этимологически «Алексей» означает «защитник», а «Андрей» — «человек, мужчина».

«...Художник — и Цезарь и Рубикон//любви и разврата...//он мать и блудница, мастер мужчин//и женского жеста...». — Из стихотворения В. А. Сосноры «Искусство — святыня для дураков...» (1972).

С. 151. Ренуар и открыл для искусства эту территорию... — Герой еще раз побывает в Париже и придет к выводу, что первооткрыватель подмышки в живописи — Теодор Шассерио — см. картину «Туалет Эсфири» (1841) в Лувре, зал 63, второй этаж галереи Сюлли.

С. 152. *Чудесная дурочка есть у меня...* — Ср. со стихами С. В. Михалкова: «Хорошая родина есть у ребят./И лучше той родины нет!»

С. 158. *«Без мене не можете творити ничесоже».* — Из Евангелия от Иоанна (15, 5).

С. 159. *Человечество не желает расставаться с дорогим ему прошлым...* — Полемика с чрезвычайно часто цитируемым выражением Карла Маркса: «Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым» («К критике гегелевской философии права», 1848).

С. 160. *«Мейер-Голдовы арапчата затевают свою возню!»* — Шутливая переделка строк из «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой:

Все равно подходит расплата —  
Видишь там, за вьюгой крупчатой,  
Мейерхольдовы арапчата  
Затевают опять возню?

*Мейер, Голда (1989–1978)* — министр иностранных дел, затем премьер-министр Израиля.

*«А так как мне бумаги не хватило...».* — Ср. в «Поэме без героя»:

А так как мне бумаги не хватило,  
Я на твоём пишу черновике.  
И вот чужое слово проступает.

*НИИХМАТЬ.* — Филологический кружок с таким названием был организован студентами филологического факультета МГУ в 1966 году и просуществовал около полугода. Некоторые его участники впоследствии стали известными филологами и литераторами.

С. 163. *«Быстрей, чем заяц от орла...».* — Из поэмы М. Ю. Лермонтова «Беглец» (1838).

С. 169. *...то, что стало уже привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала...* — Ср.

в стихотворении Р. Киплинга «Если» (в переводе С. Я. Маршака):

И если ты способен все, что стало  
Тебе привычным, выложить на стол,  
Все проиграть и вновь начать сначала,  
Не пожалев того, что приобрел...

С. 170. *Школа Звучащего Слова*. — Вымышленное название. Речь идет о Школе поэзии (сочинительства) в Вене (Schule für Dichtung in Wien), в работе которой автор романа участвовал в 1993 году. Некоторые участники той сессии названы здесь подлинными именами.

С. 171. ... фиксирую и себя самого, причем в первой половине алфавитного перечня: немецкий J в начале фамилии выручил, а то в России, начиная со списка первоклассников и далее везде, я всегда последний, если только нижнюю строчку не перехватит у меня какой-нибудь Яковлев или Ярцев. — Вторая подсказка по поводу фамилии героя: она начинается на букву «Я». Если учесть сообщенное раньше: герой — однофамилец литератора по имени Николай Михайлович, то разгадка совсем близка...

С. 179. *Однако это иллюзия — думать, что язык сам по себе что-то «диктует» пишущему...* — Ср. в «Нобелевской лекции» И. А. Бродского: «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку».

С. 181. ...сюрпризик мой медноволосый... — «Сюрпризик» — «достоевское» словечко. См. в «Преступлении и наказании»: «— А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? — захихикал Порфирий...».

С. 185. «Я как подарком пользуюсь любовью, // Заслугами не куплена она». — С учетом обновления русской лексики этот текст сегодня можно отредактировать: «Я, словно грантом, пользуюсь любовью...».

С. 195. «У него без всякой прошивы//Наволочки облаков». — Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу...» (1932).

«Наши письма не нужны природе». — Из «Старинной солдатской песни» Б. Ш. Окуджавы (1973).

С. 201. *Ильич — тот довольно грамотно защищал французский глагол «будировать» от неправильного употребления.* — В записке «Об очистке русского языка» (1919 или 1920) В. И. Ленин, в частности, отмечал: «Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормозить, будить. Но французское слово «boudier» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться».

С.208. — *Нет в Рихтери-и-и и Аверинцеве-и-и ~ главная их черта-а...* — Персонаж пародирует строки из стихотворения А. А. Вознесенского «Есть русская интеллигенция!..» (1975):

Есть в Рихтере и Аверинцеве  
земских врачей черты —  
постольку интеллигенция,  
поскольку они честны.

С. 210. ...«охотно и без зависти видеть счастье и успех другого, потому что считается, что упомянутый в этом нуждается или это заслужил». — Если кому интересно, вот оригинал: «Glück und Erfolg eines andern gern und ohne Neid sehen, Weil man der Meinung ist, dass Betreffende es braucht oder verdient hat».

С. 212. ...старческой нежности. — Ср. в «Облаке в штанах» В. В. Маяковского:

У меня в душе ни одного седого волоса,  
старческой нежности нет в ней!

С.213. *Но до этой новой прекрасной жизни...* — Реми-ниценция финала «Дамы с собачкой» А. П. Чехова (1899): «И казалось, что еще немного — и решение будет найдено,

и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается».

«Блестящего парня не стало...» — Газетный некролог с таким названием появился в связи с кончиной режиссера-документалиста Юриса Подниекса (1950—1992).

С. 214. ...красивая, крупная, крепкая ~ Семьдесят процентов мужчин ценят эти три «К»... — Шуточное обыгрывание немецкой формулы трех «К»: «Kinder, Küche, Kirche» («Дети, кухня, церковь»).

С. 215. «И с отвращением...». — Имеются в виду строки из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828):

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.

С. 215. *Источниче Жизни нашея...* — Обращение из Тропаря восьмого гласа (церковного песнопения).

С. 222. Само слово «друг» в романских языках происходит от глагола «любить», в германских — от глагола «радоваться», а в славянских — от прилагательного «другой». — Любопытно продолжает разговор на эту тему Валентина Нэлина, живущая и работающая в Израиле: «В иврите для обозначения этого понятия используются в основном два слова. Одно из них, חָבֵר [havev], имеет тот же корень, что и слова «соединение», «компания». А вот другое слово, אֵמִית [amit], когда-то меня поразило. Оно родственно словам «борьба», «спор», а кроме того, имеет второе значение: противник. То есть это — кто-то, кто был от говорящего гораздо дальше, чем русский «другой», то есть если все выжили, то это может стать началом большой дружбы» (Из письма к автору романа).

С. 225. ...но я пишу короче. — Ср. в песне В. С. Высоцкого «Бег иноходца» (1970):



Владимир Новиков

Я скачу. Но я скачу иначе...

С. 225. ...с Марком. — Вайнштайн, Марк (Weinstein Marc) — современный французский славист, публицист, переводчик.

*De la vitesse avant toute chose* — за скоростью лишь только дело, — так я переиначу обоих... — Имеются в виду Поль Верлен как автор стихотворения «Искусство поэзии» (1874), начинающегося словами: «*De la musique avant toute chose...*» и Борис Пастернак как переводчик этого стихотворения на русский язык (1938, первая строка — «За музыкаю только дело»).





**ПОВЕСТЬ  
О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ**





## КТО ОН?

Панов Михаил Викторович (1920—2001). Про него в справочниках пишут: ученый, языковед. Знающие добавляют: и литературовед. Многие, прочитав его стихи, скажут: и поэт. Те, кто у него учился, ценят как педагога; работавшие с ним вместе — как научного лидера. Он написал книги, из которых можно почерпнуть и знание, и мудрость, и радость.

И только в совокупности все это (с добавлением еще чего-то непознаваемого, невыразимого) составляет того многоцветного человека, с которым нестерпимо хочется сдружить читателей.

Чтобы им интереснее жилось, смелее думалось, ярче чувствовалось.

## ОТКУДА ОН ПРИШЕЛ

Панов — научно-творческий универсал, носитель того духовного синтеза, что присущ русской культуре начала XX столетия. Как конкретная эстетическая личность он рожден, однако, не столько Серебряным веком, сколько новаторским порывом — прорывом русской поэзии и филологии послереволюционных лет, экспериментальным искусством двадцатых годов. Связь с левым искусством у него не теоретическая, а природная. Слово «лефовец» в его устах — похвала.

Историческая картина советской эпохи для него не однозначно черная. Когда один его молодой собеседник, увлеченный запрещенными стихами Мандельштама, в вольной беседе все послеоктябрьское время определяет словами поэта «великая

мура», Михаил Викторович сдержанно, но решительно возражает:

— Двадцатые годы — это не мура.

Двадцатые годы — это его детство, его корни. В 2000 году к 80-летию Панова готовится коллективный сборник «Жизнь языка» (успеет выйти при жизни юбиляра)<sup>1</sup>. Для этого издания Елена Андреевна Земская (ближайший друг Панова, известный языковед, племянница М. А. Булгакова) затевает вместе с тремя коллегами беседу под магнитофон. Этот веселый и весенний, апрельский разговор будет перенесен на бумагу, поправлен и дополнен самим героем повествования. Там он рассказывает о своих родителях:

«У меня был папа очень верующий. Мама тоже была верующей, но свободомыслящей. Мой отец был не только гостеприимным, но, как он сам говорил, *гостелюбивым* человеком. И у него часто были гости. Он был офицером царской армии, которая с немцами воевала, с 14-го года...

...Вот он, Виктор Васильевич. Но это он в старости, а с немцами он воевал молодым и, придя с войны, значит, (*весело*) сделал меня...

...Мама была художницей. Она училась в Строгановском институте, но полюбила отца (а отец был военным), и отец ее увез, не дал окончить институт...

...Я стихи пишу, написал и издал книжку. Вот там есть стихи, посвященные Вере Алексеевне Хорошковой — это моя мама. Я так написал в книжке, чтобы не повторять свою фамилию. А она была Панова, по фамилии отца. Она была очень

---

<sup>1</sup> Жизнь языка: Сборник статей к 80-летию Михаила Викторовича Панова / Отв. редактор С. М. Кузьмина. М.: Языки славянской культуры, 2001. Шесть лет спустя в таком же оформлении вышел сборник: Жизнь языка. Памяти Михаила Викторовича Панова / Отв. редакторы Е. А. Земская и М. Л. Каленчук. М.: Языки славянской культуры», 2007. В нем публикация бесед с Пановым продолжена.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

для своей среды *неординарным* человеком. Когда она дала согласие на замужество моему отцу, она сказала: «В церковь ходить не буду. Не принуждай». А отец был *страшно религиозен*, и это ему было тяжело, но любил больше... Его семья (там были просто фанатики) не пожелала дать благословение, и я свою бабушку вот с этой стороны, отцовской, просто не знал, она не приезжала. А другую бабушку, со стороны мамы, очень любил».

В следующей части беседы Панов уточняет: родители все-таки венчались в церкви. Отец был крупным специалистом по текстилю, работал по контракту у разных фабрикантов, ездил на Запад делать закупки. После Брестского мира стал профессиональным военным. Был у Пановых еще один сын — Юрий, 1909 года рождения. Стал политруком и пропал под Ельней в 1941 году.

Семья была, как сам Михаил Викторович определил, «не ортодоксальная». В московскую коммунальную квартиру к Пановым приходили товарищи отца, поругивали порядки в Красной армии и в стране в целом. В то же время не были они «антисоветчиками». Радовались, например, Турксибу, постройке Днепрогэса: электричество придет в села. Позже Панов обозначит отношение такой интеллигенции к советской системе следующим образом: «Был выдан вексель. И какое-то время к новой власти сохранялось доверие».

Вообще говоря, люди созидательного склада по природе своей больше склонны к сотрудничеству, чем к противостоянию. Они готовы работать, имея на руках какой-никакой вексель, сулящий более или менее нормальную жизнь и возможность заниматься любимым делом. Так сказать, в надежде славы и добра. Надо очень их обидеть, чтобы они перешли в бунтарское состояние. Но, к сожалению, таких людей у нас безошибочно вычисляют и зачастую перекрывают им кислород.

Это относится к немалой части русской художественной и научной интеллигенции. К тем, для кого профессия стоит в первой строке, а политические проблемы — уже во второй.

Люди творческой складки делятся на две категории. Одни говорят, как Чехов: «В детстве у меня не было детства». Другие, как Лев Толстой и Пастернак, получают в младенчестве «ковш душевной глубины», которого им хватает до старости. Панов из второй, гармоничной категории:

«Вся жизнь моя была полосатая: светлая полоса, темная полоса. Детство — это с мамой. С отцом. Невероятная светлизна! Оно все залито солнцем. Я вспоминаю, на пригорке с мамой сидим, вокруг — цветы! Мама себе венок плетет, а я бегаю вокруг и дружу с этими букашками и цветами. А папа был ходун по лесу, и мы в такие дебри забирались!

...Солнцем моего детства был журнал «Еж». Папа выписал его. Это журнал необыкновенный! Вот жалею, что я его то ли раздарил, то ли он просто пропал, сейчас только несколько номеров осталось. Это журнал, в котором в каждом номере участвовали Хармс, Олейников, Маршак, Чуковский, Бианки, Евгений Шварц, Лидия Чуковская. <...> И я упивался этим журналом. А в следующем году мне папа опять его выписал. В 29-м году редактором был Олейников. Это был журнал обэриутов. Ну, я такого слова, естественно, не знал, но наслаждался стихами и прозой *игровой*. <...> Это было одно из «счастьев». Вот мое детство».

Панов на всю жизнь останется таким же природным и солнечным. Он сам — большой «ходун по лесу» и друзей вовлекает в это занятие. В теплое время года ездит с ними на трамвае от остановки «Метрогородок» на северо-востоке Москвы возле его дома до «Детского санатория». Конец трамвайных путей, дальше — лесная бесконечность. Простор для нескончаемой беседы.

Заходит как-то за столом легкомысленный треп о том, что лучше — весна или осень. Дескать, у творческих людей, как у Пушкина, осенью эйфория (модное тогда слово), а весной — депрессия. Панов же с добродушной улыбкой:

— А я так скажу: лето люблю!

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Дома у Панова много комнатных цветов, относится к ним как к одушевленным существам. Уезжая в командировки, устраивает временную систему орошения при помощи влажных тряпок.

И стихи его изобилуют хлорофиллом. Зелень плюс солнце. А когда в экспериментальном цикле миниатюр «Звездное небо» Панов рисует образно-ассоциативные портреты русских поэтов, он в основном пользуется красками растительными, водными и лучистыми.

### ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

Отрочество свое Панов считает темной полосой. Школа на улице Мархлевского. Заносчивые дети энкавэдэшников, приезжающие на велосипедах. Учителя им стараются потрафить, подхалимски шутят: «Скажу отцу, чтобы отобрал велосипед». Русскую литературу трактуют в духе вульгарной социологии академика Покровского, но учительница все-таки неглупая и преподает словесность «так, что ее можно любить».

Семья Пановых по материальному достатку ниже среднего, но на культуре не экономит. Отец — большой театрал, у него знакомые кассирши и барышники. Водит сына на спектакли каждую неделю. Сам он предпочитает Малый, а Михаил увлечен Мейерхольдом. Отец с ним спорит, особенно осуждает у Мейерхольда антирелигиозные мотивы. Атмосфера полемики, общей увлеченности искусством, уважения к чужой точке зрения.

«Мама меня всегда защищала, и она говорила отцу: «Ну что ты так ожесточенно споришь? Каждый имеет право на несогласие». И я думал, что это народное присловье («цдылят по осени считают», «каждый имеет право на несогласие»), и, кажется, один раз сказал это в райкоме».

Мейерхольдовские спектакли впечатаются в память, о них Панов будет рассказывать молодым друзьям много лет спустя. О том, например, что в спектакле «Лес» по Островскому на Восмибратове был зеленый парик.



«Гибель театра и гибель Мейерхольда для меня были равнозначны гибели родного человека, и я это переживал в страшной горести».

Тогда же, в подростковом возрасте, формируются вкусы Панова в сфере изобразительного искусства. Русский авангард — его родная стихия. Малевич. Любовь Попова. Родченко со Степановой. Ларионов с Гончаровой. Бубноволетцы... Об их противниках — деятелях АХР (Ассоциации художников революции) и много лет спустя будет вспоминать как о личных врагах, называя их «ахряками». А официоз последующих лет в его языке получит название «налбандянство».

Всяческое внешнее жизнеподобие с юных лет было чуждо Панову. Не жалуется он братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых. А вот их дальнего родственника Юрия с его сказочным миром очень любит и ласково называет «Юрочка Васнецов».

Забегая вперед, скажу, что, хотя Панову в послевоенные годы не доведется побывать ни в одном из заграничных музеев, искусство будет сопровождать его постоянно, ежедневно. По альбомным репродукциям он будет его увлеченно изучать и эстетически осмысливать.

Будет часто говорить о том, что народное искусство никогда не стремилось к внешнему сходству с натурой. Цитировать дымковскую мастерицу, которая, когда ей предложили игрушечных петухов делать похожими на настоящих, удивилась: «Зачем? Настоящий и так у меня по двору ходит». Народное творчество перекликается с авангардным, только единицей искусства здесь является не каждое изделие, а общая модель, сама идея, например, дымковской игрушки.

И еще о том, почему Панов — человек двадцатых годов. Он успел побывать современником Маяковского. Успел прочитать его в журнале «Еж». Потом скажет о нем: «мой первый взрослый любимый писатель».

«Когда Маяковский умер, значит, в девяносто тридцатом году, я утром раненько выскочил на улицу... Мы какие-то обык-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

новенно газеты выписывали, но я в день похорон закупил все газеты, чтобы осталась память об этом дне. Как писали о нем? Все эти газеты куда-то исчезли, хотя сейчас они, наверно, были бы интересны, но их я не жалею, в общем-то, потому что писали так: «шел к революции, но не дошел», «представитель мелкой буржуазии», «представитель люмпен-пролетариата», «анархическим бунтом пытался подменить социалистическое сознание».

Панову здесь нет еще десяти лет... А Маяковский еще не обозван «лучшим и талантливейшим»... Тридцатые годы только начинаются.

Окончив школу, Панов поступает на филологический факультет Московского государственного педагогического института. Этот вуз в 1946 году станет называться «имени Потемкина» (не екатерининского — сталинского деятеля, на исходе карьеры наркома просвещения РСФСР), а в 1960 году вольется в МГПИ имени Ленина.

Главная достопримечательность института в тридцатые годы — работавшие там представители МФШ, московской фонологической школы. Кафедрой русского языка заведует Р. И. Аванесов. Первым учителем Панова становится профессор Алексей Михайлович Сухотин, которого он будет многократно вспоминать, памяти которого посвятит свою последнюю книгу. Панова заметят также А. А. Реформатский и А. Б. Шапиро. Рассказывая о своей альма матер, Панов будет упорно называть эту научную школу расширительно: МЛШ — московская лингвистическая школа. Фонология же для него не узкоспециализированная дисциплина, а фундамент. И языковедения, и филологии в целом.

Институтские годы для Панова — светлая полоса. Со второго курса он получает повышенную, «сталинскую» стипендию. Она «страшно большая», и Михаилу даже стыдно, что он, «танцующий», получает больше, чем отец. Тот в свое время отказался вступать в партию, говоря: «Я верующий». Пришлось ему расстаться с военной службой и заниматься тех-

ническими переводами с английского и немецкого, сидеть ночами...

Но «танцующи» — это, конечно, шутка: Панов занимается наукой увлеченно и усердно. Делает дерзкие доклады, где от-важно спорит с внедрявшимся тогда учением Марра. Язык не «надстройка», как утверждают марристы. Таков главный пафос Панова. И литература тоже, о чем поговорим подробнее.

## ЧЕТВЕРТЫЙ ОПОЯЗОВЕЦ

«Я хочу закончить работу, которой занимаюсь всю жизнь, а именно написать историю русской поэзии как чистое движение эстетических форм. Как не политика движет поэтом, не религия, не медицина, не там то-се, не физкультура, не экономика, а переживание — эстетическое переживание искусства, именно поэзии».

Так говорил Панов в 2001 году. Примерно теми же словами он рассказывал о своем «потаенном» литературоведении в 1976 году. Ясно, что «чистое движение эстетических форм» — это традиция русского формализма: Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума. Но «эстетическое переживание» — из другой оперы, чисто пановской. Формалисты всяческие переживания не жаловали, и слово «эстетический» не из их словаря. Панов вносит в опоязовскую традицию свое, выводит ее на новый уровень.

Панов — эстетик (не «эстет»!). Есть такое редкое слово со значением «теоретик искусства». Редкое, потому что мало таких теоретиков. По-гречески «эстетикос» означает «способный чувствовать, одаренный чувством, чувствующий». Не обойтись в исследовании прекрасного без эмоций.

Как и в самом творчестве. Из контекста пановского высказывания следует, что эстетическое переживание — фактор исторического движения искусства.

Когда переживание читателя вступает в резонанс с переживанием художника — тогда и рождается адекватное эстетическое восприятие произведений. Никакими рациональными разбора-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

ми, никаким «медленным чтением» и мелочными комментариями этого не заменить. Подкрепить, подтолкнуть можно, но не заменить.

Реальная научная биография Панова начинается не с языковедческой, а именно с литературоведческой работы — «История поэзии как эстетического феномена». Он решил послать ее Корнею Ивановичу Чуковскому, с которым был знаком его отец, работавший редактором. Но не знал юный литературовед, что Чуковский «все время спорит и ссорится с формалистами», с которыми у Панова «сплошной ОПОЯЗ».

Панов рассказывает про Чуковского: «Он жил в Ленинграде (до 1938 года. — В. Н.), иногда приезжал в Москву, в гостиницу «Националь». Ну, я узнал, что он приехал в Москву, и позвонил ему — как ему моя тетрадочка, страниц сорок, о развитии русской поэзии? И вдруг вместо приветливого голоса слышу: «Я ваше писание разорвал и выбросил». ОПОЯЗ был ему непереносим».

Какой неожиданный реприманд! И неприятный. Что привело в такое бешенство Корнея Ивановича? Уж он-то, литератор до мозга костей, понимал ценность рукописи в единственном экземпляре. Что с того, что Эйхенбаум беспощадно (и небезосновательно) критиковал некрасовские штудии Чуковского? Что с того, что когда-то шла война между «шкловитянами» и «чуковистами»? Шкловскому-то, несмотря на взаимную неприязнь, Чуковский писал вполне вежливые письма. А на мальчишке-опозовце так жестоко отыгрался...

Моя версия такова. Корней Иванович Чуковский — обладатель многих талантов. Поэт первого ряда: «Крокодил», например, — совершенно взрослая поэма, предвосхитившая стилистику блоковских «Двенадцати» (как это показал Александр Кушнер в стихотворении «Современники»). Блестящий переводчик и теоретик перевода. Живой, азартный и кусачий критик. Уникальный исследователь детского языка, да и взрослого тоже — чего стоит открытое им явление «канцелярита»!

Однако в ряду этих дарований нет литературоведения. Поэтику Чуковский не понимал, границу между материалом и приемом аналитически провести не умел. Скажем, легендарная его книга «Александр Блок как человек и поэт» распадается на две части: бесценный рассказ о Блоке-человеке и довольно скучный школярский разбор стихов. А позднейшая книга «Мастерство Некрасова» — обыкновенная советская монография, закономерно удостоенная Ленинской премии. Анализ стихотворной техники и поэтического языка там, прямо скажем, не на высоком, не на тыняновском уровне.

Инстинктивно, как художник, Чуковский не мог не ощущать, что устами подростка Панова глаголет опоязовская истина, что правда — там, у проклятущих формалистов (тем более что одного из них, Тынянова, он и ценил, и по-человечески любил). Такое противоречие в сознании Чуковского и привело к эмоциональному взрыву, к разрыванию тетрадки.

Это объяснение, но не оправдание.

А рукописи не рвутся. Панов восстанавливает придуманное и написанное, уже будучи студентом Мосгорпединститута. Два занятия студенческого литературоведческого кружка отведены его докладу о «самодвижении поэзии». Докладчика громят. Хорошо, что никто не доносит наверх о его научной крамоле.

Потом будут «две толстенные тетради», страниц на триста, заполненные во время войны. В самом ее начале младший лейтенант Панов назначается командиром взвода противотанковых пушек. Пушки перевозятся студбеккером, в котором есть укромное место между корпусом и днищем. Там и уединяется исследователь поэзии со своей тетрадью. Вдруг туда лезет солидный полковник.

«Лейтенант (даже повысил в звании), чем это ты тут все время занимаешься? Вот мне рассказывают, ты все пишешь» (значит, осведомители все же ему сообщили). На мое счастье, я не эту теорию писал в это время, так как очень трудно было бы

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

объяснить артиллерийскому полковнику, что такое хориямб, что такое пиррихий...<...> Но я писал записи своих артиллерийских стрельб».

Полковник сказал: «Хорошо» — и больше Панову в военное время никто не мешал.

Спецкурс по истории языка русской поэзии в 1970-е годы в МГУ Панов назовет «четвертой попыткой», но мы пока суммируем первые три — от тетрадки школьника до военных тетрадей.

В 1928 году в Праге встречаются Юрий Тынянов и Роман Якобсон. Разрабатывают программу дальнейшего развития русской филологии. Никакого деления на лингвистику и литературоведение — это должна быть единая научная система. Формулируются девять тезисов, последний из которых завершается словами: «... необходимо возобновление Опояза под председательством Виктора Шкловского». Тезисы под названием «Проблемы изучения литературы и языка» публикуются в журнале «Новый Лейф» (1928, № 12).

Что произойдет дальше — известно. С «формальным методом» в СССР будет покончено. Тынянов станет бороться с неизлечимым недугом и писать роман «Пушкин». Пути Шкловского и Якобсона радикально разойдутся.

Но не более чем лет через десять московский школьник затеет свой индивидуальный ОПОЯЗ и будет продолжать эту научную линию вплоть до конца XX века. Традиционно тремя главными «опоязовцами» считаются Тынянов, Шкловский и Эйхенбаум. Якобсон немного в стороне: его Московский лингвистический кружок был близок к ОПОЯЗу, но не тождествен ему. Потом, в Америке, Якобсон утратил интерес к текущей словесности, а это неотъемлемое опоязовское свойство. Панова же, который подхватил эстафету конца двадцатых годов, я бы назвал четвертым опоязовцем. Именно он не дал задуть свечу, и если кто-то продолжит его поиски, это станет реальным воскрешением опоязовского духа.

Владимир Новиков

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

О ней поведано стихами. В сборнике «Тишина. Снег» есть ошеломляющий верлибр-рассказ «Седые деревья». Четырнадцать страниц малого формата, и притом как один неделимый стих, одна пронзительная строка-струна. Дата под ним — 1939.

Рассказчик гуляет по лесу с девочкой-ровесницей. Тянется к ней губами, она вертится, и он нечаянно целует ее в нос.

И ты тогда —  
вспомни — обиделась,  
закричала.  
Зачем я ее в нос!  
Теперь на всю жизнь —  
первый раз меня  
поцеловали...  
в нос!  
Не мог получше!  
Как будто я уже там, за гранью  
личного,  
близкого, светом залитого.  
«Поцеловали!»

И я тоже: обижен, угрюм.  
Глупые оба.

Какие могут быть сомнения в подлинности рассказанного! Тут не «лирический герой», а стопроцентный автор, будущий языковед, столь внимательный к глагольной форме в реплике любимой девочки. Не менее достоверна и следующая сцена:

Стыдливо  
и тихо плескалась,  
одна, вдалеке...  
В теплой, послушной воде...  
Послушной, послушной, послушной.  
Доверчивые глаза.  
Ее тонкие руки — у меня

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Вокруг шеи, легкие руки.  
«А когда у тебя на коленях  
Голая девчонка сидит —  
— тебе стыдно?»  
— «Любимая если —  
не стыдно».  
Смеялась.  
Раскрытые ясные очи.  
Доверчиво  
смотрят,  
сияют.

«Целуй везде, где ни разу не целовал».

В «знаменской» рецензии на «Тишину. Снег» в 1999 году особо отмечаю «Седые деревья» с эстетической точки зрения, но самого меня разбирает любопытство: что же там дальше произошло? В конце стихотворения героиня появляется «уже чужая, за гранью... встречи». «Бойтся, что я напомню о прошлом». Как, почему? Не решаюсь спросить Панова. Пробую справиться у Е. А. Земской, понимая, что ей-то в 1939 году было двенадцать лет, но, может быть, Михаил Викторович что-то ей рассказывал? Нет, не рассказывал.

И еще: «1939» — это дата события или дата написания? Очень уж современно звучит свободный стих. Смелая интимность совсем не характерна для поэзии предвоенной поры. Такой вопрос вполне можно было автору и задать, чего я стеснялся?

Впрочем, вопросов к Панову и у меня, и у нового века — тьма. То и дело появляются новые.

## О ВОЙНЕ

«Окончил институт уже во время войны, осенью 1941 г. С октября 1941 г. — в действующей армии. В рядах Советской армии воевал под Москвой, на Кавказе, на Украине, в Румынии, Болгарии, Венгрии. Военная специальность — противотанковая



артиллерия. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями. Демобилизовался в конце 1945 г.» (из «Автобиографии», 1991).

К этому надо добавить, что в 1945 году Панов получил еще и орден Отечественной войны. А совсем недавно ученица Михаила Викторовича Е. М. Калло расшифровала трудночитаемые наградные листы младшего лейтенанта Панова. В представлении на медаль «За отвагу» сообщается: «За время пребывания на фронте имеет два легких ранения и одну контузию. Контужен 15.12.1942 года под г. Моздок, командовал огневым взводом 76 мм пушек, 7 месяцев. Легко ранен 19.9.1943 года под г. Гуляй Поле, Запорожской области...»

А вот «краткое конкретное изложение личного боевого подвига», за который Панов получил орден Красной Звезды:

«В боях за город Будапешт проявил мужество и отвагу. 29 января 1945, находясь со взводом на прямой наводке в боевых порядках пехоты, под его руководством уничтожено три пулеметных точки, разрушено 4 опорных пункта противника, мешавших продвижению нашей пехоты.

2 февраля 1945 года поддерживал своим взводом наступающую роту, выкатив орудие на 50 метров от противника, невзирая на сильный огонь, уничтожил 2 пулеметные точки и до 30 солдат противника, чем способствовал успешному продвижению нашей пехоты».

В ноябре 2000 года Михаил Викторович с добродушным юмором рассказывает С. М. Кузьминой и Л. Б. Парубченко<sup>1</sup> о том, как реально заслужил награду, и вместе с тем трезво констатирует: «Вообще ордена — это такая липа!» Сообщает о том, как сам представлял бойцов к награде не столько за подвиги, сколько из человеческой доброты: «Вдруг один боец как

---

<sup>1</sup> В гостях у Михаила Викторовича Панова / Публикация Л. Б. Парубченко. — // В сб.: // Лингвистика и школа — III. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2008.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

заплачет! Комвзвод! Что ж ты на меня так поспешил: я же то-то, и то-то, и то-то. Ну, я думаю, надо человеку подкинуть героизму».

Вспоминает замполита, который то и дело донимал его вопросом: «Панов! А почему тебя в Будапеште не убили?» Он в ответ придумывает всякие шутейные объяснения, а потом ему солдаты объясняют, что все дело в обмундировании: «Зачем на тебя пулю тратить? Солдатская шинель, старая, б/у. Кирзовые сапоги видны из-под шинели. Шапчонка на тебе — мех из опилок... Патроны надо тратить страшно осмотрительно! По выстрелу могут обнаружить снайпера, патронов может не хватить. А у тебя вид настоящего рядового».

В общем, к пафосу Панов отнюдь не склонен. Вспоминается рассказанный им эпизод, тоже связанный с Венгрией и рисующий наших воинов не с самой лучшей стороны. Ворвались в какую-то усадьбу, где была большая библиотека. Стали из старинных книг вырывать по листку и пускать на самокрутки. Офицер их отругал. Пристыженные солдаты принялись раскручивать самокрутки и вставлять листы обратно в книги... Каково же было наблюдать это Панову с его сердечной привязанностью к книге!

А многое о войне Панова мы узнали из его стихов. Там он рассказал о том, как пехотинцы штыками убивают власовского снайпера, перестрелявшего пятерых их товарищей. Как по приговору трибунала расстреливают своих — семнадцатилетних «детушек», бежавших с фронта. Пересказать прозой — невозможно. Неотделимы эти сюжеты от того свободного стиха, в который они претворены.

Военные верлибры Панова мгновенно создают эффект читательского присутствия и даже соучастия в событиях. Совершенно не ощущаешь временной дистанции, которая, кстати, почти неизбежна для стиха метрического с его «эпической» тяжестью.

А есть стихотворение, в котором военный быт и стиховедческая рефлексия слиты воедино:

## Владимир Новиков

Приехали ночью, вкопали ЗИС-3<sup>1</sup>. К пяти замаскировали ее.  
Не спалось. Я лежал на снегу, под двумя задубелыми шинелями.  
Слепо светили две звезды, да и те пропали.  
Дышал, дышал на руки: от холода одеревенели.

Вспомнил: «Она пришла с мороза раскрасневшаяся...»  
Родной для меня это стих. Это Блок.  
(Книгу-то взводный, гад, зажил, — думаю в полусне. —  
А ведь нес ее от Кавказа... и всегда... как зеницу ока...)

Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головой.  
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.  
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:  
«Мессершмит»? Или, может... нет, не «фокке-вульф».

Думаю о судьбе русского свободного стиха:  
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,  
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыхания,  
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.

К шести забылся. Резало от ремня и кобуры, не снятых на ночь.  
В кармане тихо шелестели часы (трофейные, анкерные).  
В семь ноль-ноль на высоте 120 и две десятых  
Бешено и мертво застучали немецкие танки.

Не скрою: это самое мое любимое из пановских стихотворений. Панов, кстати, часто говаривал, что надо различать произведения, которые нам близки биографически, и те, которые мы ценим эстетически. Биографической привязки для меня здесь нет. Чисто эстетическое отношение.

А Панов потом свою концепцию верлибра обоснует аналитически. Это не пограничье стиха и прозы — наоборот, квинтэссенция поэтичности. Так считал и Тынянов, для него верлибр — «характерный стиль нашей эпохи, и в отношении к нему как к стиху исключительному или даже к стиху на грани прозы — такая же неправда историческая, как и теоретическая».

---

<sup>1</sup> Противотанковая пушка (прим. М. В. Панова).

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

А в плане ритмическом верлибр граничит с тактовиком<sup>1</sup> (стихом с постоянным количеством ударений в строке плюс-минус один), только в нем еще время от времени могут появляться либо сверхкороткие, либо очень длинные строки. Процитированное стихотворение Панова близко к нерифмованному тактовику: в нем везде от пяти до семи ударений в строке.

Может быть, я передаю концепцию Панова не совсем точно, но когда его спецкурс по истории русской поэзии будет издан, все прояснится. Главное же для Панова — верлибр не аномалия, он системен.

А напоследок пановская устная новелла. Сюжет — Победа. Без особенного пафоса, зато с цепким сюжетно-образным остранением. Это он рассказывал многим, цитирую расшифровку звукозаписи, сделанной 8 мая 1995 года на лекции Панова в Открытом педагогическом институте (по ходу полемически упоминается роман Г. Владимова «Генерал и его армия»):

«Я вам скажу очень просто. Войска наши вошли в Австрию... Карпаты — это горы, поэтому окопы сближены. Ну, ненависть невероятная. Вот сейчас вышел роман о Власове. «Генерал и его войско» — не помните автора? Ну вот только что был напечатан. Но там будто бы как только начальство заглядится, то власовцы и Советская армия готовы брататься. Совершенное вранье! Власовцы — это были снайперы, которые убивали советских солдат, и ненависть была страшная: если снайпер время свое пропустит и не успеет уйти, так солдаты штыками их закалывали. Не давали уйти. И даже в плен не брали.

Так вот, ненависть огромная. Ночью подымаешь на палке сигарку — в распилке, вот она горит — немцы начинают хлестать пулями по сигарке: думают, это человек виден.

---

<sup>1</sup> Пановское понимание тактовика, его концепцию соотношения тактовой и стопной организации стиха см.: Панов М. В. Из рассказов о русском стихе. Тактовик. — В кн.: Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М.: Языки славянской культуры», 2007. С. 446–463.

И вдруг в одно майское утро: окопы, между ними травка майская, замечательная травка, уже довольно высокая — вдруг солдат перемахнул через бруствер и пошел по траве! Это было такое же чудо, как хождение Христа по водам: не может быть! Невероятно! Мы просто ослобенели. Ни одного выстрела!

Мы поняли: война кончилась».

## УЧИТЕЛЬСТВО

Оно было для Панова не просто профессией или способом заработка — было чертой характера. В широком смысле его учительство — это весь путь от послевоенной работы в средней школе до последних университетских лекций.

Есть ученые, развивающие научную мысль в контексте самой науки. Они занимаются языкознанием, литературоведением. А есть такие, кто непрерывно соприкасается с самим предметом исследования. Они занимаются языком и литературой. Да еще и жизнью. Таким исследователям учительство просто необходимо.

Для Панова открытие новой мысли и разъяснение ее — единый процесс. Работу в школе он никогда не считал примитивным занятием. Стратегия его науки — ясность. Ее он стремился донести и до многознающих коллег, и до малознающих детей. Верил в детский разум.

«Усложнить, чтобы упростить»<sup>1</sup> — так называется одна статья Панова о школьном преподавании. Чтобы дети писали грамотно, им надо давать представление о фонеме и вообще надо их учить «мыслить отношениями».

Рассказы Панова о работе в школе не слишком веселы. С одной стороны — «хорошие девчоночки». Они пишут стихи, учи-

---

<sup>1</sup> Лингвистика и школа: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Л.Б. Парубченко. Барнаул: Издательство АлтГУ. 2001, С. 5–10.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

тель составляет из них «девчачий журнал». На уроках читает школьникам наизусть «Слово о полку Игореве» — полностью, чтобы показать, как ритмично оно звучит.

Но уж больно мордовали идеологические надсмотрщики. Сорок шестой год, начинают внедрять ждановщину. Три раза Панова таскали в райком. В первый раз за то, что провел вечер с чтением стихов Батюшкова, в том числе патриотических, о 1812 годе. Вопрос учителю: «А они у вас всего Лебедева-Кумача знают?» Постановку Шекспировой комедии «Много шума из ничего» не одобрили: произведение непрограммное.

Сочувствующая Панову учительница-методист О. И. Лимарева перед очередной райкомовской проработкой обращается к Панову: «Михаил Викторович! Я вас умоляю, я вас прошу — не говорите им «каждый имеет право на несогласие!» Они вас не поймут и сделают вам плохо».

Послушать бы это тем, кто сейчас всерьез говорит о введении «единого» учебника по литературе!..

В 1952 году Панов защищает кандидатскую диссертацию. Преподает в том пединституте, который окончил. В 1956 году появляется его первая концептуальная статья «О слове как единице языка», а в 1958 году академик В. В. Виноградов приглашает его на работу в Институт русского языка АН СССР.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДРАМА

Хотя в то время не принято было говорить «научная карьера», она у Панова поначалу складывалась благоприятно. В 1963 году он возглавляет сектор современного русского языка, начинает руководить коллективом, в котором немало талантливых сотрудников. Он сразу затевает два больших проекта. Один — социолингвистический. Называется «Русский язык и советское общество». Уже в 1968 году выходят четыре синих томика: лексика, морфология и синтаксис, словообразование, фонетика. За каждым основательная проработка свежего материала. Язык предстает в динамике, в непрерывном развитии. Второй про-

ект — орфографический, он настолько дерзок и настолько обращен в будущее, что я откладываю разговор о нем до финальной части нашего повествования.

Отлично продвигается и индивидуальная работа Панова. В 1966 году начинает выходить пятитомник «Языки народов СССР». В первом томе большая монографическая статья «Русский язык» написана Пановым. В 1967 году выходит его монография «Русская фонетика».

С пронзительным чувством держу в руках эту зеленую книгу (приобретенную задолго до знакомства с ее автором). На первой «сторонке» переплета загадочный рисунок — это спектрограмма слова «счастье». В последней главе — портреты всех предшественников по отрасли — от Ломоносова с Третьяковым до А. А. Реформатского и П. С. Кузнецова. Есть здесь и фото оппонента — Л. В. Щербы, главы конкурирующей Ленинградской фонологической школы. Реформатский просто называет питерскую теорию: «у-ЩЕРБная фонология», а Панов с ней терпеливо спорит. За противоречиями между московской и ленинградской школами стоят противоречия самого предмета, самого языка. Эту философичную мысль Панова полезно помнить, приступая к научной полемике по любому серьезному вопросу.

Книга принесла Панову в 1968 году докторскую степень. Ученый вместе со своими единомышленниками шел вперед, чего нельзя сказать о стране в целом, о ее политическом статусе. На арест Синявского и Даниэля Панов отреагировал письмом, адресованным Брежневу. Получил бумагу из ЦК: с вашим письмом ознакомились, ответ прочтете в газетах.

Потом чехословацкие события, волна протестов. В числе смутьянов — сотрудники пановского сектора, которым за это грозит увольнение. Он идет хлопотать за них к М. Б. Храпченко, академику-секретарю Отделения языка и литературы, «начальнику» филологической науки. Пока Панов хоть и под подозрением, но еще не в опале. Храпченко с доверительным цинизмом вопрошает:

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

— Михаил Викторович, чего они хотят добиться? Есть армия, есть органы. Лбом стену пытаются прошибить!

В 1968 году (за год до своей кончины) пост директора Института оставляет В. В. Виноградов. Увы, он успел незадолго до этого запятнать свое имя, выступив «экспертом» по делу Синявского и Даниэля. Виноградов — человек сложный, и отношения с ним у Панова были сложные, но все же была общая почва, общие ценности.

А вот с новым директором Федотом Петровичем Филиным у Панова общего не было ничего. Неглубокий «маррист» в молодости, Филин извлек из развенчания марризма нужные уроки и четко блюл идейно-политическую конъюнктуру. Волевая посредственность, чиновник от науки, нутром ненавидящий людей блестящих и вольнодумных. Действует в союзе с парторганизацией. Для Панова это оборачивается исключением из КПСС (членом которой он стал на фронте). А отъятие партбилета в ту пору означало получение «волчьего билета».

## МАМА

И как раз в то время уходит из жизни самый близкий Михаилу Викторовичу человек, предмет самой сильной его привязанности. Фрагмент из устных воспоминаний о детской поре:

«И я помню — вот осталось впечатление: мама только что вернулась из больницы (она болела тифом), до чего красивая! Были у нее длинные волосы, как у женщин тогда большинства, — она вернулась остриженная, как девочка, до того красивица! Вот тогда я ее впервые увидел, эту короткую женскую стрижку, и навсегда влюбился в нее. В узенькой юбочке дудочкой, ну просто девчонка <...> Боже мой, кто такая?! Да это мама (смеется) прибежала!»

Личность Панова не вмещается в привычные схемы, в том числе и фрейдистские. Эта влюбленность не отгораживала его от мира и людей, а наоборот, помогала понимать разных людей и в итоге принять этот мир в его реальной данности.



Памяти матери посвящен цикл из трех сонетов. Строгая классическая форма в сочетании с ультрасовременной образностью:

Обуза дел отпала; белый шнур  
Сгорел, свистя, — и сухо мрак рванулся.  
Освендим дня умолк, и Орадур  
Угрюмыми огнями огрызнулся.

А у тебя? Счастливый день очнулся,  
Залит росой? Или безлюдно-хмур  
И, тягостен, мрак ночи развернулся,  
Тебе горя из черных амбразур?

Чувство невозместимой потери не просто «выражено» — оно властно передано читателю. Кстати, здесь и невольный ответ на заезженный многократным цитированием претенциозный вопрос Теодора Адорно: «Можно ли писать стихи после Освенцима?» Что значит «можно»? Поэт, вобравший в себя мир, носящий Освенцим в душе, просто пишет, не спрашивая ни у кого разрешения. Само же название концентрационного лагеря становится символом, средством остранения (есть в русской эстетике такое понятие).

### «БУДУ ЛИ Я ЕСТЬ?»

Итак, блестящий именитый ученый и перспективный руководитель в возрасте пятидесяти одного года (молодой!), подав заявление «по собственному желанию», выходит из Института русского языка АН СССР и оказывается на улице. На Волхонке.

«Встал вопрос: буду ли я есть?» — так потом он об этом расскажет, уже вполне нейтрально. Действительно, если не получать зарплату, то чем кормиться? Неофициальные доходы тогда бывали только у людей практично-энергичных, к коим Панов не принадлежал: он все получал в окошечке у кассирши, расписываясь в ведомости.

«Волчий билет» — метафора. Есть он у человека или нет — выясняется опытным путем. Панов получает приглашение из

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

НИИ национальных школ Министерства просвещения РСФСР. Там, в секторе преподавания русского языка, вакансия старшего научного сотрудника и непременно доктора наук, поскольку в ученом совете докторов не хватает и процесс защиты диссертаций тормозится. Заведение не слишком престижное, работа — научно-методическая, но все же с окладом 350 рублей в месяц. Достаточно для питания телесного, да и для духовного (в смысле покупки книг — не только по номиналам, но и по чернорыночным ценам — это в пановском бюджете самая важная статья).

Нервным моментом было оформление в отделе кадров: считалось тогда, что им непременно заведует «личность в штатском». В момент прихода Панова место завкадрами временно занимал один полунаучный сотрудник, которого потом перебросили заниматься «информатикой» — сферой, неведомой ни ему, ни дирекции. Он, по-видимому, не был каким-то «сексотом», тайным агентом: уж «больно нехитер» — говоря одной из любимых Пановым классических цитат.

Будущий информатик, очевидно, разговаривал с новым сотрудником почтительно (что-то слышал о нем как ученом) и никакой агентурной информации из него вытянуть не пытался. Дирекция же была довольна тем, что ученый совет доукомплектован. Панов не оказался в ситуации деклассированного — и то хлеб.

Надо сказать, что Панов некоторое время потом упоминал имя информатика одобрительно: «Этот наш N, по-моему, симпатичный». Но кредит доверия скоро иссяк. У себя дома Панов рассказывает, как бывший «симпатичный» в кулуарном разговоре произносит какую-то гадость о Романе Якобсоне. Михаил Викторович передразнивает его, корча гримасу. Возможно, однако, что Якобсон послужил поводом, а причиной были недалекость и дремучесть «информатика». Так или иначе, это была своеобразная информационная казнь. Больше в наших разговорах он не присутствовал.

Тут проявился общий закон поведенческого аристократического демократизма Панова. К каждому новому лицу относиться-

ся как к хорошему человеку и держаться этой презумпции до тех пор, пока «лицо» само эту версию не опровергнет, оказавшись «мордой» или «харей».

А недреманное око находилось совсем в другом месте. Панов рассказывал, что вскоре после поступления на новую службу ему позвонил незнакомый человек, сослался на общих друзей и назначил встречу в метро. Подойдя там к Панову, изрек одну фразу: «*Такая-то* работает по совместительству», вскочил в вагон и уехал.

Таким способом Панов был извещен, что в присутствии этой своей коллеги по сектору он должен быть осторожен и не говорить лишнего. Сейчас, когда я пишу эти строки, вспоминаю благозвучное ф.и.о. «такой-то», ее с виду интеллигентное лицо, слышу, как она с институтской трибуны красиво говорит о том, как на нее в студенческие годы благотворно повлияли лекции Реформатского...

Пришло, впрочем, время рассказать о том, как началось наше знакомство с Пановым.

## НА УЛИЦЕ КУУСИНЕНА

Волею случая в 1975 году я поступаю на службу в упомянутый НИИ национальных школ. В типовом школьном здании на улице Куусинена, 13 он занимает четвертый этаж и половину пятого. Неожиданно узнаю, что именно здесь, в секторе методики преподавания русского языка, работает легендарный Михаил Викторович Панов. Учась на филфаке, его лекций не застал — Панов пришел позже, но читал его еще в школьные годы.

Знакомимся. Панов находит во мне собеседника, с которым он может поделиться своими весьма нестандартными мыслями и оценками:

— Для вас, кажется, в оценке литературного произведения значительную роль играют моменты этические. А для меня — только эстетические.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

— По-моему, литературоведение — это наука, которую создали Тынянов, Шкловский и Эйхенбаум. А Бахтин... Это, конечно, силач, но мне он не близок.

1975 год — это год смерти Бахтина, выхода его итогового сборника «Вопросы литературы и эстетики» и интенсивной рефлексии по поводу бахтинских идей. Все больше писалось и говорилось о «художественном времени» и «художественном пространстве». Немудрено, что я тогда спросил: «Что вы, Михаил Викторович, думаете о времени?»»

— Время? — переспросил он. — Что тут сказать? Текеть... Текеть оно.

За этой орфоэпической иронией стояло решительное неприятие самих понятий «время» и «пространство» как эстетически значимых. Для Панова как убежденного «опоязовца» и время, и пространство относились к «материалу», к реальности жизненной, а не художественной. И потом, когда все чаще стал мелькать в научной прессе бахтинский термин «хронотоп», Панов саркастически резюмировал: «Ну, захронотопали...»

Тем не менее... В НИИ национальных школ работает деятель по фамилии Горбунов, выходец из Мордовии, говорящий с отчетливым «оканьем». Набокова он называет «бел [о] гвардейцем» и, выступая с трибуны, вещает о том, что наша задача — «в[о]спитывать к[о]ммунистов». Притом он обладатель докторской степени не педагогических, как большинство сотрудников института, а филологических наук — за диссертацию о расцвете мордовской советской литературы. Панов всегда говорит о нем с презрением, имитируя оканье в самой фамилии: «Г[о]рбунов».

И вот стоим мы как-то с Михаилом Викторовичем на лестничной площадке пятого этажа — месте, отведенном для курения (я курю, он — нет), — и ведем свой разговор в присутствии того самого Горбунова. О политике мы при нем высказываться бы не стали, а о Бахтине вроде бы безопасно. И вдруг Горбунов

присоединяется к нашей беседе. Попыхивая сигаретой, с веселым блеском в глазах, он подает свою реплику о Бахтине:

— А все-таки ему докт[о]ра тогда не дали!

И Панов, и я — мы оба немеем. Действительно, когда Бахтин защитил свою работу о Рабле в качестве кандидатской диссертации, было предложено тут же присвоить ему и докторскую степень, но голосов не хватило. А Горбунов об этом знал потому, что он приехал из Саранска, где некогда работал ссыльный Бахтин. И вот теперь он торжествует: сам-то до «доктора» дослужился, а прославленный Бахтин так и умер доцентом. Дома у Михаила Викторовича мы, поживаясь, будем вспоминать это жуткое «доктора не дали».

Где и на чем мы окончательно сошлись?

Пожалуй, это было на четвертом этаже, в пустом актовом зале НИИ. Сидим, забившись в середину, удаленные от всех секторов, не слышимые никем. Начинаящий филолог и критик, я довольно высокого мнения о своей профессии и не испытываю комплексов по поводу того, что сам не пишу «художественного». Делюсь с Пановым своими соображениями: наш брат не просто пишет как попало, а тщательно выбирает слова, выстраивает композицию. Художество своего рода, преодоление материала.

— Да и когда мысль свою собственную воспринимаешь и обрабатываешь как материал, — продолжает Панов, — это тоже художественное занятие.

Точно. Еще Шкловский говорил: «Мысль в литературном произведении или такой же материал, как производительная и звуковая сторона морфемы, или инородное тело». Не пресловутое «содержание», а именно материал. В общем, Шкловский обозначил закон литературной природы, но эту его аксиому сочли теоремой и объехали как наследие «формализма». Между тем представление о мысли как материале бессознательно присуще всем настоящим писателям. Только они, как правило, не рефлектируют по этому поводу, поскольку диссертаций им писать не нужно.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Бахтин, кстати, хоть и спорил с формалистами, но тоже к абстрактной мысли относился как к материалу. Вообще, сейчас видно, что между формалистами и Бахтиным больше сходства, чем различия. Они в равной мере противостояли литературоведам, лишенным творческого начала. Важно само чувственное представление о материале, и неважно, чему он противопоставляется — «приему» или «эстетическому объекту».

Панов антитезу «материал — форма» понимал-чувствовал и как ученый, и как художник.

### ТВОРЦЫ И САПОЖНИКИ

Вот опять кто-то блещет элоквенцией с институтской трибуны. Звучит входящий в моду эпитет «творческий» («творческий подход», «творческое решение») — несколько гиперболический по отношению к учебно-методическим разработкам. Вполголоса делюсь с Пановым своими ироническими соображениями. Он отвечает:

— Да, одно дело, когда говорят о первооткрывателях, и совсем другое — когда речь идет о каких-то делопроизводителях от науки.

Делопроизводители от науки... Это речевой стиль Панова — ответ всегда точный, в десятку. И в ответной его фразе непременно есть главный герой — неожиданное, острающее слово или словосочетание. Оно делает мысль образной и выводит на более высокий, философический уровень — так что контекст вопроса часто остается где-то этажом ниже.

В современной гуманитарной науке (про другие науки говорить не берусь) утвердился в постсоветское время некий не вполне разумный эгалитаризм. Проще говоря, уравниловка. Нет младших ученых, все старшие. Все пишут толстые монографии, все делают похожие друг на друга доклады на конференциях — масштабность тематики бывает одинаковой у академика и аспиранта.

Хор, состоящий из кандидатов в солисты. Кордебалет из танцовщиц, претендующих на то, чтобы выйти в примы. Больница, где есть только врачи-специалисты и совсем нет медсестер. Не абсурд ли?

Может быть, некоторая иерархичность в организации научного производства необходима и неизбежна? Лидеры определяют стратегию — это дело действительно творческое. А дело-производители обрабатывают свой конкретный сегмент, копают доверенный им небольшой участок. Добросовестно, тщательно, без лишней самодеятельности. И надо ли всем защищать докторские диссертации? Слишком легко стало это делать. («Все защищаются — никто не нападает», как съязвил однажды Шкловский.) Видишь иную докторскую тему и думаешь: она и для кандидатской степени маловата. Типичный делопроизводитель писал.

Панов свои учебники и учебные пособия для национальных школ готовил безупречно. Перфекционист. А другие... Когда об уровне большинства коллег по НИИ речь шла в домашней обстановке, он говорил:

— Холодные сапожники — было раньше такое выражение. Они звезд с неба не хватают, делают отнюдь не модельную обувь. Но носить их сапоги можно.

Да, думаю сейчас, выражение устарело, а явление — отнюдь нет. Холодных сапожников в нашей стране — переизбыток. Они производят российскую обувь и российский сыр, снимают отечественные кинофильмы. Пишут нечитабельные книги и нудно-ненужные статьи. И называют свою работу творческой.

Но были в том НИИ и люди достойные, хотя и не слишком титулованные. Сотрудник с красивыми, добрыми и грустными глазами по имени Дмитрий Петрович Корж проходил по коридору. Ничего я о нем не знал бы, если бы на стене того же коридора в институтской стенгазете не прочитал заметку о том, как много сделал этот человек для северных народов. А автор заметки — не кто иной, как Панов. Он и устно подтвердил написанное: «Коржика очень люблю».

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

### ОТКРЫТОЕ ШОССЕ

Довольно скоро Михаил Викторович приглашает нас с Ольгой Новиковой к себе домой и после этого всегда зовет нас вдвоем. Обитает он на Открытом шоссе, в районе, именуемом Метрогородок. «Человек, который всегда говорит только то, что думает. И не живет в соревновательном мире» — слова Ольги после первой встречи.

Свидания становятся регулярными. Поднимаемся лифтом на пятый ярус девятиэтажной башни (да, так называли одно-подъездные блочные дома). Обыденное забыто, оставлено внизу. Отсюда мы вернемся немножко другими, озадаченными парой-тройкой пановских парадоксов. А сейчас продолжится восхождение — с того места, на котором беседа остановилась в прошлый раз.

На кнопку звонка нажимаем не сразу, а дождавшись, когда за дверью по радио начнет пикать точное время. Наш трюк — прийти аккуратно в назначенный срок. С точностью до секунды.

— Англичане, англичане... — довольно комментирует Михаил Викторович.

Он в черном костюме и белой рубашке. Только что побритый: над верхней губой иной раз можно увидеть кровавую точку. Порой она заклеена крошечным кусочком газетной бумаги.

Помогает снять пальто. Проходим из малюсенькой прихожей в комнату, садимся за квадратный стол (он и обеденный, и гостевой, и письменный — всякий) и начинаем поиски истины. Типичный русский разговор. На столе только чай и сласти. Алкоголь исключен. Однажды в нашем присутствии нечаянная гостья, почтенная лингвистка, принесет коробку с миниатюрными коньячными бутылочками — приключится конфуз. «Этого не надо», — строго скажет Панов, и бутылочки уедут восвояси.

Повестки дня нет, скачем с темы на тему. Но стержень, вертикаль, доминанта все-таки имеется. Это эстетическая рефлексия. Выстраиваем свой гамбургский счет русской словесности. Мы для Панова — окно в современную литературную жизнь.



Ольга работает в «Худлите», где сдружается с Кавериним и Катаевым, с Екатериной Васильевной и Никитой Николаевичем Заболоцкими, даже с непримиримой Марией Илларионовной Твардовской находит общий язык. Я, покинув НИИ нацшкол, служу в «Литературном обозрении» и держу свою нервную руку на пульсе литпроцесса. Оба начинаем писать критику. А Панов — литератор по крови, хоть и скрыто его писательское сердце под мундиром ученого-языковеда...

Пока мы живем неподалеку, на Большой Черкизовской, Панов тоже нередко бывает у нас. Пересекается с нашими родными и друзьями, иных из них мы приводим к нему — договорившись о том заранее. Панов всегда не прочь пообщаться с людьми из разных профессиональных сфер, с другими интересами. Вот у нас заходит речь об Олеге Басилашвили, блещущем на сцене БДТ и в кинофильмах. Панову же его имя известно пока лишь потому, что это сын его коллеги — лингвистки И. С. Ильинской. И он от души радуется, что у Ирины Сергеевны такой высокоталантливый сын.

В момент самых первых наших встреч Михаилу Викторовичу было 56 лет, нам же, соответственно, 28 и 25. Общение с Пановым имело огромное значение для становления самосознания, для литературной работы нас обоих. Были ли это отношения учителя и учеников? Пожалуй, нет, если следовать критерию самого Панова: для признания таких отношений реальными необходимо подтверждение с обеих сторон. То есть некто считает кого-то учителем, а тот его признает своим учеником. Панов не учил, а вел разговор на равных, испытывая органичную потребность в точках зрения, не тождественных его собственной.

Это очень дисциплинировало, не позволяло расслабиться, ляпнуть что-нибудь безответственное «под настроение» или пуститься в долгий рассказ о ерунде. На благоглупости, изрекаемые кем бы то ни было, Панов реагировал отнюдь не «педагогично» — мгновенным выпадом, корректным по форме, но суровым по содержанию. Он бывал и жёсток, и жесток. Полагаю, что эта бескомпромиссность во многом обусловила драматизм,

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

даже трагизм профессиональной судьбы Панова как научного лидера: не прощает человек сказанной о нем беспощадной правды и мстит за нее всю жизнь. А вот для равноправной дружбы между старшим и младшими такая «коррекция» со стороны старшего на первых порах очень даже полезна: он, как скульптор, как Пигмалион, отсекает резцом лишнее и случайное от статуи избранного им, симпатичного ему собеседника, и с такой Галатеей ему же самому потом приятнее общаться.

В наших отношениях с Пановым всегда сохранялась какая-то дистанция, эстетически важная и необходимая для обеих сторон. С самого начала он обращался к нам по именам-отчествам, и такая форма сохранялась до конца. На «вы» обращался Михаил Викторович к нашей дочери Лизе, которая, начиная с четырехлетнего возраста, была участницей множества встреч с Пановым. Доброжелательно отзываясь на наши первые научные и литературные опыты, Панов всегда выделял в них индивидуальное начало и одобрением своим не утешал, не успокаивал, а нащупывал вектор дальнейшего развития. Потому мы и теперь четко понимаем, что значит жить и писать «по-пановски». Это значит совершенно по-своему, рискуя вступить в противоречие с литературным и научным «бонтоном».

### ПОИСКИ МЕТАФОРЫ: СТВОЛ ИЛИ БАШНЯ?

С кем, с чем сравнить Панова? Его душевный строй, склад мышления, основной принцип жизненного поведения... Прямоту его речей, осанки и походки...

Сам он любит метафорику растительно-древесную. Вступает в поэтическую полемику с Иоганном Вольфгангом Гёте. Запальчиво, не считаясь с авторитетом мирового классика<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> «Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum», — говорит в «Фаусте» Мефистофель. В переводах Н. Холодковского и Б. Пастернака «grau» передается словом «суха», в переводах А. Фета и В. Брюсова — словом «сера»: «Теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет» (А. Фет).

## Владимир Новиков

... Сера наука?  
Гетева, может быть, сера.  
А наука, которая впрямь наука, —  
зеленое,  
ласковое,  
зовущее дерево.  
Веет прохладой и счастьем.  
А если вокруг него солнце и дождь...  
Ну!  
Потому что: де-ре-во.  
То есть — наука.

Обратите внимание на саму мотивировку лирического высказывания. Настоящая наука для Панова-поэта не «похожа на дерево», не «подобна дереву», она дерево и есть. «Де-ре-во./То есть — наука».

И для Панова это явление природы не столько «познание», «постижение», «служение», сколько наслаждение. Наука сама по себе счастье, а не путь к счастью, не средство его достижения.

Древесные сравнения применял Панов и для характеристики ученых, их типологии:

— Бывают ученые, которые растут как ствол. Все, что они делают, решает одну большую задачу. А бывают — как куча хвороста. Могут заниматься тем, а могут этим. И притом талантливо.

В качестве примера «кучи хвороста» он приводил одного блестящего и авторитетного филолога. Не видел Панов в его разнообразных свершениях единой идеи. Может быть, был к нему несправедлив, поэтому громкое имя оглашать не стану. *Nomina*, как говорится, *sunt odiosa*. Тут сама типология важнее любых конкретных примеров. Кто из нас ствол, а кто хворост?

Панов не без основания ощущал себя «стволом». Такая самоидентификация читается в его высказывании. Но ствол растет стихийно, а Панов свой мир выстраивал осознанно. И я вижу его научно-художественную систему как большое вертикальное здание.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Хотелось мне даже назвать эту повесть «Башня Панова» — по аналогии с башней Татлина, иначе именуемой памятником III Интернационалу. Этот головокружительный проект, как известно, не был осуществлен, но его идея живет в мировой культуре. Мы всматриваемся в макеты татлинской башни в Третьяковской галерее, в музеях Парижа, Стокгольма, Оксфорда. Читаем ее смысл.

Панов любил авангардное зодчество и часто оперировал архитектурными категориями. Язык он уподоблял многоэтажному зданию, в поэзии видел расположенные вертикально звуковой, словесный и образный ярусы. По сути он выстроил собственную модель мироздания, в которой отпечаталась его человеческая индивидуальность. Но слово «башня», что называется, не срослось с именем Панова: оно холодновато. Будем его иметь в виду как пароль для вхождения в мир Панова, для подъема с этажа на этаж, а его самого оставим в именительном падеже.

### СТРОИТЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ

Бывает, когда собираешь друзей вместе, получается каша, а сам ты оказываешься лишним. Панов же умеет соединять людей так, чтобы не получалась каша. И в работе, и в неформальном общении.

Уже после нескольких встреч втроем мы поняли, что самый близкий ему человек — Елена Андреевна Земская. Панов то и дело ее упоминает, причем не только в контексте научно-культурном. Чередует полное произношение имени-отчества со слегка модифицированным — «Лена Андревна». Легкий шагжок в сторону интимности.

— Лене Андревне сказали, что у нее тонкая талия. А она отвечает: «Я считаю, что у каждой женщины должна быть такая талия».

Улыбается. Мы тоже, но с другой семантикой: надо же, ученая дама, доктор наук, а туда же... Сейчас прикидываю: Елене Андреевне в ту пору максимум пятьдесят лет было. Всего.

Но все-таки не так просто свести за одним столом давнюю подругу и новых юных друзей. У Панова это получается: довольно часто встречаемся вчетвером, а будут случаи, когда и в его отсутствие Елена Андреевна с дочерью Людмилой Евдокимовой и зятем Марком Гринбергом станут заглядывать к нам, а мы к ним — на Вторую Пугачевскую улицу.

Кстати, однажды сидим мы у Панова. А он в кухне на пару с Еленой Андреевной хлопчет по чайной части. Выхожу в коридор и случайно слышу, как они друг с другом разговаривают на «ты». В общем, ничего особенного, а как-то ошеломляет. При нас-то они всегда на «вы», и по именам-отчествам...

В Институте национальных школ Панов благоволит аспирантке Галине Селиверстовой, приехавшей из Кызыла, — красивой тридцатипятилетней женщине. Она гордится тем, что Панов ее отличает среди прочих, я — тем, что дружу с Пановым. Но ревности не возникает. По присутственным дням втроем ездим на троллейбусе обедать в какую-то чудовищную столовую. Пановского внимания хватает на обоих спутников. В жестких рамках сурового и невеселого института возникла маленькая неформальная группа.

А единомышленников и учеников по Институту русского языка Панов регулярно собирает у себя дома. Делаются и обсуждаются доклады, выпускается рукописный журнал «Дятел».

Пановский лингвистический кружок составляют Е. А. Земская, М. Я. Гловинская, Г. Н. Иванова-Лукьянова, Н. Е. Ильина, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина (Пауфошима), И. И. Ковтунова, Е. В. Красильникова, Л. П. Крысин, С. М. Кузьмина, Е. Н. Ширяев.

Иной раз и нашу семью подключает Панов к этой компании. В споры о фонологии не вторгаемся, но обложки для «Дятла» цветными карандашами вместе со всеми разрисовываем. Сближает такой ритуал — эмоционально, человечески.

Одно пановское собрание было посвящено чтению недавно обнаруженных писем А. А. Реформатского к ленинградскому лингвисту А. А. Холодовичу (оба к тому моменту ушли из

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

жизни). Леонид Леонидович Касаткин спрашивает: зачитывать с купюрами или без купюр? Без купюр — решительно требуют дамы, составляющие большинство. Что ж, быть по сему... Ну и крут же оказывается легендарный Реформатский! Дурных ученых и скверных аспиранток характеризует конструкциями не менее чем трехэтажными. Меня же тогда, помнится, поразил не столько крутой мат, сколько нежный эпитет, примененный классиком языкознания к хорошим аспиранткам, — «розово-рудые»...

Да, вспомнилось еще, что это был первый наш приход к Панову после смерти моего отца. Сажу за столом. Михаил Викторович, оказавшись в какой-то момент у меня за спиной, на секунду кладет руки мне на плечи...

Еще одна научная общность, выстроенная на наших глазах Пановым, — авторский коллектив «Энциклопедического словаря юного филолога (языкознание)», вышедшего в 1984 году. Панов здесь не просто составитель, он — режиссер книги, даже, я сказал бы, дирижер научного оркестра.

Очень тонко разделил материал между «первыми скрипками». Например, статьи «Фонема» и «Позиционные чередования» поручил Л. Л. Касаткину, а не себе. Чтобы пановский пафос прозвучал голосом единомышленника. В то же время ряд принципиальных пунктов («Синхрония и диахрония», «Парадигма и синтагма») прописал собственноручно. Помимо авторов из своего ближнего круга привлек и научных «грандов»: Ю. Д. Апресяна, В. А. Звегинцева, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова.

С нами Панов обстоятельно обсуждал, как сделать блок статей о языке писателей-классиков. Что если попросить написать об этом поэтов?

Энергично поддерживаем этот замысел и начинаем предлагать «исполнителей». На роль Пушкина больше всего подходит классичный Давид Самойлов, а кто сегодня соответствует Лермонтову? Наверное, Юнна Мориц. Редактор звонит поэтессе,

та поначалу соглашается, а потом отказывается — действительно, характер у нее по-лермонтовски сложный. В общем, реально только одним Самойловым и ограничилось дело. Он написал живо и в соответствии с общепринятым представлением о Пушкине как создателе русского литературного языка. Панов считал это традиционной гиперболой, однако никоим образом вмешиваться в текст не стал: Самойлов имеет право на собственную точку зрения, пусть и чересчур каноничную.

О языке остальных классиков написали в основном авторитетные литературоведы: о Лермонтове — М. М. Гиршман, о Чехове — А. П. Чудаков, о Блоке — Э. Г. Минц и так далее. О языке Достоевского Панов неожиданно предложил написать мне. Писатель, конечно, любимый, я четыре года занимался им в семинаре профессора Г. Н. Поспелова и защитил дипломную работу об «Идиоте». Но написать для детского читателя о гениально-фантастическом языке Достоевского — задача непростая: ведь даже многие взрослые читатели, в том числе филологи, считают этот язык «плохим». На что опереться? Любимый наш Шкловский о Достоевском написал самую свою неудачную книгу. Говорю, что тут реальный первооткрыватель — Бахтин с его концепцией «двуголосого» слова. И Панов, несмотря на свои методологические вкусы, соглашается.

После разговора с Пановым статья написана легко и стремительно. А он тут же: теперь прошу приняться за Льва. Здесь уж, конечно, пригодилась концепция «остранения» Шкловского. И опять-таки сверхзадача была — показать, что язык Толстого со всеми его громоздкими синтаксическими конструкциями эстетически прекрасен. Оказаться в роли увлеченного исследователя между двумя такими «медведицами пера», причем диаметрально противоположными, — явная удача. До сих пор отношу эти две, казалось бы, прикладные энциклопедические заметки к «основному корпусу» своих научных работ. Они оказались переизданными, когда через пять лет после кончины Панова его словарь вышел новым, дополненным изданием. Михаил Викторович наметил план, расширил словник (многие

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

новые статьи были написаны А. В. Алпатовым). Подготовку издания завершили Е. А. Земская и Л. П. Крысин. Оно получило название «Словарь юного лингвиста». Среди обновлений статья, которую доверили написать мне, — «Панов М. В. Язык его произведений».

Подробно так рассказываю, потому что это был едва ли не единственный в моей жизни случай научной работы «под руководством». Впрочем, руководством настолько тактичным и тонким, что я его не сразу заметил. Моя научная биография сложилась так, что я почти не работал «в команде», писал индивидуальные книги, причем не в академическом, а в литературном формате. Выпускал их в литературных издательствах, печатался в России, в основном в толстых журналах. И думал, что таким способом «от дедушки ушел и от бабушки ушел», избежал тягот «прохождения» и «утверждения», недоброжелательных обсуждений и нелепых придилок.

Но, оказывается, руководство может быть плодотворным и конструктивным. Актер лучше играет, когда ему помогает режиссер. И в науке тоже могут быть режиссеры. Это наводит на грустные мысли о том, чего лишилась академическая филология в 1971 году.

## СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Строить альтернативную историю своего отечества — любимое занятие российского интеллигента. Сравнительно недавно оно оформилось в литературный жанр, и «альтернативки» вслед за аксеновским «Островом Крымом» стали расти как грибы: что было бы, если бы Пушкин на дуэли убил Дантеса, Ленин не умер бы в 1924 году, а Косыгин одолел бы Брежнева и т. п.

Раньше такие гипотезы в целые книги не разворачивали — просто занимались этим как риторическим упражнением в дружеской беседе. Не чужд подобного занятия был и Панов. В своем дневнике нахожу, к примеру, такую запись после нашего очередного к нему визита:



«О возможных вариантах истории. Если бы воспитателем Александра II был не Жуковский, а Белинский, тогда бы освобождение крестьян было полным, и все пошло бы иначе».

Наверное, так оно и есть. То есть так оно и могло быть. Но вот уже сорок лет меня занимает более узкий и конкретный вопрос: что было бы, если в 1971 году Панов не ушел бы из Института русского языка, а продолжал там работать? Вынесем одиозного директора Филина за скобки и прикинем идеальный вариант развития событий.

Сектор современного русского языка в институте — ключевой. Для ученого, стоявшего в его главе, была прямая дорога в члены-корреспонденты АН, а потом и в академики. Следующая ступень — директорство в институте, а еще лучше должность академика-секретаря ОЛЯ, то есть Отделения литературы и языка. На этом посту обычно восседали администраторы, и соединение литературы с языком было чисто формальным. Скажем, упоминавшийся выше Храпченко, сменив В. В. Виноградова, двадцать лет просидел там, до самой смерти в 1986 году. А спущен он был некогда в Академию с поста председателя комитета по делам литературы и искусства, то есть из сталинских еще министерств.

Представим, что Панов приходит на такую должность и относится к этому ОЛЯ не как к бюрократическому симулякру, не как к некоему подпоручику Кижке, а как к необходимому единству филологии, как к тому союзу литературоведения и языкознания, который проектировали Тынников с Якобсоном. ОЛЯ становится не бедной родственницей в ряду более важных наук, а наследницей ОПОЯЗа, средоточием современной гуманитарной мысли.

ИМЛИ и ИРЛИ выйдут из полусонного состояния идеологической придавленности и концептуальной робости, повернутся лицом к Слову, к исследованию художественной формы. А языковедам, в свою очередь, стыдно станет не интересоваться художественной литературой, в том числе современной.

Да и вообще это бюрократическое разделение на «литературоведов» и «лингвистов» будет отброшено. И литературу,

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

и язык станут исследовать полноценные *филологи*. Такие как Тынянов с Якобсоном. Как Панов.

Академическая филология станет «с веком наравне» и в то же время возродит те благородные традиции, которые были свойственны именно российской науке. Это прежде всего уважение к научной школе как таковой. Не многократные переименования одних и тех же понятий, переодевание их в новомодную терминологию, но реальное развитие того, что было однажды открыто.

Вспоминаю, как Панов заботился о том, чтобы в 1995 году было отмечено столетие фортунатовской лингвистической школы. С какой любовью говорил всегда о своих учителях: Сухотине, Сидорове, Реформатском, Аванесове! Как дорожил удавшимися учениками. Такому ощущению реальной научной преемственности и человеческой близости людей разных поколений литературный волк-одиночка может только позавидовать...

Панов был абсолютно далек от идеи национальной исключительности, поэтому на его примере можно говорить о позитивном своеобразии русской гуманитарной мысли — открытой навстречу миру, но в то же время не теряющей своеобразие. Панову в высшей степени присущи русская широта и проективность, и в то же время он был свободен от нашей расейской (никуда не деться) непоследовательности и безответственности.

Но не реализовался пановский шанс в истории российской филологии. Полагаю, нечто сходное произошло во многих сферах, включая экономическую и политическую.

Переходя к обобщениям, вижу какую-то роковую связь негативных и, боюсь, необратимых процессов в истории нашего отечества в мировом масштабе.

Россия беззаботно и безответственно теряет таких своих людей, как Панов. Мир же теряет свою Россию как необходимую краску общечеловеческого духовного спектра (та же изруганная «интеллигентность», что ни говори, сугубо российский феномен, и есть европейцы, его любящие и ценящие).

Убытки, какие страшные убытки, как говорил Чехов. И это уже наклонение изъяснительное.

## ТРИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Панов — сладкоежка. Любит конфеты, пирожные, тортики. И неизменно угощает ими всех, кто к нему приходит: друзей, коллег, студентов. Напомню, что доброкачественные кондитерские изделия в советское время принадлежали к дефициту: их не просто покупать, а «доставать» надо было. Что подчеркивает щедрость хозяина.

Но это все же десерт, к тому же небезвредный для талии, а в основном Панов питается очень правильно. Три основных источника у него: книжность, юность и женственность. Каждый заслуживает особенного разговора.

## КНИЖНОСТЬ

Библиофилом себя Панов не считал: «Я скорее текстофил». Действительно, у него дома водилось много машинописи с неподцензурными текстами. Была своя постоянная машинистка, которая перепечатывала ему самиздат и тамиздат на особенной бумаге, меньше формата А4, листы почти квадратной формы, текст — с двух сторон. Положив на стол, можно было переключать и читать как книгу. Печаталось под копирку, и нередко мы получали от Панова в подарок копии — «Остановки в пустыне» Бродского, например. (Самостоятельную машинопись он потом освоит, до покупки компьютера, однако, дело не дойдет.) Сами в ответ приносили, скажем, полученную от Никиты Заболоцкого машинопись тогда еще не опубликованного текста его отца «История моего заключения». Приносили ему почитать и переплетенные ксероксы, сделанные с ардисовских изданий Набокова.

«Лолита», однако, показалась ему чересчур экстремальной по материалу: «Метафоры великолепные, я целую тетрадку ими исписал, но сюжет слишком шокирующий». Впрочем, Панов не раз говорил, что у каждого читателя есть неизбежный «поколенческий» предел в восприятии новой и смелой литературы.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

В целом же он всегда был расположен к самому бесшабашному новаторству.

Как «текстофил» Панов в юные годы переписал в тетрадки в Ленинской библиотеке всю Ахматову и всю Цветаеву: не надеялся, что их когда-нибудь переиздадут. Но и книг собрал немало: к началу войны у него была уже собственная библиотека, отдельная от родительской. Ее постигла трагическая участь.

«Когда в сорок первом году я уезжал в армию, <...> я сказал маме: «Берегите мою библиотеку». А когда вернулся в сорок шестом, мама мне сказала: «Мишенька, прости, продали и свою библиотеку, и твою. <...> Очень голодно было». И я подумал: «Спасибо моим книжкам, мои папа и мама не умерли с голоду».

Постепенно Панов восстанавливает свою юношескую библиотеку и пополняет ее бесценными раритетами. Уже после смерти отца, когда Михаил Викторович работает учителем в школе и живет вдвоем с мамой, происходит история, о которой он рассказывает дважды (возвращается к ней в беседе от 27 февраля 2001 года, помещенной в мемориальном сборнике «Жизнь языка» 2007 года). Привожу первый, авторизованный вариант:

«Я еще хочу два словечка, как мы с мамой покупали Хлебникова. Увидел вдруг на Сретенке: продают пятитомник Хлебникова. Страшная редкость. Я уже тогда понимал, что это редкость. Прихожу к маме. Говорю: «Мама, Хлебникова продают за сто рублей». Ну, она сразу поняла и говорит: «Ничего, Мишенька! Покупай. <...> В течение месяца мы голодать не будем. Еда будет очень простая и однообразная, но мы сэкономим». И она выделила мне из общего семейного бюджета сто рублей. И я попросил ее билетик надписать и вклеил его на титульный... в начале книжки. Что это ее подарок».

Да, для обозначения такого чувства слово «библиофильство» мелковато... Тут нет границы между книгой и жизнью. Панов живет в «двушке» со смежными комнатами — с мамой, а к моменту знакомства с нами — уже один. Нельзя сказать, что книги заполняют все пространство — они расширяют его. Не лежат как камни, а летают как птицы: они то и дело снимаются с посто-

янного места, пересаживаются на стол, наполняются закладками и карандашными пометками на полях. Они живые — мертвых здесь не держат.

Обычно в начале встречи Панов показывает новинки, купленные в магазинах или у букинистов. Книги новые и дефицитные реально можно было приобрести на Кузнецком мосту у чернорыночных торговцев. Самому Панову туда ходить было неловко, и его выручал «книгоноша», как он сам его называл. Это был Владимир Семенович Фаевцев, человек с инженерно-техническим образованием и большой любовью к поэзии. «Вкус у него гораздо лучше моего», — говаривал Панов и однажды свел нас у себя за столом.

При всем том Панов не «книжник», не коллекционер раритетов. Он не стремится обладать той или иной книгой лишь для полноты домашнего собрания. Мечтает приобрести только то, что очень любит. Считает, что книга должна жить у того, кому она больше нужна для работы. По этой причине дарит нам приобретенные им ценнейшие книги: тыняновскую пародийную антологию «Мнимая поэзия» и «Парнас дыбом», вышедший в Харькове в 1927 году (второе издание). «Парнас» ветх, Михаил Викторович одел его в самодельную суперобложку из плотной бумаги. Сзади на обложке — штамп букинистического магазина и регистрационный номер 1978 года. Над ним, конечно, значилась написанная шариковой ручкой цена, но она аккуратно соскоблена бритвочкой — будто там ничего и не было.

Для полноты картины надо добавить, что в почтовый ящик Панова прибывали по подписке все значимые литературные журналы и множество газет, которые тут же попадали на «операционный стол», становясь вырезками с подчеркнутыми в них словами и фразами.

Плюс регулярное посещение Ленинской библиотеки. Многие коллеги, бывавшие там еще в двадцатом столетии, вспоминают теперь, что видели Панова именно там. У каталогов, в очереди на ксерокс или же в столовой, где он ужинал, просидев в читальном зале несколько часов.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

А в завершение разговора о книжности — устный рассказ Панова. Он с давних пор звучал в застольных беседах, а в 2001 году был записан на магнитофон. Хочется дать его без комментариев.

«Теперь о радостном... Позвали меня на райком исключать... но мне совершенно очевидно, что явно стараться остаться в партии мне не следует. Пришел, а это был день выдачи зарплаты. Я уже уходил из института, это была одна из последних моих зарплат в институте. Пришел и получил зарплату — какие-то деньги, сравнительно, там... не очень маленькие. Осталось мне два часа до райкома — куда деваться? И я пошел на Арбат. На Арбате, за Театром Вахтангова есть букинистический магазин. Я очень люблю Андрея Белого, и у меня есть такие редкостные книги, как «Символизм», у меня есть вторая книга его, критические статьи, это «Луг зеленый» (очень нехорошо он назвал, потому что лук зеленый — это в отличие от репчатого, а это «Луг зеленый»), но у меня не было книжки «Арабески», вот такая толстенная книга; третья книга его — а у меня ее нет. Пошел я с деньгами в букинистический магазин на Арбате. Боже мой! «Арабески».

Денег хватило, я купил, в портфель спрятал и на крыльях помчался в райком исключаться из партии.

И все время, когда они меня... да со мной там недолго разговаривали, вообще, все уже поняли, что это дело хорошо, когда оно коротко, но все время я слушал — что-то они там... а слух у меня был лучше, так что я кое-что и слышал, — они там меня поносят, а я думаю: «А у меня «Арабески»».

## ЮНОСТЬ

Есть люди, которым нравится общаться с такими же, как они сами. Подбирают друзей так, чтобы они были того же пола, того же возраста, той же профессии и национальности, тех же политических взглядов и эстетических вкусов.

Не таков Панов. Он контраст ценит больше, чем сходство. И в искусстве, и в жизни. Органически нуждается в общении с теми, кто моложе.

Вот фрагмент беседы 1998 года. Л. Б. Парубченко сообщает Михаилу Викторовичу: «Несколько раз студенты, которым я давала слушать ваши лекции, мне говорили: как он заботится о том, чтобы поняли, чтобы студенты поняли! А второе — они знаете еще чем потрясены? Они были потрясены тем, что Панов любит студентов».

Панов с безыскусной простотой отвечает: «Честно вам скажу: люблю! Вот ко мне ходят студенты Православного университета. После того как они у меня несколько часов пробыли, я чувствую себя помолодевшим. На самом деле. И сил прибавляется, и, в общем, жизнь все-таки неплохая: если были сомнения, то они исчезли».

Это говорит не какой-нибудь благодетельный старичок с умильно слезящимися глазами, а человек требовательный к себе и другим, довольно беспощадный по отношению к глупости и пошлости. А молодые люди ведь умеют не только радовать. Молодой — это тот, кто собой интересуется больше, чем остальным миром. В этом, если угодно, неизбежная банальность юности. Оглядываясь на себя времен первой встречи с Пановым и думаю: сомневаюсь, что я теперешний пожелал бы сдружиться с тем молодым человеком середины семидесятых годов — слишком он заиклен на своих интересах, хаотичен, может ляпнуть такое, что хоть святых выноси. Но Панов умеет каждого вернуть к себе небанальной, лично ему чем-то интересной стороной.

Юность ветрена, безответственна, часто неблагодарна. Вот Панов рассказывает про дипломницу, руководя которой «раз двадцать» с ней встречался: «Она писала на тему: «Переводы Катулла в русской поэзии». И даже не пришла и не сказала «спасибо» после защиты. Да. Ну, и я решил ей отомстить — фамилию ее забыл».

Философски смотрит Панов на проблему «отцов и детей». Историю термина «фонема» подает как заправский романист. Бодуэн де Куртэнэ первым придумал это слово, а его ученик Крушевский первым использовал термин в печати, не сославшись на настоящего автора. «Крушевский был талантлив,

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

а Бодуэн был гениален». И грустно резюмирует: «... Вообще к ученикам учителя относятся с симпатией, потому что у них нет другого выхода».

В целом же встречи с юностью у него были счастливыми. А любовь — взаимной. Огромная переполненная аудитория в МГУ. Переполненные чувствами души слушателей. Это не толпа с ее стадным восторгом, а ансамбль формирующихся личностей.

О значении Панова-педагога в своей судьбе устно и письменно высказались известные литераторы и филологи: Наталия Азарова, Николай Александров, Николай Богомолов, Алексей Варламов, Ольга Северская, Ольга Седакова, Ирина Сураат, Наталья Фатеева... А сколько разновозрастных вольнослушателей! Однажды по рядам был пущен листок для самозаписи. Панов не без удовольствия сообщил, что там обнаружился «Лев Аннинский, выпускник 1956 года». С этим критиком он часто не соглашался, но ценил его за то, что тот пишет «не статьи, а эссе».

Уверен, что есть еще немало читателей, которые готовы вписать свои имена в этот перечень.

## ЖЕНСТВЕННОСТЬ

В НИИ национальных школ каждый сотрудник должен был два раза в год съездить в один из филиалов в какой-нибудь автономной республике. Ездили обычно парами, и я заметил, что критерием отбора для Панова была степень женственности напарницы.

Рассказываю об этом на мемориальной встрече в Институте русского языка в 2002 году. Елена Андреевна Земская согласно кивает и лишь уточняет, что это важное для него слово Панов произносил на старомосковский манер как *женьстьвенность* (все зубные перед последующими мягкими звуками получают позиционную мягкость).

В любовании женственностью у Панова не было ничего подпольно-затаенного, самолюбиво-амбициозного и уж тем более



фатовского. Это был для него неиссякаемый источник радости. О возможном коварстве и inferнальности женщин, о жадности и вероломстве многих из них он словно и не ведал. Наверное, свое светло-восхищенное отношение к матери он перенес на всю лучшую половину человечества. Конечно, он мог осуждать и высмеивать каких-то особ женского пола за глупость, грубость, корыстолюбие, но это никак не переходило в «сексизм». Слова «баба» по отношению к кому бы то ни было мы от него, пожалуй, не слышали ни разу.

На себя как на поклонника женственности Панов умел посмотреть со стороны и даже пошутить на эту тему. С большой самоиронией он рассказывал о том, как его во время войны принимали в партию. Вызывает замполит: «Панов, мы тебя принимаем в партию. Одну рекомендацию тебе дает партийная организация, другую даю тебе я, а за третьей придется в штаб, когда стемнеет, и получишь от командира дивизиона».

А что же младший лейтенант Панов? Он радуется тому, что в штабе увидит женские лица. «Парню, которому двадцать, что ли, там было, не видеть месяцами женское лицо... все вокруг бородачи, бородачи да и усачи, и я думаю: «Погляжу-у! какие они бывают».

А кончается тем, что полковник приказывает машинистке Мане «отстукать» рекомендацию. И та, сидя к младшему лейтенанту спиной, выполняет приказ. «Даже не повернулась ко мне, я ее не видел».

И в то же время о женщинах он порой говорил с такой серьезностью и с таким сопереживанием, какого ни от кого более слышать не доводилось:

— Я часто думал вот о чем. После войны столько женщин остались одни, без мужчин... А что бы нашей власти взять да и выписать в страну сколько-нибудь тысяч работников из Южной Америки. Они бы и сельское хозяйство подняли, и женщины в одиночестве не оставались.

Вот такой кругозор у Панова...

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Женственность и чувство собственного достоинства были в его сознании тесно связаны. «Человеческое достоинство, для многих непереносимое» — так Панов в своих лекциях характеризует лирическую героиню Ахматовой. Эту связь он видел и в реальной жизни.

Во время процесса Синявского и Даниэля общественность филологического факультета МГУ выступила с гневным письмом в осуждение Синявского, преподававшего там в то время. Тех же, кто письма не подписал, прорабатывали на собрании. Дружившую с Андреем Донатовичем преподавательницу языкознания, красивую сорокалетнюю женщину, бестактно допрашивали: «Вы были любовницей Синявского?»

И она, рассказывает Панов (знающий эту историю со слов очевидцев), гордо ответила: «Нет, и очень жалею об этом».

Панов произносит эту немудреную фразу, восхищенно сияя и как бы перевоплощаясь в героиню устной новеллы. Не на место Синявского он себя мысленно ставит (что было бы естественно), а на место его отважной приятельницы. Ни малейшей примеси зависти или ревности.

Вполне гармонично складывались у Панова отношения с супружескими четами (не хочется говорить по-нынешнему: «парами»). У него не было отдельных тем для бесед с каждым из супругов. Нет, единый и полноценный разговор идет и с ней, и с ним, и с ними обоими. Таким образом он получал тройную дозу энергии: от нее, от него и от того, что существует между ними. И, естественно, отвечал таким же интенсивным душевным излучением.

Да простится мне вольная параллель, но любимый Пановым Андрей Белый примерно к этому стремился в отношениях с супругами Блоками, но пошел по ошибочному пути любовной интрижки с Любовью Дмитриевной и в результате потерял обоих друзей.

Умеющий дружить и с мужчиной, и с женщиной — это дважды человек, дважды личность. Таков Панов.

## О СМЕХЕ И ОСТРОУМИИ

Панов разграничивает понятия «остроумие» и «балагурство». Остроумие доступно немногим, и притом талантливым людям, а балагурство — всем.

Говоря это, он отнюдь не осуждает балагурство, считая его необходимой формой человеческого контакта. Сам к нему постоянно прибегает. Пановское балагурство близко к английскому абсурдному юмору: шутки, как правило, ирреальны и ни в коем случае не обидны для собеседников.

Что же касается пановского остроумия, то это именно остроумия ума. Как правило, на смеховую реакцию оно не рассчитано. Комизм облегчает восприятие новой мысли, по сути своей серьезной. И в устную, и в письменную речь Панова юмор входит неожиданно, без предупреждения.

Читаешь серьезнейшую книгу «Позиционная морфология русского языка». Доходишь до очередного параграфа и...

«§ 6. Рассмотрим суффикс — *тель*. *Писатель* — тот, кто профессионально пишет художественные произведения. (Тот, кто пишет дилетантские, непечатаемые повести, — графоман, а не писатель.)

*Читатель* — тот, кто читает художественные, научные, публицистические произведения. (Тот, кто читает только вывески, не читатель.)

*Приобретатель* — тот, кто приобретает материальные ценности. (Тот, кто посещает музеи, приобретая художественный вкус, — не приобретатель.)

*Мыслитель* — тот, кто плодотворно мыслит. (Сысоич, который все время мыслит, где бы выпить, — не мыслитель.)

*Потребитель* — тот, кто потребляет продукты чьей-либо хозяйственной или творческой деятельности. (Медведь, самовольно потребляющий мед лесных пчел, — не потребитель.)

*Ухаживатель* — тот, кто ухаживает за женщинами. (Тот, кто ухаживает за овощами на огороде, — не ухаживатель.)

*Покупатель* — тот, кто покупает.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

*Укрыватель* — тот, кто умышленно скрывает преступника. (Тот, кто обычно на ночь укрывает ребенка одеялом, не должен по этой причине называться укрывателем.)

*Гонитель* — тот, кто гонит (подвергает гонениям) нечто общественно ценное. (Тот, кто гонит чужих коз из огорода, не может по этой одной только причине называться гонителем.)

Все слова представляют собой один словообразовательный тип. А толкования очень различны...»

После чего восприятие различий между словами с этим суффиксом воспринимается легче.

Игровым остроумием пронизана вся педагогика Панова. Откройте экспериментальный учебник русского языка под редакцией М. В. Панова (среди авторов — его единомышленники и ученики И. С. Ильинская, Л. Н. Булатова, Е. В. Красильникова, С. М. Кузьмина, Т. А. Рочко, Е. Н. Ширяев). Вы тут же встретитесь с умной Настей Кувшинчиковой и туповатым Вовой Бутузовым, которые помогают прояснить любую проблему, разыграв ее в лицах.

Есть и взрослый персонаж — Иван Семенович Полушпенный, в диалоге с которым строится, например, книга «Занимательная орфография». Полушпенный — это человек полу-грамотный, полу-культурный. Тип бессмертный, он активно действует сегодня в социальных сетях, оперируя аргументами типа «Это не по-русски», «Я консерватор, никогда не приму такое написание, такое произношение», «Никогда такого не видел, не слышал» и т.п. В каждом из нас есть известная мера «полушпенности», то есть инерционности, догматизма, абсолютизации собственного опыта и вкуса. Стихия игры и шутки помогает сделать родной язык не сухим и жестким сводом правил и норм, а предметом живого интереса.

В процессе дружеского общения Панов постоянно играет (я бы даже сказал «играется») с языком. Все время пробует на язык какие-то лексические новинки, ненормативные написания. То выведет под новогодним поздравлением «Михал Викторыч», то в дарственной надписи на титуле книги вместо «не только ли-

тературоведы, но и языковеды» напишет «не токо литературисты, но и язышники».

Но что важно отметить — все эти игровые окказионализмы носят сугубо одноразовый характер. Не повторяться — вот закон любой речевой игры, будь то высокое остроумие или непритязательное балагурство. Шутка, повторенная дважды, уже невкусна. Потому и увял так быстро сетевой «олбанский язык», что от всех этих «афтар» и «жжот» уже начало тошнить.

Кстати, эту недолговечную игру Панов предсказал полвека назад, описав в своей книжке «А все-таки она хорошая!» наряду с нормативным городом Орфографополем жуткий Какографополь, где каждый пишет как заблагорассудится. Как знак ненормативного письма на обложке название было дано и в «какографическом» написании: «А фсе-тки она харошая». Но ошибки поправлены, неверные буквы зачеркнуты, а сверху вписаны правильные: учить дурному никого не нужно.

Неожиданное равнодушие проявил Панов по отношению к остроумию пародийному, пародическому, «интертекстуальному». На первых порах нашего знакомства я публикую в «Вопросах литературы» свою первую большую статью — о пародии. Тут же знакомлю с ней Панова, и тот в ближайший вторник (присутственный день в институте) поднимается ко мне со своего четвертого на мой пятый этаж, чтобы отозваться. Отмечает прежде всего живой язык. С присущей мне тогда возрастной ограниченностью считаю такой комплимент не слишком роскошным: это все равно что в женщине похвалить красивые глаза. Что там язык, важна концепция!

Тем не менее о пародии мы говорим немало, и Панов обнаруживает редкую осведомленность в моей узкой теме. Но начинаю замечать, что он отнюдь не влюблен в жанр, фанатиком которого я являюсь. Не одобряет, например, знаменитую пародию Александра Архангельского на Михаила Светлова:

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Да, Гейне воскликнул:  
— Товарищ Светлов!  
Не надо, не надо,  
не надо стихов!

Панов считает грубым это «не надо». Но ведь таков условно-традиционный прием пародистов, способ травестийного снижения стиля. Им пользовался еще в начале XIX века один из любимцев Панова — Сергей Никифорович Марин: «Ты престань марать бумагу...» и т.п. Но что говорит Панов?

— Все-таки я думаю, что пародия как таковая — это жанр «позапопятный».

(Тут тонкое лингвистическое балагурство, требующее объяснения. Кто-то в свое время предложил в шишковско-далевском духе такой славянский вариант для латинского в своей основе слова «регрессивный».)

Да, крыть нечем: пародия всегда смотрит на литературу из прошлого и подшучивает (пусть даже добродушно) над новаторскими «выкрутасами». Тот же Архангельский начинал как поэт эпигонского склада, и Блок его вовремя «тормознул», что послужило толчком к полному переходу Архангельского на сочинение пародий.

Пародия как жанр новых форм не создает, она по определению вторична. А Панов и сам первичен, и любит первичное. Пробую вспомнить в его устной речи хотя бы один пример цитатного остроумия, которое в семидесятые годы уже становилось доминантой филологического балагурства. Нет, ничего такого не припоминается. При том, что в память Панова загружены десятки тысяч поэтических строк.

Панов не постмодернист. Ни в малейшей степени. Он провозвестник второго пришествия авангарда. Состоится ли такое — это, конечно, вопрос.

Лично для меня — вижу теперь — общение с Пановым было одним из стимулов отталкивания от формировавшейся тогда постмодернистской культуры, поворотом к... Не знаю к чему,

но к другому. Обобщая опыт своего поколения (рожденные в середине XX века плюс-минус несколько лет), скажу: для литераторов этой эпохи постмодернизм — может быть, и неплохой старт, но очень бедный и незавидный финиш.

А пановская рефлексия на темы остроумия и смеха продолжалась до самого конца. Последняя наша встреча. В гостях у Панова Елена Андреевна Земская и нас двое. Впервые слышим мы от Михаила Викторовича, что он «устал жить». «Где мое завещание?» — спрашивает он вдруг Елену Андреевну.

Но буквально через час его настроение меняется, и он уже с удовольствием цитирует Марка Твена: «Слухи о моей смерти преувеличены». На прощание, как всегда, озадачивает «длинной», требующей долгих раздумий идеей:

— А вот мои студенты из Открытого университета спрашивают: почему это в русской литературе смех всегда такой суровый, сатирически-обличительный, связанный с социальными проблемами? Почему в ней так мало юмора добродушного, веселого, парадоксального?

Вполне допускаю, что студенты задали Панову такой вопрос. Особенно если они его прежде уже слышали из уст Михаила Викторовича на лекциях. Панов по-сократовски беззаботен насчет «интеллектуальной собственности»: щедро раздаривает мысли и, получая их «назад», искренне верит, что собеседник это сам придумал.

Как рассказывала Е. В. Красильникова, Панов мог отослать ученика к какому-нибудь документу в питерском архиве, с указанием архивного номера документа, а потом говорить или писать: такой-то обнаружил важный документ.

А один языковед-методист повадился таскать из школьного учебника Панова все подряд без ссылки. Когда Л. Б. Парубченко сообщила это Михаилу Викторовичу, он ответил: «И правильно делает. Все должны брать у всех».

Едва ли это верно юридически, но с точки зрения истины и вечности — правда.

## ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ФОНЕМЫ

Умом фонему не понять.

А без фонемы — не понять Панова. Это фундаментальная категория его мышления. На ней, может быть, держится все здание его мысли.

Что такое «фонема» — об этом даже профессора друг с другом спорят.

— Вышел школьный словарь лингвистических терминов Розенталя. Я ему письмо: «Дитмар Эльяшевич! Определение фонемы у вас неверное». Он его в следующем издании слегка изменяет. Я ему: «Опять не так». Тогда он мне: «Михаил Викторович! Напишите, пожалуйста, ваше определение». И уж в следующем издании все было в порядке.

Вот так. Можно, конечно, заучить формулировку: «Минимальная звуковая единица, которая служит для различения и отождествления значимых единиц языка (морфем и слов)». Но что толку? Если вам не нужно завтра сдавать экзамен, вы тут же ее забудете. Как это ни странно прозвучит, но адекватное усвоение понятия фонемы возможно лишь при условии духовной в нем потребности.

У нас такая возникла по ходу слушания лекций Панова об истории русской поэзии. Его мысль: эволюционное движение стиха идет снизу. Сначала перестраивается звуковой ярус, потом историческая энергия передается выше ярусу словесному, а от него — образному. Значит, надо спуститься аж в подвал и нащупать, где там, в фундаментальном, звуковом ярусе, эта самая фонема зарыта.

И мы начинаем хаживать на пановские лекции по фонетике в МГУ. Они тоже имеют публичный успех: помимо студиязусов в большой поточной аудитории видны взрослые вольнослушатели. Когда мы сами были студентами, нам Панова не перепало, и фонема оставалась для нас, по совести говоря, пустым звуком.

Хотя мы, конечно, понимали, что фонема не есть звук. Она реальна, но не конкретна. Ее нельзя потрогать. Она объединя-



ет разные сущности — «слона и носорога», как Панов говорит. У Панова есть еще и такое определение фонемы: «ряд позиционно чередующихся звуков».

В мое сознание фонема вошла, безусловно, благодаря человеческому контакту с Пановым. Это для меня не столько абстрактное понятие, сколько эмоционально-чувственный образ — таинственный и, пожалуй, женственный. Это крайне субъективно, фонема — понятие логически строгое, но как-то наложилось в моем сознании определение фонемы «ряд позиционных чередований» на фетовские строки «ряд волшебных изменений милого лица».

Кстати, вот эпизод. В конце девяностых годов Панова часто навещают две коллеги-языковедки, очень дружные между собой. По возрасту одна моложе другой на полпоколения.

Михаил Викторович не скрывает своей симпатии к ней. Старшую это несколько задевает, и она при случае читает Младшей наставление: «Конечно, вы были сегодня остроумны, интересны и привлекательны. Но вы же понимаете, что в присутствии Михаила Викторовича каждый делается умнее, интереснее и привлекательнее, чем он есть на самом деле».

Младшая, которая на самом деле не без смущения выдерживала комплиментарный напор М. В. Панова, в очередной такой ситуации ответила ему словами Старшей: «Но это в вашем присутствии, Михаил Викторович, люди делаются умнее, интереснее и красивее, чем они есть на самом деле». Мгновенный, как молния, ответ: «Нет! Это не позиционные изменения! Это сущностные характеристики!»

И ведь это не просто разговорная игра с терминами. Принцип «позиционности» в системе Панова применим ко всем уровням языка, ко всей сфере художественности («позиционная поэтика») и даже к такой, казалось бы, эфемерной материи, как женственность.

Панов сам в чем-то похож на фонему. Чередуются его разные ипостаси, сущности, а главное — их соотношение. Кто он вообще? На этот вопрос нет однозначного ответа.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Обычно фонему называют по звуку, который ее представляет в сильной позиции. Пишут его в ломаных скобках: например, фонема <о>. Но это же не совсем точно. Учитель Панова В. Н. Сидоров — как бы в шутку, но и серьезно вместе с тем — предлагал использовать немотивированные, случайные имена: «фонема Алиса», «фонема Семен»... Чтобы не подменять фонему как ряд, как систему (у этого «о» даже под ударением несколько разновидностей) одним позиционно обусловленным вариантом.

Когда-то я даже подумывал: не начать ли присваивать фонемам, как малым планетам, имена ученых-филологов? И, в частности, фонему <о> назвать «Панов», поскольку она в этой фамилии представлена в сильной позиции. Однако, судя по одному диалогу в книге «Занимательная орфография», Панов сидоровскую идею не поддержал. Ладно, пусть остается <о>.

А в поисках чередования я искал такой вариант, чтобы «о» оказалось без ударения. И родилось слово «пановистика» как название новой гуманитарной отрасли, созданной Михаилом Викторовичем. Синтез языковедения, поэтики, поэзии, эстетики, эссеистики и педагогики. Как вам такой неологизм?

## КРАТКОСТЬ

Пановым написано больше, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что у него иная плотность текста по сравнению с большинством филологов. Он пишет примерно в три раза короче. А все потому, что он эссенциалист. То есть он сосредоточен на сущностях, свободен от фетишизма частных и мелочей. Не любит мнимых сущностей и нарочитых терминов. «Бритва Оккама» у него всегда под рукой: лишнее отсекается — и в корзину. И в каждой фразе — движение мысли. Не найдешь у Панова ни чуточки того *тавтологического дискурса*, который сегодня поработил почти всю филологию.

Например, литературоведы могут на десятках страниц рассуждать о соотношении «лирического героя» и «лирического субъекта».

екта». Панов же пользуется только понятием «лирического героя», введенным не доцентами, а творцами — Андреем Белым и Тыняновым. Более того, он эту категорию выводит за пределы поэзии и применяет, например, к книгам научным, мемуарным — словом, ко всему нон-фикшну: «Текст художественен, если в нем есть лирический герой».

Затронули мы как-то в разговоре книгу одного пушкиниста. Говорю, что все в этой книге верно, но если бы о том же писал Тынянов, то он не целую книгу сочинил бы, а всего одну фразу, вот такую примерно...

— А я думаю, что Юрий Николаевич эту фразу еще и вычеркнул бы, — добавляет Михаил Викторович.

## ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Попросим Тынянова на минуточку задержаться, чтобы с его помощью разместить Панова на оси «Архаисты и новаторы». Совершенно очевидно, что «по духу времени и вкусу» Панов — новатор. Энтузиаст авангарда, верлибра, художественной условности и творческой игры. Но с новаторского края хорошо виден весь спектр художественности. Потому Панов умеет ценить прелесть традиционности и старины. Потому он сразу распознает и отвергает претенциозные подделки под новаторство.

Так что на тыняновской оси место Панова — сам союз «и». Он и архаист, и новатор. Если угодно — архаист-новатор (как Грибоедов, цитата из которого недаром припомнилась выше).

Таков он по отношению к искусству, таков он и по отношению к языку (при всей дерзновенности пановского орфографического проекта, о котором еще пойдет речь). М. Л. Каленчук в статье «Орфоэпическая концепция М. В. Панова» приводит его знаменательную устную фразу: «В орфоэпии прогрессивен традиционализм». Да, произносительные нормы меняются, это естественный динамичный процесс. Но специально его торопить

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

незначем. Кому по душе старинные варианты норм, имеет право сохранять им верность и пребывать своего рода орфоэпическим «диссидентом».

«Каждый имеет право на несогласие» — вспомним в очередной раз любимое пановское присловье. И согласимся, что плюрализм норм — не вредный «разнобой», а речевая свобода.

### ПОЭТОГРАФИЯ

— Современная поэзия многоканальна. Не в том смысле, что много каналов к ней присосалось, а в том, что у нее несколько русел. Помимо книг и журналов существует авторская песня. В северных деревнях еще былины поют. И частушки продолжают сочиняться.

Тут же Панов приводит свою любимую частушку, богатую звукописью:

Коля, Коля, твои кони  
Под горою воду пьют.  
Коля, Коля, твои очи  
Мне покоя не дают.

Вспоминал Панов и политические частушки предвоенной поры, которые он записывал, будучи старшеклассником, в деревне: «Ераплан летит,/Крыло приставлено./Убили Кирова,/А надо Сталина...». А новейшие частушечные имитации, которые в перестроечное время начал выпускать Николай Старшинов, вызвали у Панова решительное неприятие: «Некоторые литературоведческие дамы любят похабщину, старшиновские частушки им очень понравились, но они далеки от народной речи».

Кстати, допускаю, что неприятие Пановым похабщины — это крайность. Может быть, похабщина как материал искусства имеет право на существование. Это вопрос отдельный. Скажу только, что с годами сам становлюсь пуристичнее, и от стихотворного мата (особенно нарочитого, «филологического») меня

все больше ворочит. Может быть, это дело возраста. А может быть, и нет...

Именно сейчас всплыл в памяти рассказ Панова об обмене репликами с Горбуновым в НИИ нацшкол (помните, тем самым, который радовался, что Бахтину «доктора не дали»? ). Горбунов в кулуарном разговоре блещет непристойностью. Панов выкалывает свое недовольство. Горбунов: «Панов не любит острого». Панов: «Я тупого не люблю».

Притом Михаил Викторович с удовольствием цитирует чашушку: «Я с женою разведусь и на Фурцевой женюсь. Буду тискать сиськи я самые марксистские». Очень ему нравится анекдот про косноязычие Брежнева, у которого «социалистические страны» звучат как «сосиськи сраные». Тут, правда, примешивается и специфический профессиональный интерес фонетиста: когда-то ведь произносилось: «сосиськи», а простые люди так и писали...

Ну и еще Панов — в соответствии с известным «разрешением» Ахматовой: «Мы, филологи, имеем право произносить любые слова» — мог процитировать матерную реплику, услышанную где-нибудь. Однажды в автобусе или в электричке на него сильное впечатление произвел некий «дебил», громогласно повторявший: «А Клинтон тоже ...» (именно с таким ударением в фамилии американского президента. — *В. Н.*). К истории с Моникой Левински эта реплика отношения не имела, так как разговор относится к 1995 году. Изображая «дебила», Михаил Викторович корчил препотешную гримасу. Так он делал часто, передразнивая всякого рода «оболдуев» (тоже его словечко). Не знаю, как оценил бы актерскую технику Панова любимый им Мейерхольд, но Станиславский точно выкрикнул бы свое знаменитое «Не верю!», ибо, несмотря на все мимические усилия, Михаил Викторович ничуть не бывал похож на «оболдуя» и тем более на «дебила».

Но рассказ о «дебиле» запомнился потому, что Панов тут же грустно обобщил: тридцать процентов людей — дебилы. Пятьдесят процентов во всем следуют общему мнению (сюда он,

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

в частности, отнес тех, кто в выражении «ей-богу» категорически требует Бога писать с прописной буквы). И только двадцать процентов мыслят самостоятельно.

(Сейчас думаю: целых двадцать процентов, Михаил Викторович, — это весьма недурно, это оптимистично!)

Но вернемся на основную дорогу. Что главное в пановской концепции поэзии? У него это пространство неограниченное. Нет здесь ведомственных частоколов: мол, запрещен вход фольклору или стихотворцам с гитарами. Полноценными поэтами Панов считает и таких классных переводчиков, как, например, Вера Маркова: стихи пусть японские, но язык-то русский и очень музыкальный!

И еще здесь нет иерархии: гениальные, великие, выдающиеся, просто талантливые... Немыслима какая-нибудь «десятка» великих русских поэтов. Зачем, если их намного больше?

И тут в силу вступает категория *предельности* — главное открытие Панова-эстетика. Если в произведении предельно реализованы художественные возможности данного материала, то оно включается в равноправный ряд вместе со всеми другими «предельными» творениями. Сколько бы их ни было!

А сколько было в России поэтов, уровень которых можно считать предельным? Панов однажды такой нелимитированный список составил. И нам вручил для обсуждения напечатанный под копирку второй экземпляр. В столбик там было перечислено не менее шестидесяти имен — от XVIII века до наших дней. Мы стали предлагать дополнения, а Панов — вписывать их карандашом. Согласился включить туда Соснору. Хотя не все его произведения принимал: финал повести «Летучий голландец» (по сути поэтической) счел слишком экстравагантным.

Чуть позже он сдержанно отнесется и к другому нашему «семейному» поэту — Геннадию Айги: «У него все кучки, нет целостности».

Но что говорил Панов? «Каждый имеет право на несогласие». И мы с ним не соглашаемся. До сих пор. Продолжая диалог-спор

с Пановым, статью «Хлебников и современная русская поэзия» начну с главки «Будетляне: Панов, Айги, Соснора». Все три поэта — постфутуристы, и между ними неизбежно отталкивание.

Панов любит и понимает самую отчаянную поэтическую сложность. Именно поэтому он ценит и ее противоположность — задушевную простоту. Когда выходит Игорь Северянин в Малой серии «Библиотеки поэта», мы восхищаемся его эпатажирующими самохарактеристиками: «Моя двусмысленная слава и недвусмысленный талант!» Или «Иронизирующее дитя». А Панов с чувством цитирует позднего, сдержанно-музыкального Северянина:

Соловьи монастырского сада,  
Как и все на земле соловьи,  
Говорят, что одна есть отрада  
И что эта отрада — в любви...

В оценке современной поэзии Панов последовательно верен эстетическому критерию, гамбургскому счету. Сам по себе «антисоветизм» для него не ценен. Скажем, стихи и песни Галича ему близки тонкой ироничностью и неприторной человечностью, а вот политизированные «гарики» Игоря Губермана он считает какофоничными и к поэзии вообще не относит. Не все для него золото, что эксцентрично по форме: ничего не принял он в творчестве Всеволода Некрасова.

Насчет Д. А. Пригова не совсем ясно. Однажды его к Панову приводит пушкинист Владимир Сайтанов. И мы с дочерью в этот вечер у Панова. Пригов достает складной альбом, где внутри множество отгибающихся бумажных клапанов с написанными на них словами, в том числе и пресловутый «милицианер». Очень нравится это Лизе, в ту пору семилетней. Панов с ходу настраивается на аналитику и находит в этой инсталляции синтез поэзии и архитектуры. Вежливо, компетентно, но не слишком эмоционально.

А вот кого он принял из неофициальной поэзии семидесятых годов — так это Виктора Кривулина и Елену Шварц. Кривулин

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

у Панова побывал (о чем сообщает Ольга Седакова), он даже напечатался в юбилейном сборнике в честь Панова в 1990 году. А симпатия к Шварц оставалась заочной. Помню, что мы впервые прочли ее стихи в пановской машинописи. Важно здесь то, что для Панова как ученого никогда не было границы между «залитованными» стихами и самиздатом.

Сам же он всю жизнь занимался своего рода литературоведческим самиздатом. И помимо истории русской поэзии двух веков он вел и «актуальные» исследования. Покупал чуть ли не все выходявшие сборники, просматривал всю периодику и писал обзоры, которые назывались «Русская поэзия в 1959 году», «Русская поэзия в 1960 году»... Не спеша доводил их «до ума». Копии двух у нас имеются. Сколько-то еще осталось в его архиве. Есть что публиковать.

А есть и что осмыслить, обратившись к опубликованным текстам. Большой двухтомник Панова называется «Труды по общему языкознанию и русскому языку». Не совсем точно. Потому что во втором томе есть раздел «Поэтика», занимающий двести страниц. Здесь разработана совершенно новаторская концепция трех ярусов поэтического произведения: звукового, словесного и образного. Эти уровни изоморфны, везде прослеживается единое сочетание материальных и конструктивных факторов. Для наименования этого соотношения (сходства или контраста) Панов специально изобрел термин «кнотр»<sup>1</sup>. Он не взят из какого-то языка, а придуман по принципу зауми. Поначалу был «гнотр», но кто-то сказал, что это вызывает ассоциацию с «гнозисом», и Панов тут же поменял начальный звук: нужно, чтобы значение термина было свободно от побочных оттенков. Это не нарочитая «придумка», а необходимое понятие, которого не хватало у опоязовцев.

---

<sup>1</sup> См.: Панов М.В. Ритм и метр в русской поэзии. Статья вторая: Словесный ярус. — В кн.: Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 424 и далее.



## «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

Но кто сказал, что исследование поэзии непременно должно осуществляться прозаическим языком?

А что если о стихах — стихами?

Речь не о стихотворных подписях к портретам, не о посланиях поэтов друг к другу, не о поэтических «медальонах», которые писал, например, Игорь Северянин.

Речь о словесно-стиховых картинах поэтических миров. Панов начинает их рисовать в 1960–1970-е годы, и в итоге таких картин получается сто. «Звездное небо» — так называет сложившийся цикл автор, снабжая его следующим подзаголовком: «Здесь сделана попытка представить те образные впечатления, которые возникают (у автора этих набросков) при чтении русских поэтов».

Это единственное в своем роде научно-поэтическое произведение увидит свет уже после кончины автора в составе его второй книги стихов «Олени навстречу» (М., «Carte Blanche», 2001). Миниатюры размещены в произвольном порядке, без хронологии или еще какого-то логического принципа. Концептуальны только начало и конец. Открывает пановскую галерею любимый поэт:

Велимир Хлебников.  
Похожий на думающее облако.  
Похожий на страстный сухой муравейник.  
Похожий на исповедь кенгуру.  
Похожий на философствующие часы.  
Только на себя похожий.

Этот же поэт закономерно завершает пановский цикл:

Страна —  
материк —  
вселенная  
думающих спичек и стрекоз.  
О, мир, мир!  
Мир Велимира.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Хлебников — как бы альфа и омега звездной поэтической азбуки. В какой-то степени и жанровый предшественник пановской «поэтографии». Вспомним легендарное хлебниковское изображение трех классиков русской литературы как явлений природы:

О, достоевскиймо бегущей тучи!  
О, пушкиноты млеющего полдня!  
Ночь смотрится, как Тютчев,  
Безмерное замирным полня.

Все «Звездное небо» написано верлибром. Метрика и ритмика изображаемых поэтов не имитируются. И не имитируются их образные системы, у автора рождаются самостоятельные парадоксальные ассоциации.

Метафорика Панова разнообразна и непредсказуема: Ломоносов — «космическое блюдо», Ахматова — черная рыба в черном озере, «но умеет светить», Дельвиг — «дрессированный сороконог» и т.п. Остросовременная форма помогает Панову показать поэтов далекого прошлого как живых и эстетически актуальных. Антиоха Кантемира он рисует как архитектора-конструктивиста. А вот как видит он мир первого русского поэта-романтика:

Влекущий издалека  
тепло, и рыб, и ветви,  
могучий, в туманы повитый Гольфстрим!  
Слияние вод, прошедших сквозь воды;  
волн неутомимый накат...  
И многоверстных водорослей  
в светящихся глубинах  
тихое, могучее колебанье...

*Жуковский*

Помимо хрестоматийных фигур «первого ряда» в «Звездном небе» представлены:

— поэты, которых принято считать и называть «второстепенными»: в XIX веке — баснописец А. Е. Измайлов, Подолин-

ский, в XX веке — Олимпов, сатириконец Горянский, Василиск Гнедов, Кузьмина-Караваева, Нельдихен, Гастев, не очень известные Иван Ерошин и Юрий Владимиров;

— переводчики, чью работу Панов считает фактом русской поэзии: Адриан Пиотровский, Ада Оношкович-Яцына, Анна Радлова, Вера Маркова;

— сказительницы Ирина Федосова и Мария Кривополенова.

Представлен Достоевский-поэт как автор стихов капитана Лебядкина (Л. Толстого за песню «Как четвертого числа...» Панов к поэтам, однако, не причислял).

Присутствуют непопулярные ныне Светлов и Смеляков, несмотря на их «советскость». Из живших тогда поэтов также попали Мартынов, Твардовский и Самойлов. Последний, ровесник Панова, — самый младший по возрасту в этом протяженном ряду, где самым старшим является Кантемир.

За каждой миниатюрой стоит эстетическое освоение творчества портретируемого поэта в полном объеме. Это в известной мере филологическая поэзия, но не в пародийно-стилизационном смысле. Пановские картины обладают потенциальным эвристическим эффектом. Думаю, что каждая из них может быть переведена на язык науки и осмыслена авторами книг и статей о соответствующем поэте. Есть над чем подумать, например, в связи с Карамзиным. Со времен Пушкина о нем говорят прежде всего как о прозаике. А Панов уделил Карамзину-поэту в «Звездном небе» две позиции — как и Хлебникову. Причем в первой из зарисовок его имя появляется после упоминания «конгруэнтных» поэтических пространств Ахматовой, Есенина, Маяковского, Пастернака, Хлебникова как парадоксально-неожиданный пуант:

Все их — можно засунуть в карман!  
В карман Карамзина.

Но главное в пановских словесных картинах — их внутренняя свобода, спонтанность, необязательность. Здесь нет ни одной миниатюры, написанной для полноты комплекта, для непременно-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

ного заполнения ячейки. Автор просто любит дорогими ему поэтами и заражает этим эстетическим чувством друзей-читателей.

Особо скажу о Тургеневе. Он представлен отнюдь не как автор поэмы «Параша» или романа «Утро туманное». Панов не раз говорил, что «Стихотворения в прозе» — это «стихотворения в стихах». И эта мысль зафиксирована в «Звездном небе»:

«Senilia»? Нет, «Juvenilia»!  
Стихотворения в прозе?  
Нет, верлибр в строку.  
Зернистый дождь  
целуется с серебристо-пьяной  
травой.

*Иван Тургенев*

Так вот, Тургенев рекомендовал читать «Стихотворения в прозе» не «сподряд», а «враздробь». Так же я советую читать и миниатюры «Звездного неба». Принимать максимум по одной в день. Поднимает настроение.

## ЕГО ПУШКИН

А вот как выглядит в поэме «Звездное небо» солнце русской поэзии:

Мир, где все  
отбрасывает  
остро-сверкающие тени.

*Пушкин*

Все-таки Пушкин выделяется — хотя бы тем, что это самая короткая из ста миниатюр.

Аполлон-григорьевская фраза «Пушкин — это наше все» вошла в моду в 1970-е годы. В числе прочих культурных новостей обсуждали мы и это. Реакция Панова:

— Пушкин — наше все? Не согласен. У него нет, например, блоковской музыкальности.

Но, конечно, Пушкина Панов любил и постоянно о нем размышлял. Он отвергал всякие метапушкинские абстракции и искал пушкинскую конкретность.

Отметал все расхожее, даже пушкинские тексты, если они слишком заезженные, зацитированные. Примером такого «убитого» произведения было для него послание к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы...» Во-первых, потому что в нем не так уж много пушкинского: в основном оно состоит из общепозитивных клише. А во-вторых и в-главных, потому что в силу чрезмерной известности эти стихи уже невозможно заново пережить.

— Непосредственно-эстетическое отношение к этим стихам у меня утрачено, — не однажды говорил Панов.

Первая строка этого послания была в пановском разговорном языке *словом*, обозначающим «то, что мне безразлично». Как-то сообщаю, что мне удалось купить (в магазине книгообмена — были такие) энциклопедию «Москва». Панов же, в отличие от меня, отнюдь не москвофил, не фетишист арбатско-пречистенских переулков.

— А для меня Москва ничего не значит, это как «любви-надежды-тихой-славы»...

Панов ищет пушкинскую доминанту, то и дело делясь с нами своими мыслями:

— Белинский говорил о пушкинских стихах: «лелеющая душу гуманность». А для меня неповторимость Пушкина — в невесомости его эпитетов...

Фрагмент лекции Панова: «Теперь посмотрим, как сделана гуманность Пушкина (опоязовская формула! — В. Н.). На словесном уровне этот «двойной взгляд» выражается в игре эпитета и определяемого слова: если определяемое предметно, то эпитет переводит его в область отвлеченного, если определяемое отвлеченно, то эпитет предметен: «И шутки злости самой черной писала прямо набело».

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Очень эмоционально разбирает Панов на лекции стихотворение «Для берегов отчизны дальней...» Рассказывает про опisku Пушкина «А с ним и поцелуй свиданья». Текстологи ее исправили: «А с ними поцелуй свиданья». Получилось хуже: «исчезла глубокая и горькая пауза, исчезла пауза страданья». Говорит, что это суждение одной его студентки. Но не у каждого лектора такие прозрения посещают слушателей. Я назвал бы это соавторством учителя и ученицы.

Закончить эту главку хочется стихотворением Панова «О Пушкине». Оно не требует комментариев (замечу только, что это единственный у Панова случай написания каждого стиха с прописной буквы — наверное, дань пушкинской традиции).

Пушкин не знал пишущей машинки.

Пушкин не знал лифта.

Пушкин не знал пшеничного концентрата.

Пушкин не смотрел телевизор.

Не только звукового, даже немого кино не знал Пушкин.

(А что не знал цветного, то это ему повезло.)

Пушкин не знал электрических звонков.

И ему приходилось, когда он приходил в гости,

Наверное, дергать веревку. Или поворачивать штырь.

(Но, скорей всего, его заранее ждали,

Смотрели в окна, бежали навстречу

И радовались ему.)

Пушкин не знал хоккея, футбола и не забивал козла.

Но все-таки многое знал Пушкин.

## О ВОЗНЕСЕНСКОМ

В книге Панова «История русского произношения XVIII—XIX веков» (завершена в 1970 году, впервые увидела свет в 1990-м) каждая глава-эпоха завершается разделом «Фонетические портреты». В одном случае это Петр I и Ломоносов,

в другом — Пушкин и Лев Толстой, в третьем — корифеи Малого театра наряду с лингвистами Ушаковым и Брандтом, в четвертом — актер Яхонтов, языковед Реформатский и его дочь, а также поэт Андрей Вознесенский.

Источниками исследования были письма (в которых особенно ценны орфографические ошибки), стихи, аудиозаписи, личное общение. Всего Панов выделяет восемь произносительных эпох-систем. Наименовал он их цветами радужного спектра — от пурпурной и лиловой (XVIII век) до «алой» (век двадцатый, слово «красный» не использовано во избежание политических ассоциаций). В 1960-е годы сосуществуют системы «оранжевая» (в речи Реформатского) и «алая» (так говорит Вознесенский). Здесь можно увидеть тщательную фонетическую транскрипцию многих стихов, например «Вальса при свечах».

Раздел о Вознесенском при всей строгой научности написан любовно. Поэт близок автору как художник-новатор — и вместе с тем Панову импонируют «старомосковские» черточки речи Вознесенского: «Для такой живой динамичности текста оказалась нужна прочная нормативная основа. Лишь на ее фоне играют фонетические краски». Лингвистические наблюдения Панова то и дело переходят в эстетические обобщения, в которых отчетливо видится апология Вознесенского, защита его от привычных нападок критики: «В заграничных стихах все лексические экзотизмы фонетизированы в обычных нормах русского произношения... Многослойность лексики и многослойность ее фонетической реализации Вознесенский не превращает в пестроту». Именно за «пестроту» поэта тогда поругивали в прессе<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уже после журнальной публикации этой повести прозаик Михаил Холмогоров рассказал мне, что приходил к Панову домой в Уланский переулок, будучи его студентом в Мосгорпединституте. И однажды получил от Михаила Викторовича в подарок самую первую книжку Вознесенского — «Мозаику», изданную во Владимире в 1960 году. Очевидно, Панов так поступал не раз.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Желание отстоять эстетический престиж поэзии Вознесенского руководило Пановым, когда он от имени Института русского языка выдвинул книгу «Ахиллесово сердце» (1966) на соискание Ленинской премии по литературе. Если не ошибаюсь, известие об этом выдвижении даже публиковалось в газетах. Но оно, что называется, не прозвучало. Жест Панова оказался наивным и дилетантским. Репутация Вознесенского тогда еще просто не созрела до такого «генеральского» отличия, к тому же в партийно-государственном воздухе еще слышалось эхо легендарного «ора» Хрущева на поэта в 1962 году.

Государственную премию Вознесенский получит в 1978 году за книгу «Витражных дел мастер», что, однако, полного счастья поэту не принесет. Ему нужно блюсти баланс между «советскостью» и крамольностью. После перекоса в сторону «советскости» придется даже принять участие в скандальном «Метрополе», но выскочить из истеблишмента уже не удастся. «Госпремия съела Нобеля. Не успели меня распятать», — посетует он в 2008 году.

А Панову тогда досталось. За то, что действовал без предварительного согласования с инстанциями. Вызвали в райком, где инструктор поучал ученого: «А вот я бы Вознесенского ни за что не выдвинул на Ленинскую премию».

— Слушаю его и думаю: но ты же и не Панов, — вспоминает Панов лет через десять после скандального события.

Рассказывает, улыбаясь: ведь это были еще цветочки в его назревавшем противостоянии с властным железобетоном. И добавляет с явным удовольствием следующую подробность. Вознесенский тогда в знак благодарности прислал в Институт русского языка пачку книг «Ахиллесово сердце», причем не в черном ледерине, в который был одет основной тираж, а в белом штапеле, выделенном для подарочных экземпляров.

Маловато будет, думаю я, слушая этот рассказ. Не в смысле количества экземпляров, а в том смысле, что поэт мог бы выйти на прямой контакт с инициатором выдвижения, пообщаться, поговорить о стихах. Своих же стихах — ведь поэтам всегда не



хватает доброжелательного и квалифицированного разговора. Как они внимательно и жадно ловят такое неформальное и признанное слово о «себе любимом»! И Вознесенский не исключение, при всей его прославленности.

Но сам Панов, по-видимому, не стремится к личным сношениям с поэтами. Не пишет им писем, не ищет «выходов» через общих знакомых. Хотя слушает байки о них весьма неравнодушно. Тут, во-первых, гордость, а во-вторых, стратегическая установка на чистоту эстетического восприятия. Чтобы не примешивалось личное. Чтобы творцы певучих строк, упаси бог, не нарушили поэтическую гармонию какофонией своего житейского поведения.

Есть этому рациональное объяснение. «Гамбургский счет» — идеальная духовно-эстетическая конструкция. Тоже своего рода виртуальная башня. А в жизни каждого конкретного литератора его версия «гамбургского счета» сильно искажается, искривляется мелкими жизненными счетами. Уже сам творец идеи, изобретатель выражения «гамбургский счет» Виктор Борисович Шкловский погрешил против эстетической истины, разместив Булгакова внизу, «у ковра». А не был бы с ним знаком, не был бы на него за что-то обижен — глядишь, и выставил бы ему бал повыше.

Во второй половине семидесятых годов мы часто говорили о Вознесенском, а в восьмидесятых имели что рассказать о встречах с ним Панову. Еще до этих встреч, помнится, после того как Михаил Викторович хвалит «Правила поведения за столом», называя эту вещь строкой «Не трожьте музыку руками», говорю: да, Вознесенский, пожалуй, лидер современной поэзии. Панов же отвечает:

— А я бы сюда еще двух лидеров добавил: Беллу Ахмадулину и Юнну Мориц.

Становится ясно, что Панов отнюдь не мономан и ничьим «фанатом» быть не может. Никого единственного «лучшим и талантливейшим» не объявит. Почему именно такая «тройка»? Со временем нахожу объединяющий признак: эти трое — виртуо-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

зы стиха. Они владеют отточенными, эффектными приемами. А вот, к примеру, Евтушенко, у которого много хороших стихотворений, виртуозом не назовешь.

Об Ахмадулиной Панов не раз отзывался похвально. И смеялся над обывательскими о ней разговорчиками. Как-то он передразнил одну сотрудницу НИИ, которая, покачивая головой, сокрушенно сообщала про поэтессу: «Попивает, попивает...» И не то чтобы Панову так уж хотелось опровергнуть слухи — издевался он над убожеством ученой дамы: небось, ни одного стихотворения процитировать не может, а пройтись по «вредным привычкам» автора не прочь...

Иногда думаю: а не стоило ли нам попытаться «встретить» Панова с Вознесенским? В 1990 году, когда вышла «История русского литературного произношения», я известил поэта о том, какое солидное место он в ней занимает. Потом Вознесенский переспросил меня про «вашего Попова» (sic!), и желание остыло. Панова же стихи Вознесенского в девяностые годы радовать перестали. Самоповторы... А мемуарная книга «На виртуальном ветру» так просто огорчила и вызвала ироническую реакцию:

— Хвалится встречами с Марчелло Мастроянни. Но ведь это чисто светский обмен любезностями. О духовном взаимодействии тут и речи нет.

То был, кажется, единственный случай, когда Панов употребил в разговоре прилагательное «духовный». Эпитет изрядно заезженный и обесцененный, но «духовное взаимодействие», как его ни назови, — это не фикция, а реальность. Когда оно есть...

Подхожу к окну, а там — вознесенские строки из лучшего периода:

Падает по железу  
с небом напополам  
снежное сожаление  
по лесу и по нам.

## ЖЕЛАТЕЛЬ ДОБРА

Любит Панов дарить добрые вести. По выходе в 1976 году моей «воплевской» статьи о пародии предъявляет зеленый лит-памятник «Алиса в Стране чудес». Поглядите-ка: Демурова в комментариях на эту вашу статью ссылается (на Панова, кстати, тоже ссылается, и более пространно). А вот еще в журнале «Театр» вашу статью упомянули.

Реагирую вежливо, но без восторга. Мол, спасибо, Михал Викторыч, но это для нас пустяки. То ли еще будет!

А что будет-то? Никто уже, как Панов, не порадуется моим маленьким успехам. Старший коллега, под началом которого я буду служить в журнале, сильно загрустит из-за того, что меня печатают в «Литературной газете», а его нет. Начну уже подыскивать себе другую работу, как вдруг в той же «Литературке» на мою новомировскую статью о Вознесенском грубо наезжает Владимир Костров. По-человечески его понимаю: вся статья только о Вознесенском — и ни слова о Кострове.

Старший коллега с сияющим видом встречает меня в редакции:

— С удовольствием прочел, как вас приложили в «Литгазете».

После чего мелкие гонения прекращаются.

Но то еще был человек открытый и с чувством юмора. А потом никто тебя не будет извещать ни о печатных комплиментах, ни о печатной брани. Это же все «пиар», рост известности.

А Панов явил пример того, какой может (должна?) быть благородная реакция на творческие свершения близких знакомых.

Каждый пишущий (рисующий, играющий, снимающий и т.п.) сталкивался с обидным равнодушием близкого круга к своим опубликованным стихам или прозе, к картинам, спектаклям, фильмам. Когда Мейерхольд издавал журнал «Любовь к трем апельсинам», он поручил артистам своей студии распространять это элитарное издание среди родственников и знакомых. И артистка Веригина жаловалась Блоку (кстати,

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

ведавшему в этом журнале поэзией): «Подписчики-родственники относятся с пренебрежением к нашему журналу, подписались из благотворительности и ни одной строчки не читают. Блок рассмеялся и сказал: «Не огорчайтесь, обыватели всегда говорят: «Какой же писатель Иван Иванович? Я вчера с ним чай пил».

Ну, Блоку легко было шутить: читатели (и особенно читательницы) в то время к нему уже валом валили. Да и родственным кругом он обижен не был. Те, кто с ним чай пил, по получении книжек с дарственными надписями: «Мамъ», «Любъ», «Теть» — отнюдь не засовывали их куда подальше. А вот условно-обобщенному «Ивану Ивановичу» в отличие от реального и прославленного Александра Александровича туго приходится. Родственники и приятели скромного Ивана Ивановича действительно убеждены, что человек, с которым они чай пьют, писателем быть не может. И они либо молчат, набрав этого чая в рот, либо под видом «объективности» говорят автору гадости. По-моему, то и другое происходит из нелюбви (или недостаточной любви) к Ивану Ивановичу. Если ты действительно желаешь ему добра, ты поведешь себя по-другому. А как?

Так, как Панов. Студентка Ольга Седакова показала ему свои стихи. Он дал им щедро-высокую оценку, назвал подлинным фактом поэзии. И не только с глазу на глаз. И в разговорах с нами не раз сочувственно упоминал Седакову, со вкусом цитируя, в частности, ее младенческие стихи:

Не будя человеком,  
Я думала тогда:  
Зачем мне эти реки  
И в них зачем вода?

Но, будя человеком,  
Я думаю тогда:  
Нужны мне эти реки  
И в них нужна вода.

А ознакомившись с «Женским романом» Ольги Новиковой (ее первым произведением) в рукописи, Михаил Викторович сразу откликнулся письмом, где, в частности, есть такие слова: «Вы создали положительный женский образ, без сюсюканья, без ложного воодушевления и нажима. <...> Без идейной подмалевки, без лозунгов. А вот то, что героиня психологически убедительна, художественно полноценна — это самое что ни на есть здорово! Хочется с нею познакомиться и сводить ее в театр. (Я шучу, потому что Владимир Иванович мне объяснил, что искусство — не жизнь, жизнь не искусство, а полностью наоборот; и с художественной персонажью в театр не ходят.)».

При встрече заговорил о романе уже с историко-литературной точки зрения: «Близко к стилю раннего Эренбурга. Минимум деталей. Динамичный диалог. Выдержано одинаковое *отстояние* (чисто пановский окказионализм, острающая замена стертого слова «дистанция». — В. Н.) автора от героев и от изображаемого. Отсутствие литературной натуги».

Вместе с тем была высказана и конструктивно-критическая рекомендация: у главной героини есть сестра-близнец, а сюжетно эта «близнечность» не работает. В печатной редакции романа близнецы были заменены на погодков, тем более что различий у них было больше, чем сходства. Хочу заметить, что это был вполне писательский совет.

Поддерживал Панов и тех коллег, что пробовали свои силы в других видах искусства. Так, он искренне хвалил пейзажи и натюрморты кисти своей любимой ученицы Галины Николаевны Ивановой-Лукьяновой. Про картину «Море летнего дня» сказал, что ей место в Третьяковской галерее.

Потому от Панова его друзья уходили окрыленными. Взлетали.

## ПАНОВ-КРИТИК

«Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротой, или другой Декарт, не на-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

печатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Эти часто цитируемые слова из «Путешествия в Арзрум» относятся к Грибоедову. О коллеге своем Пушкин, впрочем, беспокоился зря. Его стихотворная комедия, побывав большей частью в самиздате, потом так прогремела, что для россиян слава этого драматурга будет громче славы Декарта. Отсутствие публикаций в престижном журнале — не беда, для вхождения в историю «Горю от ума» хватило и обнародования фрагментов в скромной «Русской Талии».

А вот среди мыслителей «других Декартов» в нашем отечестве было немало, и я эту формулу всегда вспоминал, думая о Панове. Вот кому литературная периодика нужна была как рыбе вода. Был у него личный рукописный журнал «Мимоходом», в котором он делился своими литературно-критическими и критико-эстетическими идеями с весьма узким кругом читателей.

Подбить же гордого Панова написать что-то для официальной литературной периодики оказалось невозможно. Он и с редакторами научных журналов нередко вступал в конфликты, когда они пробовали «утюжить» его индивидуальный язык.

О взглядах Панова на современную поэзию уже сказано. Но и проза не была для него посторонней сферой. В той или иной мере он высказывался о каждом из ведущих мастеров. Имя Солженицына мы тогда из осторожности вслух не произносили, Панов называл его Классик, и было ясно, о ком речь. Аксенова, Битова, Искандера, Трифонова ценил больше, чем писателей-деревенщиков. Более того, когда речь шла о беллетристике в противовес подлинно художественной словесности, то в качестве примера типичных беллетристов Панов называл Астафьева и Распутина. Понимаю, что это звучит слишком жестко, но считаю необходимым донести до читателей пановский целостный взгляд на литературу.

Понятием беллетристики он определял прозу, основанную на идейной установке, пусть и верной в социальном плане. Прозу, для которой слово не цель, а средство.

Ценил в прозе артистизм, легкость, юмор и парадоксальность. Радостно и безоговорочно принял Валерия Попова, узнав о нем от нас. С удовольствием размещал на страницах «Мимоходом» вкусные цитаты из Попова. Приходим как-то, а он: «Какой же отличный рассказ «Пунцов»!» А рассказ бесфабульный, описан там колоритный работяга со своеобразной речью.

За один из лучших поповских рассказов «Две поездки в Москву» (вещь тонко-эротичная) автора прорабатывал в прессе критик-функционер Феликс Кузнецов. Инкриминировал писателю некий «неогедонизм». Как смеялся Панов над этим ярлыком!

— Гедонизм не бывает «нео», он вечный. А проще его назвать по-русски — наслажденчество!

Фирменное пановское слово. Он употреблял его и просто в значении «наслаждение», «удовольствие». Сам был «наслажденцем» и за другими признавал неоспоримое право радоваться жизни.

Читая современную прозу, искал повод порадоваться, а не позлобствовать. Следил за ней буквально до последнего дня. Иногда откладывал полученные журналы «на потом», но пылью они у него не покрывались. Успел, например, одобрительно отозваться о романе Михаила Бутова «Свобода» (он вышел за два года до кончины Панова).

Казалось бы, критик — только тот, кто печатается, участвует в литературном процессе, взаимодействует с поэтами и прозаиками. А я считаю, что Панов был реальным критиком. И без «Московского телеграфа».

Критика есть самостоятельная эстетическая рефлексия на материале текущей словесности. И в подтверждение этого тезиса расскажу о критическом отклике Панова на роман Владимира Орлова «Альтист Данилов», вышедший в 1980 году в «Новом мире». Этот самиздатский отзыв, безусловно, заслуживает публикации, а пока приведу только его самое начало:

«Прочел, лениво и скучая, повесть «Альтист Данилов» Владимира Орлова. Радуясь и ликуя.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

— Какая тряпичная серость!

— Какая острота и пронизательность!

Верно и то, и то. Одновременно.

Сначала скажу о серости.

Язык — газетный. Примеры можно брать с любой страницы, и потому не беру. Орлов пишет мимо языка, для него язык — только мотыга, средство вскапывать...»

Но, беспощадно отнеся «Альтиста» к беллетристике, Панов начинает искать там проблески истинной прозы. И находит. В изображении «касты» демонов с их презрением ко всему людскому, в описании обряда изгнания: «По блеску эта часть (суд над Даниловым) приближается к сцене исключения из партии во второй части «Чонкина». И язык здесь у Орлова просыпается, дышит».

Тут Панов вспоминает историю своего исключения из «рядов» — что ж, это традиция «реальной» критики в соединении с критикой эстетической. И вывод: «Хорошее все-таки произведение «Альтист Данилов».

Умение мыслить двумя противоположными точками зрения — это, по-моему, высший критический пилотаж. Это то, в чем очень нуждается литературная журналистика. В том числе и сегодняшняя.

## STRONG OPINIONS

— Так себе.

— Еще более так себе.

— Бывает авторская критика, а бывает... фольклор. То, что он пишет, — это как раз фольклор.

Цитирую ядовитые отзывы Панова о влиятельных литературных критиках 1980–1990-х годов. Он, что называется, «в теме», всех читает. Отмечу редкий случай метафорического употребления слова «фольклор» в пейоративном значении (кстати, в отличие от большинства филологов, Панов произносит его с твердым «л»). И есть повод взгустнуть. Перед нами не-



вольное и невеселое пророчество: теперь, в литературной прессе 2010-х годов, критики-индивидуалы почти отсутствуют, а доминирует безличный «фольклор» — в развязно-журналистском или занудно-филологическом вариантах.

Актуальная критика не была для Панова делом посторонним, он судил о ней пристрастно, увлеченно. Так же как о литературоведении. Он всегда в курсе трудов Института мировой литературы и считает, что это учреждение работает слабо, боязливо, нетворчески. Во главе института в то время — видный партийный функционер Г.П. Бердников. Формалистов он, понятное дело, не любит, но, осуждая их, апеллирует к авторитету Гуковского. На каком-то заседании сочувственно цитирует последнего. Мол, Григорий Александрович говорил: формалисты посягнули на то, чтобы научно объяснить механизм всего исторического развития литературы. Не получилось.

— Получилось! — парирует опоязовец Панов, услышав за столом рассказ об упомянутом заседании.

Тут никак нельзя умолчать о том, что полемика Гуковского с формалистами — это все-таки «спор славян между собою», а Бердников во время борьбы с космополитами приложил руку к тому, чтобы Григорий Александрович попал в тюрьму и умер там в возрасте сорока семи лет...

Но чаще Панов упоминал в разговорах имена двух тогдашних заместителей директора ИМЛИ — В.Р. Щербины и П.В. Палиевского. Их имена были для него нарицательными обозначениями дурного литературоведения. Первый символизировал советское идеологическое дуrolомство: «А какой-нибудь Щербина нам скажет...» Второй был символом национализма и антиноваторства. Глубоко оскорбило Панова обзывание Хлебникова «самозванным гением» в статье Палиевского, хотя оно встречало одобрение у людей относительно культурных. Ведь чуть ли не до нашего времени некоторые воспринимают поэтическое звание «Председатель Земного Шара» как претензию на большую советскую должность.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Рассказываю как-то Панову о научном заседании в ИМЛИ, где обсуждается очередной стиховедческий проект М. Л. Гаспарова. Вместо того чтобы без разговоров дать ему зеленую улицу, Кожин и Палиевский начинают приставать с мелкими придирками. Мол, стих — это еще не поэзия (заветная «демагогема» Кожина), с этим «стихом» ведь вообще можно дойти до идей одиозного Тынянова, которого сейчас, к сожалению, переиздали (дело было как раз в 1977 году, когда вышел сборник «Поэтика. История литературы. Кино»). Да, вторит Палиевский, этот Тынянов там недооценивает русского поэта Есенина и превозносит модернистов.

И все это они подают под видом доброжелательных рекомендаций: мол, мы-то не против, но ваш проект может вызвать недовольство «наверху». Гаспаров же отнюдь не посылает этих «доброжелателей» подальше, а деликатно говорит: «Спасибо за советы, в том числе и за советы конъюнктурные».

Панову очень нравится гаспаровская реплика: одним словом «конъюнктурные» тот вмиг поставил на место оппонентов. Сразу становится ясно, где настоящий ученый и где конъюнктурщики от филологии.

Некоторые подходы и принципы Гаспарова, впрочем, вызывают у Панова несогласие. В частности, отказ от эстетических оценок. В предисловии к книге «Современный русский стих» 1974 года у Гаспарова говорится, что невозможно оценить и сравнить второстепенных поэтов разных эпох. Кто талантливее — Туманский, Шершеневич или Кобзев? Для Панова же несомненно, что Шершеневич — истинный поэт, а Кобзев — никакой. И ему кажутся неплодотворными «сплошные» статистические подсчеты Гаспарова, где в одной куче и Ахмадулина, и Софронов. По мнению Панова, исследовать частоту пиррихий на второй или третьей стопе четырехстопного ямба надлежит на эстетически отобранном материале. Иначе выявленные закономерности мало что дают.

Не близок Панову и другой «культовый» исследователь поэзии — С. С. Аверинцев: «Он скорее эрудит».

На всем протяжении нашего знакомства Панов критически оценивает работы Ю. М. Лотмана, причем не по каким-то частностям, а по главной сути. Панов отвергает семиотический подход к литературе (и к искусству в целом) как внеэстетический. Знаковость для Панова — лишь материал, подлежащий художественной трансформации. По этой же причине Панов категорически отказывается представителям структурно-семиотической школы в праве считать себя научными наследниками ОПОЯЗа (в этом смысле он переключается с В. Б. Шкловским, считавшим, что лотмановская школа отнюдь не продолжает традицию русских формалистов).

Еще в середине 1970-х годов Михаил Викторович поразил нас следующей интеллектуальной «задачкой». Если взять, к примеру, трех литературоведов: Тынянов, Храпченко, Лотман, — кто из них будет «третьим лишним»? Ответ: Тынянов, ибо из этой тройки только он в литературе видит прежде всего литературу с ее внутренней неповторимой эстетической спецификой. Храпченко трактует литературу как отражение социально-классовых процессов, а Лотман рассматривает ее как знаковую систему. При всей разнице между ними (Храпченко — советский идеологический догматик, Лотман — политический вольнодумец) их объективно объединяет неспецифичность подхода к литературе, взгляд на нее извне, а не изнутри.

И четверть века спустя, 25 апреля 2000 года, в записанной на магнитофон беседе (напомню, расшифровка авторизована и напечатана при жизни Панова) он, несмотря на явное несогласие Е. А. Земской, вновь акцентирует:

«Главная задача литературоведов-структуралистов — подвести произведения искусства под общие семиотические законы, показать, что и художественное произведение подчиняется всеохватывающим велениям семиотики. Это главное. Даже у талантливого Ю. М. Лотмана специфичность искусства не получает достаточного освещения.

ОПОЯЗ движется в противоположную сторону...»

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Вспоминается еще, что в лотмановских разборах стихов Панов обнаруживал фонетическую глухоту, подмену звуков буквами. Не жаловал он всякого рода «оппозиции» типа «верх — низ», считал их надуманными и эстетически нерелевантными. Это статический подход к тексту. Тыняновского принципа динамики Лотман, по мнению Панова, не понимал.

Стоило, конечно, еще обсудить с Пановым биографические книги Лотмана — о Карамзине, о Пушкине. Они все-таки свободнее, семиотикой не стреножены. Так или иначе, линия Панова как исследователя исторической поэтики радикально расходилась с литературоведческим мейнстримом.

Я воспользовался формулой «Strong opinions», означающей «глубокие убеждения», «твердые суждения». Так назывался — по-английски — сборник статей и эссе Набокова. Мнения Панова сильны своей системностью. К ним не примешиваются какие-либо личные счеты и венаучные фобии. Они суть проекции того научно-художественного здания, что выстроил Панов. Его разногласия с авторитетными филологами обладают потенциальным эвристическим значением. Потому я и довожу их до сведения читателей. Не с целью кого-то принизить или скомпрометировать, а с целью «мозговой тренировки» (выражение Панова) и нелегкого погружения в поиски истины.

А чтобы Панов не предстал тотальным отрицателем, скажу о том, кого он безоговорочно ценил (помимо опоязовской «тройки»). С удовольствием он рассказывал о том, как на юбилейном вечере Сергея Михайловича Бонди один физик предложил ввести единицу научности в филологии и назвать ее «один бонди». А другой воскликнул: «Так даже «один миллибонди» — это уже хорошо!»

Высоко ценил «Поэтику композиции» Б. А. Успенского. А главное — Панов системно читал критику и литературоведение. Быть прочитанным — не это ли главное для тех, кто пишет научные книги и статьи?

В последнее время с грустью наблюдаю, что филологи мало читают друг друга. В отличие от героев «Пигмалиона» Хиггинса

и Пикеринга, знавших друг друга по научным трудам (помните: «Я же приехал из Индии, чтобы повидаться с вами! — А я собирался в Индию, чтобы встретиться с вами!»?), они знакомятся друг с другом главным образом на конференциях и фуршетах. Доклады слушают, а монографий почти не читают, порой не знают об их существовании. Я уже не говорю о господствующем в филологической среде воинствующем невежестве по отношению к современной словесности!

Есть русское слово «начитанность». Это свойство достигается чтением не для текущей работы, а «просто так», из естественного интереса к литературе и науке. Начитанность Панова была феноменальна, и за ним, конечно, не угнаться. Но сегодняшнее обилие *неначитанных* лингвистов, литературоведов и критиков порой повергает в глубокое уныние.

## ЕГО ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ МЕЧТА

С Пановым всегда интересно, но никогда не бывает легко. Он все время нарушает твой интеллектуальный комфорт. Заставляет что-то менять, переставлять, отказываться от многолетних привычек. Тащит за собой куда-то вверх.

Вот и сейчас предстоит крутой подъем, высокая ступень. Если кто устал — то пропустите эту главу и перейдите к следующей.

Потому что речь пойдет об усовершенствовании русской орфографии. Отнюдь не всем эта тема по душе. Тех же, кого она не пугает, приглашаю на орфографический этаж. Он в пановском научно-культурном здании — один из высших. Он символизирует будущее. Потому об этой теме речь веду ближе к финалу.

В 1918 году состоялась реформа русской орфографии, отмечившая «ять», «ер» в конце слов, написание окончаний прилагательных в родительном падеже на -аго и т.п. Многие по незнанию говорят, что это большевистская реформа. Между тем это культурно необходимое и эволюционно обусловленное преобразование русского письма готовилось с 1904 года подкомиссией Академии наук во главе с академиками Ф. Ф. Фортунан-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

товым и А. А. Шахматовым. В работе подкомиссии участвовал И. А. Бодуэн де Куртенэ, ее идеи поддержал в своей книжке о русском правописании Д. Н. Ушаков.

С начала 1960-х годов научный наследник Фортунатова М. В. Панов готовит следующий шаг по освобождению русского языка от мертвеющих орфографических условностей.

Таковыми он считает написание «ы» после «ц»; «е» под ударением после шипящих («желтый»); двойное написание приставок на «з» («разбивка», но «расписка»); одно «н» в причастиях, ставших прилагательными («крашенные яйца»); пресловутые «одинадцать глаголов»; сакраментальное «оловянный, деревянный, стеклянный»; мучительные, «чисто буквенные» чередования гласных: почему бы не писать: *ростет*, потому что *рост*, *загареть*, потому что *загар*, *плавец*, потому что *плавать* и др.?

Есть здесь предложения относительно спокойные. Например, не писать удвоенных согласных в заимствованных словах, если они не передают двойных фонем (т.е. писать: «паралельный», но сохранить «гамма», «ванна»).

А есть идея ошеломляющая: не писать мягкий знак после «ц», «ш», «щ», «ж» на конце слова или перед другой согласной буквой. То есть: «рож», «сплош», «спрячя».

Во втором номере журнала «Вопросы языкознания» за 1963 год была опубликована статья Панова «Обсуждение вопросов русской орфографии»<sup>1</sup>, где изложены выдвинутые им инновации.

В русской орфографии действуют три принципа: фонетический, фонематический и традиционный. Панов стоит за то, что-

---

<sup>1</sup> Перепечатана под названием «Об усовершенствовании русской орфографии» в кн.: Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1. М.: Языки славянской культуры», 2004. С. 522—537. См. также коллективный труд «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии» (XVIII—XX вв.), подготовленный под руководством Панова и вышедший в 1965 году.

бы расширить сферу действия фонематического принципа. Из теории фонемы, из учения о позиционных чередованиях вырастают все его рекомендации.

С 1962 года существует Орфографическая комиссия при Отделении литературы и языка Академии наук. Председатель — академик В. В. Виноградов. Панов — его заместитель, но фактически именно он архитектор планируемой реформы. Второй заместитель председателя — И. Ф. Протченко, типичный администратор от науки. Именно по его инициативе проект выносится на широкое обсуждение — не в специализированной печати, а в центральных газетах (Панов же считал, что спешить не стоит, что проект еще не вполне готов).

Увидев страшные слова «огурци», «ноч» и «заец», общественность заходится в экстазе протеста. Рассказывали, что возмущенная толпа даже окружала на Волхонке Институт русского языка и выкрикивала проклятья ученым, искажающим русский язык. Панов выступает в «Известиях» (1964, № 244, 246) со статьей «О силе привычки», где терпеливо объясняет, что язык и письмо — разные вещи, что орфография — одежда, которую надо время от времени штопать. Еще сравнивает этот процесс с лечением зубов: «больно, но лечить надо, потому что будет легче».

Панов смотрит в будущее. Орфографические новации болезненны для людей, проживших и проработавших целую жизнь в старом формате грамотности. Им трудно переучиваться. Но ведь реформа может облегчить жизнь новым поколениям — тем, что будут читать и писать по новым, более стройным и логичным правилам. Понимая, а не зубря. Панов верит, что теорию фонемы можно донести до детей школьного возраста.

Фонематическая орфография — это не уступка «безграмотности», это *сверхграмотность!*

Но все решают ретрограды. «Все наши орфографические занятия шли к концу, — будет потом вспоминать Панов. — Было ясно, что по глупости общественности реформа не пройдет». Орфографическую комиссию решают закрыть. Виноградова

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

вызывают с отчетом на Отделение литературы и языка. Приглашен туда и Панов.

Виноградов уже склонялся было под влиянием Панова в пользу фонологии, отходил от представления о том, что русская орфография морфологическая. А теперь собирается заявить публично, что фонемный принцип себя не оправдал. Это грозит сворачиванием не только Орфографической комиссии, но и всех исследований по фонологии в Институте русского языка. Панов говорит Виноградову, что тогда выступит против него с ответным словом. В этом намерении его поддерживает любимый учитель — Владимир Николаевич Сидоров.

Панов говорит об этом еще и с матерью: «Виноградов очень много для меня значит, он очень много сделал для меня. Для науки. Делает добро. Но тут такое критическое положение: он выступит против той теории, которая для меня — жизнь». Мать советует сыну не выступать против академика: «Не делай этого! Ты потом всю жизнь будешь об этом сожалеть!» Он соглашается, но потом его еще долго будут, как он расскажет, грызть сомнения. Отношения с Виноградовым все равно расстроятся. Вскоре, однако, тот уйдет из жизни, а Панова вынудят уйти из академического института.

О несостоявшейся реформе появятся самые фантастические рассказы. Поскольку осенью 1964 года от власти будет отстранен Хрущев, то ему вдобавок к насаждению кукурузы припишут еще и «огурци» через «и». Имя Панова не войдет в широкое читательское сознание даже со скандальным оттенком. Хотя знатоки оценят вышедшую в том году массовым тиражом популярную книжку Панова «И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках». Корней Чуковский в своей книге «Живой как жизнь» напишет: «Всех других авторов превзошел (по части занимательного стиля) талантливый языковед М. В. Панов, умудрившийся изложить самые трудные проблемы русской орфографии так остроумно и весело, с таким избытком затейливых шуток, озорных анекдотов, что его серьезная, глубокомысленная книга, обогащающая чита-



теля целым комплексом идей и знаний, воспринимается как сочинение юмориста: смеешься буквально на каждой странице»<sup>1</sup>.

Впрочем, Твардовский (входивший, кстати, в состав Орфографической комиссии в качестве «живого классика») не даст добро на рецензирование книжки в «Новом мире» (об этом Панов вспомнит двадцать лет спустя, когда выпустит детскую «Занимательную орфографию» и мне удастся на нее откликнуться в новомирской рубрике «Коротко о книгах»).

В 1988 году Орфографическая комиссия будет воссоздана. В 2000 году ее председателем станет Владимир Лопатин, который предложит — не реформу, нет — ряд скромных поправок к орфографическим правилам. Это обернется не слишком громким, но скандалом. Инициатива будет задушена в зародыше, а известный журналист, выступая по телевидению, поставит себе в заслугу: «Я остановил лопатинскую реформу языка».

Здесь хочется процитировать известного филолога Л. В. Зубову: «Опасны ли для языка орфографические изменения, которые предлагались в 90-х годах и о которых так гневно и нервно говорили? Я уверена, что нет. Часто разговоры об этом начинались с выражения «реформа языка». Само это выражение — апофеоз безграмотности. Реформ языка никогда не было и быть не может, как не может быть реформ животного мира. Собственно, и реформы орфографии не планировалось. Предлагалась довольно осторожная коррекция непоследовательных правил — с убедительными аргументами».

Так и хочется воскликнуть: читатель, не произноси сочетания «реформа языка»! Иначе козленочком станешь — в глазах просвещенных потомков.

Увы, безграмотным выражением «реформа языка» и по сей день продолжают осквернять свои уста многие лица, претенду-

---

<sup>1</sup> Совсем недавно, в 2013 году, Максим Кронгауз включил книгу Панова в пятерку лучших книг о русском языке для широкого читателя — вместе с «Живым как жизнь», с книгой Норы Галь «Слово живое и мертвое» и др.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

ющие на статус интеллигента. Что же касается Панова, то он об очередном поражении орфографического новаторства уже не узнает. Не прочитает, например, такого пассажи лингвиста И. Г. Добродомова: «Не так давно общественность отстояла русский язык от ненужного и вредного реформирования. Важно отметить, что большую роль в этом добром деле сыграла Л. А. Путина, которая взяла на себя трудное дело заботы о русском языке». Впрочем, сервильных «делопроизводителей от науки» Панов на своем веку повидал достаточно.

Но как должно оценить проект Панова с точки зрения вечности, с точки зрения того нового века и нового тысячелетия, в котором мы живем? Не слишком ли радикальны были предложенные Пановым поправки к орфографической конституции?

Среди лингвистов есть те, кому близок новаторский дух проекта Панова, но таких, кто до сих пор поддерживает в нем, что называется, каждую букву, почти нет. Все-таки «ноч» и «заец» — слишком решительно, слишком круто.

Недавно я разговаривал с Натальей Александровной Еськовой, которая полвека назад была энтузиасткой орфографической реформы. «Заец», говорит она, предложен именно ею — чтобы устранить исключение в чередовании е/й, чтобы сделать по общему правилу: китаец — китайца, заец — зайца. Потом она к пановским идеям охладела. По ее мнению, Панов не столько ученый, сколько человек искусства. Больше творец, чем исследователь.

Что ж, рассмотрим и такое мнение. И поглядим на орфографический проект 1964 года как на произведение искусства, как на авангардный арт-проект.

Тут опять будет уместно сравнение с башней. Строгая и стройная архитектурная конструкция. Сверху донизу выдержан единый принцип — фонематический: от безударных гласных в корнях слов до слитного написания наречий («вобрез», «насовесть»). Нет зыбких условностей: это мы будем считать причастиями, а то — отглагольными прилагательными. Или: это наречия, а то — наречные выражения.

Кстати, недавно Валерий Попов назвал свою повесть «Плясать досмерти» — так и напечатали в журнале, а в книге потом раздельно. Но этому естественному написанию наречия все еще противостоит школярское правило: некоторые существительные с предлогами *без, до, с, на*, хоть и стали наречиями, а все равно пишутся раздельно. Заучить это можно, но пользоваться — нет. Вот такие мертвые правила и отбрасывает система Панова. В архитектуре подобная открытость по отношению к жизненной практике, кажется, называется функционализмом.

Так что несостоявшейся Орфографией-1964 можно любоваться как непостроенной татлинской башней. Такой же памятник мечте.

Но обратите внимание: в каких городах и странах авангардные сооружения воздвигаются чаще и постепенно вписываются в исторически сложившиеся ансамбли? В странах и городах с высоким уровнем цивилизационного развития. Стеклянная пирамида во дворе Лувра, гигантское яйцо в Лондоне... В странах менее продвинутых скорее воздвигнут грозный монумент очередного Ким Ир Сена или что-нибудь монструозное из мастерской Церетели.

Так и с реформами письменности, которые прошли в благополучных Японии, Норвегии. Нам же не до того и еще долго будет не до того.

Для орфографического проекта Панова нужен другой социальный контекст. Вот если бы такую реформу обсуждало общество, где все в порядке с социальным обеспечением, со здравоохранением, с жилищным вопросом, с пенсионерами и детьми... А пока у нас речь о куче просроченных векселей, выдававшихся властью в последние сто лет. О реальной угрозе экономического краха и территориального распада страны.

Дело идет не просто об орфографии. Дело идет о России.

Если окончательно рухнет наш «третий Рим», если Россия как таковая уйдет в прошлое, то и русский язык (число говорящих на котором, увы, во всем мире неуклонно сокращается) законсервируется, станет древним и мертвым языком, своего

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

рода латынью. А в латинской орфографии никто уже ничего не меняет.

Но если Россия все-таки будет жить (мы с Пановым в это верим!), она будет развиваться и меняться. На многое тогда посмотрят по-новому, многое вспомнят.

В том числе и орфографический проект Панова.

### ОН ГОВОРИТ

*Фразы Панова, фрагменты из разговоров*

Я тугодум.

Академик Лихачев говорит: «Культура — это память». А я считаю, что культура — это отбор.

Диктор Левитан слова произносит по буквам.

Лидия Гинзбург хороша только тогда, когда в ней пронюхивается Тынянов. А это бывает редко.

Писателя судят по его «верхам», а читателя — по его «низам».

Три признака социалистического реализма:

- искусственно внедренная идея;
- иллюзорное правдоподобие в мелочах;
- плохой язык.

Режиссеров обвиняют в «искажении классики». Но, вернувшись домой из театра или кино, откройте свой книжный шкаф — и вы убедитесь, что классика на месте, цела и невредима.

О двух линиях современной поэзии. Для Вознесенского, Ахмадулиной, Мориц, Сосноры важны просветы, сквозное. Бродский, Кривулин, Жданов — это вязкость мира.

Говорят, что у Солоухина «проза поэта». А по-моему, — у него стихи прозаика.

Неологизмы — это слова вечной молодости.

Комментарий должен быть предельно краток. Объяснять только то, что необходимо читателю для эстетического восприятия данного текста. Вот у Маяковского в «Облаке в штанах» читаем: «сквозь свой/до крика разодранный глаз/лез, обезумев, Бурлюк». Кто-то, кажется, Осип Брик, хорошо сказал, что эти строки надо комментировать так: «Давид Бурлюк — поэт, друг Маяковского, одноглазый». И больше ничего не нужно.

Говорят, что маршал Жуков «противостоял» Сталину. Ну да, он ему противостоял. В том смысле, что он был против того, чтобы его, Жукова, расстреляли.

Появилась песня с такими словами: «Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным». Антоним простого здесь — «вздорный». То есть любая сложность заведомо оказывается вздором.

Вокруг вас роятся? Мне кажется, что вокруг вас должны ройтись.

То, что он сказал, — это не мысль. Это даже не говорение. Это вроде урчания в животе.

Читая стихи, наслаждайтесь непониманием.

## КАКО ВЕРУЕШИ?

Семидесятые годы были для гуманитариев нашего поколения временем не то богоискательства, не то богостроительства — в общем, религиозного самоопределения. Все искали свою

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

«нищу», а кто-то пытался и собственную «нишку» выкопать. Причем в рамках христианского сознания — буддистскими или какими-то еще выкрутасами тогда не щеголяли.

Панов в этом смысле оказался нов, непривычен. Его последовательный эстетизм, беспощадность к научной и творческой слабости показали мне какими-то сверхчеловеческими. Не ницшеанец ли он? Не помню, в каких словах спросил я его, не считает ли он, что «бог умер», а христианство устарело.

— Нет, — отвечает. — «Жизнь свою за други своя» — это великая и прекрасная идея.

Иронизировал по адресу наивно-материалистического атеизма:

— После полета Гагарина стали говорить и писать: мол, никакого бога он в небесах не увидел. А одна простая женщина где-то сказала: «Совсем нас за дураков считают! Как можно Бога увидеть? Разве ж он тварь?»

Однажды слышим мы на научном собрании, как некий деятель докладывает о составлении словарика для национальных школ. Включать ли туда слово «бог»? Предлагает включить со следующим определением: «тот, кого нет, не было и никогда не будет». И торжественно выкликает это, прямо как лозунг «К победе коммунизма!» — как Понтий Пилат в известном романе кричит про царство истины: «Оно никогда не настанет!»

Потом мы от души посмеялись над товарищем.

Но... Примерно в то же время слышим от Панова:

— А я говорю Оле Седаковой: «Что-то ваш Христос слишком часто пугает геенной огненной». Она: «Да нет...» А я ей: «Именно так в тексте Евангелия».

Семь раз слово «геенна» очень угрожающе звучит в Евангелии от Матфея. Много это или мало? Не нам решать. А Панов мне в этом эпизоде напоминает Блока в его разговорах и переписке с глубоко верующим Евгением Ивановым: «Христа никогда не приму». Здесь ведь ситуация диалога. С атеистом, может быть, и Блок, и Панов говорили бы совсем иначе.

В середине 1990-х годов Панов говорил, что его возмущает «нахрап попов», требующих вернуть Православной церкви «Троицу» Рублева, храмовые здания и т.п. Восстановленный храм Христа Спасителя вызвал у него отторжение — прежде всего по эстетическим причинам. О чем он говорил шутя, но с известной долей серьезности:

— Когда построили этот храм заново, мне захотелось его взорвать. И я стал собирать нитроглицерин. Я его принимаю как сердечное лекарство, но если много собрать, то получится взрывчатка. Они про мой план прознали и велели в аптеках отпустить не более двух упаковок.

Но отношение к церкви и к Богу — не совсем одно и то же. Вспомним, что рассказывал Панов о своей матери, нецерковном, но безусловно религиозном человеке. Может быть, с ней он говорил на эту тему с полной откровенностью. Со многими же, полагаю, он часто делился мыслями и эмоциями текущей минуты.

Ольга Седакова пишет об обращении Панова в последние годы жизни: «В какой-то газете он прочел о случае на дороге: лосенок увяз в болоте, и лосиха пошла к трассе, ища помощи и обращаясь, как могла, к людям. И кто-то ее понял, пошел за ней и спас лосенка». Панов сказал: «Это она. Это Богородица».

Неожиданное слово в его устах. Л. Б. Парубченко рассказывает: «В 1998 или 1999 г. я отправила Михаилу Викторовичу Коробейниковскую икону Казанской Божьей матери — она была в формате открытки, и я послала ее в письме. Это одна из красивейших икон Богородицы, и я знала, что Михаил Викторович это оценит. Икона чудотворная, на обороте открытки была кратко изложена история ее спасения и чудесного самовосстановления. Михаил Викторович поставил ее на своем столе и говорил, что она ему помогает».

Попутно Любовь Борисовна поведала мне об одном эпизоде, неизвестном прежде: «В годы работы Панова в Мосгорпединституте им. В. П. Потемкина партийная организация взялась за просвещение преподавателей: тройки партийцев ходили по

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

домам преподавателей и под видом изучения условий их жизни собирали сведения о тех, кто держит дома иконы. Таких увольняли под разными предлогами. Михаил Викторович рассказывал: «В нашем доме всегда висела икона. Я говорю: «Папа, меня уволят. Надо снять». — Отец долго молчал, а потом сказал: «Миша, если икону снимут, я умру». — Икона осталась на прежнем месте, но представьте себе, в каком напряженном ожидании мы жили. А кончилось тем, что в тот день, когда должны были прийти к нам, одну из «тройки» вызвали в Отдел народного образования, у другой приключился день рождения, а третья одна не пошла. Мы были спасены».

Не случайно Панов вспомнил об ужасах карательного атеизма и чудесном от него спасении в свои самые последние годы, когда вера могла стать для него, как и для отца, способом prolongation жизни и трудов...

Ищем мы бога, а Бог в это время ищет нас. И длится этот диалог до самого последнего мгновения, и уже после прощания с близкими последнюю реплику человека слышит только его вечный Собеседник.

## О ЛЕНИНЕ

Во время одного из первых наших разговоров в НИИ нацшкол Панов размышляет:

— Есть люди, которые определили характер двадцатого века. И, наверное, Ленин к таким относится.

Вяло поддакиваю, потому что содержательного ответа у меня нет. Будучи школьником, декламировал со сцены «Разговор с товарищем Лениным», да и поэму Маяковского знал почти всю наизусть. Мой пафос, впрочем, начали уже тогда подтачивать анекдоты про Владимира Ильича, Надежду Константиновну и Феликса Эдмундовича. А к моменту нашего с Пановым разговора совсем недавно был прочитан «Архипелаг ГУЛАГ», который нас с Олей, как многих тогда, «перепыхал». Оказалось, что Ленин был реальным основоположником сталинизма.



Что касается Панова, то ему доводилось цитировать речения Ленина о русском языке в монографиях и учебниках, причем делал он это не совсем чтобы конъюнктурно. Была у него определенная человеческая привязанность к вождю социалистической революции. И вот почему.

Панов — демократ.

Это утверждение прошу понимать примерно так, как звучат в романе «Идиот» слова Аглаи о Мышкине: «Князь — демократ». Панову был в высшей степени присущ аристократический демократизм российского интеллигента. Он демократ не по абстрактным взглядам, а по душевному строю. И социально-нравственная атмосфера 1910-х годов ему отнюдь не представлялась справедливой и нравственной. Хамство и жестокость богатых, презрение к простому человеку — то, о чем писала художественная литература, что слышал Панов из рассказов старших, — все это, по его ощущению, не могло не привести к революции. Здесь он рифмуется с Блоком.

Дворянскую спесь Панов осуждал даже в Пушкине. Не нравилось ему, как поэт расправляется в эпиграмме с незнатным Надеждиным: дескать, Аполлон его «поставить в палки приказал». Палочность — даже метафорическая — была Панову глубоко противна.

Не одобрил он и главу «Жизнь Чернышевского» в романе Набокова «Дар». Из-за насмешек над бедностью Чернышевского: тот чернилами закрашивал дырку в чулке. («Что делать?» Михаил Викторович, кстати, называл «экспериментальным романом».)

Панову (как и многим) Ленин виделся воплощением духа демократизма — при всем его робеспьерстве. К тому же в обширном ленинском наследии есть более или менее здравые афоризмы и лозунги, которые можно было использовать в спорах с советскими ортодоксами. Вот Панова прорабатывают за письмом в защиту Сиявского и Даниэля. А он свое — о талантливости статей Сиявского, напечатанных в советских журналах: «Я нахально говорю: <...> Еще Ленин учил, что талант надо

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

беречь. <...> Это он в своей статье об Аверченко, где он явно так иронию использовал». Ленинская амбивалентность все же давала возможность ссылаться на него как на гуманиста в спорах с откровенными людоедами.

На какое-то время ленинская тема исчезает из наших разговоров, потом, в девяностые годы, возвращается, уже под знаком анекдотической иронии. Вот реплика Панова:

— Очень уж он любил песню «Смело, товарищи, в ногу!» Спели ее хором, кто-то предлагает перейти на другую песню, а Ленин ни в какую: «Нет, снова будем петь «Смело, товарищи...»

Увы, догматизм и ограниченность вождя к концу столетия прорисовались как главные его черты. Прочитали мы гору антиленинской литературы, спорить с которой невозможно. Тем не менее Панову не понравилось оформление двухтомника Д. Волкогонова, где на обложке второго тома помещен фотопортрет Ильича в последний год жизни — с выпученными глазами и идиотским выражением лица. Неблагодарно так издеваться над больным человеком.

Да, исторический вексель остался неоплаченным. Образ Ленина рассыпался, растаял. Ничего от него не осталось.

Но чему радоваться-то?

## О ГОРБАЧЕВЕ

На домашней сходке лингвистов в 1985 году наряду с научными проблемами обсуждается новый генсек. Панов настроен скептически: нет, это не тот человек, который смог бы что-то радикально изменить в стране.

Однако «процесс пошел», меняется и сам Горбачев, и отношение к нему. Вот запись в дневнике Лизы Новиковой от 22 октября 1994 года: «Когда речь зашла о политике, Панов сказал, что выделяет из современных деятелей Горбачева, у него действительно была идея, он был мыслящим человеком. Причем

Горбачев — пятый. Первый — Петр I, вторая — Екатерина, третий — Александр II, а четвертый — Ленин».

Для Панова, помнится, лакмусовой бумажкой стали слова нового лидера: «общечеловеческие ценности выше классовых интересов». Их Панов цитировал не раз и в конце концов выписал Горбачеву... пропуск в рай.

Да, 27 февраля 2001 года в уже цитированной выше беседе он говорит: «Все-таки я радуюсь тому, что я дожил до нашего времени, до горбачевского и послегорбачевского времени». А потом, вспоминая время жестокой цензуры, признается, что не верил в возможность ее преодоления: «Мысль была такая: эти не отпустят, человечности не будет. И то, что свершилось, — это чудо! Я вот уверен, что Михаил Сергеевич себе рай заработал и будет непременно в раю, а так как я там не буду, то, значит, мы с ним и не поговорим никогда».

Восьмидесятилетний Панов сохраняет абсолютную ясность мысли, говоря и о себе, и о бывшем президенте с легким ироническим оттенком. Главное для него как труженика науки и литературы — то, что при Горбачеве рухнули цензурные преграды, отброшены идеологические догмы. Ну, а проблемы экономики... Разрешимы ли они у нас вообще?

## «ОНИ ПЕРЕШЛИ В ДРУГОЕ СТАДО»

Это пановское присловье мы слышали многократно. В конце концов он передал его нам — как ему самому мама передала принцип «Каждый имеет право на несогласие».

В слове «стадо» здесь, конечно, слышится переключка с «Доктором Живаго», с теми раздумьями, которые Пастернак транслировал через дядю главного героя — Николая Николаевича Веденяпина: «Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно, верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут лишь одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно».

«Они перешли в другое стадо» — так Панов говорил о неопитах вольнодумства. О тех, кто из советского единомыслия

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

шагнул в такой же догматический антисоветизм. Кто с этим антисоветизмом носится как с писаной торбой. Кто нетерпим к чужой точке зрения и не признает за собеседником права на несогласие.

Да кто из нас не был кухонным антисоветчиком в семидесятые годы? В стране насчитывалось восемнадцать миллионов членов КПСС, но мне не довелось слышать хотя бы от одного человека — партийного ли, беспартийного — в неформальном разговоре одобрительного слова о ЦК КПСС и лично товарище Леониде Ильиче Брежневе. Над «бровеносцем» потешался весь «антисоветский Советский Союз» (пользуясь формулой Владимира Войновича).

В НИИ нацшкол на площадке перед входом пятого этажа висел бумажный плакат с портретом Брежнева и цитатой из его очередного доклада: «Мы ни дня не стоим на месте, мы все время идем вперед». Нам с Пановым послышалось здесь двустигшие ахматовского дольника: ну совсем как «И валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл». Для смеху присочиняли к цитате из Брежнева предваряющие ее два стиха. Вроде: «Этот тип без ума и чести беспардонно и нагло врет: “Мы ни дня не стоим на месте...” — и далее по тексту.

Таков был общий идейно-политический фон. И на фоне этом не очень симпатично выглядели те, кто как-то кичились радикальностью своих прогрессивно-вольнодумных взглядов, пытался психологически возвыситься над остальными. Особенно в глазах Панова, который реально претерпел за свою непокорность властям пререждающим.

Одно дело — личность, вступающая в спор с режимом по своим индивидуальным резонам. Таких людей Панов, естественно, уважал: Синявский, имевший «стилистические разногласия» с советской властью, был ему близок, что Панов доказал делом. И совсем другое дело — псевдолиберальная тусовка, сочетающая реальный конформизм с притворной фрондой. Таких людей и в литературной, и в филологической среде всегда было предостаточно.

Как правило, они не отличались большими научными или творческими талантами и *антисоветской ортодоксальностью* стремились компенсировать дефицит иных достоинств. И, конечно, искать истину в одиночку они не были склонны. Им необходимо было присоединиться, прибиться к какой-то общности, к «другому стаду».

Чем подобные люди вызывали особенную антипатию Панова — так это их идейным ригоризмом в оценке литературы и искусства. Одна коллега, вполне достойная как ученый-лингвист и как исследователь поэтической речи, впала в односторонность в оценке Маяковского. Не могла простить ему сотрудничества с советским режимом и на этом основании отлучала его от поэзии как таковой. Как резко спорил с ней Панов! На грубость, конечно, не переходил, но сдерживал свой пыл с огромным трудом.

Не соглашался он и с теми, кто осуждал катаевский «Алмазный мой венец» по политическим и моралистическим соображениям. Для него это был прежде всего полноценный литературный факт.

По выходе трифоновского «Дома на набережной» эту повесть присяжные прогрессисты отнюдь не принимали на ура. Многим не хватало в ней однозначных оценочных акцентов, черно-белого разделения персонажей в духе Дудинцева. Панову повесть понравилась сразу. Мы обсуждали характер главного персонажа Глебова и пришли к общему выводу, что это не однозначный злодей, а нормальный советский научно-литературный начальник. Такие люди возглавляли тогда и научные, и учебные институты.

— Глебов — это как К., — говорил Панов, называя фамилию одного вполне добропорядочного (и до сих пор здравствующего) языковеда.

Стадность — это для Панова чрезмерная политизация мышления. Те, для кого наука и искусство важнее политики, тяготеют к философичности и всепониманию. И не склонны к телячьим восторгам в ситуации иллюзорного политического подъема.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

То воодушевление, что пережил Панов в связи с горбачевской гласностью и отменой цензуры, отнюдь не распространилось на ельцинскую эру. Вот в 1990 году он приходит в свой НИИ, а там сплошное ликование. «Откуда такая радость? — Так ведь Ельцина выбрали Председателем Верховного Совета РСФСР». Панов рассказывает об этом иронически-отчужденно.

Неисправимый индивидуализм Панова не позволял ему вступить, так сказать, в «диссидентуру». Неофициальный термин означал тех интеллектуалов, которые подвергались притеснениям за политическое вольнодумство, но в то же время пользовались системной поддержкой оппозиционных кругов. Панов же умудрился схлопотать крупные неприятности и при этом не получить никаких «пряников», даже моральных. В обширной литературе о деле Синявского и Даниэля пановское письмо в их защиту, посланное Брежневу, просто не упоминается. Не говорили о Панове западные радиостанции. А когда началась перестройка, многие энергичные и благополучные люди стали задним числом выправлять себе справки о том, как героически боролись они с советской властью. Тут надо было, что называется, шустрить, а на это Панов был решительно неспособен.

Показательная размолвка приключилась у него с одним из корифеев перестройки и гласности Юрием Карякиным. Юрий Федорович — известный вольнодумец, друг Окуджавы и Высоцкого, входивший в своего рода антисоветскую элиту. Человек достойный во многих отношениях, но...

Панов рассказывает, как они встретились за столом у писательницы Натальи Ильиной (вдовы Реформатского, как известно). Карякин вдруг начинает говорить о том, как лжива была речь Сталина у ленинского гроба в 1924 году. А Панов (сам антисталинист с большим стажем): да нет там явной лжи, есть страх, растерянность, но не сознательный обман.

Вот ведь педантизм ученого: подавай ему точность и достоверность. А Карякин — человек увлекающийся, романтичный, в своем антисталинском пафосе прибегающий к гиперболам. В общем, два неконформиста не нашли в итоге общего языка.

ка. Разного рода бунтарство было у них: Карякин всегда входил в хорошую вольнодумную компанию, а Панов — сам по себе, без «группы поддержки».

## ПОЧЕМУ НЕ ВЕРНУЛСЯ

Лихие девяностые... Согласен их так называть — с учетом того, что слово «лихой» двусмысленное. Это отмечено еще в Далевом словаре, где к его «благому» значению даны синонимы: молодецкий, хватский, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухорский, смелый и решительный.

Кое-что сдвинулось и у Панова. Весной выходит двадцать лет пролежавшая в шкафу «История русского произношения XVIII—XX вв.». Выходит под грифом Института русского языка, причем ради этой книги коллеги Панова по сектору откалзались на целый год от собственных изданий.

К семидесятилетию Михаила Викторовича подготовлен коллективный сборник «Язык: система и подсистемы». Полиграфически скромный, но по содержанию довольно смелый и решительный. С очень неформальным предисловием М. Я. Гловинской и С. М. Кузьминой: они вспоминают, как московскую фонологическую школу (МФШ) его ученики именовали «МВШ» (обыгрывая инициалы Панова), а периодизацию ее истории обозначали формулой «московская школа — новомосковская — паномосковская». В первой же статье «Русские речевые акты «поздравлять» и «желать» М. Я. Гловинская под видом лингвистического разбора выражает общую любовь к юбиляру. В статье Е. А. Земской «Речевой портрет ребенка» объектом исследования явился растущий в семье филологов четырехлетний информант по имени Миша. Деликатно не сказано, что это внук Елены Андреевны, нареченный родителями в честь Панова. Есть в этом сборнике статья Л. П. Крысина о Панове-социолингвисте, моя статья о Панове-литературоведе, названная цитатой из Хлебникова — «Сентябрь очей».

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Семидесятилетие отмечали, и неформально. К двадцатому июля (это реальный день рождения Панова, в отличие от паспортной даты 21 сентября) Елена Андреевна затеяла коллективное стихотворное поздравление на мотив пушкинского «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?», и коллеги-друзья вписывали туда свои дистихи о научных свершениях юбиляра, после чего следовал рефрен «Слава Михайле Панову!» Мой дистих, естественно, был посвящен исследованиям поэзии, и пентаметрическая строка звучала так: «Кнотрами прочно связав душу и тело стиха».

Вспоминая четверть века спустя это весеннее для филологии время, задумываюсь: почему не произошло тогда возвращения Панова в большую жизнь?

Друзья и ученики Панова в это время начинают активно ездить за рубеж. Елена Андреевна Земская читает лекции в США. Сама она специалист по словообразованию и по разговорной речи и, чтобы расширить лекционный формат, активно консультируется у Михаила Викторовича. Он, как всегда, щедр, но как-то в телефонном разговоре с Олей прорывается у него грустное:

— Лена Андреевна едет в Америку преподавать фонологию. Мою фонологию...

Почему Панов в эти годы ни разу не съездил за границу? Только ли по нездоровью? На международных рейсах иногда видишь совсем дряхлых стариков, а порой и в инвалидных колясках.

Почему не пригласили его на приличную преподавательскую или исследовательскую должность? Он по-прежнему остается в НИИ национальных школ, который переименовывается в Институт национальных проблем образования, а потом переделывается в какой-то центр, в котором ученых места уже нет. Профессорская кафедра у Панова — в так называемом Открытом университете, над названием которого он подшучивает, сравнивая его с Открытым шоссе, на котором живет: дома только по одну сторону, а по другую — пустырь.



Не позвали Панова в более престижное место? Или он сам не пошел, не захотел? Помнится, я, оказавшись ненадолго в Литературном институте имени Горького, осенью 1990 года предпринимаю попытку пригласить туда для чтения спецкурса Михаила Викторовича. Возникла там некоторая вольница, приходили свежие люди...

Однако при первой же попытке нащупать почву я слышу от Панова решительное «нет». Отчего?

— У Макаренко в «Педагогической поэме» есть такой эпизод. Несколько воспитанников говорят: «Мы агрономы». Их спрашивают: как? Ведь для того чтобы быть агрономами, надо иметь квалификацию, знания, умения. А они свое: нам сказали, что мы агрономы. Так и в Литературном институте, где студентам говорят: вы писатели. А они никакие не писатели.

Оторопел я, нашел потом упомянутый эпизод в книге Макаренко, но так ничего и не понял. Ну, есть среди литинститутских студентов придурки, по пьянке именующие себя гениями. Но не все же там такие! Преподавали там Бонди, Томашевский. Реформатский преподавал! А Панову это место не по душе. Даже обиделся я немного. Но ненадолго. Сам вскоре с этим заведением расстался.

— И хорошо, — говорит Панов, услышав о моем уходе. — Пусть лучше еще одну книгу напишет.

Напишу, и не одну. Уже преподавая в МГУ. Ведь писание книг не требует полного «отрыва от производства». «Русский письменный» (то есть рукопись дома на столе) вполне согласуется с «русским устным» (то есть с лекциями и студентами). Сам же Панов внутренне нуждался в вузовской кафедре и продолжал преподавать до конца жизни — студенты уже приходили к нему домой. Ему это нужно было, чтобы давать, а не чтобы получать.

Но не в этом дело, а в постоянной готовности Панова утешить близкого. Вот его письмо к нам в декабре 1992 года (очень характерный образчик пановского эпистолярного стиля). Время у нас не самое легкое: мы оба «свободные художники», стабиль-

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

ный источник дохода — только Лизина студенческая стипендия. Но — пишем, печатаемся. А Панов нас читает и с неподдельной веселостью отзывается:

*Дорогие Ольга Ильинична,  
Владимир Иванович,  
Елизавета Владимировна!*

*Читаю я номер «Независимки» (!), клюнул где-то внутри, несколько строк... Интересно! Про Любимова. Про перевод. И пошли-полетели острые, увлекательные мысли: о том, что перевод не копия, не маска с мертвеца, а творческое пересоздание; он сродни пародии, полноценное творчество. Тут я глянул на фамилию автора: кто же это пишет? И радостно прочел: Ольга Новикова! Значит, у Новиковых создается семейная филологическая школа. В основе у них, Новиковых (= у вас), мысль о том, что литературный процесс включает трансформированные тексты: переводы, пародии, пересказы (например, Белинский умел пересказывать худ. произведения, сильно их переиначивая), творческие, не рабские подражания, подвлиятельные повестушки (то есть написанные под чьим-то влиянием, но живые) и т.д. В каком отношении эта линия — пересозданий, трансформаций — находится к общей эволюции литературы? Тут стоит подумать! А не заявите ли вы, что это — трансформированность — общий закон самодвижения художества? Что-то передвинули — глядь, а весь текст перевернулся и запел по-другому!!! Например, классицизм — это восторг перед внешним; и чем внешнее предмет песнопения, тем сильнее восторг. Сентименталисты повернули, переключили одну штучку: обратили восторг на себя, на свой внутренний мир. У классицистов поток, река, ручей (лучше громыхающий поток!) — это река врем'эн, она уносит великое, громадное... А сентиментал — раз! — и повернул крантик. Получилось: восторг перед собой, перед своим внутренним миром... И поток, река, ручей (лучше интимный ручей!) уже*

лется, отражая любвеобильный мир сентиментальщика... Переделка в том, что сдвинута на шахматной доске одна фигура — и вышло совсем иное... Перевели державинское по-карамзински — получился сентимент!

Очень интересные открываются перспективы...<sup>1</sup>

А то еще читаю: «Букериада». Владимир Иванович написал. Сочетание пародии и критической статьи. О разных явных и невидимых авторах (уж не поручики ли они Кижэ?). Самое это сочетание жанров ведет к мысли: а не является ли всякая критическая статья пародией? Разве Белинский не пародировал — бессознательно — Пушкина? То-то он и устроил какой-то бурлеск, переодевание, маскарад с Татьяной Лариной? Перевел Ленского из одного регистра в другой?

Когда пишут Новиковы, в их статьях кружится вихрь мыслей. И увлекает читателя в это вихревание... А тут еще и Елизавета Владимировна начнет писать статьи, уж это будет, скажу я вам, совершенно вихревое, увлекающее в себя мышление!

Ваш ПановМВ

Письмо и человеческое, и литературное — в духе пушкинского времени. Целый ансамбль теоретико-эстетических мыслей, которые уходят далеко от непосредственного повода.

Перечитывая, вижу, как пановские мысли о «сентиментале» и «сентиментальщике» послужили для меня толчком к повороту в литературной работе. Поддержка Панова была важна и для двух других адресатов.

Панов самодостаточен. Избитое слово, но к этому человеку оно применимо. В своей жизни он был как дома. Для самоутверждения ему не нужно было никуда ездить, «светиться», сидеть в президиумах.

Но людям, науке, культуре он был так нужен. Девяностые, куда же вы глядели?

---

<sup>1</sup> Здесь, м.б., разгадка того, что писал ЮНТынянов: может существовать серьезная, не смеховая пародия. Очень хочется написать трагедию, которая была бы пародией комедии! (прим. М.В. Панова).

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

### «ОН УГАС»

Вспоминать бы да вспоминать, но повесть идет к концу. Как и жизнь.

Встречи все реже. О них не так легко договориться, поскольку настигшая Панова глухота усиливается, слуховым аппаратом он пользоваться не любит. К телефону не подходит. Иногда приглашает нас через Елену Андреевну. Сам уже не звонит, стесняясь своей глухоты.

Теперь о самом главном, заветном и завещательном.

В 1998 году выходит сборник стихов Панова «Тишина. Снег». Он с удовольствием дарит белую книжечку друзьям. Внутренне утвердившись в статусе поэта, начинает складывать второй сборник — «Олени навстречу» и в основном успевает его подготовить.

В 1999 году Панов дарит нам последнюю свою прижизненную книгу — «Позиционная морфология русского языка». Подъем с фонетического этажа на морфологический, где прослеживаются те же законы сочетания и чередования языковых единиц. Последние главы называются «Окно в лексику» и «Окно в синтаксис». Вектор задан. Послание науке будущего отправлено.

Говорит о том, что хочет написать книгу «Язык». Не успеет, но контур этого научного здания намечен в «Позиционной морфологии». Общефилологический пановский пафос светит отсюда достаточно ярко. И еще очень важен курс, прочитанный в 1995–1996 годах в Московском открытом педагогическом институте. Его вполне можно считать научным завещанием Панова. Один из студентов — Алексей Цумарев (ныне профессиональный лингвист) — вел аудиозапись лекций, и Панов, видя это, стремился обобщить весь опыт Московской лингвистической школы, донести его до будущих учителей в ясной и прозрачной форме.

Л. Б. Парубченко задумывает расшифровать лекции с целью последующей публикации. Панов в ноябре 2000 года пишет ей: «Я бы очень хотел сохранить в печатном курсе разговорность

речи, и даже усилить ее, чтобы получилась беседа с учителем, разговор на равных, а не вещание опытности и мудрости...». Книга под названием «Лингвистика и преподавание русского языка в школе» пришла к читателю в 2014 году. К ней приложен аудиодиск, где звучит живой голос Панова с его трогательной картавостью. Начинается курс с лексики, а завершается разбором поэтических текстов Пушкина, Аполлона Григорьева, Анненского, Мандельштама, Маяковского. В конце — несколько стихотворений Панова. В общем, я назвал бы эту книгу «введением в пановистику». С нее можно начинать знакомство с героем этой повести.

В 2017 году в том же издательстве «Языки славянской культуры» вышел обширный том Панова «Язык русской поэзии XVIII — XX веков. Курс лекций». Его подготовила Т. Ф. Нешумова. Она расшифровала аудиозаписи лекций из архива Института русского языка и пополнила их фрагментами из студенческих конспектов.

А еще Панов на исходе жизни задумывает книгу «Диалоги об искусстве» — обобщение своей эстетики. Не успеет. Вот это жальче всего. Если бы острые лучи пановских мыслей об искусстве сфокусировались в едином тексте — это был бы прорыв. Да еще в диалогической форме — с пониманием того, что эстетике как воздух необходимы антитетичность, антиномичность. «Каждый имеет право на несогласие»...

Работать Панов не перестает до самого конца. Своей истории русской поэзии, развернутой в лекциях, спешит придать письменный вид. Вспомним: началось это с тетрадки, отправленной Чуковскому. Исследовательская дорога длиной в шестьдесят с лишним лет...

— Мне бы еще два месяца, чтобы все закончить, — говорит он осенью 2001 года.

Эти слова запомнила Галина Николаевна Иванова-Лукьянова. Она той осенью опубликовала в журнале «Русский язык» (приложение к «Первому сентябрю») очерк «М.В. Панов — педагог» и привезла его Михаилу Викторовичу.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Пановский лингвистический, литературоведческий, эстетический проекты таковы, что одной человеческой жизни для их реализации недостаточно. Да и одной личности для решения такой сверхличной гуманитарной задачи мало. Такому стратегу мысли очень не повредило бы исследовательское войско...

В том году я выпустил беллетристическую книгу «Роман с языком», где главный герой — лингвист по профессии. Он оказывается не «человеком науки», а «человеком жизни». Любовные эмоции захватывают его сильнее, чем проблемы морфологии и синтаксиса. Для сюжетного контраста нужен был настоящий ученый. Исполнителя на такую роль долго искать не пришлось. Оставалось только переименовать его в Петра Викторовича Ранова. Фамилия отнюдь не нарочитая: в каталоге библиотеки есть диссертанты, которые ее носят. Но, конечно, фамилия говорящая: рано пришел этот человек, опередил время, и судьба его — рана. (Дочь Лиза увидела здесь еще и РАН, отделение литературы и языка которой мог бы возглавить такой ученый.)

По ходу сочинения романа я почувствовал, что Панов слишком велик для такого сюжета, что он должен быть главным героем, причем в произведении нон-фикшн. Присутствие Ранова было сведено к минимуму, но совсем обойтись без него было невозможно.

Как понравится Панову такой реальный персонаж в вымышленном повествовании? С одной стороны, я уже рассказывал вкратце его реальную биографию в одном эссе, опубликованном в «Синтаксисе». Панов это читал, кое-что оттуда даже цитировал в своей статье о Хармсе. С другой стороны, не было еще в истории отечественной словесности случая, когда прототип одобрил бы произведение, где воплощены его реальные черты, где он похищен из жизни и перемещен в виртуальное пространство.

А, ладно, семь бед — один ответ. Просим Е. А. Земскую организовать нашу традиционную встречу. Готовимся. Но третьего ноября 2001 года Елена Андреевна звонит со словами:

— Он угас.

Четвертого ноября — отпевание в храме Илии Пророка в Обыденском переулке, шестого — панихида в Институте русского языка, порог которого он не переступал тридцать лет — с момента ухода.

Остался гордым до конца.

Все-таки он застал двадцать первый век. Верю: этот век его поймет.

## СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ

Об итоговом смысле своей жизни Панов во время наших встреч высказывался дважды. И диаметрально противоположным образом.

Оба суждения прозвучали задолго до его кончины, в спокойной обстановке, без особенного пафоса или же самоумаления.

Версия первая.

— «Мир ловил меня, но не поймал». Это слова Григория Сковороды. «Мир» здесь, правда, в религиозном значении. Но если убрать этот оттенок, то я, наверное, могу сказать о своей жизни: мир ловил меня, но не поймал (*со светлой улыбкой*).

Мы согласно киваем.

Версия вторая.

— А может быть, я просто лопух? (*с грустной усмешкой*)

Мы растерянно молчим. Прозвучавшие слова очень доверительны, но на них не ответишь элементарно-вежливой: «Нет, что вы!»

Попробуем теперь понять Панова, совместить эти две несовместимые точки зрения на самого себя и собственную судьбу.

Он — личность философского масштаба. Его драма необъяснима на социально-психологическом уровне. Он из тех людей, которые каждым поступком своим выясняют отношения с миром. Миру бросают вызов, а не окружающим людям и даже не власти. Мир в ответ беспощадно испытывает их на излом.

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

Панов не сломался. Он до последнего дня работал, строил (и в основном достроил) свое научно-художественное здание. Занимался только тем, что ему было по-настоящему интересно: будь то морфонология, поэтика или изучение состава слова в национальной школе.

Адекватно высказался как поэт. Сложил стихов ровно столько, сколько велела ему русская муза — не меньше, но и не больше.

Получал истинное, непритворное наслаждение от хороших книг, от общения с интересными людьми всех возрастов. Заслужил их любовь и благодарность.

Мыслил. Развивался. В семьдесят пять лет понимал в жизни, языке и искусстве больше, чем в семьдесят. (Это, пожалуй, самое редкое качество.)

Сохранил внутреннюю гармонию, которой мир хотел его лишить.

Панов не слишком увлекался чтением философских сочинений. Для него, пожалуй, как для Пастернака, заниматься только философией «так же странно, как есть один хрен». Но сочувствовал Канту и иронизировал по адресу Маркса, издевавшегося над кантовским высказыванием «Собственность есть воля». Не оставляли его равнодушным и актуальные философские веяния. Жаловал он феноменологию, упоминал Гуссерля. Конечно, сам он был феноменологом в подходе и к языку, и к искусству. Применял к самому себе принципы экзистенциализма — для него это было не просто модное словечко:

— В чем суть экзистенциального мышления? В том, что человек не хочет стать не собой. Ему дорого его неповторимое существование, каким бы оно ни было.

Панов прожил свою собственную жизнь, а не чью-то, попавшую в его руки по недоразумению.

Однако мир двубоясим. Отчего вырвалось у Панова однажды это грустное «лопух»? Он не тщился получить от жизни больше, но он мог больше дать людям, мог властнее вмешаться в историю страны и ее культуры.



И тут начинаются сомнения. Верно ли — жить так, чтобы мир тебя «не поймал»? А может быть, надо самому этот мир ловить? А то он так хаотичен, бесплоден, так равнодушен к нашим заветным ценностям, к научной истине и подлинному искусству!

Может быть, Панову не хватило здорового честолюбия? Оно ведь часто служит топливом для масштабных личностей, помогает им отстаивать их проекты, доводить их до реализации?

Наверное, все-таки нет. Не был он человеком блаженным и юродивым. Помню, во время собрания в НИИ нацшкол (там все-таки понимали ценность его трудов) объявляют его победителем соцсоревнования и приглашают на сцену для вручения грамоты. Возвращается он в зал, садится рядом со мной со словами: «Я победил». С мягкой иронией сказано, но не без чувства приятности. Законная гордость, хоть и по скромному поводу.

Гордость. Она подталкивает русского интеллигента к дерзновенным мыслям и начинаниям. И она же не позволяет мельчить, дешевить, пригибаться. В советское время гордость останавливала от конъюнктурных сделок с властью. В постсоветскую, рыночную эпоху гордые люди не находили свое место в жизни, поскольку считали ниже собственного достоинства суетиться, заниматься саморекламой, расталкивать конкурентов локтями. Торговать своим именем, куда-то его с выгодой инвестировать, наращивать индекс известности.

Воля к известности. Это такой инструмент, без которого в наше время известными не становятся. Я сейчас говорю не о поп-певцах и даже не об эстрадных поэтах, а вообще о литераторах, о филологах. Среди нас немало таких, кто свою популярность завоевывает в бою, пуская в ход и локти, и когти, и зубы. Их не очень любят, порой над ними зло подшучивают, но им подчиняются. Может быть, такие деятели были во все времена. Так или иначе, тип «раскрученного» ученого я назвал бы антропологическим антиподом Панова. Уж он-то никого никогда не желал подчинять, ничего ни у кого не просил и тем более не вымогал.

Он исходил из интеллигентской нормы скромности и сдержанности. Из того, что если твоя работа не бессмысленна, то

## ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ ПАНОВЕ

она в конце концов будет замечена и востребована. Теми, кому нужны ее результаты. Как в футболе недопустимо подыгрывать себе руками, так ученому недостойно «пиариться» (мы с Пановым не успели обсудить это модное словечко; мечтаю скорее увидеть его в числе устаревших).

Но, может быть, Панов был не прав? «Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе», — сказал как-то Пастернак одному литератору. Может быть, не уметь навязать себя — это и значит быть «лопухом»?

Тут у нас, Михал Викторыч, в русском языке новации. Слово «успешный» под влиянием английского «successful» расширило свое значение и стало сочетаться с одушевленными существительными: «успешный человек», «успешный ученый». От этого, правда, веет некоторым бездушием, и припоминается платоновское, из «Чевенгура»: «Это гад с полным успехом». Но, может быть, новая жизнь права и успех всего важнее?

Не знаю.

В иные минуты я задаюсь вопросом: зачем этот человек так сопротивлялся успеху? Панов по-своему легендарен, его имя знакомо кругу посвященных. Но с учетом его масштаба как мыслителя степень его известности непристойно мала.

А в другом настроении думаю: а может быть, истинная жизнь и истинная мысль пребывают по ту сторону успеха? И Панов прав в том, что жил без самозванства.

В одном я уверен — судьба Панова не какой-нибудь «несчастный случай». Это не история «лишнего человека», это история человека необходимого.

Мне видится онтологическое соответствие между его судьбой и сущностью созданной им научной отрасли. Из позиционной концепции языка выросла его «позиционная поэтика». Он проследил ее в истории поэзии — от Ломоносова до наших дней и предполагал, что те же закономерности распространяются на художественную прозу.

Основной принцип прозы в пановском понимании таков: не могут одновременно измениться характер и обстоятельства,

## Владимир Новиков

герой и мир. Либо меняется герой, а мир остается прежним — либо герой остается неизменным, а меняется окружающий его мир. Это можно проиллюстрировать таким наглядным примером, как сюжет «Преступления и наказания». Раскольников решил, что после того как он «переступит», и он сам станет иным, и мир преобразится. Но и сам он остался прежним, и мир не переменился.

А в пушкинском романе в стихах работает следующая антитеза: Онегин переменился, но мир остался для него прежним; Татьяна неизменна и верна себе, а мир вокруг нее радикально переменился.

Такой контраст — художественная условность романной прозы, но за ним стоит множество реальных человеческих жизней.

Философское противоречие между путем личности и путем мира драматически преломилось в судьбе Панова.

Этот человек постоянно менялся, развивался. Двигался к сердцевине мироздания.

Но мир не шагнул ему навстречу.





**ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ  
С РУССКОЙ РЕЧЬЮ<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Этот эссеистический цикл сложился из заметок о культуре речи, опубликованных автором на страницах газеты «Вечерняя Москва» и сайта «Свободная пресса». Вошли сюда также актуальные заметки о языке Льва Толстого и Достоевского (об истории их написания рассказано в «Повести о Михаиле Панове»).



## **РАССЛАБЬТЕСЬ!.. И ГОВОРИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!**

Звоню знакомой даме. Услышав звонкое «алло!», называю себя и на всякий случай справляюсь: «Не отрываю ли вас от дел?»

— Нет, — отвечает томным голосом. — Я сейчас лежу в ванной.

Пикантная, должно быть, картинка. Но я по неистребимой профессиональной привычке тут же мысленно отмечаю, что моя собеседница допустила речевую небрежность. На самом деле лежит она — в ванне. А ванна, в свою очередь, располагается в ванной. Ошибка, в общем, не такая уж грубая и вполне объяснимая условиями нашей жизни. Ведь что такое настоящая ванная? Вот особняк Дерожинской в Кропоткинском переулке, построенный по проекту архитектора Шехтеля. Там есть просторная комната с высоким потолком, декоративным интерьером, и где-то в углу — ванна. А в современных типовых домах ванная — это даже не комната, это закуток, почти все пространство которого ванна и занимает. Потому и слова «ванная» и «ванна» сделались почти неразличимыми.

Наша речь — зеркало жизни. За каждым изменением в языке, за всякой ошибкой или оговоркой стоит маленький сюжетик. Посмотрим, какие диковинки приезжают к нам из-за границы, заскакивают из молодежного жаргона. Как преобразуются значения старых слов. Какие новые мощности языка пустили в ход современные поэты и прозаики. Как поживает родная речь в средствах массовой информации.

Меньше всего хотелось бы заниматься занудной «работой над ошибками» и поучать. Проповеди произносить легко, но они мало на кого действуют. Люди все равно будут переходить дорогу на красный свет и произносить слова с ошибками. А правильно и красиво говорят те, кто это дело любит. Кто интересуется языком и его законами так же, как другие увлекаются футболом или марками автомобилей. Кто открывает словари не как Уголовный кодекс с карающими статьями, а как ресторанное меню: что там новенького и вкусенького приготовил нам родной язык, великий и могучий?

Конечно, лингвистический ликбез необходим, но не он будет для нас главным. Впрочем, один сеанс такого ликбеза мы сейчас проведем буквально за минуту. Чтобы постоянно не плошать, не нарушать языковые нормы, достаточно как следует разобраться всего-навсего с четырьмя глаголами, на которые в наше время приходится чуть ли не половина ежедневных речевых ДТП.

Во-первых, не надо путать глаголы «надеть» и «одеть». *Надеть* можно что-то: майку, шапку, перчатки, манто и так далее. *Одеть* можно кого-то: мать одевает ребенка перед прогулкой, олигарх одевает жену или подружку в меха и шелка.

Во-вторых, в глаголах «звонить» и «позвонить» ударение всегда приходится на последний слог: звонИшь, звонИт, позвонИт, позвонЯт. А тот, кто «ударяет» телефонные глаголы на «о», неприятно ударяет по нервам и по слуху своих интеллигентных сограждан.

Усвоили? Ну и прекрасно. А кто-то, может быть, скажет: я это и так знал и никогда таких ошибок не допускаю. Вы никогда не произнесете «одел пальто»? Поздравляю: значит, вы принадлежите к безупречному меньшинству, к речевой элите. А то большинство стало крайне небрежным. Приходя выступать на радио, я уже даже не ужасаюсь, когда мне предлагают «одеть наушники».

Поговорив об азах, перейдем к материям более тонким и занятным. Языковые нормы — не однозначно-категоричные правила дорожного движения. Они допускают множество вари-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

антов и оттенков. Можно говорить «одновременно», можно — «одновременн<sup>Е</sup>нно». Дело исключительно вашего вкуса и настроения. А иногда выбор варианта — это вопрос стиля, речевой манеры, если угодно — вашего имиджа. Вот слово «естественно». Его можно произнести разговорно-заполотно, проглотив часть звуков: «естьесно». Нормальный, нейтральный вариант — «естьестественно» (первый «с» непременно должен быть мягким). А есть еще вариант старомосковский — неспешный, вальяжный, сразу выдающий утонченного интеллигента: «естьесътьественно». Знаменитый лингвист Рифформатский сочинил по этому поводу такой шуточный диалог, эдакое лингвистическое дуэтише:

- Есть, тесь, вино?
- Естественн<sup>О</sup>!

Филологический юмор заключается в том, что согласные звуки в вопросе и ответе произносятся с одинаковой степенью мягкости. Вам тоже захотелось щегольнуть изысканно-старинным выговором? Но тогда, пожалуй, придется поменять и весь речевой гардероб. Отказаться от нервной скороговорки, примерить к себе манеру сдержанно-достойную, четкую (без всяких там «скоко» и «чо надо?»), тембр взять пониже, неплохо украсить свой обыденный язык нетривиальным словечком, ну хотя бы вместо «Хрен знает что!» проговорить: «Какая печаль!»

«Язык мой — враг мой» — есть такое пессимистическое изречение. Но язык может быть и другом. Более того, с ним можно и в любовные отношения вступить. В самом деле, почему бы не пуститься в роман с языком? Ведь некоторым он даже отвечает взаимностью. Я имею в виду талантливых писателей, журналистов, преподавателей, да и всех наших собеседников, речи которых приятно слушать.

Мир языка бесконечен. Погрузитесь в него, как в теплую ароматную ванну. И жить на этом свете, и говорить стоит прежде всего с удовольствием!



## ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ...

— Мужчина!

Такой женский крик с отчетливым иностранным акцентом слышу я однажды, гуляя по Переделкину. Сосредоточиваюсь и готовлюсь к решительным действиям. Для чего-то понадобится мужское участие — то ли от разбойников даму защитить, то ли помочь ей до больницы добраться... Но нет: заезжая американка, изучающая русскую литературу, всего-навсего справляется у меня, как дойти до музея Пастернака. У себя дома она окликнула бы: «Сэр!», а как это сказать по-русски? Мы иногда обращаемся к незнакомцам при помощи слова «извините», но как сигнал оно работает плохо: непонятно, тебя зовут или кого-то другого.

Наше слово гордое «товарищ» ушло в прошлое после того, как москвичи снесли памятник товарищу Дзержинскому и перестали обращаться друг к другу на большевистский манер. А слово «господин» еще не укоренилось и кое-кем может быть даже воспринято как насмешка. Согласитесь: чтобы по-дореволюционному именоваться «господами», надо одеваться побогаче, питаться получше, квартиры иметь попросторнее. Для этого страна должна и ВВП удвоить, и повысить МРОТ, чтобы эта аббревиатура «минимального размера оплаты труда» не вызывала в памяти строку из «Варшавянки»: «Мрет в наши дни с голодухи рабочий...» Словом, путь из товарищей в господа не так короток и прост, как казалось сначала. Едва ли вернемся мы в ближайшее время и к таким старинным формам обращения, как «сударь» и «сударыня», которые писатель Владимир Солоухин утопически предлагал ввести в обиход еще лет сорок назад. Не очень идет нам пока эта шуба с барского плеча.

А та любознательная американка, находясь в Москве, наверное, вдоволь наслушалась, как люди зывают друг к другу на улице, в транспорте: «Женщина!», «Девушка!», «Мужчина!» Не очень красиво, но взамен пока предложить нечего. И чело-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

век моего поколения уже спокойно реагирует на то, что юные продавщицы говорят ему: «Молодой человек!» Хорошо, если не «Дедушка!»

Полагаю, что так и проживем мы свой век «девушками» да «молодыми людьми», а новую форму обращения к незнакомцам пусть ищут наши дети и внуки. Русский речевой этикет несовершенен, но решение этой проблемы можно отложить и на потом. Есть заботы понаасущнее.

Истинно культурная устная речь отличается повышенной частотой обращений к собеседнику. Таков был обычай аристократии. Вспомните, какими словами начинается «Война и мир»: «Eh bien, mon prince...» («Ну, князь...»). А если кто не князь и не граф, то для него вежливое «мон шер» находилось. Подобным образом вела себя и классическая русская интеллигенция, у которой сказать просто: «Здравствуйте!» почиталось неучтивым — непременно следовало добавить имя приветствуемого. Да вспомните старых актеров и профессоров: говоря с вами, они нет-нет да произнесут ваше имя. Не монолог свой бубнят, а беседу ведут с конкретным человеком.

И эту традицию было бы недурно сохранить. На литературных собраниях, научных конференциях то и дело слышишь: «Как здесь уже говорилось...» Меня такие безличные ссылки коробят, и я невольно думаю: нет, это не интеллигенция, это, как Солженицын окрестил, «образованщина». Интеллигент всегда скажет: «Как верно заметил Иван Иванович» или хотя бы: «Я согласен с коллегой Петровым».

В официальной речи все чаще фигурируют обращения типа «господин Петров» и «госпожа Петрова». Сначала ими пользовались иностранцы — по аналогии со своими «мистер — миссис» и «месье — мадам». Потом они широко вошли в речь бизнес-элиты и продвинутой прессы. Но одно дело — помпезный прием, и совсем другое — неформальная беседа. Обращения к «госпоже» и «господину» — вежливые, но холодные, дистанционные. Устанавливая непринужденный контакт, воспитанный человек в нужный момент переходит на имя-отчество или просто

имя — в зависимости от возраста собеседника и степени достигнутой близости.

Будем, конечно, считаться с тем, что многие дамы не переносят обращения к ним по отчеству — что ж, дай им Бог дожить до ста лет, оставаясь Машами и Анями. С другой стороны, нарочитым часто выглядит усечение отчества при разговоре с солидным мужчиной: когда, к примеру, знаменитого режиссера Говорухина желторотый телеведущий называет «Станислав». Поэт Светлов, как известно, в ответ на фамильярное «Миша» говорил: «Не церемоньтесь и называйте меня просто Михаил Аркадьевич».

Имя-отчество — примета нашего национального своеобразия. Она по душе многим иностранцам, любящим Россию. Когда я преподавал в Цюрихском университете, мне позвонила одна швейцарка и представилась: «Софья Петровна». Оказалась, что это фрау по имени София и отца ее зовут Петер. А известный славист из Глазго Мартин Дьюхерст свои письма иногда завершает шуточной подписью «Мартин Эдгарович».

О поэзии отчеств есть стихи Андрея Вознесенского:

Неужели с пеленок  
не бывал ты влюблен  
в родословный рифмовник  
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный  
повенчал имена:  
Марья Илларионовна,  
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь  
из имен времена,  
словно вызовешь Китеж  
из глубин Ильмена.

И вообще — давайте смелее и чаще обращаться друг к другу. Не прося извинения, как это делают вагонные попрошайки.

## МАТЕРИТЕСЬ ПОРЕЖЕ. И ПОТИШЕ!

Прочитав сей заголовок, вы можете рассердиться на автора. Дескать, к чему народ зовете? Разве не учили нас, что употреблять нецензурные выражения нельзя нигде, никогда и ни при каких условиях? Такова ведь элементарная норма поведения. Да, норма. А еще у нас говорили: трезвость — норма жизни. Трезвенников, не берущих в рот ни капли спиртного, мне встречать иногда доводилось. Но вот тех, кто физически неспособен произнести матерное слово, становится так мало, что хоть заноси их поименно в Красную книгу.

Стою в очереди у кассы супермаркета. Слышу, как сзади некто, беседа с приятелем, оглашает пространство похабными словесами. Не убавляя громкость. Думаю: какой-нибудь неотесанный молодой амбал. Поворачиваюсь и вдруг вижу человека своего возраста, в очках и с бородкой — таких раньше относили к интеллигентам. Начинаю красноречиво смотреть на гражданина: мол, прекратите ругаться. А он на секунду удивляется моему испепеляющему взгляду — и продолжает матерную арию...

Подхожу к своему факультету. Студентка жалуется однокурснику: «Я так за... мучилась, так замучилась»... (Вынужден «отцензуровать» ее реплику, поскольку глагол с приставкой «за» она употребляет несколько иной.) А потом еще кокетливо справляется у собеседника: «Ничего, что я так говорю?» Паренек покорно кивает. И лишь бронзовый Ломоносов на своем пьедестале, кажется, слегка шокирован: ведь он, взывая к юным потомкам: «Дерзайте ныне, ободренны...», имел в виду совсем другое дерзание.

Нет, тут даже не скажешь: ну и молодежь пошла! Сквернословию сегодня решительно все возрасты покорны. Соединили мы водопровод с канализацией, и грязную струю уже не остановить. Ощущение национальной речевой катастрофы.

Кого винить? Слишком велик список лиц и организаций, причастных к искажению экологического баланса русской речи.

Свой вклад в это нехорошее дело внесли руководители разных рангов, которые с советских времен не стеснялись себя в выражениях.

Помнится, когда Виктора Степановича Черномырдина назначили главой правительства, он в первом же интервью осанисто поведал, что умеет ругаться матом. Потом все-таки взял себя в руки, хотя и испытывал известные речевые затруднения, заменяя привычные «вводные слова» долгими паузами или междометиями. Но политик политику рознь. Например, первый Президент свободной России Борис Николаевич Ельцин был противником нецензурной брани. Сошлюсь на достоверное свидетельство Юрия Михайловича Батурина, известного политика, космонавта и моего коллеги-профессора по факультету журналистики МГУ. Когда один из членов ельцинской команды попробовал рассказать непристойный анекдот, президент настойчиво попросил больше такого не делать, а сам в деловых разговорах к мату не прибегал никогда. Симпатичный прецедент!

После того как в нашей стране отменили цензуру, ненормативная лексика бурным потоком хлынула на страницы современной прозы и поэзии. Даже чинные толстые журналы начали время от времени матюгаться. Ну и что, выросли тиражи? Да нет, сближение с массами таким примитивным способом не достигается.

О том же стоит задуматься и журналистам, оказавшимся сегодня чемпионами по речевой безбашенности. Может быть, некоторые труженики СМИ относят себя к богеме, полагая, что владение трехэтажными конструкциями — своего рода артистизм? Да нет, заблуждаетесь: тот мат, что оглашает редакционные кабинеты в момент сдачи номера, вовсе не богемный, а вполне тривиальный, плебейский. Все-таки согласитесь: контрольный срок, «дедлайн» — угроза не смертельная. Это не та опасность, коей подвергают себя горняки, спускающиеся в шахту, или подводники, сидящие в батискафе. И постоянное щеголяние матом в телевизионных ток-шоу, маскируемое, как

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

фиговым листком, звуком «би-ип», — тоже всего лишь дань тотальной распушенности.

Не будем ханжами: бывают в жизни моменты, когда самый культурный человек не выдержит и выкрикнет экстремальное слово. Это как граната, которую пускают в ход в критической ситуации. Но если человек стоит на балконе и кидает гранаты в прохожих, его надлежит обезвредить как опасного маньяка.

Государство здесь бессильно: никакие указы и запреты не помогут. Положиться можно только на человеческое достоинство, которое, будем надеяться, утрачено еще не всеми. Ограничить, урезонить самого себя, найти для разрядки стресса нестандартные слова и выражения в рамках пристойности. Один так поступит, другой — и смотришь, в обществе переменится моральный климат. При приеме на работу будут отдавать предпочтение тем, кто не имеет вредных привычек, в том числе и в речевом обиходе. В приличных фирмах сотрудницам запретят использовать вводное слово «блин». Это ведь жуткая поведенческая нечистоплотность. Совершенно согласен с лингвистом Максимом Кронгаузом, который в «Отечественных записках» объявил пресловутый «блин» «более вульгарным, чем соответствующее матерное слово».

Желательно, чтобы по отношению к сквернословам установилось повсеместное презрение. Чтобы все мы сошлись на одном: матерщинники — это люди неблагородные. Люди, недостойные нашего уважения. Это, извините, плебеи. Это не что иное, как быдло. Это просто лохи. Это козлы позорные... Стоп! От более сильных выражений мы категорически воздержимся.

## ХОЧУ БЫТЬ СТРАННЫМ

Помните культовую комедию шестидесятых годов «Берегись автомобиля»? Обаятельного следователя Максима Подберезовикова (артист Олег Ефремов) влюбленная в него девушка называет странным. Тот отнюдь не обижается и не без мужского самодовольства вполголоса декламирует: «Я странен, а не стра-

нен кто ж?» Имея в виду, конечно, реплику Чацкого из другой культовой комедии «Горе от ума». Продлим цитату: «Тот, кто на всех глупцов похож...» Для русской классики «странный» означало незаурядность и оригинальность. Эхо такой традиции звучало вплоть до недавнего времени: был еще и фильм «Странная женщина», где Ирина Купченко играла героиню благородную и романтическую.

А теперь слово «странный» все чаще употребляется в негативном значении. То и дело слышишь что-нибудь вроде: «Странный человек: ничего ему объяснить невозможно» Или: «Эта странная фирма получила от нас деньги и как сквозь землю провалилась». Зачем же тратить такой красивый и загадочный эпитет на явных тупиц или жуликов? Не лучше ли сохранить за ним значение непонятности и необычности?

Человек без странностей неинтересен. И язык становится скучным и однообразным без индивидуальных изгибов и причуд. У каждого есть свои речевые странности, они отличают нас друг от друга и вовсе не надобно от них избавляться. Кто-то любит щеголять наинouvelшими словечками, а кому-то ближе старинный слог. В своей книге о русском языке «Живой как жизнь» Корней Иванович Чуковский рассказал, что знаменитый юрист академик А. Ф. Кони возмущался употреблением слова «обязательно» в значении «непрерменно». Для него «обязательно» значило «любезно, учтиво». Когда я в юные годы прочитал книгу Чуковского, этот эпизод произвел на меня столь сильное впечатление, что с тех пор никогда не говорю «обязательно» и пользуюсь только словом «непрерменно». Даже легендарная строка Высоцкого «Если я чего решил — я выпью обязательно» не заставила свернуть с этого пути. Если что задумал, то напишу непременно. По своей воле, а не «по обязательке». Но в речи других людей «обязательно» звучит для меня совершенно естественно.

Впрочем, в самое последнее время слово «обязательно» начало мутировать и превращаться в скользко-противную, подобострастную форму согласия.

Его употребляют вместо «да» или «конечно»: «Кофточки другой расцветки у вас есть?» — «Обязательно». Не знаю, как вам, а мне такое употребление не по вкусу.

Оригинальность можно проявить не только в выборе слова, но и в оттенках звуков. Мой коллега по филологии и критике Александр Архангельский, ныне политический публицист и ведущий телепередачи «Тем временем», нестандартно произносит собственную фамилию. Прислушайтесь, как он говорит на старинный манер: «Архангельский». В этом и дань традиционности, и личное речевое клеймо: однофамильцев Архангельских много, а «Архангельский» у нас один.

Часто наши индивидуальные странности делаются фактами языка, закрепляются в нем. То, что казалось ошибкой или оговоркой, становится нормой. Знакомый литератор по выходе моего «Романа с языком» дружески попенял на то, что главный герой в минуту отчаяния восклицает: «Полный бесперспективняк!» Мол, неуклюжее слово придумали, его и выговорить-то трудно. А я и не претендовал на изобретение, скорее подслушал в живой речи. Для уточнения открыл вышедший в том же году, что и моя книга, «Большой словарь русского жаргона» и нашел там этот «бесперспективняк» в значении «безнадежное дело». Так что всем советую: прежде чем поправлять других, сверьтесь со справочниками.

Ну а наибольшие права на странности имеет поэзия. Не учитывая этого, можно попасть впросак. Один популярный сатирик с некоторых пор стал бороться за чистоту и правильность русского языка. Своей мишенью он избрал песенную «попсу». Тут действительно есть материал для беспощадной критики. Поэты-песенники иной раз сочиняют такие «тексты слов», что хоть святых выноси. Меня очень раздражает, например, часто звучащая по радио строка: «Мастер и Маргарита жили в Москве былой». Тут налицо явная речевая ошибка. Слово «былой» означает не «старый», а «прошлый, минувший». Москва же еще, слава богу, не сгинула, не ушла в прошлое.

Но, смеясь над незадачливыми песенниками, сатирик однажды попал пальцем в небо и сам страшно осрамился. С издевкой



процитировал услышанную им песню: «Колотушка тук-тук-тук, Спит животное Паук» — и зал дружно заржал. Да, именно заржал, а не засмеялся. Позор, позор и сатирику, и аплодирующей публике! Ибо эти две строки — из известнейшего, можно сказать культового для интеллигентных читателей стихотворения Николая Заболоцкого: «Меркнут знаки Зодиака//Над просторами полей.//Спит животное Собака,//Дремлет птица Воробей...» Дерзко-парадоксальное произведение великого поэта оказалось положенным на современную мелодию, что само по себе, кстати, факт весьма отраднѣй.

Вот так получается, когда в борьбу за культуру речи вступает агрессивное невежество. Так ведь можно пойти не по пути Булгакова, а скорее по пути Бенгальского — того самого конференсье, которому в «Мастере и Маргарите» Воланд отрезал голову за его пошлые репризы.

## Я ВСЕ ВОПРОСЫ ОСВЕЩУ СПОЛНА...

Интересные письма получаю от читателей.

Зинаида Григорьевна Высоцкая, библиотекарь, с пятидесятилетним стажем, совершенно справедливо считает, что грамматический род аббревиатур определяется по главному слову. БАН (Библиотека Академии наук) и БЕН (Библиотека по естественным наукам) — женского рода, а ВИНТИ (Все-союзный институт научно-технической информации) — мужского. Но, как отмечает читательница, «во многих публикациях и в устной речи чаще всего о БАН и БЕН говорят «он», а о ВИНТИ пишут «оно». Да, в публикациях стоит держаться нормы: «БАН получила новые издания». Но в неформальной речи не грех и приспособить грамматический род к фонетическому облику аббревиатуры: «выхожу из БАНа, а навстречу мне Петров». Порой разговорный язык влияет на норму: так, в порядке исключения ТАСС некогда сделался словом мужского рода, а не среднего, как того требовало ключевое слово «агентство».

Читательница В. В. Кочеткова (не указавшая своего имени и отчества), откликаясь на статью «Извините, что я к вам обращаюсь...», предлагает все-таки вернуться к былым формам обращения «сударь» и «сударыня». Дескать, пресса должна «развернуть кампанию» по этому поводу. Нет, это не выход. Попробуйте, сударыня, для начала внедрить старинные именованья в кругу своих знакомых, и если «процесс пойдет», то мы присоединимся.

Сразу несколько существенных вопросов ставит Лев Андреевич Кобяков, инженер-строитель и, как он сам себя называет, «филолог-расстрига»: некогда учился на филфаке МГУ и жил в одной общежитской комнате с Венедиктом Ерофеевым. Своим любимым писателем Лев Андреевич считает Владимира Ивановича Даля, чей четырехтомный словарь взял бы с собой и в космос, и на необитаемый остров.

Поклонника Даля беспокоит «неумение многих публичных людей склонять числительные». Да уж, в этом болоте ораторы тонут один за другим. Например, большинство думских депутатов живут в «двухтыщеседьмом» году, хотя правильно выговорить сочетание «две тысячи седьмой» — невелик труд. Эти господа вообще работать не любят и безбожно прогуливают заседания. Потому и по русскому устному у них двойка. А ведь с составными порядковыми числительными все так просто: меняйте только последнее слово, а предыдущие не трогайте.

Сложнее с числительными количественными: там надо «склонить» каждое слово, и не абы как, а с толком. Ну-ка, прочитайте вслух: «кошелек с 888 рублями». Даже если вы произнесете правильно: «восемьюстами восемьюдесятью восемью», то и сами вымотаетесь, и собеседника утомите. Рекомендую такую уловку — искать синонимичную конструкцию, где числительное стоит в именительном падеже: «денег в кошельке — восемьсот восемьдесят восемь рублей». Все-таки полегче!

Льву Андреевичу также не нравится подмена устойчивого выражения «принять меры» некорректным сочетанием «предпринять меры». Мне тоже! Глагол «предпринять» означает «на-

чать делать что-нибудь, приступить к чему-либо». Предпринять можно действия, шаги. Однако в последнее время предпринимается бюрократическая агрессия на языковую норму. Чиновникам приятнее не короткий деловой глагол «принять», а солидное «предпринять»: добавляя приставку, они хотят затянуть принятие мер. Помните знаменитую формулу Ильфа и Петрова: вместо «подметайте улицы» — «позор срывщикам кампании по борьбе за подметание»? Заглянул я в Яндекс: на грамотное «принять меры» — четыре миллиона документов, на неграмотное «предпринять меры» — один миллион. Счет в нашу пользу!

Ну, и наконец проблема географических названий типа «Бородино», «Свиблово», «Переделкино». До недавнего времени они должны были склоняться. Спасибо Лермонтову за хорошую рифму, благодаря которой «помнит вся Россия про день Бородина!» И побывать хочется в Бородине, а не «в Бородино». Заядлым москволюбам режут слух «магазин в Черкизово» и «аэродром в Тушино». Они хотят жить в Щукине и в Выхине, смотреть телепередачи, сделанные в Останкине.

Несколько иначе обстоит дело в Питере. Там даже от интеллигентных людей можно услышать: «Ахматова жила в Комарово» (а не «в Комарове», как настойчиво рекомендуют московские словари). Может быть, это из северной столицы ветер дует в нашу сторону? В большом коллективном труде «Русский язык конца XX столетия» Н.Е. Ильина еще в 2000 году отмечала, что «несклоняемые существительные на *-ино*, *-ово* постепенно захватывают позиции в средствах массовой информации». И не только в них. Тенденция к «несклоняемости» нашла красноречивое отражение в названии детского бестселлера Эдуарда Успенского «Каникулы в Простоквашино». В конце концов на портале «Грамота.ру» такой вариант объявили нормативным. Как когда-то лингвисты признали допустимыми «сто грамм» и «пять килограмм», хотя лично я никак не могу обойтись без «граммов» и «килограммов».

Попробуем побороться. Способ только один — держаться традиционной нормы, показывая личный речевой пример детям, внукам, коллегам и приятелям. Будем упорно склонять наши любимые топонимы (от Абрамцева до Ясенева) — и чаша языковых весов склонится в нашу сторону.

### САМЫЕ ИНТИМНЫЕ СЛОВА

У выхода из станции метро мне вручили брошюру «Спросите «Родину!» Страниц в ней всего шестнадцать, зато тираж — полмиллиона. Таких цифр, кажется, не бывало со времен «Политиздата» и отчетных докладов товарища Леонида Ильича Брежнева. Приношу домой, открываю и нахожу на четвертой странице следующее определение: «Национализм — это острое, обостренное чувство любви к своему народу».

Что-то, думаю, не так. Любовь к своему народу — чувство высокое и благородное, даже если оно обострено — как у Блока или Есенина. А слово «национализм» в русском языке имеет негативную окраску. Откроем словарь Ожегова: «1. Идеология и политика, исходящая из идей национального превосходства и противопоставления своей нации другим. 2. Проявление психологии национального превосходства, национального антагонизма, идеи национальной замкнутости». Как видите, ни малейшего намека на любовь. Имеется «национализм» и в «Словаре иноязычных слов» Л. П. Крысина, поскольку слово-то французского происхождения. И тут никаких амуров: «Идеология и политика, направленные на разжигание национальной вражды путем утверждения превосходства одной нации над другими».

В чем неоспоримое достоинство толковых словарей? В том, что они толкуют значения слов исходя только из духа языка. А язык по-хорошему консервативен и не сгибается в угоду политической конъюнктуре или пожеланиям авторитетных лиц. Были некогда попытки говорить о «хорошем» национализме, но русский язык их не принял, не развернулся в почтительном поклоне на сто восемьдесят градусов. Как ни уговаривайте,

а черное белым называть он не станет. Можно с уверенностью сказать: слово «национализм» никогда не приобретет в русском языке положительной оценочной окраски.

Заглянем в толковые словари английского, французского и немецкого языков. И там «национализм» трактуется в целом негативно. Указывается, правда, второе значение этого слова: стремление колониальных народов к независимости и созданию собственных государств. В нашей стране это предпочитали называть «национально-освободительным движением». Слово «нация», восходящее к латинскому глаголу «*nascerе*» (рождать) — лексический интернационализм, имеющийся во многих языках. У него два значения. Во-первых, это этническая общность людей. Во-вторых, «нацией» именуют государство (например, Организация Объединенных Наций). В языках эти два значения уживаются, в социально-политической реальности — не всегда, чему свидетельство — печальные события во Франции.

Слово «национальный» в нашем языке по аналогии со всемирным словоупотреблением все чаще стало означать «государственный». Скажем, знаменитая питерская «Публичка» теперь именуется Российской национальной библиотекой. Слово «государственный» постепенно оттесняется как связанное с советским прошлым. Но всегда ли уместно определение «национальный» применительно к стране, которая все еще остается многонациональной? Это проблема, конечно, не только словесная. Выбор прилагательного — дело второе. Предстоит серьезно разбираться с существительными, с реальными сущностями.

Впрочем, мудрость, отстоявшаяся в родной речи, дает нам некоторые нравственные ориентиры. Русскому языку свойственна повышенная деликатность в вопросах народности и патриотизма. Само слово «патриот» наша литература воспринимала как слишком громкое. Пушкину оно казалось экзотичным и не совсем русским: «Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом... Иль маской щегольнет иной...» Заметьте: «пат-

риот» для Пушкина — это не более чем маска. Над этим словом подшучивал и Грибоедов. Помните, как Фамусов говорит о московских девицах: «К военным людям так и льнут, а потому, что патриотки». Потом Лев Толстой в «Войне и мире» показал всю пустоту псевдопатриотической риторики и обозначил как истинную ценность «скрытую теплоту патриотизма», присущую простым русским людям.

«Люблю отчизну я, но странною любовью» — эта лермонтовская строка остается нашим духовным камертоном. Что значит «странная любовь»? Это чувство целомудренное, интимное, стесняющееся громких слов и деклараций. А песни типа «Россия, Россия, Россия — родина моя!» — это слишком легкая музыка, не наполненная ни глубокой мыслью, ни реальной гражданской ответственностью.

Традиционный образ мировой поэзии — родина-мать. А в отечественной лирике есть еще и смелое блоковское «Русь моя, жена моя». Истинное сыновнее чувство, подлинная супружеская любовь не выставляются напоказ.

Наши поэты умели говорить о своей привязанности к России как чувстве неожиданным и парадоксальным:

Знать, у всех у нас такая участь,  
И, пожалуй, всякого спроси —  
Радуясь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живется на Руси?

Это Есенин. Обратите внимание на синтаксический сдвиг. Вроде бы нельзя так употреблять деепричастия. «Радуясь, свирепствуя и мучась» не сочетаются с безличным глаголом «живется». Шероховатость по модели «проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа». Но эмоционально этот речевой изгиб работает. И что еще важно: «у всех у нас такая участь». У всех, а не специально назначенных патриотов.

Спросите Родину. Не «Родину» в кавычках, не скороспелую и быстро увядшую партию, а нашу многострадальную и для всех общую отчизну. Какая любовь ей самой нужна? И она ответит:

только молчаливая и сдержанная, без громких признаний и демонстраций. Такова наша национальная традиция, от которой нет надобности отступать.

## НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОМЯГЧЕ?

Жизнь жестка, порой жестока. Очень нам всем не хватает мягкости. О ней и пойдет сейчас речь — в буквальном смысле и переносном.

Что согласные звуки бывают твердые и мягкие — ведают уже школьники младших классов. Но подрастая, об этом благополучно забывают. А между тем различение мягкости и твердости в некоторых случаях — это принципиальный вопрос речевой культуры.

— Опубликована рецензия на мою работу! — радостно извещает некто, произнося заветное слово не с мягким «н» — «рецензия» (именно так велит норма!), а с противно твердым. Ну, прямо железом по стеклу! Это ошибка не менее грубая, чем пресловутое «ложить». Носитель такого произношения заслуживает только отрицательной рецензии. Тем более что само это слово — из лексикона людей, претендующих на причастность к науке и культуре.

Язык не стоит на месте, и его нормы непрерывно обновляются. Скажем, раньше слова «бензин» и «пенсия» полагалось проговаривать с мягким «н»: «бензин», «пеньсия». А в новейших орфоэпических словарях уже разрешено произносить эти слова с твердым «н». (Честно говоря, мне эта «пенсия» с твердым «н» страшно не по вкусу, но раз специалисты признали ее «младшей нормой», то старшему поколению надлежит смириться). А вот в слове «песня» зубной звук «с» перед мягким зубным «н» по-прежнему должен быть мягким: «песьня».

Кто-то скажет: а я и так это слово правильно произношу, без всяких инструкций. Что ж, очевидно, у вас хороший слух, да к тому же вы с детства возвращались в высококультурной среде, усвоив там орфоэпические навыки. Но не у всех со слухом

благополучно. Алексей Герман как-то поведал телезрителям самую главную тайну Андрея Миронова. Да нет, не про амурсы, про другое. Оказывается, у прославленного актера, так часто певшего на сцене и в кино, просто не было музыкального слуха. Ему приходилось каждую песню («песню») разучивать по нотам. Или вот такая аналогия: иная счастливая женщина съест одно за другим пять пирожных, а талия у нее от этого ни на миллиметр не увеличится. Зачем ей знать про какие-то там калории? А другим приходится даже ломтик жареной картошки строго оценивать с точки зрения калорийности. Так и с речью обстоит дело: у кого-то она естественно безупречна, а кому-то надо себя контролировать, сомневаться, справляться в словарях.

«Осторожно, двери закрываются!» — звучит голос диктора. Спокойный темп, мягкий бархатный тембр, да к тому же еще ласкающее слух слово «двери». Хороший диктор, он и перед губными звуками зубные мягко произносит. С благородной традиционностью. Но это уже по нынешним временам роскошь, это прямо-таки «от кутюр», а нам бы для начала речевое «прет-а-порте» надо освоить как следует.

В русском языке много заимствованных слов. В некоторых из них перед «е» звучит мягкий согласный, в некоторых — твердый. Иногда позволяют два варианта: можно говорить «ре-тро», а можно «рэтро» — по вкусу. Но часто норма бывает жесткой и однозначной. Например, «текст» и все от него производные слова произносятся только с мягким «т». Тот, кто, защищая диссертацию, начнет говорить о «тЭксте» и «контЭксте» рискует получить «черный шар» от строгого ревнителя орфоэпии. Так получилось, что иные научные термины, да и само слово «термин» требуют мягкого «т». А вот сугубо бытовые слова «бутерброд» и «свитер» произносятся на солидный манер: «бутЭрброд», «свитЭр» — и никак иначе. Общей закономерности нет. К тому же нормы непрерывно меняются. Писатель Юрий Тынянов в 1930-х годах морщился, слыша слово «тенор» с мягким «т»: «Это какой-то кенарь», — говорил он. Люди его



круга тогда признавали только «тЭнора», а теперь такое произношение считается неправильным.

Как тут быть? Выход один — с каждым проблемным словом разбираться персонально. Да еще и учитывать варианты: например, слово «бизнесмен» в одних словарях рекомендуют произносить как «бизнесмен» в других — как «бизнэсмэн».

Хорошо бы нам всем миром составить список на сотню подобных слов: один столбец — на мягкое произношение («тЕрминал»), второй — на твердое («компьютЭр»), а третий — где можно и так и так («тЕррор» и «тЭррор»). Какие слова из этого ряда — самые важные и нужные? Тут без читательского обсуждения не обойтись.

Но помимо мягкости фонетической есть еще и мягкость смысловая. Особенно она необходима при сообщении малоприятных известий. А наши информационники слишком склонны ударять нас по голове самыми страшными и жестокими словами. Входишь в «Яндекс» — и читаешь в новостях: «Расстреляны три сотрудника ГАИ». Что, снова введена смертная казнь? (Именно с ней связывают толковые словари и существительное «расстрел», и глагол «расстрелять».) Да нет, речь о том, что сотрудники застрелены бандитами. Есть разница. Не менее чудовищно, когда вслед за сообщением о том, что некий генеральный директор «расстрелян», добавляют: «и госпитализирован». Оказывается, он только ранен. А что если это прочитают его друзья или близкие? Нам, гражданам страны, так пострадавшей от массовых расстрелов, стоит быть тактичнее в выборе слов.

Мягкая, деликатная речь отличается и комфортной для собеседников акустикой. Не слишком ли мы глушим друг друга пронзительно-звонкими реляциями? В сказке «Джельсомино в стране лжецов» главный герой своим голосом разбивал стеклянную посуду и даже мог вогнать футбольный мяч в ворота. Есть на телевидении один такой Джельсомино — Андрей Малахов. Кричит как на пожаре, привлекая внимание к социальным язвам. Пускай. Но если все начнут так вопить — мы же

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

просто с ума сойдем! А как терзает наш слух грубая, отрывистая, лающая интонация речей многих народных избранников...

Прислушайтесь к тому, как вы говорите. В Евангелии от Луки сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». А наша речь пусть будет такой, какую мы хотим слышать от других.

## НАШ СТАРЫЙ НОВЫЙ ЯЗЫК

Все-таки мы не совсем еще разучились радоваться жизни. Живет в наших душах «праздник ожидания праздника», по удачному выражению Фазиля Искандера. Особенно этот феномен ощутим в период с 25 декабря по 14 января, когда, отгуляв за одним столом, мы уже предвкушаем следующее застолье.

Давайте только разберемся, как правильно именовать дату, отмечаемую двадцать пятого января. «В прошлом году на католическое Рождество мы решили поехать в Таиланд», — рассказывает с телеэкрана молодая дама. Поначалу даже удивляешься: при чем тут католичество, если в Таиланде господствует буддизм? Ладно, не будем придираться. Слава Богу, что эта женщина и ее семья уцелели во время нагрянувшего тогда страшного цунами и вернулись в Москву. А часто повторяемое выражение «католическое Рождество» неточно потому, что 25 декабря рождение Христа отмечают не только католики, но и протестанты, а также представители некоторых православных церквей. Правильно будет сказать: Рождество по новому стилю, или Рождество по григорианскому календарю. Русская же православная церковь отсчитывает время по старому стилю, по юлианскому календарю. Дадим себе труд запомнить, придумав что-нибудь вроде такой присказки: у них Гриша, у нас — Юля.

В советское время Рождество было вычеркнуто из календарей и словарей, но потом оно вернулось, став государственным праздником 7 января, да еще и в обрамлении общенациональных каникул. Гуляют истово верующие, и полуверующие, и от-

кровенные атеисты. И нет пока, к счастью, занудных претензий насчет ущемления других конфессий. Думаю, еще и потому, что в России существует такая всеобъединяющая религия, как Поэзия. Рождество — яркий поэтический символ. «Вдруг Юра подумал, что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни...», — читаем в романе «Доктор Живаго». Есть вера в Бога, есть вера в Блока. И живую душу не может не тронуть один из шедевров нашей поэзии — стихотворение «Рождественская звезда»:

И странным виденьем грядущей поры  
Вставало вдали всё пришедшее после.  
Все мысли веков, все мечты, все миры,  
Все будущее галерей и музеев,  
Все шалости фей, все дела чародеев,  
Все елки на свете, все сны детворы.

Так писал Пастернак в январе 1947 года. А еще вспоминается, что Иосиф Бродский с начала 60-х годов и до конца жизни в каждый канун Рождества слагал стихи на эту неисчерпаемую тему, находя для нее все новые слова и повороты мысли.

Рождество в православном календаре относится к «двунадесятым» праздникам, то есть к двенадцати важнейшим датам. А первого января (по новому стилю четырнадцатого) один из «великих праздников» — Обрезание Господне. Такой операции младенец Христос по иудейскому обычаю был подвергнут, когда достиг недельного возраста, на эту тему есть картина у Рембрандта. Кстати, до некоторых пор словари требовали называть сей ритуал с особым ударением — «обрéзание», но теперь этот вариант постепенно становится устаревшим. Лучший, на мой взгляд, русский церковный писатель Феофан Затворник, мастер эмоционально-доходчивой метафоры, говорил об «обрезании сердца», призывая в этот день христиан отсекалть от своих душ все недобрые и темные страсти.

Христианское Рождество и светский Новый год вполне гармонично соединились в нашей жизни и в нашем языке, на поздравли-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

тельных открытках и на почтовых марках. Циферблат кремлевских часов и бокал шампанского рождают в человеческих душах трепет, подобный религиозному. Звон курантов — знак надежды на новое счастье, и в этом смысле верующие — все.

Хочется повторить это ощущение еще раз, и разнобой календарных стилей дал нам возможность вступать в новую жизнь еще и в ночь с 13 на 14 января, то есть на первое января по юлианскому календарю. Мне кажется, что это традиция сугубо московская: в Сибири, где я провел детство, такого обычая раньше не было; может быть, теперь появился. Специфическим московским колоритом отмечена комедия Михаила Рошина «Старый Новый год». Она шла во МХАТе, и, приветствуя Олега Ефремова в день его юбилея от имени Театра на Таганке, Владимир Высоцкий пел:

Во многом совпадают интересы:  
Мы тоже пьем за старый Новый год...

Само это сочетание «старый новый» достойно изумления: эпитеты с противоположным значением мирно встали рядом. Что до Высоцкого, то он, как известно, закончил Школу-студию при МХАТе, где усвоил навыки традиционной сценической речи, а работал потом в самом авангардном по тем временам театре Юрия Любимова. И в языке Высоцкого трогательно сочетались старина и новизна. К примеру, слово «поэт» позволено произносить «паэт», но Высоцкий держался за мхатовскую орфоэпическую норму. Он говорил и пел только «поэт», подчеркивая тем самым страстную веру в чудо стиха. А в своей легендарной песне «О фатальных датах и цифрах», размышляя о судьбах Пушкина, Лермонтова, Маяковского, он произносит на старинный манер: «Маяковский» — и эта фонетическая краска помогает органично включить советского поэта в классически-трагический ряд.

Такой баланс старого и нового, традиционного и ультрасовременного — это идеал живого поэтического языка. Да и обыден-

ная наша речь становится живее и выразительнее, когда в ней мелькнет, как драгоценный камешек, редкий славянизм или евангельское изречение. «Влечет меня старинный слог» — признавалась еще в шестидесятые годы Белла Ахмадулина, будучи поэтессой новаторского почерка. Успех ее стихов крепко подержан эlegantным речевым поведением на сцене, на телеэкране. И такая роскошная манера в принципе доступна не только поэтам, но и всем желающим высоко держать голову, блюсти достоинство личности.

## У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

А почему, собственно, слон сразу не представился? Тогда не пришлось бы интеллигентному Корнею Ивановичу строго спрашивать: «Кто говорит?»

Есть русский устный, русский письменный, а есть еще и русский телефонный. Хочется обсудить с читателями некоторые проблемы этого специфического языка.

Разговор с невидимым собеседником... Поэтам Серебряного века в этом виделось даже нечто романтическое. Вспомним строки Гумилева:

Неожиданный и смелый  
Женский голос в телефоне...  
Сколько сладостных гармоний  
В этом голосе без тела!

Сегодня к телефонной связи отношение более прагматичное. Для любителей «сладостных гармоний» существует соответствующий сервис, с разными голосами и тарифами. Мы же будем говорить о том, как строится телефонный диалог деловой и дружеский. Когда-то в передаче «Радионяня» знаменитый артист Николай Литвинов учил правилам хорошего тона двух эстрадников — Лившица и Левенбука, которые по сценарию изображали неотесанных недорослей. Один, звоня другому, с ходу выпаливал: «Алика!» Литвинов терпеливо объяснял, что

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

начинать надо иначе: «Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Алика».

Литвиновский вариант, естественно, лучше. Но, на мой взгляд, сегодняшним требованиям он удовлетворяет не полностью. Предположим, что вы звоните некоему значительному лицу и говорите взявшей трубку секретарше: «Здравствуйте! Будьте добры, Ивана Ивановича». Вас с полным основанием могут спросить: «Простите, а как вас представить?» И в этом намек на вашу неучтивость. Серьезный человек не может быть анонимом, а секретарша за то свою зарплату и получает, чтобы ограждать шефа от пустых звонков.

Надо, надо представляться! При любом вступлении в официальный контакт. Даже милиционер, который спрашивает в метро у черноволосого пассажира паспорт, перед тем обязан назвать свою фамилию и должность. Если он этого не сделал, он — нарушитель закона, о чем вы можете сигнализировать в МВД.

Теперь разберемся со звонком по домашнему телефону. «Здравствуйте, можно Петра Петровича?» — «Его нет дома». — «А когда будет?» — «Минут через десять». — «Спасибо». Вроде бы нормальный диалог. Но вот вам возможное продолжение сюжета: «Значит, через десять минут. Немного ждать осталось» — подумал киллер, поджидавший Петра Петровича у подъезда.

Извините за черный юмор, но наша реальность дает основания для повышенной осторожности. Звоня кому-то домой, вы вторгаетесь в частную жизнь человека. Раньше меня немного удивляло, что иностранцы, начиная разговор, первым делом называют свое имя, пусть совсем мне неизвестное. Теперь думаю, что такой этикет был бы хорош и для России.

Вот, допустим, мне нужно переговорить с бывшим однокурсником. Не беседовали мы с ним целый год, а может быть, и два. Женский голос отвечает: «Алло!» Помня, как зовут жену приятеля, я спрашиваю: «Таня?» «Нет, это не Таня», — отвечают мне сухо. — «Значит, Катенька?» (вспомнив имя дочери). — «Нет», — отвечают мне еще более сухо. Ужас! Оказывается, за

это время мой стары́й приятель развелся, женился на Маше или Даше, а подростя Катенька взяла в конфликте мамину сторону и с отцом уже год как не хочет встречаться. Каким я слоном в посудной лавке оказался!

Но успокойтесь! Все было не так. Услышав «Алло!», я первым делом назвал свое имя. Таня, никуда от мужа не уходившая, меня узнала, и прежде чем позвать супруга, успела и доложить об успехах Катеньки, и справиться о моих семейных делах. Все хорошо!

Выношу на читательский суд простое предложение. Норма телефонного этикета — звонящий начинает разговор с того, что называет свое имя: «Здравствуйте, говорит такой-то».

Знаю, что некоторые не могут так начать разговор по причине застенчивости: мол, мое имя ничего вам не говорит. Говорит. В жизнь адресата вошел, пусть ненадолго, новый человек. Это маленькое событие. А может быть, с нашего разговора начнется и событие большое.

Считаю, что не правы те работники СМИ, которые, звоня по телефону, представляются не именем своим, а только местом работы: «Канал “Культура” беспокоит...» Да подлинная культура как раз и начинается с уважения к собственной личности и к собственному имени! А то прямо как крепостные крестьяне: мы — люди господ таких-то. Недавно мне в одиннадцатом часу вечера позвонила дама, представаясь именем газеты, чтобы спросить мнение об одном телефильме. Каюсь, отреагировал раздраженно и оценивать фильм отказался. Нехорошо получилось. Но, наверное, было бы иначе, если звонившая для начала произнесла свое имя (и замечу, в скобках, озадачила бы меня не так поздно: по всем мировым стандартам незнакомым людям после девяти вечера звонить не принято).

И еще одну удочку осторожно закину. Давно заметил я, что в немецком телефонном языке нет междометия «Алло!» Человек берет трубку и произносит, к примеру: «Мюллер». Тем самым сразу вносится ясность, экономятся какие-то секунды, о которых, согласно известной песне, не стоит думать свысока.

Не скрою, сам я еще не очень готов откликаться на звонок своей фамилией. Но вот мы дожили до повсеместной «повре́менной» (не «повре́нной»!) оплаты телефона, и замедляющее разговор «аллэканье» начинает влетать в копеечку.

На этом пока остановимся. Тем более что у меня зазвонил телефон. Жизнь хочет мне что-то сказать, спросить, вступить со мной в контакт. Я переключаю сознание, сосредоточиваюсь — к разговору готов. Узнаю тебя, жизнь, принимаю...

### СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ...

— Уедь на юг, — сказала Маргарита Мастеру.

Сидя перед телевизором, я ущипнул себя за руку. Нет, это не сон. Галлюцинация? Глюки, как молодежь говорит? Невозможно, чтобы Маргарита Николаевна употребила такую плебейскую форму от глагола «уехать». Повелительное наклонение от него — «уезжай». А от глагола «ехать» — «поезжай» (форма «езжай» считается просторечной, «ехай» и «едь» — недопустимыми ни при какой погоде).

Недоразумение объясняется просто. В романе эта сцена изложена косвенной речью. Мастер рассказывает Ивану Бездомному: «Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю...» Естественно, что в сценарии данный эпизод пришлось переделать в диалог, в прямую речь. Переделали. Только кривовато. И молодая актриса, выговаривая вульгарное «уедь», не почувствовала ошибки.

Что касается Булгакова, то он, полагаю, не обиделся бы, а расхохотался. Поскольку злополучное «уедь» в произношении совпадает с одним старинным и крайне непристойным глаголом. Он встречается в скабрзных стихах Ивана Баркова, да и Пушкин в дружеских и сугубо мужских письмах прибегал к сему скоромному словечку. Всесторонне начитанный и склонный к языковым играм Михаил Афанасьевич не стал бы писать жалобу руководству телеканала, а счел бы эту накладку очередной шуточной неумоимого Воланда.



А тот в свою очередь что-нибудь съязвил бы по поводу речевой культуры нынешних москвичей. Ибо сам являет пример дьявольски элегантной и остроумной речи. Кто только не сравнивал Воланда со Сталиным, приводя исторические аргументы и параллели! Но сравнение сильно хромает, если учесть, как цедил слова косноязычный тиран и как блещет афоризмами и каламбурами, как поэтически чувствует слово булгаковский Сатана! «Что же это у вас, чего ни хватишься — ничего нет», «осетрина бывает только первой свежести, она же последняя»... Это концентрированный, сгущенный язык русской интеллигенции и нашей литературной классики. И уж в чем едины автор и герой — это в том, что они властно внедряют в наше читательское сознание образец высокой и всесильной речи. «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...», как заклинал Мандельштам, родившийся в том же году, что Булгаков...

Храним плохо. В упрощении и опошлении языка прежде всего виновны труженики слова и культуры. Многие литераторы сегодня вполне могут брякнуть что-нибудь вроде «уедь». Ограничусь буквально одним примером. На церемониях вручения литературных премий то и дело вздрагиваю от режущего слух произнесения слова «жюри» как «жури». Так говорят даже доктора филологических наук! Что, показать им авторитетный словарь, где категорически значится «не жу»? Или они так пытаются изменить норму? Да нет, они просто равнодушны к языковой гигиене, не чистят свой речевой аппарат ни утром, ни вечером.

Готовы поменять «жюри» на «жури» и некоторые специалисты, составители словарей и справочников. Но я навсегда запомню один из своих последних разговоров с подлинным рыцарем русского языка Михаилом Викторовичем Пановым. Это был филолог-новатор, даже авангардист в науке, однако он считал, что некоторые стихийные изменения в речевой практике не стоит спешить возводить в норму. В частности, он завещал не терять старинное произношение слова «жюри». Этому завету я слеую, работая с молодежью, уговаривая студентов произносить

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

«жюри» с мягким, «французским» «ж», как это раньше было свойственно русской интеллигенции.

И вообще — почему бы не поберечь благородную традицию, не продлить ее бытование? Вспоминаю, как с университетскими коллегами возвращался из Новгорода после научной конференции. В одном купе с нами ехала молодая москвичка привлекательной наружности. Имея высшее экономическое образование, девушка работает официанткой в модном ресторане. Прислушавшись к нашим разговорам, она сразу поняла, что попутчики профессионально связаны со словесностью. И решила проконсультироваться по волнующим ее практическим вопросам:

— У нас в ресторане многие говорят: «черное кофе», а я говорю: «черный кофе». Кто прав?

— Конечно, вы. «Кофе» в порядке исключения относится к мужскому роду, а не к среднему — в отличие от большинства несклоняемых существительных, обозначающих неодушевленные предметы. И это, между прочим, поддержано разговорной речью, где есть такие формы, как «кофей», «кофий», «кофеек». Вспомним опять Мандельштама: «И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой: электрическою мельницей смолот мокко золотой». (Тут я сознательно умолчал о том, что в новом издании «Орфографического словаря» наряду с мужским родом в качестве допустимого варианта указали и средний. Немотивированная, на мой взгляд, уступка бескультурью. Мы еще поборемся за настоящий «кофе»!).

— А как надо произносить: бульон с грЕнками — или с гренкАми?

— Тут случай сложнее. Посетителям ресторана в доме Грибоедова бульон подавали исключительно с гренкАми. А одна штучка называлась «гренок» и была мужского рода. Только так велел говорить словарь Ушакова в 1935 году. И через полвека, в 1985 году, «Орфоэпический словарь русского языка» рекомендовал ту же норму, добавив в качестве допустимого варианта «грѐнки», в единственном числе — «грѐнка». Но потом этот «допустимый» так обнаглел, так зарвался, что в 2000 году

в «Словаре ударений русского языка» оказался не только главным, но и единственным. «Грѣнки» победили. Если следовать букве закона, приходится с ними примириться. Но, ежели вам хочется сохранить в своей речи благородную старомодность, следуйте словарю 1985 года: он академический, его пока никто не отменял.

Человеку свойственно стремление выделяться, отличаться от остальных. Кто-то этого достигает, облачаясь в дорогостоящие и экстравагантные туалеты, разъезжая в роскошных иномарках, просаживая деньги на экзотических курортах. Но все это по большому счету — мещанство. «Дешевка это, милый Амвросий», как говорил автор «Мастера и Маргариты». А вот выделяться среди окружающих безупречной и элегантною речью, завещанной нам великими художниками слова, — это по-настоящему красиво. И нисколько не предосудительно.

## ПОБОЙТЕСЬ БОГА!

«Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный; говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: “Ныне отпускаеши”»...

Что значат слова «Ныне отпускаеши»? И насколько уместно применил их в своей речи Федор Павлович Карамазов? В Евангелии от Луки рассказывается о праведном и благочестивом Симеоне, дожившем до трехсотлетнего возраста. Было предсказано, что он не умрет, доколе не увидит Христа. Симеон по внушению Святого Духа пришел в храм и встретил там Деву Марию с маленьким Иисусом. Взяв младенца на руки, старец благословил его и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром...» В память об этой встрече и возник праздник Сретения, который отмечается 15 февраля.

Но каков Федор Павлович! Уж он-то не был праведником: первую жену сжил со свету, а сам умирать отнюдь не собирался. Цитируя Евангелие, он кощунствует. Причем с вызовом, с подчеркнутым цинизмом. Ну, за это он потом заплатил, как и за

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

все остальное. Осторожнее надо обращаться со священными текстами, не стоит без веских оснований прибегать к сакральной лексике.

Телеведущий Владимир Соловьев выпустил приключенческий роман. Сюжет «страшно оригинальный» — о явлении нового мессии. Среди персонажей — автор собственной персоной, Президент России и другие официальные лица. Но надо же как-то выделить полиграфический продукт среди множества ему подобных. Для этого дается название — «Евангелие от Соловьева». Есть ли в развлекательной книжке какая-то «благая весть» (а именно таков смысл греческого слова «евангелие»)? Неважно, святое слово эксплуатируется как товарный ярлык, как средство коммерческой раскрутки. Не сказать, что это смертный грех, но и от книги, и от названия за версту шибает пошлостью, шариковским неуважением к отечественной культуре.

Но в культуре-то, слава Богу, есть другой Владимир Соловьев, религиозный философ, автор книги «Оправдание добра», вышедшей в самом конце XIX века, — своего рода евангелия русской интеллигенции. Есть основание полагать, что, несмотря на слабую раскрутку, «старый» Соловьев, Владимир Сергеевич, еще составит серьезную конкуренцию шустрому телевизионному однофамильцу в личных библиотеках приличных книголюбов.

Помимо обесцененного выражения «евангелие от» есть еще набившее оскомину клише «страсти по». Вообще-то «Страсти по Иоанну» или «Страсти по Матфею» — это смертные муки, страдания Христа в изложении названных евангелистов. Любая речевая конструкция может подвергаться переосмыслению: так, первоначальное название фильма «Андрей Рублев» у Тарковского было «Страсти по Андрею». Это глубоко религиозное по духу произведение. Герой проходит через душевные муки, и режиссер в его трагический опыт вжился. А потом еще синадрион киночиновников вдоволь поиздевался над фильмом и его создателем.

Но зачем столько штампованных (и притом совсем неинформативных) газетных заголовков производится по этой моде-

ли? «Страсти по сертификации» — ну при чем здесь страсти? Проблема сугубо деловая, решаемая в рабочем порядке. Или вот название телевизионной передачи — «Страсти по диете». Если к еде без лишней страстности относиться, да еще духовной пищей иногда подзаправляться (скажем, прочитывать утром на тощак одно стихотворение Ахматовой или Цветаевой) — так тогда, может быть, и диета не понадобится?

Греческое слово «ипостась» всюду используется в значении «роль», «ампула», «функция». Говорим, к примеру, что бизнесмен выступает в ипостаси политика. Но неплохо при этом помнить, что исходное значение слова — «сущность, основание», и прежде всего оно применялось для обозначения лиц триединого Бога (Отец, Сын, Святой Дух). То есть данное понятие с Троицей связано. Ипостасей — три. У нас же кто-то функционирует «в двух ипостасях», а у некоторых многогранных личностей этих ипостасей и четыре, и пять бывает. Расширение значения слова — в общем, естественный процесс, но хорошо бы при этом знать исходный смысл. А то, чего доброго, начнем называть «ипостасями» разновидности воров и бандитов: карманник, домушник, «медвежатник»...

Религиозное слово «откровение» (вспомним «Откровение Иоанна Богослова», иначе именуемое «Апокалипсисом») сплошь и рядом используется в значениях «открытие» и «откровенность». Ничего страшного, конечно, но в слишком бытовых, приземленных контекстах высокое слово профанируется. «Откровением для нее оказался роман между ее мужем и ближайшей подружкой». Слово явно не на месте.

Я далек от религиозного пуризма. Самые святые слова могут находить бытовое применение, чему свидетельство — пословицы и поговорки. «Бог любит троицу» — это не совсем по Священному Писанию, но фольклор церковному суду не подлежит. Речь о том, что цитаты из Ветхого и Нового Заветов, что словарь церковных обрядов — яркая краска в нашем языке. И хорошо, чтобы краска эта не тускнела от неаккуратного использования.

Кстати, с каким «г» вы произносите слова «Бога», «Богу»? С простым, «взрывным», таким, как в слове «дорога»? Что ж, это современная норма, только в именительном падеже говорится «Бох» (не «Бок»!). А есть еще старинная традиция произношения косвенных падежей этого слова с так называемым «г» фрикативным. Это звук, с которым южане выговаривают слово «город», Горбачев с ним свою фамилию произносил. Лингвисты сей звук обозначают греческой «гаммой» или латинским «h». Обязателен он в междометиях «aha!» и «oho!», а также в слове «бухгалтер». Так вот, я предпочитаю говорить: «Боха», «Боху», как это было принято в доатеистические времена. Потому что есть такая конфессия — историко-филологическая, и у нее немало последователей.

## ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖЕНСКИЙ РОД!

Очередное ток-шоу на вечную тему: как похудеть? Молодая женщина, преуспевшая в этом деле и по габаритам сильно напоминающая узницу концлагеря, гордо заявляет: «Я — вегетарианец!»

Что ж, каждый имеет право на отказ от мясной пищи. А вот отказываться от существительного женского рода в данном случае нет решительно никаких оснований. Правильно будет: «Я — вегетарианка», и никак иначе. «Певица», «студентка», «спортсменка», «учительница» — если уж есть в языке возможность обозначить лицо с учетом его пола, то зачем обеднять палитру нашей речи?

И так у нас предостаточно слов, не имеющих необходимых параллельных образований. «Врач», «доцент», «редактор», «менеджер» — из этих «мужских» слов боги языка, к сожалению, не вынули по ребру, чтобы изготовить женские варианты. Отсюда масса неудобств. «Врач сказала» — звучит вульгарно, а разговорная форма «врачиха» все-таки неуважительна. Непочтительны и варианты на — «ша»: «профессорша», «деканша» (есть даже шутовое «замша» — в пандан к сокращению

«зам»). К тому же они создают некоторую двусмысленность, поскольку «ша» в прежние времена обозначало жен соответствующих лиц: есть же «капитанша» Василиса Егоровна в «Капитанской дочке», разные «губернаторши» у Гоголя и Достоевского.

Вспоминается карикатура из журнала «Крокодил» времен моего детства. Очкастая особа в строгом костюме и с портфелем в руках говорит подруге: «Поздравь меня, я теперь доцент». А та, разодетая дамочка с собакой на поводке, отвечает: «Подумаешь, я уже профессорша!» Пожалуй, молодым читателям юмор ситуации может оказаться непонятным, поэтому на всякий случай объясню: в те времена женщина, выйдя замуж за профессора, становилась материально обеспеченной и могла сидеть дома.

Приходится как-то выкручиваться, чтобы избежать неловкости. Скажем, добавлять к названию профессии имя: «врач Анна Петровна сказала», «менеджер Иванова позвонила». А самая странная ситуация сложилась с наименованиями женщин-литераторов. Некоторые почему-то считают, что слова «писатель» и «поэт» не должны иметь женских суффиксов. Между тем еще Даль в своем словаре вслед за «писателем» указывал женский вариант и и приводил пример: «В последнее время у нас явилось много писательниц» (хотя, заметим в скобках, женская проза XIX века массовым явлением отнюдь не была). Потом возникло у нас и слово «поэтесса» — по аналогии с западноевропейскими языками. Тем не менее извечный российский «сексизм» (то есть дискриминация по половому признаку) привел к сомнительному утверждению, что, мол, если дама пишет настоящие стихи, то она должна именоваться не «поэтесса», а «поэт». Да, так сказать, мужская логика. А не общечеловеческая.

В середине семидесятых годов широко обсуждалось стихотворение Евгения Евтушенко о Маргарите Алигер, начинавшееся словами: «За медом на Черемушкинском рынке поэт стояла...» Далее там шли фразы: «Поэт прославлена была когда-то...», «Поэт когда-то родила двух дочек...» Наконец на приглашение автора сесть к нему в машину — «поэт подумала и отказалась».

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Как лингвистический эксперимент это было занятно. Известный своим остроумием литературовед Зиновий Паперный сочинил такую вариацию на эту тему:

Евтушенко писало,  
что стояла поэт.  
Евтушенко считало,  
что родов больше нет.  
Евтушенко старалось  
доказать — все равно  
у народа осталось  
Евтушенко одно.

Пародия, конечно, сугубо шуточная, но, вспоминая ее, думаешь, что, может быть, и не стоит женщин «возвышать» до мужского рода. Не позволить ли им оставаться поэтессами? А как-то Юнна Мориц, бросая вызов «маскулинному» мышлению, демонстративно выбрала для себя титул «поэтка». Тоже забавно.

В энциклопедиях и словарях на этот счет разнобой. Согласно одним справочникам, Ахматова — «поэт», согласно другим — «поэтесса». Ладно, как-нибудь этот вопрос утрясется сам собой, тем более что «поэт» как основная профессия становится редкой — как бы совсем не ушла из жизни! Актуальнее другая проблема: как нам теперь называть деловых и «продвинутых» женщин? В разговорной речи и в языке СМИ встречаются варианты: «бизнесменка», «бизнесменша», «бизнесвумен», «бизнес-леди». Посмотришь на все это, примеришь, а брать не хочется: изящества нет. Подождем нового завоза лексического товара.

И все-таки хорошо, что язык наш не бесполой. Вячеслав Иванов в 1910 году сочинил стихотворение «Славянская женственность»:

Как речь славянская лелеет  
Усладу жен! Какая мгла  
Благоухает, лунность млеет  
В медлительном глагольном ла!



А десятью годами позже Илья Сельвинский (которого мы как-то подзабыли, а между тем изобретательный был поэт, его ценил даже скупой на похвалы Набоков) продолжил тему:

Идешь, с наивностью чистоты  
По-женски вся спрягая.  
И показалось мне, что ты —  
Как статуя — нагая.  
Ты лепетала. Рядом шла.  
Смеялась и дышала.  
А я... я слышал только: «ла»,  
«Аяла», «ала», «яла»...

Вот сколько можно прелести извлечь из того факта, что глаголы у нас в прошедшем времени изменяются по числам, а в единственном числе — по родам!

В цивилизованном обществе женщина и мужчина имеют равные права. Но для высокоразвитого мужского сознания женщина, так сказать, «равнее». Она имеет право проходить в двери первой и не пугаться, когда ей в метро уступают место. Право не таскать шпалы и не браниться матерными словами.

Право не скрывать свои эмоции и вызывать восхищенные взгляды.

## С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КНИГА?

Ясное дело — с названия. В нем зерно, главная суть того, что нам предстоит прочитать. По нему мы часто судим, стоит ли вообще открывать книгу.

Для высокой словесности название — это художественный образ, это духовный «месседж», послание автора современникам и потомкам. Помню, как в детстве услышал я по радио, что писателя по фамилии Пастернак поносят за «антисоветское сочинение» «Доктор Живаго». Первой реакцией было удивление: что дурного в романе с таким названием? «Доктор» — это врач, «Живаго» — от слова «живой». Врачеватель всего живого —

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

это человек хороший, нужный людям и стране! Адвокатом писателя выступил сам русский язык.

Войти в язык — вот высшая задача художника, когда он ищет имя-эмбрион для своего будущего творения или раздумывает, как окрестить шедевр, уже родившийся.

Совсем иначе обстоит дело в коммерческом книгопроизводстве. Сажу я как-то в одном богатеньком издательстве, где выходит красивый том Высоцкого с моим предисловием. Серийный формат беспощаден, стихов и песен оказался перебор, приходится сокращать, резать по живому. Неприятная процедура. А тут еще из соседней комнаты заглядывает молодой сотрудник в твидовом пиджаке — посоветоваться с толковыми женщинами-редакторами насчет названия очередного дамского детектива. Про что там — неважно. Ему надо на типовое изделие наклеить подходящий «лэйбл», чтобы удачнее впарить покупателю. Самой детективщице глубоко наплевать на имя ее дитя: обзовите как хотите, меня только гонорар интересует. Товар тут производится отнюдь не штучный. Как будто это не книги, а колготки. Причем халтурные, которые очень быстро «поползут».

Впрочем, в назывании популярных детективов прослеживаются любопытные тенденции. Старомодная Александра Маринина дает своим произведениям названия «сурьезные»: «Каждый за себя», «Когда боги смеются», «Смерть ради смерти». Надеется попасть в школьную программу... Или хочет, по крайней мере, окончательно закрепиться в статусе «русской Агаты Кристи». Одна ее книга названа «Пружина для мышеловки»: к Агатиной «Мышеловке» приставлена российская пружина. Боюсь только, что лопнет она раньше времени.

Иначе действует Дарья Донцова. «Гадюка в сиропе», «Привидение в кроссовках», «Маникюр для покойника», «Надудная женщина для Казановы»... Сами названия извещают, что все это предметы одноразового использования. Прочитал — и забыл в электричке. На полку в своем доме это не поставишь.

А как дела с названиями в нынешней серьезной словесности? Когда нас спрашивают, что́ стоит почитать, то приходится приводить не только имена, но и конкретные произведения. И их заголовки отнюдь не всегда впадают в память собеседника. А иной раз вызывают какие-то побочные ассоциации. Упомянешь, к примеру, «Кысь» Татьяны Толстой, а тебе в ответ: «Как же, как же, читал. И “Кысю в Америке”, и “ИнтерКысю”. Имеется в виду целый цикл романов про кота по кличке Кыся, написанных Владимиром Куниным, создателем легендарной «Интердевочки». Случайное совпадение? Никто не виноват?

И все-таки... Не отвечает ли автор, выбирая название, за все возможные переключки с предшественниками и современниками? Никак не пойму, почему маленького героя в романе Олега Зайончковского «Петрович» называют по отчеству — не мотивировано это ни логически, ни психологически. Зато неизбежно вспоминаются Петрович на карикатурах Андрея Бильжо и писатель Петрович из романа Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Вот, кстати, название многозначное и дерзкое, с намеком сразу и на Достоевского («Записки из подполья» по-английски именно «Underground» именуются), и на Лермонтова.

Здорово умел придумывать названия Набоков. «Лолита» — это слово с восторгом произносит до сих пор все читающее человечество. И не беда, что Владимиру Владимировичу нобелевские бюрократы так и не дали премии. Награда в том, что читают. Об этом «Дар» — роман с предельно простым и емким названием. А «Приглашение на казнь»? В самом заглавии — целая концепция советской истории.

Мне сейчас вспомнился рассказ Набокова «Тяжелый дым». Молодой русский эмигрант в Берлине тридцатых годов задумчиво разглядывает свою полку, где стоят «любимые, в разное время потрафившие душе книги». И перечисляются они без имен авторов — названия сами за себя говорят: «Шатёр», «Сестра моя жизнь», «Вечер у Клэр», «Защита Лужина», «Двенадцать стульев».

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Напомню: «Шатёр» — последняя книга Гумилева, вышедшая незадолго до гибели поэта. «Сестра моя жизнь» — это Пастернак, к которому вообще-то Набоков относился ревниво, но книгу стихов семнадцатого года не любить невозможно: жизнь — сестра не только Пастернака, но и того же Набокова, и наша с вами. Вот названьице-то! «Вечер у Клэр» написал Гайто Газданов, эмигрант и в то время явный набоковский конкурент. Красивый жест — похвалить соперника. Ну, и себя самого не забыл писатель при составлении «золотой» книжной полки: «Защита Лужина» — это же набоковский роман. Как говорится, без ложной скромности, но с каким достоинством и тактом!

Вполне возможно, что сейчас нечто вроде «Тяжелого дыма» пишет какой-нибудь современный прозаик. И там тоже будет книжная полка молодого интеллектуала с любимыми книгами. Интересно: какие названия произведений нынешних поэтов и прозаиков туда попадут? Кто сумел потрафить читательской душе?

## ЛИШЬ ЧИСТЫМ ДЕТЯМ

Сквернословие одержало очередную победу. Я имею в виду неизбежный провал внесенного Николаем Губенко в Мосгордуму законопроекта об ужесточении наказаний «за употребление ненормативной лексики, жаргонных и сленговых выражений». Причина очевидна — все тот же революционный утопизм, вера в светлое будущее «по указу». Следуя примеру Замятина и Оруэлла, попробовал я виртуально осуществить губенковскую идею. Вообразил себя честным милиционером, облеченным полномочиями, и стал гулять по городу, прислушиваясь к речи москвичей и гостей столицы. Кто матерится — тот хулиган, подлежащий задержанию. За четверть часа я «арестовал» полсотни лиц обоего пола и на этом остановился. Если «процесс пойдет», только им и должны будут заниматься все органы правопорядка и все суды. Да и то не справятся. Надо ли нашему отечеству еще

раз «Кафку делать былью», на этот раз под лозунгом борьбы «за чистоту языка»?

У материщины тут же нашлось немало идейных защитников. Они стали блистать эрудицией, цитируя в газетах и по радио пушкинские строки с непристойными словами и выражениями. Что ж, с подлинным верно. Есть такие слова в эпиграммах, в шуточных стихах, в письмах. Но что-то я не припомню, чтобы Пушкин, Вяземский и Соболевский беседовали на балу, перемежая свои речи «артиклем» «блин». Гигиену устной речи они блюли.

В споре с незадачливым бывшим министром приводились также байки о Фаине Раневской, умевшей виртуозно шокировать матерком. Но это все-таки из другой оперы. То, что к лицу Раневской, спросившей: «Ничего, что я курю?», когда режиссер нечаянно застал ее в костюме Евы, отнюдь не к лицу депутатам и бизнесменам в дорогих костюмах и с галстуками. Есть мат богемный, а есть плебейский. И если вы не играете на сцене и не поете под бас-гитару, то попадаете именно во вторую категорию.

С защитниками сквернословия солидаризоваться не тянет. Но и с «борцами» тоже. Очень уж они мне напоминают того анекдотического генерала, который публично отчитывал своего денщика за одно грубое слово, прибегая к трехэтажным конструкциям. Стоит различать базис и надстройку, понимать, что качество речи во многом зависит от качества жизни. Не лучше ли направить государственный пафос на устранение социальных причин языкового бескультурья?

Когда-то, во времена жестокой советской цензуры, повышенный интерес к нецензурной лексике был проявлением свободомыслия. Во второй половине шестидесятых годов студенты филфака МГУ даже затеяли своеобразный лингвистический кружок по изучению этой части «великого и могучего». Сей эпизод описан в моем «Романе с языком», могу к этому добавить, что некоторые участники кружка потом сделались известными литераторами. Исследуя потаенные пласты родной речи, мы тогда гордо цитировали фразу Ахматовой: филологи имеют право

произносить любые слова. С увлечением читали раскрепощенную во всех отношениях повесть Юза Алешковского «Николай Николаевич» и прочую неподцензурную прозу.

Во времена перестройки и гласности все преграды рухнули, и общественная потребность в непотребных словах была удовлетворена с избытком. Академические словари еще проявляли сдержанность. Толковый словарь Ожегова разделился на два лагеря — подобно МХАТу и Театру на Таганке. В версии Н. Ю. Шведовой он теперь содержит слова на буквы «г» и «ж» (но не более), в другом варианте блюдет стерильная чистота. Но сколько вышло менее научных, но зато более смелых словарей! Книжный рынок ими уже перенасыщен. Появились академически откомментированные издания старинных текстов: «Стихи не для дам», сочинения Ивана Баркова и все, что этому автору приписывается. Иные из этих опусов остроумны, иные, вроде скабресной переделки «Горя от ума», просто бездарны. Научному изучению, конечно, подлежит все, что написано, но, право же, нет особенных оснований утверждать, что мир матерной речи — это целая вселенная, полная загадочной прелести.

Еще менее выразительным стало щеголяние непристойными словами в современной поэзии и прозе. Попросту говоря, матерщина выходит из моды, становится унылой данью литературной рутине. «Шум времени» одним матом не исчерпывается. Придется писателям прислушиваться и к другим звукам жизни. Нынешним литературным новобранцам я бы уже не советовал слепо следовать тем авторитетным ветеранам, что сегодня глубоко завязли в занудно-многословной «кобелятине». Как говорил Блок: «Лишь чистым детям — неприлично их старой скуке подражать».

Кстати, о детях. В литературе все-таки есть одна заповедная территория, куда заносить нецензурную лексику не принято, причем без всяких законодательных актов. Это книжки для детей и подростков. Именно они могут стать противовесом грязному «языку улицы», дать начинающим читателям пример речевой

свободы и раскованности. Как Чуковский и Хармс с их бесшабашной парадоксальностью. Как лагинский старик Хоттабыч, который почтительно именовал юного друга «Волька-ибн-Алеша», а его злоречивого одноклассника обрек на «гавканье» вместо привычной брани. (Вот бы такого волшебника напустить на нынешнюю взрослую публику!) Может быть, и в нашем веке появятся столь же веселая мифология и такой же легкий, чистый язык.

## ОБЫВАТЕЛЬ, ЧИНОВНИК, ГРАЖДАНИН...

«Я обыватель». Невозможно было услышать такое лет пятнадцать назад, когда тысячи защитников перестройки и гласности заполняли Манежную площадь, скандируя лозунги типа «Если мы едины, мы непобедимы». Обывателем тогда считался тот, кто на демократические митинги не ходит. То есть, по словарю Ожегова, «человек, лишенный общественного кругозора, живущий только мелкими личными интересами».

Отмечалось в словаре и другое значение — «городской житель», но с оговоркой: «в царской России». Старинный глагол «обывать» означал «жить, проживать, обитать». Так он объясняется у Даля, причем стоящее рядом слово «обыватель» только жителя и обозначает, без всяких там сарказмов. Но не всегда стоит пользоваться историей слова как главным аргументом. Ведь, скажем, «негодяй» и «негодник» в давние времена означали рекрутов, непригодных к военной службе. Однако теперь, защищая своего отпрыска от нежеланного призыва, уже никто не будет упрашивать военкомат признать юношу «негодяем». Меняются значения слов, и мы все в этом процессе принимаем участие.

Русская литература с ее нравственным максимализмом еще в царское время придала словам «обыватель» и «мещанин» презрительный смысл. Кто не писал школьных сочинений про щедринского «премудрого пискаря» (в текстах классика он все еще пишется через «и» — в отличие от простых, неаллегориче-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ских пескарей) с его обывательской ограниченностью! Гордый Блок возвышался над «читателем и другом», не знающим ничего, кроме «обывательской лужи». Так достали бедного обывателя, что Саша Черный даже взял его под защиту:

Молю тебя, Создатель  
(Совсем я не шучу),  
Я русский обыватель —  
Я просто жить хочу!

Это из «Жалоб обывателя», опубликованных в журнале «Леший» в 1906 году. Отметим юбилей стихотворения, тем более что спустя сто лет оно зазвучало вполне современно. Не под силу каждому из нас решать мировые проблемы и «обустраивать Россию» — справиться бы как-нибудь со своими личными, сиюминутными, «мелкими» задачами! Вот и звонят люди на радио, пишут в газету, начиная свои вопросы словами: «Я как обыватель хочу знать про реформу ЖКХ». То есть как простой человек, которому надо сводить концы с концами. Или просят говорить с ними без научной зауми, без мудреных терминов: объясните мне, обывателю, что такое птичий грипп или, скажем, компьютерный вирус. «Обыватель» приобретает новое значение «неспециалист». Что ж, в известном смысле абсолютное большинство людей — это обыватели, люди, не обремененные ни большими денежными средствами, ни большими знаниями и умениями.

Невеселая, конечно, точка зрения, но реалистичная. Не то что в советское время, когда от всех требовали духовного горения, а «обывателя» объявляли врагом. Маяковский в поэтическом экстазе заявлял от имени самого Маркса: «Страшнее Врангеля обывательский быт» и призывал свернуть головы канарейкам. Птички, конечно, были ни в чем не виноваты, а под знаменем борьбы с «мещанством» головы пошли сворачивать и обывателям, и общественно активным людям.

Реабилитировано ли слово «обыватель» навсегда? Не уверен. К тому же робкая прелюдия «я как обыватель» часто звучит «не



по делу», мы просто не привыкли отстаивать свои права и зачем-то принижаемся. Да мы с вами многое можем не просить «как обыватели», а требовать как граждане своей страны! Довольно нелепо писать: «Как обыватель хочу знать правду о событиях в Беслане». Если вас этот вопрос волнует, значит, вы совестливый гражданин. Выше голову!

И уж совсем не к лицу маска «обывателя» народным избранникам. Было в Государственной думе одно ответственное лицо, которое явно злоупотребляло модным выраженьицем: «Я не экономист, а простой обыватель, которого больше интересует, когда правительство повысит минимальный размер оплаты...» Не надо лукавить: к «простым обывателям» вы не принадлежите хотя бы по материальному статусу. С ними вы смыкаетесь разве что по уровню речевой культуры, но мы сейчас не об этом. В парламенте все-таки нужны не «простые обыватели»: без определенного уровня экономических знаний там, пожалуй, и делать нечего.

И уж поскольку речь зашла о «больших людях», то хочется коснуться истории слова «чиновник». С ним произошла совершенно аналогичная метаморфоза. В том же ожеговском словаре «чиновник» как «государственный служащий» изображен только «в России до 1917 г.». А современное значение — исключительно ругательное: «человек, который ведет свою работу равнодушно, без интереса, бюрократически». Теперь, однако, средства массовой информации называют чиновниками всех, кто сидит в важных кабинетах и решает важные вопросы. Не становится ли это слово стилистически нейтральным? Не потеряет ли оно оттенок отрицательной оценки? Тем более что отнюдь не все чиновники «до 1917 года» были болванами, карьеристами и лихоимцами. Водились среди них и подлинные сыны отечества. В общем, посмотрим, как дальше ляжет речевая фишка.

Каждый человек имеет право быть простым обывателем. А также простым чиновником, добросовестно справляющим свою должность. Бурная политическая активность, творческое или научное подвижничество, самоотверженная благотвори-

тельность — все это занятия сугубо добровольные. Но если смиренные обыватели и исполнительные чиновники составят сто процентов населения... Нет, никак не обойтись России без энтого количества людей, которых можно определить старинным и вечным понятием — «гражданин».

### «РОССИЯНИН» ИЛИ «НЕРУССКИЙ»?

«Ну, что ты как нерусский?» Такое присловье помню со времен детства, ребята во дворе часто так говорили. В смысле: какой ты бестолковый, русского языка не понимаешь!

Никакого национализма. Вроде бы. В ту пору, как сейчас многие говорят, все люди были одинаково советскими. Дескать, мы и не разбирали, кто есть ху. Но вот я по-набоковски команду: speak, memoгу! Память, говори! В моем родном городе Омске, в том числе и в моем дворе, обитали представители разных национальностей: русские, украинцы, евреи, татары, немцы... В соседнем подъезде, помнится, жили братья Вова-Фриц и Толя-Фриц. Из-за отца-немца клички получили. Значит, даже дети различали друг друга по этническому признаку.

Все народы многонационального отечества были равны, но один был всех «равнее». Не ведать или не помнить этого — не знать подлинной истории СССР. Дореволюционное «инородец» сменилось на советское «нацмен», которое потом было тактично выведено из обихода. Но понятие-то оставалось. Скажем, при вхождении в высшие слои партийной элиты советский VIP, у которого в паспорте значилось: «украинец», почему-то перекрашивался в «русского». Я уж не говорю о представителях тех национальных меньшинств, которым было трудно устроиться на скромную должность журналиста, редактора или преподавателя. Тем, кто их туда рекомендовал, циничные кадровики выговаривали с юмором: «Что вы нам все французов присылаете?» А иногда и открытым текстом заявляли: «Есть сомнения насчет чистоты крови». Было это, было в блаженную эпоху Брежнева и колбасы по два-двадцать.

Как-то прочитал я в газете «День литературы» следующий ностальгический пассаж: «Одну из своих операций я пережил в 1966 году, сорок лет назад, в Красноярске. Когда очнулся, вижу — капельница стоит, рядом, из которой кровь переливали. Я скосил глаза, смотрю — фамилия донора. Нерусская. И затревожился. Думаю, как же я теперь писать-то буду? И не повредит ли это мне, русскому человеку? А к тому времени у меня хоть две маленькие книжечки, но все-таки вышли. Ну, слава Богу, обошлось».

Рассказано, конечно, в шутовском тоне, но как-то не смешно. И даже грустно, особенно если учесть, что автор процитированных строк большой писатель. Бога поминает, а христианского принципа «несть ни эллина, ни иудея» не разделяет — даже на медицинском уровне. Жаль.

Но присмотримся к слову «нерусский» с чисто лингвистической точки зрения. С частицей «не» существительные и прилагательные пишутся слитно, если их можно заменить синонимами без частицы «не». Если кровь «нерусская», то какая? Татарская? Еврейская? Как-то выходит, что само слово «нерусский» не годится для благородно-интеллигентной речи. Правда, в прежние времена были у нас учебники «для нерусских школ» (то есть для таких, где преподавание велось на других языках), но потом от него отказались, заменив на формулу «для национальных школ».

Выскажу свое мнение без обиняков: подлинный русский интеллигент строит свою речь так, чтобы не касаться этнического происхождения собеседника. Если тот сам хочет поведать о национальных корнях — это его дело. Но разговаривать с кем бы то ни было как с «нерусским» — недостойно. Потому и возникла после естественной смерти сочетания «советский человек» практическая проблема: как именовать граждан Российской Федерации? «Дорогие россияне!» — обращался к нам Борис Ельцин, эту формулу унаследовал и его преемник.

Однако в быт старинное слово входит как-то неуверенно. Показательно, что в новых изданиях словаря Ожегова оно значится во множественном числе: «россияне». «Я — росси-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

янин» — так говорить люди почему-то стесняются. Слишком торжественно, слишком пахнет восемнадцатым веком. Да и как перевести? Над английским языком мы не властны, не внедрим туда «Rossiyanin», все равно они будут писать и говорить «Russian».

Но лучшего слова пока нет, и едва ли оно появится. Произнося слова «я, россиянин», «мы, россияне», говорящий тем самым голосует за сохранность великой России в ее нынешнем многонациональном объеме. И не правы те бездумные думцы, что смеются над словом «россиянин» и навязывают представителям всех народностей РФ стандартизирующее наименование «русский».

Величие нашего языка еще и в том, что он не позволяет спекулировать самим словом «русский». Ведь, независимо от национальности, любой россиянин может идентифицировать себя в качестве «русского писателя» (к черту расистский ярлык «русскоязычный»!). А кичливость иной раз приводит к стилистически неуклюжему, даже неграмотному употреблению гордого эпитета. Вот письменники поздравляют в «Литгазете» своего собрата с 80-летним юбилеем. Все они, кстати, его моложе, но обращаются к нему на «ты». Богемная манера? Нет, скорее совковая, партийно-номенклатурная. Итак, читаем: «Звание лауреата Государственной премии России ты заслужил не сидением в президиумах, а русским неподкупным словом собственных книг». «Русским словом книг...» Напиши что-нибудь подобное желторотый абитуриент, ему за такой наворот снизили бы оценку. Не русский это язык. Это смесь шовинистической риторики с пыльным канцеляритом...

Зададимся простым вопросом: как станут называться все граждане нашей страны лет через двадцать? Если «россияне» — то Российская Федерация будет та же, что сейчас. А если «русские» — то уже без Северного Кавказа, с дырами в Поволжье... Лучше не продолжать. Вот какая получается история с географией плюс с лингвистикой... Останемся россиянами — сохраним Россию.

## КРЫЛАТЫЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ ЛЕТАТЬ

«Свежо предание, а верится с трудом» — слышал я от родителей, когда пытался соврать. Что эта фраза принадлежит Грибоедову, узнал позже, читая «Горе от ума» в красивом иллюстрированном издании альбомного формата. То же самое с репликой «Тяжела ты, шапка Мономаха!», звучавшей в доме в трудные минуты. Казалось, «шапка-мономаха» — нечто вроде папахи. Потом прояснилось: нет, это Борис Годунов в трагедии Пушкина говорит так о форменном головном уборе русских царей.

Так и живут в нашей речи крылатые слова. Вылетают из книг, забывают имена своих создателей, становятся частью языка. Это своеобразные иероглифы культуры, богатые смысловыми и эмоциональными оттенками. Это украшение нашей речи. Тот, кто умеет пользоваться ими с толком и вкусом, часто располагает к себе собеседников, убеждает в своей правоте. У крылатых слов две особенности — они произносятся наизусть и без ссылки на источник. Когда уважаемый В. В. Познер вынимает из кармана бумажку, надевает очки и начинает зачитывать, скажем, цитату из Чаадаева, он проигрывает. Не дает лететь мудрому слову, а в клетку его запирает.

Тут ведь важно контакт не потерять. Если цитата несет смысловой заряд, то ее и перевернуть не страшно. Многие крылатые слова так и живут перевернутыми. Доморощенные донжуаны и Казановы любят ссылаться на авторитет Пушкина, цитируя его в упрощенном варианте: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Настоящие знатоки Пушкина процитируют точнее: «...тем легче нравимся мы ей». Или вот в последнее время часто стали щеголять квазичитатой из Достоевского: «Широк русский человек!». Но откройте «Братьев Карамазовых» — и вы увидите, что Митя там высказывается иначе: «Широк человек. Я бы сузил». То есть речь идет о человеке как таковом, во вселенском масштабе. Но сами искажения любопытны как факт языка: говорящий как бы напрашивается в соавторы к авторитетному классику.

А классики — народ необидчивый: они смотрят на нас из вечности и великодушно прощают нам все оговорки и наш невинный «плагиат». Для них же главное — остаться в языке, раствориться в нем. И уже не так важно, кто первым сказал «э», кто изобрел выражения «а Васька слушает да ест», «лишний человек», «рыцарь на час», «они хотят свою образованность показать», «услышать будущего зов», «я из повиновения вышел»...

Филолог Наталья Фатеева в своей книге «Контрапункт интертекстуальности» пишет о том, что цитатой часто пользуются «как элементом словаря». И приводит в пример сцену из «Анны Карениной», где Облонский и Левин «за обедом обмениваются пушкинскими строками»: «узнаю коней ретивых», «с отражением читая жизнь мою». Примечание «как сказал Пушкин» в таком изысканном диалоге просто немыслимо. Как и для некоторых сегодняшних интеллигентов, у которых, правда, нет денег на обед с устрицами, но пушкинские тексты в памяти хранятся надежно.

Давая ссылку на первоисточник, можно и ошибиться, как аптекарь Оме из романа Флобера «Госпожа Бовари». Этот «эрудит» изрекает: «That is the question, как написано в последнем номере газеты». Опростоволосился из-за ненужного стремления к точности. Гамлетовское «Вот в чем вопрос» не нуждается в пометке «из Шекспира», это устойчивый оборот всемирного языка. В политическом лексиконе популярна присказка о том, что в России две беды — дураки и дороги. Приписывают Гоголю, хотя у него ничего подобного обнаружить лично мне не удалось. Да и выражение не шибко глубокое. Дураков у нас примерно столько же, сколько в среднем на планете. Беда в том, что многие из них находятся наверху, ездят по нашим дорогам с мигалками и блещут банальными, затертыми до дыр цитатами.

В обращении с крылатыми словами нужна своего рода гигиена. Вот один оратор употребил это выражение, за ним другой. Не становитесь в очередь третьим! Поворошите в памяти, припомните что-нибудь посвежее. А еще можно почитать серьезные книжки и из них что-нибудь выудить для собственно-

го красноречия. В последнее время я часто жалею Иммануила Канта. Мало того, что Иван Бездомный собирался его закатать в Соловки, так его сейчас цитирует кто ни попадя. И все одно и то же выражение — уже не крылатое, а изрядно оципанное. О том, что две вещи вызывают восторг — «звездное небо над мной и моральный закон во мне». Причем часто это мы слышим из уст людей, которые Канта никогда не читали, на небо особенно не взирают, а реально ценят две вещи — свой загородный дом и счет в банке. Так и хочется ответить им словами Василия Розанова (тоже крылатыми): «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали». А мораль такая, что не стоит щеголять философией, полученной в кратком изложении да еще из чужих рук.

В поэзии последних лет принято подшучивать над всякого рода вечными истинами и красивыми словами. Постмодернизм! Вот блоковское «О доблестях, о подвигах, о славе...» Раньше так называли сборники военных стихов и мемуаров, а что сотворил Тимур Кибиров... «О доблестях, о подвигах, о славе// КПСС на горестной земле, О Лигачеве и об Окуджаве...» Поначалу раздражало: что же это он Блока «стебает», Окуджаву с Лигачевым равняет! Теперь думаю иначе: это полезная ироническая прививка от расхожего пафоса. Блок принял бы такие строки спокойно, хвалил же он пародию Буренина на «Шаги Командора»...

Игорь Иртеньев тоже не промах: взял да и оспорил древнейшее крылатое выражение (чаще цитируемое по-латыни: «Mens sana in corpore sano»):

В здоровом теле —  
Здоровый дух.  
На самом деле —  
Одно из двух.

Остроумно, но время иронической поэзии, пожалуй, проходит. От поэтов помоложе мы уже ждем не только полемики с общепринятыми истинами, но и свежих языковых формул, наполненных позитивным содержанием. Как советовал юным

стихотворцам Валерий Брюсов: «И ты с беспечального детства // Ищи сочетания слов». Найдете удачные сочетания — мы, читатели, их подхватим и сделаем крылатыми!

## РУССКИЙ И ЕГО СОСЕДИ

«Ксенофобия» — одно из ключевых понятий современного социально-политического лексикона. Слово это солидного греческого происхождения («ксенос» — «чужой», «фобия» — «боязнь»), оно означает неприязнь к иностранному, нелюбовь к представителям некоренных национальностей. Его можно прочесть в газетах, услышать в радио- и теледебатах. В обыденной, уличной речи ему соответствует выражение «Понаехали тут, понимаешь!»

И слова, которые приходят в русский язык из-за границы, тоже порой вызывают ксенофобскую реакцию. Дескать, прут отовсюду «мерчендайзеры» и «промоутеры», «девелоперы» и «фрилансеры»! Исконно русскому слову уже и ступить негде... Справедливы ли подобные жалобы?

Займствование иноязычных слов — процесс абсолютно естественный. Русская речь с очень давних пор пополнялась дарами соседей. Мы едим финскую *кильку*, носим тюркские *башмаки*, пишем в греческой *тетради*, не думая о том, что все это слова из чужих языков. Петр Первый приблизил к нам Германию и Голландию. Мы уже не ощущаем, что «солдат» и «офицер» — слова немецкие, а нидерландский «зонтик» (урожденный «зондек») так обрусел, что «ик» мы приняли за уменьшительный суффикс и начали называть этот предмет просто «зонт» (прямо как Пушкин в анекдоте Хармса стал называть Жуковского просто Жуковым). С французским же языком у русского была даже не дружба, а, можно сказать, любовная связь. Этот месье задарил нас всякими будуарами и адюльтерами, целые букеты слов присылал («букет», кстати, тоже из французского). Потом наступило охлаждение, но недавно все-таки получили сувенир оттуда — слово «бутик».



Главным же импортером новой лексики в последние годы стал английский. Не нужна ли языковая таможня? Чтобы право на въезд получали только те слова, без которых нам не обойтись, новые технические и экономические термины: «компьютер», «брокер», «маркетинг». Пропустим и «шоу», но при условии, что оно не будет полностью вытеснить наше «представление». А вот «герлфренд» и «лузер» пусть возвращаются откуда приехали. Я их и произношу, и пишу только по-английски. А когда говорю по-русски, перевожу их соответственно словами «подруга» и «неудачник».

Но в любом случае таможенным контролем имеют право заниматься только те, кто свободно владеет обоими языками. Автор лучшего на сегодня «Толкового словаря иноязычных слов» Л. П. Крысин считает, что процесс заимствования осуществляют «билингвы», носители двуязычного сознания, а от них новые слова передаются другим социальным группам. Для молодого поколения владение английским становится обязательной нормой. И это хорошо: тот, кто по-настоящему владеет чужой речью, не станет ею без нужды кокетничать, говорить на смеси «английского с нижегородским». Это я перефразирую Грибоедова, который выступал против засилья иностранных слов, но сам при этом был полиглотом. Как и другие защитники русского языка, например Владимир Иванович Даль.

Неприятно, что в нашу устную и письменную речь проникает так называемый «суржик», эклектическая смесь русского языка с ближайшим соседом — украинским. Официальный Киев почему-то решил, что независимому статусу государства соответствуют только предложно-падежные формы «в Украине» и «из Украины», хотя Шевченко, как мы помним, завещал похоронить его «на Украине милой» (в оригинале: «на Вкраини»). В дела соседней страны мы не вмешиваемся, но нормой русского языка остаются сочетания «на Украине» и «с Украины». Если вы этой нормы не придерживаетесь, то роняете свое речевое достоинство. А настоящий «билингв», человек, свободно

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

владеющий и русским, и украинским языками, их без толку не путает.

Отношения между языками во многом подобны отношениям между людьми. Каждый живет своей жизнью, собственными заботами. Но почему бы, встречаясь на ходу, не улыбнуться соседу, не сказать ему что-то приятное? Сумрачный ксенофоб Сталин, ни одним языком толком не владевший, всех подозревал в шпионаже и обогатил русскую речь выражением «иностранцы-засранцы». А веселый Хрущев, честно признававшийся на учительском съезде, что слабоват по части речевой культуры, все-таки стремился перед поездкой за рубеж запомнить парочку чужеземных слов, чтобы ошеломить публику фразой типа «Хинди-руси бхай-бхай!»

«Вы из России? Я знаю одно русское слово — «спасибо». Кто из нас не слышал подобных реплик, находясь за границей? Так давайте на их «spasibo» отвечать великодушным «пожалуйста»! В том числе и тем нашим бывшим соседям по общесоюзной коммуналке, что сделали иностранцами совсем недавно. Как бы ни складывались отношения между правителями, из нашей памяти никто не выбьет сочетаний вроде «Гамарджоба, генацвале!» А уж корневое родство русского языка с украинской «мовой» непременно приведет в будущем к равноправному диалогу двух народов.

Русская «всемирная отзывчивость», о которой говорил Достоевский, подразумевает и лингвистическую широту. Как сам Федор Михайлович вольно обращался с иноязычными элементами! Жену Смита называл «Смитихой» (по этой модели и «Гейзиха» в набоковской «Лолите»). А от фамилии «фон Зон» придумал глагол «нафонзонить». Русская речь все в себя может вобрать: полезное усвоит, а бесполезное выплюнет.

И когда очередное иноязычное слово стучится в двери нашего великого, могучего и просторного языка, не бойтесь сказать ему: «Добро пожаловать!» Поверьте, если оно окажется ненужным, то надолго не задержится.

## «МИЛАЯ НЕЗНАЮ!»

Не удивляйтесь такому заголовку. «Не» с глаголами, конечно, пишется раздельно. А мне припомнилась старинная стихотворная шутка. В 1820 году Евгений Баратынский опубликовал в журнале «Невский зритель» такую вот миниатюру под заголовком «К девушке, которая на вопрос, как ее зовут, отвечала: “Не знаю”»:

Незнаю? Милая Незнаю!  
Краса пленительна твоя:  
Незнаю я предпочитаю  
Всем тем, которых знаю я.

Надо думать, юная красавица просто не расслышала вопрос. Уж свое-то имя знает каждый. А вот стоит ли отвечать «Не знаю» в ответственных ситуациях? И как это делать, не теряя достоинства? Телевидение изобилует всякого рода познавательными передачами по принципу «вопрос — ответ». И я иной раз бросаю взгляд на экран с чисто профессиональной целью: узнать, насколько участники состязаний осведомлены в той области, где я имею удовольствие трудиться.

И что же? Плачу и рыдаю. Хуже всего мои уважаемые сограждане ориентируются именно в русском языке и в художественной словесности. Растлевающее влияние программы «Культурная революция» с ее циничными слоганами типа «Литература никому не нужна»? Может быть. Хотя и старшее поколение телевизионных «эрудитов» не очень радуется. Вот перед Максимом Галкиным восседает осанистый мужчина предпенсионного возраста, успешно добравшийся до призовой суммы в полмиллиона. И ему выпадает прямо-таки детский вопрос: каким стихотворным размером написана первая строфа нашего государственного гимна? Пять основных стихотворных размеров изучаются не то в шестом, не то в седьмом классе — это минимум средней школы. А у моего телегероя не просто десять классов на лбу написаны — там явно светится высшее образование. Сейчас он с ходу

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

назовет правильный из четырех вариантов — «амфибрахий» и доберется до миллиона. Ур-ра! Го-ол!

Но не тут-то было. Солидный муж явно пасует и наугад выбирает «гекзаметр», которым вообще-то написаны «Илиада» и «Одиссея». Товарищ немножечко перепутал Михалкова с Гомером. И Галкин тоже хорош! Мог бы помочь тактичной подсказкой. Нет, шучу: вообще-то этот ведущий — молодец. Он и сам ориентируется в океане знаний, и публику своими краткими комментариями тактично просвещает, вводит, так сказать, в контекст культуры. Это педагогично. А вот Дмитрий Дибров не сумел даже правильно прочитать на табло термин «раёшник» (это такой народный лубочно-прибауточный стих, использованный, например, Пушкиным в «Сказке о попе и работнике его Балде»). Точки над «ё» не были проставлены, и ведущий произнес: «раЕшник». И ничего, не сгорел со стыда, снова ведет эту программу.

Подведу неутешительный итог: «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить». «Он» — это не Онегин, а телезритель наш. А «мы» — это всероссийская армия педагогов-словесников. Правильного ответа по поводу стихотворных размеров не слышал я с телеэкрана *ни разу* за последние тридцать лет, начиная с ворошиловских времен передачи «Что? Где? Когда?» Что делать? Исключить ненужные народу сведения из школьной программы? Но ведь нужны стиховедческие термины тысячам людей, когда они, например, едут в метро и разгадывают кроссворды, сканворды и чайнворды. Там вполне могут быть загаданы и амфибрахий, и анапест. Дорогие мои, если вы так любите вписывать буквы в клеточки, почему бы не пополнять постоянно словарный запас, для своего же удовольствия?

Конечно, существует и ненужное щеголяние мудреными словесами. Никогда не напишу: «каузально-темпоральный». Для всякого, кто знает латынь, ясно: лучше сказать по-русски — «причинно-временной», и никакой смысловой разницы не будет. Вспоминается обсуждение творчества Александры Марининой на страницах высокоумного журнала «Неприкос-

новенный запас». Сама героиня прочитала дискуссию о себе и язвительно заметила, выступая по радио, что она «слова поняла все», а общего смысла не обнаружила. Претензии писательницы справедливы: многие литературоведы не могут «словечка в простоте» сказать и маскируют квазинаучной бижутерией недостаток ясной мысли. Тут уж ничего не поделаешь: умение писать не всегда выдается в комплекте с большими познаниями. «Филолог» по-гречески — «любящий слово», а Слово (то, что с большой буквы) капризно, порой коварно и отнюдь не всем словолюбам отвечает взаимностью. Но критиковать и осуждать их мы можем только тогда, когда сами понимаем «все слова».

И опять я возвращаюсь к тяжелым телевизионным воспоминаниям. Молодой человек получает вопрос: «Какое слово придумал поэт Хлебников — “самолет” или “летчик”?» Толковый третьеклассник, ей-богу, мог бы вычислить: в народных сказках встречается «ковер-самолет», стало быть, это слово существовало задолго до появления аэропланов и письменной поэзии. Так что изобрести слово «самолет» никакой поэт не мог, надо выбирать «летчика». (Это, впрочем, только устойчивая легенда, что именно поэт-футурист ввел слово «летчик» вместо «пилота» и «авиатора», но сейчас мы в такие тонкости не вдаемся.) А самое грустное, что незадачливый участник передачи, не сумев ответить, задумчиво изрек: «Знать бы еще, кто такой Хлебников!» Мало того, что несообразителен, так еще и кичится на всю страну своим дремучим невежеством! Не помню, кто он был по профессии, но сдается мне, что такие люди и на своем рабочем месте не очень полезны.

Милые «Незнаю»! Имейте совесть!

## ПИШИТЕ ПИСЬМА!

«Судить писателя по законам, им самим над собой признанным». «Поэзия в его стихах и не ночевала». «Выдавливает из себя по капле раба».

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Вот наудачу три выражения, прочно вошедшие в русский язык и часто используемые интеллигентными людьми в спорах о жизни и о литературе. Объединяет эти броские формулы одно: все они пришли в нашу культуру из писем. Пушкин писал Бестужеву, Тургенев — Полонскому, Чехов — брату Александру. Адресатами же в итоге оказались мы с вами. Выдернули оттуда фразы, чуть переиначили (я нарочно привел их в том виде, в каком они чаще всего фигурируют как факты языка) и применяем к нынешней реальности.

А вообще-то всякое письмо — ценность. Я, конечно, имею в виду не «имейлы» и не эсэмэски, а настоящие письма. Положить перед собой лист бумаги, пройти по нему собственным неповторимым почерком, вложить в конверт, аккуратно вывести имя того, от кого предстоит теперь ждать ответа... Подышать на клеевой слой и провести по нему языком... Вот письмо упало на дно почтового ящика, и что-то екнуло в груди. Произошло событие.

Часто ли мы сегодня позволяем себе эту роскошь? Не уходит ли из жизни традиция «почтовой прозы», продолжают ли ее наши дети и внуки? Хочется поговорить об эпистолярном этикете, который мое поколение усвоило от тех, кто состоял в переписке с кумирами Серебряного века. Когда знаменитый пушкинист Сергей Михайлович Бонди показывал нам маленькое письмецо от Блока, мне бросилось в глаза, что на конверте было полностью выведено имя, отчество и фамилия двадцатидвухлетнего адресата. Знаете, с тех пор и я никак не могу написать сокращенно: «И.И. Иванову», разве что на конверте с официальным посланием. Пусть назовут меня старомодным, но знакомого, а тем более близкого человека обозначаю полным именем.

Далее. Обращение «уважаемый» у нас считалось минимально вежливой и довольно сухой, официальной формой. Адресуясь к людям авторитетным, мы начинали письмо с эпитета «глубокоуважаемый» и в ответ такого же удостаивались. Составляя двадцать с лишним лет назад «Энциклопедический словарь юного литературоведа», я вступал в переписку с Лихачевым, Лотма-

ном, Гаспаровым. Первый раз мы друг друга называли «глубокоуважаемыми», а потом переходили на «дорогой». Таков был академический канон. А поэт Давид Самойлов, написавший для словаря по моей просьбе статью о рифме, сразу начинал с «дорогого» — как личность творческая и более раскованная. Так что, дорогой читатель, не стесняйтесь в письмах к знакомым лицам пользоваться этим любезным эпитетом. Никакой излишней интимности в нем нет. По-английски, кстати, даже деловое письмо начинают с «Dear Sir», так что это стандарт и международный.

Что касается основного содержания письма, то это уже вопрос не этикета, а этики. Считалось в старые добрые времена, что хорошо писать письма — значит не столько «самовыражаться», сколько обращаться именно к данному собеседнику, о нем думать больше, чем о себе. Именно так, деликатно и самоотверженно, Юрий Тынянов вел эпистолярный диалог с Виктором Шкловским (их переписка стоит доброй сотни книг по теории литературы). А вот Шкловский был эгоцентриком, даже в письмах «ведал» всему человечеству. Однако при этом был самокритичен. В своей лирической книге «Зоо, или Письма не о любви» (романе, написанном в эпистолярной форме), он дал слово не только самому себе, но и возлюбленной, и от ее имени сыронизировал: «Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви... Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем “как” я начинаю думать о постороннем».

Вышесказанное верно не только для любовных писем, но и для дружеских, родственных и даже корпоративно-профессиональных. Думайте о партнере, и вам воздастся. Хороший тон — где-то в последнем абзаце еще раз повторить начальное обращение: «Словом, дорогой имярек, очень советую вам...» Кстати, «Вы» в «натуральных» письмах принято писать с большой буквы, хотя при воспроизведении переписки в книжных и периодических изданиях печатается «вы».

Самое приятное письмо — то, что написано от руки. Но не всем дан каллиграфический талант, потому с некоторых пор ста-

ло допустимым печатать письма (кроме, пожалуй, любовных) на машинке, теперь и на компьютере с принтером. И здесь есть одна тонкость. Если вы посылаете письмо не по имейлу, а в «бумажном» виде, сделав «принт» и собираясь запечатать послание в конверт, можно не просто подписаться в конце, а добавить короткую фразочку от руки, даже если почерк ваш относится к категории «как курица лапой». Очень это изысканно!

Позволительно ли публиковать и читать чужие письма? Иван Александрович Гончаров в 1889 году, за два года до своей кончины, выступил в «Вестнике Европы» со страстной статьей «Нарушение воли», где протестовал против посмертной публикации переписки литераторов и умолял ни в коем случае не печатать его собственных писем. Эта статья теперь входит в собрания сочинений Гончарова и размещается аккуратно перед разделом... «Письма». Все-таки не все свои послания он успел уничтожить, и кое-что сохранилось для потомства, для культуры.

Вопрос, поднятый автором «трех романов на «О», и сегодня не теряет остроты. Лично я считаю, что, отправляя письмо, перестаю быть его собственником, оно отныне всецело принадлежит адресату. А классики, что бы они ни думали и ни говорили, всегда пишут для всех, и письма в том числе. Как сказал от их общего имени Булат Окуджава: «Всё, что было его, — нынче ваше. Всё для вас. Посвящается вам».

## НОВЫЕ СЛОВА ПОЛУЧАЮТСЯ НЕЧАЯННО

Пробовали вы когда-нибудь изобрести новое слово? Наверняка пробовали, только забыли об этом. Все мы — словотворцы, особенно в младенчестве. Произносим какие-то загадочные сочетания звуков, непонятные взрослым, а потом начинаем познавать язык окружающих людей. Уже научившись говорить, дети еще долго продолжают оставаться авангардистами и футуристами, сочинителями «зауми». Хорошо написала об этом Ирина Токмакова:



## Владимир Новиков

А я придумал слово,  
Смешное слово — плим.  
И повторяю снова:  
Плим, плим, плим!

Вот прыгает и скачет  
Плим, плим, плим!  
И ничего не значит  
Плим, плим, плим.

Лирический герой бескорыстен, он не претендует на то, чтобы «плим» вошел в словари. А вот взрослый человек, если уж разродится новым словечком, то требует, чтобы за ним признали авторское право. Помните, как Эдуард Успенский воевал за монополию на слово «чебурашка»? Хотя изобретением детского писателя был только зверек с большими ушами, а само словечко оказалось старинное, еще Далем записанное: «чебурахать — бросить, кинуть, чебурашка — ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги». Автор слова — народ. Волжские бурлаки его придумали. Но народ забывчив, а Успенский удачно подобрал бесхозное слово и дал ему вторую жизнь.

В том же томе Словаря Даля находим и слово «стушеваться» в значении «уйти украдкой, скрыться». На его авторство подал в свое время заявку не кто иной, как Достоевский. В 1846 году он впервые употребил его в повести «Двойник», а тридцать один год спустя с прямо-таки юношеским пылом настаивал в «Дневнике писателя» на своем приоритете. Все и поверили. Хотя некоторые педанты не без оснований утверждают, что уже в пушкинские времена глагол «стушеваться» существовал в разговорном языке.

Кто первым сказал «э» — так ли важно? Создателем слова «интеллигенция» более ста лет числился Петр Боборыкин. Можно сказать, вся слава его на этом держалась. Но вот в 1994 году в Томске разбирали архив Жуковского, и в дневнике поэта за 1836 год ту самую «интеллигенцию» обнаружили. То ли скромный Василий Андреевич сам словечко изготовил, то ли услышал его от друзей.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

А слово «образованщина», вне сомнения, изобрел в 1960-е годы Солженицын, опасаясь, что наша интеллигенция вырождается, утрачивает чувство ответственности за судьбу народа и страны. Слово сохранило свой тревожный смысл до наших дней: «образованец» — профессионал-прагматик, нафаршированный специальными знаниями, но лишенный широты взгляда. Я бы указал два признака «образованца»: он отстраняется от политики и не читает серьезной художественной литературы.

Заглядываю в соседнюю комнату. Там Ольга Новикова заканчивает рассказ «От обиды». На ее столе — экземпляр солженицынского «Русского словаря языкового расширения» с дарственной надписью Александра Исаевича: «россыпи, мимо которых мы проходим нетерпеливо». Пригодились ей целых два слова оттуда: «бедоноша» (не банальное «неудачник»!) и «обижанцы». Емкое слово. Кто из нас не «обижанец»?

Свой проект «расширения» языка предложил живущий в Америке филолог и эссеист Михаил Эпштейн. Под рубрикой «Дар слова» он периодически вывешивает в Интернете собственные словотворческие новинки. К примеру: «вечностник» (тот, кто устремлен к вечности), «времяписец» (писатель, такой, как Юрий Трифонов), «благоподлость» (зло, творимое из лучших побуждений), «любля» (физическая близость мужчины и женщины). Можно ли целенаправленно повлиять на язык? Привьются ли эти экспериментальные гибриды? Время ответит, а такой «проективный словарь» можно сравнить с научной фантастикой.

Примечает Эпштейн и чужие нововведения. Так, он поддержал слово «междунамие», которым я в книге «Роман с языком» обозначил нечто таинственное, соединяющее двух людей. Надеюсь ли я сам, что слово войдет в язык? Не очень. Достаточно, чтобы его приняли мои единомышленники, те, с кем у меня есть то самое «междунамие».

В конечном счете все слова создает сам язык, а потом озвучивает их через своих носителей, известных и неизвестных.

Самые плодovитые изобретатели неологизмов — Хлебников и Маяковский. Но для них важно было, чтобы странное слово работало только в стихе, как сугубо авторское. Когда Маяковского спрашивали, останутся ли придуманные им слова в языке, он сердито отвечал: может быть, какое-нибудь пустяковое и задержится. И как в воду глядел. В поэме «Хорошо» есть не очень хорошая сцена, где высмеиваются противники большевиков: оппозиционерка Кускова карикатурно изображена в виде пушкинской Татьяны, а лидер кадетов Милюков — как ее няня («усатый нянь»). Не бог весть как остроумно, да и русский либерал Милюков — фигура отнюдь не комическая (достаточно вспомнить, что, заслоня этого человека от пули, погиб отец Набокова). Но сочетание «усатый нянь» оторвалось от контекста поэмы, слегка изменило суффикс, в варианте «усатый нянь» стало названием популярной комедии, а потом закрепилось в языке. Почему? Потому что в самой нашей жизни существует такое явление, как мужчина в роли няни.

Телефонный звонок. У дочери дежурство в редакции, некому с внучкой посидеть: все заняты. Еду. Буду возить Клаву в коляске по парку Покровское-Стрешнево, вступая в дипломатичные разговоры с водительницами других колясок и осторожно догадываясь, кем они приходятся своим пассажирам — мамами, бабушками или нянями. И сам буду усатый нянь.

## ТУТ НУЖНА ЗАПЯТАЯ, ИЛИ УВАЖАЙТЕ ТРАДИЦИЮ!

Воруют запятые. Систематически. Следственное дело на расхитителей я завел еще в начале 90-х годов, и с тех пор оно пополняется все новыми документами и доказательствами. Пора передать его на читательский суд. Смотрите, господа присяжные заседатели, и вникайте.

Уже пятнадцать лет раздражение вызывает надпись на одном книжном корешке: «Русский Эрос или философия любви в России». Изгнал бы эту книгу из домашней библиотеки,

но жалко. Хорошее издание, вышедшее на пике перестройки и гласности. Там и Владимир Соловьев (не телеведущий, а философ), и Розанов, и Бердяев, и Флоренский, и маленькое эссе Фета «О поделуе». И в выходных данных название оформлено правильно: «Русский Эрос, или Философия любви в России». А вот на переплете и на титульном листе художник-шрифтовик сделал красиво, но неграмотно. С тех пор «процесс пошел». Уже не удивляюсь, когда на обложке свежей прозаической книги, претендующей на интеллектуальность, значится неграмотное «Смерть прототипа или портрет».

Уильям Шекспир: «Двенадцатая ночь, или Как вы пожелаете». Алексей Толстой: «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Союз «или» в этих случаях означает «то есть» и требует перед собою запятой. И оба названия начинаются с прописной буквы.

Такова традиция. Скажем, по-французски пишется иначе, и книга Марины Влади о Высоцком в оригинале называется «Vladimir ou le vol arrêté». Ни запятой, ни второй прописной буквы. А переведенное на русский, это заглавие приобретает следующий вид: «Владимир, или Прерванный полет».

Однако бывает и совсем другое «или», разделительное. Оно обозначает альтернативность, необходимость выбора. Быть или не быть? Обычно такая фраза завершается вопросительным знаком. Передо мной газетный очерк о приусадебных садово-огородных участках: «Отдых или трудовая повинность?» Вопрос поставлен ребром. А вот заголовок статьи о современной культуре: «Духовная эволюция или деградация?» Здесь «или» опять-таки разделительное, непримиримое. То ли мы с вами эволюционируем и движемся вперед, то ли деградируем... До хрипоты можно спорить.

Почувствовали разницу? Тогда согласитесь, что в интернетном журнале «Прелесть» допущена ошибка в заголовке: «Быть королевой или дама в диадеме». Нет же никакой альтернативности. Дама в диадеме становится похожей на королеву. Берем красный карандаш и правим: «Быть королевой, или Дама в ди-

адеме». А в другом интернетном издании даже университетский профессор оплошал, назвав статью «Кому давать гранты или сколько в России молодых ученых?» Это же два тождественных по сути вопроса. Надо было написать: «Кому давать гранты, или Сколько в России молодых ученых?»

Устали? Я тоже. Остальную работу над этой типичной ошибкой оставим книгоиздателям и владельцам интернетных сайтов. В Сети таких нарушений уже тысячи, если не десятки тысяч. И за каждой — невнимание к языку и к читателям.

Многое в жизни держится на традициях, на условностях. Если уж в нашей стране принято ездить по правой стороне дороги, то лучше следовать обычаю, независимо от того, какой руль в вашем автомобиле. Так и в орфографии, в пунктуации: пишем, как договорились. И позор нарушителям конвенции! В свое время было много анекдотов на тему: чем культурный человек отличается он некультурного. Со всякими шутивными ответами: мол, культурный отличает Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля... Шутки были не лишены основания: ведь Иосиф Виссарионович Сталин во всеуслышание сказал однажды: «русский писатель Гегель», кинохроника это зафиксировала. А писателя Исаака Бабеля партийные журналисты путали с известным тогда немецким социал-демократом Августом Бебелем!

У филологов же в шестидесятые годы была такая примета орфографической культуры: грамотный человек — это тот, кто знает, что фамилия поэтессы Беллы Ахмадулиной пишется с одним «л», а фамилия лермонтоведа и артиста Ираклия Андроникова — с одним «н». Причем эти написания — чистейшая условность, случайность по сути. Среди однофамильцев поэтессы многие имеют два «л», а был генерал князь Андронников с двумя «н» — из того же грузинского рода Андроникашвили. Тем не менее литературная знаменитость имеет право отличаться во всем, включая написание имени и фамилии.

А что теперь? Лишнее «л» вписали недавно Ахмадулиной в оглавлении солидного журнала. Случайно? Конечно, как слу-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

чайным бывает и жирное пятно на белой юбке, только ходить в ней уже неприлично. И Андроникову в Интернете второе «н» то и дело посмертно присваивают. Невежливо это.

Иногда мы не имеем права задним числом даже вставить мягкий знак в прославленную фамилию. Вот соратник Петра Великого — Александр Меншиков. Произносится эта фамилия так же, как современная «Меньшиков», а традиция требует различения. И церковь Архангела Гавриила, построенная на средства легендарного «Алексашки» на Чистых прудах, именуется «Меншиковой башней» опять же без мягкого знака.

А сколько в России Кузьминых! И только один из них — поэт, автор «Александрейских песен» — пишется «Кузмин». Очевидно, результат простой ошибки-описки, но человек, прочитавший хотя бы одно стихотворение Михаила Алексеевича, твердо знает, что его фамилия без мягкого знака пишется.

Правила правилами, а надежнее каждое слово знать в лицо. И даже к маленькой запятой относиться с почтением.

## «СВОЙ» НА ЧУЖОМ МЕСТЕ

«Тарантино заставил Уму Турман поверить в свою сексуальность...» Услышав эту фразу из уст телеведущего, я чуть было не разочаровался в знаменитом режиссере. Мужчина, бравирующий своей сексуальностью, на мой взгляд, просто отвратителен. И что значит «заставил»? Неужели речь идет о домогательстве? Значит, не лишен оснований был сюжет безыскусной песни Владимира Кристовского, лидера группы «Уматурман»: «Она скажет: А вообще, Володька, хреново! — И начнет рассказывать: Вот, — скажет, — вчера, к примеру, приходил Тарантино. Нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, здоровенная детина. Я тогда ему так строго сказала: — Квентин! Может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще-то я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили...»

Однако уже через пару секунд Тарантино был в моих глазах полностью реабилитирован. Из дальнейшего рассказа стало ясно, что умелый режиссер заставил актрису поверить не в свою, а в ЕЕ собственную сексуальность. В частности, уговорил Уму Турман станцевать босиком в фильме «Криминальное чтиво», несмотря на то, что ступни у голливудской звезды отнюдь не миниатюрного размера.

Так в чем же дело?

Согрешил здесь автор текста телепередачи, употребивший вместо правильного притяжательного местоимения «ее» неприемлемое в данном случае местоимение «свой». Недоразумение быстро разрешилось, но представьте, что подобная фраза оказалась бы вынесенной в газетный заголовок. Тарантино мог бы вчинить иск за нанесенный ему моральный ущерб.

«Свой» — опасное, коварное слово. Притворяется «своим в доску», а само в любой момент может, как говорится, кинуть подянку. Вот я слышу по радио: «Министр обороны освободил командующего флотом от своей должности». Явный вздор! Не от своей должности министр освободил подчиненного, а от ЕГО должности! Неуместная двусмысленность, сбивающая с толку, отвлекающая внимание слушателей.

Частенько этот «свой», влезая куда не надо, приводит к досадному логическому абсурду. Причем в неловкое речевое положение попадают даже профессиональные филологи. Председатель ученого совета на заседании изрекает буквально следующее: «Я должен поздравить Екатерину Сергеевну с успешной защитой СВОЕЙ докторской диссертации». Конечно, следовало сказать: «ее диссертации». Наверное, долго длилась защита, и председатель очень устал...

Последний пример я взял из коллективного труда «Русский язык конца XX столетия», где М. Я. Гловинская дала научное объяснение этого массового речевого недуга. В современном русском языке наблюдается «тенденция к нарушению условия кореферентности и употреблению возвратного притяжательного «свой» вместо личного». С тех пор как я прочитал этот научный

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

труд, слово «свой» использую с предельной осмотрительностью. Всякий раз включаю внутренний контроль и команду себе: «Соблюдай кореферентность!»

Читателей, однако, я не призываю заучивать столь сложные термины. Давайте лучше фразы с местоимением «свой» представим как картинки. На каждой такой картинке по два персонажа: Тарантино и Ума Турман, министр и командующий флотом, председатель и диссертантка. Так будем стараться, чтобы каждый получил именно свое, а не чужое. Свою сексуальность, свою должность, свою диссертацию. Для этого при необходимости заменяем «свой» на «его» или «ее».

Да, это требует некоторых умственных усилий. Иначе невозможно. Вы любите русский язык? Верю, что любите. Считаете его красивым? Я тоже. А любовь к красавице — дело не только приятное, но и ответственное. Все время надо быть начеку, нельзя плошать.

Если вы почувствуете «огнеопасность» местоимения «свой», то через некоторое время перестанете обжигаться — противопожарное устройство в речевом сознании начнет срабатывать автоматически. И вы уже не повергнете собеседника в недоумение нечеткой фразой типа: «Я попросил Иванова закончить свою статью». Вы скажете: «Я попросил Иванова закончить его статью». Или: «Я попросил Иванова, чтобы он закончил свою статью». И никто не подумает по ошибке, что Иванов — ваш «негр», что он пишет за вас статьи — так, как некогда доблестные советские журналисты сочиняли литературные произведения Л. И. Брежнева.

А иногда слово «свой» ничем заменять не нужно — его надлежит просто вычеркнуть как лишнее. Вот недавнее сообщение: «Автор СВОЕГО единственного романа «Убить пересмешника», американская писательница Харпер Ли, решила прервать СВОЕ литературное молчание». Давайте-ка вместе отредактируем эту неграмотную фразу. Прежде всего режет глаз ненужный повтор. По совести, можно вычеркнуть и «своего», и «свое» — смысл не изменится. Если же оставлять, то только



«свое литературное молчание» — это еще грамотно. А вот «автор своего романа» — это никуда не годится, слово «своего» подлежит немедленной ликвидации.

Откуда взялось это засилье ненужных «своих» в одном предложении? Может быть, повлиял англоязычный источник: там, надо полагать, стояло местоимение «her». В русском языке ему в подобных случаях соответствует не «свой», а... нуль, пустое место. У лингвистов эта ошибка так и называется — «запретный «свой» вместо нуля». Так что остается напомнить переводчикам бессмертный совет их коллеги Самуила Маршака: «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком». Кстати, слово «своим» в этом двустишии твердо стоит на законном месте — ничем его не заменишь.

### «ПРИКОЛЬНО» ИЛИ «КАЧЕСТВЕННО»?

«Почему тебе нравится эта книга?» — «Прикольно написано». Подобный диалог «отцов и детей» можно услышать сегодня. И не сердитесь на отпрысков. За жаргонным словом стоит своего рода эстетика. «Прикольно» — не просто «хорошо». Это наличие внешне эффектного приема и тайного послания определенной читательской группе («таргет-груп» — есть теперь такой социологический термин).

Пример литературной «прикольности» — творчество Виктора Пелевина. В повести «Принц Госплана» он стер границу между обыденной жизнью и компьютерной игрой, в романе «Чапаев и Пустота» сделал анекдотического Василия Ивановича буддистским проповедником, а Петьку — поэтом-декадентом. Некоторые приколы Пелевина заведомо недоступны читателям, так сказать, старшего возраста. Спрашиваю студентов: в чем юмор пелевинского изречения: «Сила ночи, сила дня — одинакова фигня»? (На месте «фигни», кстати, словечко покрепче.) Не могут вразумительно объяснить — даже те, кто пишет дипломные и курсовые работы о своем кумире. Очевидно, тут

требуется особый эмоциональный настрой. Причастность к магическому ритуалу.

В начале шестидесятых и у нас было свое заветно-культовое произведение — «Звездный билет» Василия Аксенова. Мы находили тайную магию в немудреных фразах типа: «Были бы деньги — накирлялся бы сейчас». Тогда говорили не «прикольно», а «законно», «железно» — суть та же. Молодежная молва работала лучше любой рекламы — ни стендов, ни «растяжек» не требовалось. И нападки критиков только разогревали интерес.

А что же «прикольно» сегодня, когда двадцать первый век вступил во вторую пятилетку? Неожиданным оказался бешеный тиражный успех книги Сергея Минаева «Духless». Театр начинается с вешалки, прикол — с заглавия. Уж, казалось бы, такое общее место: духовность — это хорошо, бездуховность — плохо. Кто спорит? А Минаев заезженную «бездуховность» вывернул наизнанку и вместо русского «без» подшил английский суффикс «less» — всего-то делов. И сработало. Маркетинг...

«Духless» известил мир об очередном «потерянном поколении», рожденном в первой половине семидесятых и выбившемся в люди. В люди, да не те. Подзаголовок «Повесть о настоящем человеке» поражает неожиданной для преуспевающих молодых топ-менеджеров ностальгией по советским идеалам. Хотите кусочек «Духлесса» на пробу? Пожалуйста: «Такова жизнь. Большую ее часть ты карабкаешься в стремлении занять место под солнцем, а когда достигаешь желаемого, выпускаешь дух, так и не успев насладиться его первыми лучами». Да-с, язык — сукно... Небезупречный даже по школьным нормам стилистики: лучами чего? Солнца или духа? Нельзя так фразу строить, да и слова хорошо бы подобрать не такие затасканные, не заношенные до дыр. Увы, все произведение соткано из риторического старья. Пожалуй, стоило бы переписать его от начала до конца. Но название и подзаголовок оставить. Это прикольно. Это неожиданный сигнал: «продвинутую» молодежь затошнило от потребительского благополучия. Духовная жажда появи-

лась. Вслед за Минаевым непременно придут те, кто сможет облечь это чувство в оригинальные сюжеты и нетривиальные фразы.

Ну а что противопоставил рыночной «прикольности» наш литературный бомонд, нынешние защитники высокой словесности? Они выдвинули термин «качественная литература». Неудачный. Употребление слова «качественный» в значении «хороший» — признак неинтеллигентной речи. Истинный рыцарь русского языка скорее скажет «высококачественный» или «доброкачественный». Недаром в словаре Ушакова прилагательное «качественный» фигурировало только как книжное и неоценочное: «качественные различия», «в качественном отношении». Потом оно проникло в словарь Ожегова и в значении «очень хороший, высокий по качеству». Но обратите внимание на словарные примеры: «качественные стали», «ремонт произведен качественно». Речь идет о товарно-материальной сфере. Оценка стали и ремонта может быть однозначной и бесспорной. А в искусстве критерии художественности постоянно пересматриваются. Новое слово, новое художественное качество рождается как раз в борьбе с привычными нормативами.

К «качественной литературе» сторонники этого термина обычно относят «умеренность и аккуратность». Без всяких там дерзостей и приколов, без рискованного проникновения в глубины подсознания. Но главная беда в равнодушии оценщиков к содержанию, к самому художественному «посланию» книги.

Некоторые критики считают, например, «качественным» роман Захара Прилепина «Санька» — о молодых экстремистах национал-большевистской ориентации. О том, как из душевной серости, завистливости юных недоумков формируется взрывчатая смесь. Автору романа эта смесь очень по вкусу и по душе. Он мыслит теми же категориями, изъясняется теми же словами, вместе с героем оценивая происходящее как «праведный беспредел». Вы и это готовы проштамповать своим «знаком качества»? Не принимаю. Такая мораль ведет только к хаосу, в том

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

числе речевому: «Само знание о первой жене деда поражало Сашу...», «понял Саша иронично»...

Нет, негоже критикам быть литературными товароведом, равнодушно измеряющими технические параметры продукции. Невозможно оценить «качество текста», не затрагивая его сути.

### ЖУРНАЛИСТЫ, ВПЕРЕД!

На трибуне председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Михалков. Докладывает о достижениях советской литературы за 1984 год. Хвалит роман-эссе Генриха Боровика «Пролог», отмечая, что произведение написано «хорошим журналистским пером». Под видом комплимента ехидно срезал. В ту пору пресса была совсем другая, и для писателя сравнение с журналистом звучало нелестно. «У тебя язык газетный» — услышав такое, прозаик мог и в морду дать. Или, признав правоту обидчика, сжечь рукописи и навсегда отказаться от литературных потуг.

В пору перестройки и гласности газеты засверкали разными идейными красками, заговорили с читателем живым человеческим языком. «Ну, прэсса! Вот прэсса!» — изумленно восклицал Жванецкий. Столько появилось новых слов, интонаций. Лингвисты кинулись выписывать на карточки шустрые и колючие фразы журналистов, предпочитая их гладко отредактированной советской прозе.

А корифеев прессы, открывших народу «тьму низких истин», потянуло к «возвышающему обману», к художественному вымыслу. Типичная фигура нашего времени — журналист, пишущий романы и стихи в свободное от газетно-радио-телевизионной службы время. Времени этого мало, зато много информации в голове и столько нервных эмоций в душе! Кабинетный писатель часто тяготится своей свободой, ничего не видит он в жизни кроме издательств и книжных выставок. А через журналиста проходит такой заряд социального электричества! Ни стабиль-

ности, ни застоя. Твою газету, твой канал в любой момент закроют или перекупят, перепрофилируют так, что родная мать не узнает. Дискомфорт, зато какая динамика! Суровая школа жизни...

Перед каждым журналистом, ваяющим романную «нетленку», и перед каждым прозаиком, подрабатывающим газетчиной, неизбежно встает важный вопрос: одним пером он работает или двумя? Можно ли писать «прэссу» и прозу единым языком?

Когда этот вопрос мои студенты задали Александру Кабакову, он ответил, что у журналистики и прозы «разное целеполагание». Красиво сказано и убедительно. Это позиция классическая. Основа прозы — многозначный вымысел, а журналистика требует однозначной ясности и фактической достоверности. Проза сильна изобразительностью, в газете же таковая просто неуместна. Вспоминаю публицистику Юрия Трифонова: разговорность и стилистический аскетизм. Пластичная интонация, выразительная деталь — это у Трифонова только в романах и повестях.

А есть и другой путь, когда журнализм внедрен в подкорку литературного сознания. К примеру, роман Сергея Доренко «2008» написан сугубо газетным языком (не считая срывов в явную безвкусицу). Но у этого произведения очень конкретное «целеполагание» — дожить до года, обозначенного в названии. А куда девать роман в 2009 году? Туда же, куда девают прошлогодние газеты.

От языка прозы ждут первозданности и неповторимости. Но книгу, написанную в непривычной стилевой системе, не прочтешь безотрывно, над ней все-таки потрудиться надо. А что если свои мысли и чувства передать словами вторичными и повторимыми? Этим путем пошел Евгений Гришковец, преднамеренно опустивший стилистическую планку, работающий в журналистской манере «не по службе, а по душе». И добился успеха.

Синтез беллетристики и журналистики — в прозе Дмитрия Быкова. Название романа «ЖД» сам автор расшифровал множе-

ством способов. Я предложил бы еще один — «журналистский дискурс». Не пугайтесь лингвистического термина: «дискурс» по-французски речь, тип речи. В прозе нового поколения журналистская языковая модель явно теснит речь книжную. Это факт.

«Чем пахнут ремесла» — есть такие детские стихи Джанни Родари. «Пахнет маляр скипидаром и краской. Пахнет стекольщик оконной замазкой». Только про писателей там ни слова. Восполним пробел. Понюхаем страницы современной прозы.

«То, что последовало за этими словами, больше всего напомнило Громову даже не дежурство по полку, а скорее ночной эфир в радиостудии: давно, в незапамятные времена, в прошлой и даже позапрошлой жизни, он хаживал гостем на такие эфиры, отвечал на звонки, что-то читал. Никогда потом не было у него столь острого чувства связи с миром...» Это из упомянутого романа Дмитрия Быкова «ЖД». Такой язык пахнет свежей газетной полосой, прямым телевизионным эфиром. Запах простой, понятный, но летучий. Может быстро выветриться. Пока работает.

А теперь образчик другого стиля:

«Истощенность сознания, излечиться от которой он не мог вот уже год, рисовала повсюду, куда бы ни бросил он взгляд, размытый автопортрет — неряшливый черновик с пустыми глазницами и вялым провалом рта, где, как в черной дыре, гибли рой за роем невнятные образы и слова, оставляя на губах привкус проглоченной шелухи из сладковатого воска, горькой пыльцы и пережеванных пчелиных крыльев».

Это из романа Алана Черчесова «Вилла Белль-Летра». Такая словесная ткань отдает букинистической лавкой или литературным архивом, пыльными старинными переплетами. Душок более стойкий, но, как говорится, на большого любителя.

Что лучше? Как специалист читаю и то, и другое. Участвую в спорах, кто лучше пахнет. А чего ждет мой читательский нос? Того, чего он до сих пор не нюхал.

Виктор Шкловский говорил, что в искусстве нужен собственный запах. Первичный и неповторимый. Но он встречается о-очень редко.

## БЛАГОРОДНЫЙ, БОГЕМНЫЙ, ПЛЕБЕЙСКИЙ...

Уверены, что все мы говорим на одном языке? Я — нет. Русский язык не только велик и могуч, но также и широк, многолик. Вслушиваясь в речь сограждан, обнаруживаю в ней три потока, о которых и поведаю. А уж вы сами решайте, по какому руслу приятнее плыть, какой речевой костюм вам к лицу.

Почему для правильного и безупречного языка выбран эпитет «благородный»? Слово «интеллигентный» в данной роли не работает. Во времена советской уравниловки считалось: все должны ходить в театр, читать Льва Толстого, слушать «Аппассионату» Бетховена и говорить интеллигентно. Был даже анекдот на эту тему: один работяга роняет на ногу другому что-то тяжелое, а тот ему делает замечание: «Извини, Федя, но ты не прав». Примерно так изъяснялись труженики в тщательно отредактированных фильмах и спектаклях. Кому нужна такая лакировка действительности? Требование всеобщей речевой «интеллигентности» заведомо утопично, поскольку удовлетворять ему может меньшинство населения. От силы один-два процента.

Более того, многие гуманитарии сегодня отрекаются от звания «интеллигент». Авторитетный языковед, автор солидных монографий сказал мне однажды: «Я себя интеллигентом не считаю». Так под каким же знаменем могут объединиться рыцари русского языка? Надеюсь, принцип речевого благородства будет в пору.

А эпитет «плебейский» предлагаю использовать вместо устаревшего термина «просторечие», которым лингвисты по привычке называют социально обусловленное отклонение от литературной нормы. Например, такие ошибки, как «ложить», «мой тувель», «психиатор», «без польт», «кушаю» вместо «ем» и т.п.

На заре двадцать первого века этот ряд пополнился выражениями «двухтыщестой год», «в разы». Новое просторечие? Но так то и дело говорят люди, по анкетным данным принадлежащие к элите. В двухтыщетаком-то году упорно продолжают жить многие литераторы, деятели искусства, политические обозреватели, а то и члены правительства! А каково было услышать в телепередаче из уст вице-президента Академии наук, что в США на науку денег выделяют «в разы больше»! Не говоря о вульгарности слога, это даже информационно невразумительно. Что значит «в разы»? В три раза или в девять раз больше? Ненаучный какой-то стиль.

И от пресловутого «в разы», и от «двухтыщестого» разит плебейством, словесной распущенностью. Противостоять ей можно только личным примером благородного речевого поведения. А оно часто бывает присуще и людям простым, не имеющим дипломов и званий, но обладающим собственной манерой разговора, индивидуальной языковой физиономией. Они не склонны к подражанию, не спешат попугайски повторять всякое новое и зачастую мусорное словечко, не пытаются показать себя культурнее, чем есть на самом деле.

Надо ли бороться за благородство речи? Наивно рассчитывать, что министру на его языковые промахи укажет премьер-министр или, наоборот, заместитель министра. Благородство — само себе награда. И, к счастью, оно по-хорошему заразительно. Передается окружающим при речевом контакте.

К своим коллегам по литературе и науке я в этом смысле придирчив. Но кому готов делать поблажки — так это актерам, музыкантам, художникам. Богема! Недаром же возникло это понятие в середине XIX века у французов, а потом вошло во многие языки как обозначение беспорядочной жизни артистической среды. Быт особенный — и язык тоже.

Благородный, богемный и плебейский языки с предельной прозрачностью различаются в следующих речевых ситуациях: а) обращение на «вы» или на «ты»; б) отношение к нецензурной лексике; в) использование литературных цитат. Проиллюстри-



рую свою «социолингвистику» наглядными примерами. Представим двух персонажей мужского пола, одному шестьдесят лет, другому — тридцать.

В первом сюжете перед нами пожилой профессор и молодой доцент. Прислушаемся к их разговору. Красивая литературная цитата здесь весьма вероятна. Взаимное «тыканье» исключено. Хотя во Франции оно между коллегами-преподавателями в ходу, а в Швеции и студент может быть на «ты» с наставником. Но русские консервативны, и у нас разве что старший может сказать младшему «ты», как бывшему ученику. Что же до мата — он в таком благородном обществе исключен.

Сюжет второй, богемный. Два актера расслабляются после спектакля. Могут быть на ты, невзирая на разницу в возрасте. Порой позволяют себе крепкие выражения. Но в то же время, поднимая бокал, произносят что-нибудь вроде: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...»

Ну, и третий вариант. Пожилой и молодой мужчины около вашего дома роют канаву, возятся с трубами. Обращение на вы между ними маловероятно. А вот на брань никаких ограничений. От одноэтажной до многоэтажной. Едва ли в их разговоре прозвучит цитата из Мандельштама. Если же вдруг таковая послышится, то мы решим, что это не настоящие работники. Не иначе как профессор и доцент, получающие ничтожные зарплаты, устроились подхалтурить.

Как видим, наибольшей речевой свободой обладает богема. Она и «тыкает», и «выражается», и блещет цитатами. А наибольшие ограничения добровольно налагает на себя носитель благородного языка. Из всех вольностей — только право цитировать классиков. Но этого, честно говоря, и достаточно.

## КАК ВЕЛИТ ПРОСТАЯ УЧТИВОСТЬ

На Крылатской велодороге редко встретишь велосипедиста. Олимпийские игры в Москве случаются нечасто, поэтому извилистая тринадцатикилометровая лента служит главным образом

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

для пеших прогулок. Ходят врозь и парами, с детьми и с собаками. Четвероногие чувствуют здесь себя особенно вольготно. Подбегает ко мне мохнатый пес, залиvisto лает, цепляется когтями за брюки.

«Джой, Джой!» — слышится голос молодой дамы. Призвав своего любимца, она начинает его ласково журить. С песиком разговаривает, а мне — ни слова. Женщина приятной наружности, со вкусом одета, но, к сожалению, хамка. Да, именно так оценивается подобное поведение по всем международным стандартам. Владелец собаки обязан сказать: «Извините». Или хотя бы, как чеховская героиня, с застенчивой улыбкой произнести: «Он не кусается».

Когда в Париже нечаянно толкнешь человека в вагоне метро — тут же услышишь от него: «Пардон». Если толкаемый окажется по случайности «руссо туристо». Почему же мы, россияне, такие беспардонные? Почему не испытываем внутренней потребности повиниться — и за пустячную небрежность, и за большие промахи? Начинается все с бытовой бесцеремонности, а в итоге ведет к упорству в грехе. Не убедил нас фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»: с чего это вдруг мы все каяться должны? А уж мысль Достоевского о том, что «всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех»... Мало кто под ней подпишется сегодня.

Впрочем, меня занесло в эмпирей. Разговор-то о несовершенстве нашего речевого этикета. Есть слова и выражения, которые надлежит произносить в определенных ситуациях. Автоматически. «Как велит простая учтивость» — есть такая строка у Ахматовой. Набор формул учтивости можно свести к семи: «здравствуйте — до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините», «разрешите представить», «поздравляю», «соболезную». Чем чаще звучат эти семь нот, тем гармоничнее жизнь, тем меньше в ней агрессии и безысходной тоски.

Когда в том же Париже заходишь в лифт и видишь незнакомого человека, «бонжур» сам собой вырывается из уст. Как и у твоего попутчика. На севере Германии, гуляя по маленькому

городку, каждому встречному машинально говоришь: «Мойн», слыша в ответ то же слово. Легко и просто. А у себя на родине то и дело мучишься гамлетовскими сомнениями: здороваться или не здороваться? С соседями по лестничной площадке — да, а как с остальными обитателями подъезда? Мы-то не против, а если на твой «Добрый день!» не ответят? Не хочется быть назойливым... В магазине «Копейка», подойдя к кассе, говоришь: «Здравствуйте», а кассирша смотрит на тебя как на заигрывающего с ней ловеласа. Хорошо, что в «Седьмом континенте» девушки сами встречают покупателей приветствием. Но общенациональной нормы нет. Прямо хоть в Думу законопроект вноси: с кем граждане РФ должны здороваться в обязательном порядке.

С выражением благодарности тоже проблемы. Вот на рынке, получив от меня деньги, продавец вручает пакет с виноградом и любезно произносит: «На здоровье!» Так вообще-то отвечают на «спасибо». А я уже и не помню, сказал ли «спасибо». Может быть, сумрачно промолчал, сомневаясь и в точности весов, и в качестве товара. По большому же счету благородный человек, получая что-либо, всегда благодарит. «Спасибо» происходит от «спаси Бог» — так почему же лишний раз не попросить Всевышнего спасти всех: и покупателей рынка, и торговцев, пусть не всегда безупречных? Из «спасибо» шубу, как известно, не сошьешь, но хорошее настроение сшить можно — и себе, и другим.

«Разрешите представить» — это выражение вообще слышу раз в сто лет. А ведь так естественно — познакомить двух авторов, случайно пересекшихся в твоём редакционном кабинете. Или представить автора коллеге, сидящему в том же помещении. Чтобы потом, звоня по телефону, человек мог обратиться не к пустому месту, а к личности. Мог что-то спросить, передать. И уж совсем неприемлемо, встретив с кем-то вместе третье лицо, вступить с ним в беседу, не познакомив со спутником. Запомнят они друг друга или нет — это уже их дело, но, огласив имена, мы долг учтивости исполнили.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Чужие успехи не всех радуют. Тем не менее, услышав, что знакомый получил премию или повышение, издал книгу или защитил диссертацию, лучше не молчать, насупившись, а сказать: «Поздравляю». Можно без объятий и поцелуев. Независимо от того, какого качества книга или диссертация. Так велит простая учтивость.

Ну и наконец о печальном долге, который часто приходится исполнять в связи с чьим-то уходом из жизни. Не обязательно театрально рыдать, как Коровьев перед дядей Берлиоза, можно обойтись без «трехсот капель эфирной валерьянки» — вполне хватит двух слов: «Примите соболезнования». Нашим теле- и радиоведущим стоит выработать сдержанно-достойный тон сообщения о кончинах и гибелях людей. А то их звонкие и бодрые интонации в таких случаях звучат просто бестактно. В любом голосе есть скорбная нота, ее надо только уловить и закрепить.

Ничего не сказал я про ноту «пожалуйста». Поскольку ее дефицита не ощущаю. «Дайте, пожалуйста», «скажите, пожалуйста» — это слышится нередко. Может быть, потому, что в детстве все мы читали нравоучительный рассказик Валентины Осеевой «Волшебное слово», где это самое «пожалуйста» настойчиво пропагандируется. И ведь действует. Все-таки воспитательная роль литературы не совсем химера, не совсем утопия.

## ПОЛ И СЕКС

Любителей клубнички просят не беспокоиться: говорить будем о речевой гигиене, об ответственности за сказанное. Даже такое слово, как «секс», стоит употреблять с толком. А то оно у нас превращается в междометие, в дикий клич. Как собака бросается в бег по команде «Фас!», так и многие человекообразные сегодня оживленно реагируют на крик «Секс!»

Слово это в русском языке молодое, может быть, потому такое неразумное и наглое. Лезет везде, суется к месту и не к ме-

сту. В 1940 году в четвертом томе словаря Ушакова никакого «секса» еще не было — имелось прилагательное «сексуальный» латинского происхождения, «связанное с половыми отношениями». В качестве синонима приведено слово «половой», гораздо более распространенное в ту пору. Вспомним купленные Остапом Бендером золотые часы, которые до того были подарены «Сереженьке Кастраки в день сдачи экзаменов на аттестат зрелости», причем над словом «зрелости» приятели гимназиста нацарапали «половой».

А главным в этой сфере было слово «пол». То есть «одна из родовых половин, род, мужской или женский», согласно Далю. Над словом, бывало, каламбурно подшучивали. «Томится пол, смешаться алчет с полом», — написал в 1911 году поэт Вячеслав Иванов. Сатирик Александр Измайлов так продолжил эту строку: «А потолок смущен, от злости бел». И пародию назвал «Пол и потолок». Или вспомним популярную некогда в российском быту фразу «живу половой жизнью» — в смысле: спать приходится на полу. Но в целом ясность была.

Она отчасти утратилась, когда в русский язык был импортирован пресловутый «секс». В словарь Ожегова сей чужеземец вошел с формулировкой: «Все то, что относится к сфере половых отношений». Так может быть, два коротких слова по смыслу тождественны и отличаются только происхождением? «Пол» = «sex»?

Нет, не совсем. Есть пространство, где отечественный «пол» не может быть автоматически заменен иноязычным собратом. Заполняя анкету, мы видим пункт «пол». «Какого вы пола?», а не «какого вы секса?». В сочетаниях «сильный пол», «слабый пол», «прекрасный пол» замена ключевого слова на «секс» также невозможна. В свою очередь выражение «заниматься сексом» не может быть трансформировано в «заниматься полом». Значит, есть несовпадение, «разнотык», говоря зощенковским словечком.

Нравится ли вам само сочетание «заниматься сексом»? Навкус, эстетически. Мне не очень. Что-то в нем есть грубое

и примитивное. Никак не скажешь, что Анна Каренина и Вронский «занимались сексом». Да и к отношениям набоковского Гумберта с Лолитой такая плоская формула, пожалуй, неприменима. Может быть, выражение не совсем литературное?

Да. И это уловил автор «Толкового словаря иноязычных слов» Л. П. Крысин, указавший, помимо широкого значения слова «секс», второе, узко-житейское: «половые сношения». А в качестве примера привел именно «заниматься сексом». И что важно, такой «секс» снабжен пометой «разг.» То есть разговорное слово, в письменной речи не всегда уместное. И обозначает оно сугубо физиологический акт. Наш русский «пол» — уж позвольте мне немножко пославянофильствовать — все-таки предполагает поиски близкой, родной половинки. «Сексом» же можно занимаются и без участия души.

Стало быть, имеются секс и секс. Абстрактный и конкретный. И даже выражение «заниматься сексом» можно понять по-разному. Есть ученые, которые занимаются сексом как предметом исследования — сексологами они именуются. Пишут серьезные, отнюдь не развлекательные книги, и мы их не путаем с изготовителями порнографических журналов.

Но есть соблазн сыграть на двусмысленности слова. Что и сделала недавно Ирина Хакамада, озаглавив свою книгу «Sex в большой политике». Честно призналась, что это помогло увеличить тираж. Чем больше тираж, тем лучше, а цель иногда оправдывает средства. Так какова же была цель написания книги? Вот что говорит Хакамада: «Слово «секс» в названии книги не случайно написано по-английски. В переводе «секс» — значит пол. То есть эта книга — о нахождении женского пола в мужском мире».

Тема, конечно, важная. У нас в России все еще нет равноправия полов, особенно в политической жизни. Объективно говоря, женщины дискриминируются. Среди мужчин слишком распространено отношение к дамам исключительно как к объектам сексуального интереса. И не уступка ли этому мужланству игривое «sex» на переплете книги? Впрочем, защита «сестер по

полу» в задачу автора не входила. А панацеей от всех российских несчастий Ирина Муцуовна неожиданно объявляет «секс» в самом бытовом и элементарном значении слова: «Что касается “большой политики”, то в России она абсолютно асексуальна, и в этом ее беда. В политике большую карьеру делают люди, не любящие себя и других... У Александра II было огромное количество романов, он был чувственным царем, и при нем Россия пережила очень интересные реформы. Так что секс помогает всегда. Поэтому не забывайте о нем, и у вас все будет хорошо!»

Как говорится, спасибо за совет. Но возникают сомнения. Разве мало среди наших политиков настоящих жизнелюбов, умеющих отдохнуть в приятном обществе? А вот где царит асексуальная атмосфера — так это в каком-нибудь Бундестаге под руководством Ангелы Меркель. Однако социально-экономические проблемы там решаются.

Секс уже не выгонишь ни из жизни, ни из языка. Но в качестве главной политической стратегии это короткое словечко не сработает.

## КАК НАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ

«На вечере выступили писатели и поэты...» Все чаще читаю и слышу подобные фразы. Вызывает легкое раздражение. «Писатель» — понятие родовое, а «поэт» — видовое. Слово «писатель» включает в себя целый спектр творческих занятий. Поэт, прозаик, драматург, публицист, литературный переводчик, критик — все они писатели.

Словарь Ожегова на моей стороне: «ПОЭТ. Писатель — автор стихотворных, поэтических произведений»; «ПРОЗАИК. Писатель — автор произведений в прозе»; «ПУБЛИЦИСТ. Писатель — автор публицистических произведений». Получается, что сочетание «писатели и поэты» логически несуразно. Нечто подобное наблюдалось раньше в разговорном языке с наименованием видов мяса. «Купила на базаре мяса и свинины» — сообщали не шибко образованные домохозяйки, имея в виду, что

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

«мясо» — это только говядина. Но носитель культурной речи всегда считал за «мясо» и свинину, и баранину, и даже лосятину, которая в благословенное советское время формально числилась в ассортименте магазинов «Дары природы». Хотя реально увидеть ее лично мне так и не довелось.

Не привередничаю ли я? Язык ведь не всегда строго логичен. Можно в принципе придаться и к сочетанию «литература и искусство», существующему во многих языках. Разве литература не вид искусства? Но мы миримся с этим маленьким речевым искривлением, привыкли к нему. И все же... Если в названии справочника значится что-нибудь вроде «Сто русских писателей и поэтов», то вы почти на сто процентов можете быть уверены, что под обложкой скрываются халтура и китч.

В том же убеждают прогулки по Интернету, где обнаружился сайт с потрясающим названием: «Русские писатели и пофты». Да, именно так! Видимо, ребята захотели стилизовать свою вывеску под «ретро», блеснуть старинным «ятем». Но не ведали они, что «ять» встречался только там, где теперь на его месте пишется «е». «Поэт» же и в пушкинские времена писался с «э» обратным! Раньше о невежественном и малограмотном человеке говорили: «Корову через ять пишет» (поскольку в слове «корова» нет ни одного звука, который мог бы обозначаться «ятем»). У нас теперь объявились и сомнительные «литературоведы», которые «поэта» пишут через ять! Обновили поговорку.

А сайтик, кстати, еще тот оказался. Аннотация сообщает, что здесь можно ознакомиться и с текстом «Камасутры», хотя к созданию древнеиндийского эротического трактата русские поэты и прозаики явно непричастны. Заманивают посетителей и стихами «русского поэта-матершинника (так!) Баркова». Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть: слова «матерщина», «матерщинник» пишутся исключительно через «Щ» и произносятся с соответствующим мягким шипящим. Написание и произношение «матерШинник» — признак низкой речевой культуры. Это к слову.



Может быть, конструкция «писатели и поэты» укоренится в языке и будет узаконена. Но пока от нее отдает не очень хорошим душком. Если хотите, чтобы ваша речь была благоуханна, рекомендую пользоваться сочетанием «прозаики и поэты». И не стоит изобретать сложных титулов вроде «писатель-прозаик»: почему-то именно таким образом представляют Александра Проханова на радиостанции «Эхо Москвы». Тут либо «писатель», либо «прозаик». Даже если интеллигентные критики данного литературного деятеля не считают настоящим писателем, а про его сочинения говорят: «Разве это проза?»

У некоторых слов, помимо обыденного значения, есть смысл возвышенный, торжественный, священный. «Се человек!» — сказал о Христе Понтий Пилат. «Человек он был» — вспоминал своего отца Гамлет. Каждому из нас ведомо представление об идеале Человека с большой буквы. Тем не менее мы не отказываем в праве называться человеком и самому заурядному представителю вида *homo sapiens*. Так и со словом «писатель». Оно в России всегда звучало гордо, обозначало не просто щелкопера, а провозвестника больших идей. Это наша национальная культурная мифология. Но язык милостив и к обычным литераторам-профессионалам, которые тоже обозначаются словом «писатель».

«Я не писатель, я автор детективных романов», — кокетничает с телеэкрана Татьяна Устинова. Нет, не отпирайтесь, Татьяна! Раз вы пишете книги и адресуете их читателям, то мы вправе судить о вас как о писателе. И не только по рейтингам продаж, но и по самому что ни на есть гамбургскому счету, для которого все жанры равноправны. От чтения детективов читатель может становиться умнее, а может — глупее. Что касается устиновского романного стандарта с нарочитой криминальной фабулой и непременно «принцем», женящимся на героине, то такая проза, на мой взгляд, отнюдь не повышает читательский духовно-интеллектуальный уровень.

Время сейчас смутное. Некоторые уже хоронят культуру, считая, что пиар и маркетинг ее уничтожили. Певицы берут не

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

голосами, а бесстыдной «раскруткой» да слезливыми рассказами о побоях, полученных от бывших мужей. И книгоиздатели неустанно изобретают фальшивые «бренды»: то зарабатывают денежки, выпуская на авансцену матерщинницу Денежкину, то плодят каких-нибудь робких и неробких Оксан. Критику, если он сам писатель, а не рыночная «обслуга», даже произносить такие имена стыдно. Что же, прошло время писателей и настало время литературных дельцов да поглощающих их продукцию петрушек?

Нет. Разврат бесплоден, даже при массовом размахе. А духовный брак между Писателем и Читателем вечен.

### ПЛЮС ЁФИКАЦИЯ?

У Высоцкого есть песня о раздвоении личности. Персонаж все свои грехи сваливает на мифическое «второе я», а в конце, уже стоя перед судом, обещает исправиться:

Искореню, похороню, зарюю, —  
Очищусь, ничего не скрою я!  
Мне чуждо это ё мое второе, —  
Нет, это не мое второе Я.

В третьей строке при письменной передаче текста не обойтись без буквы «ё». Если напечатать «е», то авторский юмор не будет понят. А как в других случаях? Может быть, и слово «мое» лучше писать как «моё»?

На сей счет в нашем обществе наблюдается идейный раскол. Большинство граждан подчиняются закону, то есть «Правилам русской орфографии и пунктуации», которые гласят: «§ 10. Буква ё пишется в следующих случаях: 1. Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: *узнаём* в отличие от *узнаем*; *всё* в отличие от *все*; *вёдро* в отличие от *ведро*; *совершённый* (причастие) в отличие от *совершенный* (прилагательное). 2. Когда надо указать произношение малоизвестного слова. например: *река Олёкма*. 3. В специальных тек-

стах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т.п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения».

Но некоторым этого мало. Они призывают к полной «ёфикации» русского письма. То есть хотят, чтобы «ё» никогда не заменялось на «е», как это делается в большинстве случаев для простоты, удобства и экономии точек.

У орфографических раскольников, именующих себя «ёфикаторами», был предводитель — историк Виктор Чумаков. Пламенный, как протопоп Аввакум. Стоит зайти к нему на сайт, как вас огреют «речевкой»: «Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь “ё”?» Слоган как бы шуточный, но вызывает пару серьезных контрвопросов. Разве есть такой нехороший человек, который *нигде* не пишет «ё»? Например, фразу «Всё для победы» любой напишет с «ё», чтобы первое слово не читалось как «все». А в слове «нёбо» всякий поставит две точки, чтобы не путали с «небом». Далее: уместен ли в публичной речи такой перл, как «ё-моё»? Это, как ни верти, эвфемистическая замена нецензурного выражения. Примерно такая же, как «блин», «на хрен»... Высокский использовал «ё-моё» как речевую характеристику героя грубого и невоспитанного. Борются же за культуру языка с помощью подзаборной лексики — дело сомнительное.

«Ёфикаторы» в конце минувшего столетия торжественно отмечали двухсотлетний юбилей любимой литеры. Считалось, что ее первым употребил в 1797 году Н. М. Карамзин. На родине Николая Михайловича, в Ульяновске (Симбирске), открыли памятник букве «ё». Потом обнаружили документы, согласно которым инициатором употребления «ё» в 1783 году выступила княгиня Е. Р. Дашкова. Отпраздновали новую годовщину, уже 220-летнюю. Ничего не имею против таких лингвистических игр и забав, но сами по себе юбилейные цифры ничего не говорят. «Ё» — очень молодая буква по сравнению с коллегами по кириллической азбуке: там ведь всем за тысячу лет перевалило. И даже такой стаж не спас от упразднения буквы, утратив-

шие смысл: омегу, фиту, ижицу, не говоря уже о юсах больших и малых.

Чем же оказалась вредна принятая в современной практике замена «ё» на «е»? Ёфикаторы утверждают, что под влиянием написания люди начинают некоторые слова произносить неправильно. Например, говорят «новорожденный» вместо «новорождённый». Но на этом аргументы почти кончаются. «ПлАнер», «манЕвранный» — это уже не ошибки, а допустимые варианты произношения слов «планёр» и «манёвренный». Оба слова французского происхождения и постепенно утратили былой «прононс», обрусели. А что юристы говорят «осужденный» вместо «осуждённый», так это профессиональный жаргон: написание здесь ни при чем.

Чаще же всего «ёфикаторы» припоминают искажения фамилий. Дескать, герой «Анны Карениной» Константин Лёвин (от «Лёв» — так произносилось в домашнем кругу имя автора) по воле типографии превратился в некоего Левина. Да, сначала писатель сетовал, но потом примирился. Согласно комментарию Э. Бабаева, правильно «Лёвин», но «ни Толстой, ни его близкие никогда не настаивали именно на таком прочтении». Стоит ли сокрушаться, что остается «до сих пор русский аристократ носителем еврейской фамилии»? Все-таки антисемитом граф Толстой не был. А написание имен собственных — это вообще особая подсистема языка. Каждое надо проверять по словарям.

Существует такая вещь, как целостность восприятия. Этот психологический феномен помогает грамотному человеку воспринимать «е» как «ё» в абсолютном большинстве нужных случаев. Предлагают, например, проставлять точки над «ё» в названии Счетной палаты. Зачем? Что-то я не слышал, чтобы вместо «счётная» кто-то произнес «счЕтная». Кстати, спросить бы эту палату, в какую сумму может влететь тотальная «ёфикация». А сколько ошибок прибавится и в речи, и в написании — этого никому не счесть. Если учителя примутся повсюду «е» на «ё» переправлять, красных карандашей не хватит. Корректоры просто с ума посходят. Такой хаос наступит...

Может быть, достаточно соблюдать существующие правила с их десятым параграфом? А в частном, в индивидуальном порядке ставить все точки над «ё» никому не заказано. Как это делает в своих произведениях Солженицын. Как это принято в некоторых периодических изданиях. «Написание двух точек над Ё, ё является факультативным», — утверждает энциклопедия «Русский язык». То есть по желанию, по вкусу. Что не запрещено — то разрешено.

## ПРИВЕТ ИЗ ОРФОГРАФОПОЛЯ!

Такой город придумал знаменитый языковед Михаил Викторович Панов в своей книге «И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках» (1964). В Орфографополе (ударение как в «Севастополе») пишут по правилам. А по соседству размещается Какографополь («какос» по-гречески — плохой, дурной), где пишут как придется, как в голову взбредет. Название книги на обложке было дано в двух вариантах, один из них ради шутки выглядел так: «И фсётки она хорошая».

Гротескный образ Какографополя оказался, увы, пророческим. Такой город выстроился и укрепился в новой стране Интернет. У носителей «олбанского» языка там такое «како» стоит, что хоть святых выноси! Вместо «автор» пишут «афftar», вместо «еще» — «есчо». Естественно, никаких ограничений на мат, причем похабные слова тоже пишутся с ошибками. Сквернословие и сквернописание идут рука об руку. Один питерский литератор надумал слово «жизнь» писать как «жызнь», пытаясь таким способом выразить некую концепцию. Ничего он не выразил, кроме собственного бессилия и несостоятельной претензии на оригинальность.

Юзеры и «афтары»! Вы хотели довести ситуацию до полного абсурда? Уже довели. Лично я уже никакие «блоги» не посещаю. Трудно оперировать клавиатурой и мышью одной рукой, когда другая занята: приходится постоянно зажимать нос.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Сколько ни валяйся в грязи, мыться все равно придется. И все дороги, все творческие и культурные пути неминуемо ведут в Орфографополь. Город с разумными законами и увлекательной историей. А где история, там и мифы. Некоторые из них заслоняют правду, и тут необходимо просвещение.

Займемся ликбезом в связи с популярным мифом о том, что большевики в 1918 году ввели «свою» орфографию. На самом деле реформа русского правописания готовилась классиками отечественного языкознания задолго «до того». Первый ее проект обсуждался еще в 1912 году. Радикально настроенный академик Фортунатов предлагал даже писать «ноч» без мягкого знака и «чорный» вместо «черный». После его смерти академик Шахматов в 1917 году предложил от этих двух крайностей отказаться, а остальные одиннадцать пунктов оставить. Их и утвердили потом декретом Совнаркома. Замена «ятя» на «е», упразднение «фиты» и буквы і, отказ от твердого знака в конце слов после согласных — все это были меры абсолютно необходимые и неизбежные.

Тем, кто тужит по дореволюционной орфографии, я предложил бы для эксперимента написать с ее соблюдением хотя бы пару фраз. Вы знаете, где писать «ять», а где «е»? Вот то-то и оно. Гимназисты специально заучивали стишок про «бело-серого бедного беса», где все слова были с «ятем». А сейчас... Газета «Коммерсант» завела себе стилизованный логотип «Коммерсантъ» в память об одноименном дореволюционном издании и условным своим сокращением сделала «Ъ», то есть твердый знак (который, как известно, называется «ер»). Что ж, в этом есть некоторая оригинальность, культурно-знаковая игра. Но что выяснилось? Многие журналисты в своей устной речи именуют символ «Ъ» «ятем»! Грамотеи, ничего не скажешь! А владельцы одного московского ломбарда украсили свое заведение вывеской «Ломбардъ», то есть хотели твердым знаком на конце слова блеснуть, а нарисовали «ять», и у них получилось какое-то нелепое «ломбардэ».

А еще одна смешная история приключилась с фильмом Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — да, именно так

было в титрах подано его название. Две орфографические детали изображены верно: «і» в окончании прилагательного, твердый знак на конце у «цирюльника». И все равно неправильно! Это слово писалось с «ы» после «ц», причем не только до революции, но и вплоть до 1956 года, когда в правила русского правописания в последний раз были внесены небольшие и очень тактичные поправки.

И сейчас, полвека спустя, кое-какие мелочи в наших правилах стоило бы подчистить. Скажем, школьников учат писать: «пол-лимона», «пол-яблока», но «полмандарина». А почему бы не привести к единой системе? Вот я написал: «пол-мандарина». Вас это шокирует? Или запутанный вопрос со сложными прилагательными: «научно-исследовательский» пишется через дефис, а «горноспасательный» — слитно. Разве не естественнее, не ближе к духу языка и к здравому смыслу было бы написание «горно-спасательный»? А какая морока — различать «н» и «нн» в отглагольных бесприставочных прилагательных и причастиях! «Жареный карась», но — «жаренный в сметане карась». Не сделать ли в обоих случаях одно «н»?

Вот такого рода деликатные изменения предложила обсудить несколько лет назад Орфографическая комиссия Института русского языка. Но вместо того чтобы это все спокойно и компетентно обмозговать, некоторые товарищи завопили: «Караул!» и стали выступать против мифической «реформы русского языка»...

Внимание! «Реформа языка» невозможна по определению — так же как «реформа» простых чисел или «реформа» химических элементов. Язык по природе своей реформированию не поддается. Мы можем варьировать только его графическую одежду, но тело останется нетронутым. Разоблачители пресловутой «реформы языка» будут уже в недалеком будущем выглядеть так же, как тот персонаж Аркадия Райкина, что выступал с речью «Генетика — продажная девка империализма».

Орфографополь, как всякий город, развивается. И его сознательным гражданам еще предстоит принимать частичные поправки к закону. Чтобы сохранить его как целое.

## НАШИ ШИБОЛЕТЫ

Роман «Евгений Онегин» входит в школьную программу. Но, положив руку на сердце, я с трудом представляю подростка, которому в этом произведении понятно каждое слово. Что, например, означают такие строки десятой главы: «Авось, о Шиболет народный, /Тебе б я оду посвятил...»? Вопрос на засыпку. Если включить его в ЕГЭ — все школьники как один провалятся.

А за странным словечком — увлекательный сюжет... Разберемся не спеша. Пушкин любил удивлять читателей, систематически занимался языковым расширением. То простонародное слово вставит, то разговорное, то научное, то заморское. «Шиболет» — вообще древнееврейское, и наш национальный гений первым начертал его родной кириллицей. Почерпнул он его у Байрона, в поэме «Дон-Жуан». Там «shibboleth» означает «примета для опознания», «тайный пароль». Лорд Байрон национальным паролем, «шиболетом» англичан самокритично назвал ругательство «god damn» («черт побери»). Александр Сергеевич о своем родном народе был лучшего мнения. Главной чертой русского человека он считал беззаботность и в качестве национального символа выбрал «авось». Помните, как «понадеялся поп на русский авось», заключая с Балдой крайне рискованный контракт?

В английский же язык «шиболет» пришел из Библии. Откроем в Ветхом Завете «Книгу Судей Израилевых» — и найдем там жестокую историю о вражде галаадских жителей с ефремлянами. Галаадитяне перехватили переправу через Иордан, и каждому, кто хотел попасть на другой берег, учиняли проверку, заставляя произнести на своем языке слово «колос». Ефремлянин тут же попадал в лингвистическую западню. «Они говорили ему: “Скажи: шибболет”, а он говорил: “сибболет”, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из ефремлян сорок две тысячи».

Ужас! Бороться за чистоту языка и правильность произношения таким варварским способом, конечно, не стоит. Но культура



нуждается в своих паролях, в шиболетах. Кто-то должен стоять на страже интеллигентной, благородной речи. И всякого претендента на престижный статус проверять при помощи контрольных слов. За ошибки никого закалывать не станем, но строго откажем ему в праве считаться представителем элиты.

Например, у входа в храм русского языка мы задержим известную телеведущую, которая говорит с экрана: «одеваю платье». Скажем ей: нет, вы не леди, речь у вас плебейская. Вам стоит взять курс уроков родного языка — так, как Элиза Дулитл захотела поучиться у профессора Хиггинса, чтобы потом устроиться в приличный цветочный магазин. Пусть вас научат говорить правильно: «надеваю платье».

Шустрых топ-менеджеров заставим произнести ходовое для них слово «конъюнктура». И поправим тех, кто, по небрежности опускает второй звук «н», и говорит: «коньюктура». Не так уж трудно четко артикулировать. Глотать звуки — дурной тон. Блатные вместо «понял» говорят «пойл», но не с них же брать пример!

А бывает, что в слово вставляют лишнее «н». Раньше ярким признаком некультурной речи был «инциНдент» вместо правильного «инцидент». В эпоху рыночной экономики шиболетом номер один сделался эпитет «конкурентоспособный». Всмотритесь в это слово, произнесите его по слогам. Не надо тут лишнего «н» после «т»! Когда слышу в публичном выступлении экономиста неправильное «конкурентНоспособный», сомневаюсь, что это дельный специалист.

Есть в языке такая невеселая зона — официально-деловая речь. Сухая бюрократическая лексика, стандартные обороты. Но и в этой зоне стоит вести себя культурно, не путать слова и значения. Например, «представить» и «предоставить». *Представляет* тот, кто просит, а *предоставляет* тот, кто дает. Вы представили необходимые бумаги — и банк предоставил вам кредит. Председатель собрания предоставляет слово очередному оратору. (Он может попутно и представить оратора публике, то есть познакомить ее с ним, но это уже другое значение глагола.)

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Важный шиболет деловой речи — особая форма предложного падежа в сочетаниях «по окончании», «по завершении», «по прибытии». В объявлениях, в казенных бумагах то и дело читаешь: «по окончаниЮ». Это ошибка.

Внимательно вслушиваюсь в речи политиков. За кого голосовать на предстоящих выборах в Думу, а потом и на президентских? Я уже решил, что отдам предпочтение тем кандидатам, которые умеют пользоваться частицей «ни» в утвердительном значении: «кто бы это ни был», «где бы я ни был». Увы, таких становится все меньше. «Где бы я нЕ был, вспоминаю родину» — не верю такому неграмотному патриоту, не помнящему норм родного языка.

В троллейбусах, помимо существующего турникета, я установил бы еще звуковое реле. Чтобы войти в салон, надо вслух произнести название транспортного средства. Кто произнесет вульгарное «тролебус», — пусть выходит и добирается автобусом или трамваем... Шучу, конечно. А вот радиостанцию «Сити-FM» всерьез хочется пожурить за то, что ведущие ее новостных программ систематически терзают наш слух «тролебусами». Может быть, при приеме на работу стоит попросить радиожурналистов произнести в качестве шиболета несложное слово «троллейбус»?

А главное, конечно, постоянно проверять самих себя. «Врачу, исцелися сам!» Грамотеи знают, что «вра́чу» произносится здесь с ударением на первом слоге как старинная форма звательного падежа. Еще один шиболет.

## БОРЬБА СМЫСЛОВ (слово Достоевского)

Трагически напряженный, полный контрастов и противоречий, освещенный изнутри постоянными поисками идеала, художественный мир Достоевского отчетливо отражается в языке его произведений. Федор Михайлович Достоевский — один из самых решительных новаторов в истории русской прозы. Его

художественный язык строился на основе дерзкой трансформации привычных норм. Качественно новый тип словесно-эстетической гармонии создавался писателем из пестрого хаоса уличного просторечия, канцелярских оборотов, газетного жаргона, пародийной игры, всяческих речевых ошибок, ляпсусов и оговорок.

По этой причине своеобразие художественного языка Достоевского не было понято современниками, даже теми, кто сочувственно относился к его творчеству. Критики постоянно были недовольны «нескладностью» и «растянутостью» (Н. К. Михайловский) произведений Достоевского, сетовали на «недостаток чувства меры».

К. Аксаков в одной из своих статей даже попробовал спародировать стиль повести «Двойник», рассуждая о ней «языком г. Достоевского»: «Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы-то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то это, господа, не так производится; оно не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А оно надобно тут знаете и тово; оно, видите ли, здесь другое требуется, требуется здесь тово, этово, как его — другова. А этово-то, друго-то и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется».

Пародия эта поучительна и интересна своей ошибочностью. Аксаков воспроизвел некоторые черты повествовательной манеры Достоевского: частые повторы одних и тех же слов, использование устной интонации, смешение речевых стилей, но целостного языкового портрета у него не получилось. «Схватить» речевые приемы Достоевского можно только в их системном единстве, с учетом и пониманием их художественной функции.

Убедительное объяснение этой функции было дано в 20-х гг. нашего века великим литературоведом М. М. Бахтиным: художественная система Достоевского — смысловая полифония (многоголосие), разные точки зрения звучат в романах писателя как равноправные. На равных спорит и автор с каждым из геро-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ев. Художественный смысл произведений разворачивается как свободный и потенциально бесконечный диалог: «Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса — минимум жизни, минимум бытия». Этот закон реализуется не только в логике сюжетов и взаимоотношениях персонажей, но и в особом типе языка, определенном М. М. Бахтиным как «двуголосое слово».

Главный способ художественного построения у Достоевского — это столкновение двух взаимоисключающих смыслов. Такой принцип наблюдается в характере сочетания фраз. На первой странице романа «Преступление и наказание» читаем о главном герое — Раскольникове. «Он был должен кругом хозяйке и боялся с ней встречаться», а через несколько строк «Никакой хозяйки в сущности он не боялся». Нередко конец предложения совершенно опровергает логическую суть начала. Так, о Степане Трофимовиче Верховенском в романе «Бесы» сказано: «Это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, впрочем, в науке ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего». Между противоположными суждениями в таких случаях возникает сложный эмоциональный «диалог», итоговый смысл которого передается читателю через тончайшие словесные оттенки.

В напряженно-диалогические отношения вступают и слова с противоположными значениями. «Раб и враг» — так подписывает письмо к своей невесте Катерине Ивановне Митя Карамазов. У Достоевского немало подобных синонимически-антонимических сочетаний, обозначающих сложнейшие явления душевной жизни человека. В таких отношениях находятся здесь, в частности, слова «любить» и «ненавидеть». В одной из черновых тетрадей Достоевского можно прочесть: «Он ее любит, т.е. ненавидит». Сочетаемость слов становится в сознании героев отражением важнейших нравственно-философских проблем. Услышав от Мармеладова об ужасной судьбе его дочери Сони, Раскольников думает: «Поплакали и привыкли.

Ко всему-то человек-подлец привыкает». Но тесное слияние слов «подлец» и «человек» приводит героя в ужас, и он начинает спорить сам с собой: «Ну, а коли я соврал, коли действительно не подлец человек» (здесь уже два этих слова разведены в противоположные стороны синтаксической конструкцией).

Наконец, диалог часто возникает между разными значениями одного и того же слова. Так, слово «преступление» приобретает дополнительный смысл унижения, попраiania личности. «Ты тоже переступила», — говорит Раскольников Соне: здесь обнажается исходное значение, «внутренняя форма» ключевого для романа слова. Раскольников приходит к мысли о преступном состоянии мира, и автор согласен с ним. Но герой решает «переступить» нравственные законы, чтобы тем самым очистить мир, победить преступление преступлением, — и тут автор вступает с ним в спор. Такой же «двуголосый» характер носят в этом романе слова «проба», «процент», «среда» — каждое из них являет собой своеобразный конспект нравственно-философского спора. Диалогической природой отличаются в мире Достоевского и внутренние монологи героев Их необычный синтаксис объясняется «скрытым» присутствием собеседника. Вот персонаж романа «Бедные люди», мелкий чиновник Макар Деушкин, пытается отстоять свою «амбицию», оправдать свое существование. «Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю, да все-таки я этим горжусь я работаю, я пот проливаю. Ну что ж тут в самом деле такого, что переписываю? Письмо такое четкое, хорошее, приятно смотреть, и его превосходительство довольны, я для них самые важные бумаги переписываю».

Слово «переписываю» в каждом случае звучит по-разному — так же как слово «кажется» в таком монологе героя повести «Записки из подполья»: «Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощения прошу. Я уверен, что вам это кажется. А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется». В обоих случа-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ях перед нами люди колеблющиеся, сомневающиеся, произнеся фразу, они всматриваются в условного собеседника, ожидая от него ответа. Особенности устного высказывания используются здесь не для иллюзии внешнего правдоподобия, а для особого, активного контакта с читателем. Пародия К. Аксакова, которая цитировалась выше, неудачна как раз потому, что ее критический смысл совершенно лишен диалогического начала, автор полностью уверен в отсутствии у Достоевского «поэтического таланта» и никаких возражений слушать не желает. Для такого безапелляционного монолога «язык г. Достоевского» никак не подходит, и повторы слов звучат в пародии нудно, поскольку они не несут смысловой динамики, присущей стилю автора «Двойника».

Диалогическая стихия исключает какое бы то ни было однообразие и ограниченность. Язык Достоевского так же открыт и свободен, как созданный писателем образ мира. Достоевский не боялся длиннот и повторов, если они были необходимы для эмоционально-ритмического развития мысли, для полноты самовыражения героев. В то же время он прибегал порой к особому рода сжатости фразы, достигая краткости большей, чем возможна в нехудожественной речи. Эти два полюса стилистики Достоевского точно отмечены В. Ф. Переверзевым: «Речь Достоевского точно торопится и задыхается. Слова то громоздятся беспорядочной толпой, как будто мысль торопливо ищет себе выражения и не может схватить его, то обрываются коротко, резко, падают отрывистыми фразами, иногда одним словом, там, где грамматически необходимо было бы целое предложение». Ярким примером последней тенденции может служить речь одного из персонажей романа «Бесы» — Кириллова. Частые в обыденной речи синтаксические срывы преобразованы здесь в художественный принцип. Достоевский как бы проводит эксперимент с целью установить крайний предел возможного для художественной прозы лаконизма.

Широта стилистического диапазона характерна и для лексического строя прозы Достоевского. Это свойство также поначалу

пугало критиков, раздавались упреки в связи с обилием уменьшительных форм — «ангельчик», «маточка», «душенька» — и «делового слога» в речи Девушкина («Бедные люди»). Но энергичный контраст этих двух лексических пластов во многом определил гуманистическое звучание произведения, отчетливее проявил содержащуюся здесь «боль за человека».

Еще один важный для Достоевского лексико-стилистический контраст — столкновение духовных абстракций с бытовыми реалиями. Так, Иван Карамазов, размышляя о несовершенстве социального мира, заявляет: «Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно». Сугубо прозаический «возврат билета» становится выразительным и смелым философским символом. В свою очередь, такие слова, как «эстетика», «реализм», часто используются при разговоре о бытовых событиях, оттеняя их значимость.

В художественной системе Достоевского все слова как бы уравниваются в правах, каждое может претендовать на участие в самом серьезном разговоре. Активно работают иноязычные элементы (у Достоевского происходят взаимоосвещающие «диалоги» русского языка с европейскими: это по-своему отражает мечту писателя о «всемирном единении человечества»). Даже иностранные собственные имена прочно вплавлены в речь героев: жена человека по фамилии Смит непринужденно именуется Смитихой, от фамилии фон Зон Федор Карамазов производит глагол «нафонзонить», а для Мити Карамазова имя французского физиолога Бернара становится нарицательным обозначением бездушного позитивиста.

Авторская речь и речь разных персонажей у Достоевского сходны и по лексическому составу, и по ритмико-синтаксической организации. Но отсутствие житейски правдоподобной речевой индивидуализации в данном случае не слабость, а сознательная и плодотворная творческая установка. Только такая система может обеспечить свободный диалогический контакт автора с героями и героев друг с другом. Достоевский отказал-

ся от «языкового барьера» с целью углубленного исследования сложнейших оттенков человеческих отношений. При этом речь героев отмечена тонкой эмоциональной индивидуализацией — отпечатком человеческой неповторимости. А речь повествователя — при всех вариантах структуры — создает образ автора как цельной и многогранной личности, способной к неограниченному пониманию чужих мыслей и чувств.

Язык Достоевского звучит в наши дни очень современно, все более обнаруживая свою глубокую естественность, обусловленную соответствием новаторских экспериментов писателя внутреннему духу русского языка.

### ФРАЗА КАК КАРТИНА (слово Льва Толстого)

Поиски Львом Николаевичем Толстым художественного языка начались с сомнений в возможностях литературы, с недоверия к слову: «Я думал: пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составляют слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы?» В этой дневниковой записи 1851 г. Толстой как бы бросает вызов языку, мечтает найти способ контакта с людьми, минуя «слова» и «фразы», но в самой стилистике размышления содержатся черты нового индивидуального языка, новаторской словесной изобразительности. Когда человек пишет, он не обращает внимания на окружающие его мелочи, не видит себя со стороны. Толстой же сумел здесь сделать процесс писания осязаемым, увидеть то, что обычно не замечается. Он выбирает самые прозаичные слова: «закапанный чернилами стол», «серая бумага», но именно они оказываются наиболее выразительными.

Молодой Толстой отстаивал свои художественные принципы в споре с романтизмом, решительно отвергая субъективно-меч-



тательное видение мира и противопоставляя ему взгляд трезвый и прямой: «Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать» («Детство»). Здесь нет ни тропов, ни эмоциональных эпитетов, ни характерной для романтической прозы лирической интонации. Автор просто называет вещи своими именами, но для этого приходится искать слова свежие, незатасканные. Вместо обычного «гулять» Толстой дает совокупность действий: «побежали», «шаркать ногами», «разговаривать» — и создает тем самым живой, осязаемый образ прогулки. Новой оказывается сама пристальность и прозрачность взгляда. Этот характернейший для Толстого прием В. Шкловский назвал «остранением» (от слова «странный», «сторонний») мира.

У «остранения» две основные функции. Первая — вернуть читателю живое восприятие окружающего. Толстой писал в своем дневнике в 1897 г.: «Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и чувствовал, что уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т.е. действовал бессознательно, то это все равно как не было... Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была». И во всех своих произведениях Толстой стремился преодолеть автоматизм мышления и чувствования, который возникает вследствие того, что люди бессознательно пользуются словами, не переживая заложенного в них смысла.

Вторая функция толстовского приема — разоблачение зла, прикрывающегося словесными ярлыками. Изображая военные действия, писатель занимает позицию стороннего наблюдателя, воспринимающего происходящее непредубежденным взглядом. Война, которую патетически воспевали многие поколения поэтов и прозаиков, предстает в трактовке Толстого грубым и бессмысленным делом. «Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обма-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

нов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления».

Приведенный пример демонстрирует также своеобразие синтаксиса и композиции прозы Толстого. Его фраза (как и произведение в целом) создается сочетанием двух начал — «мелочности» и «генерализации» (термины принадлежат самому писателю). «Мелочность» — это постоянное расчленение изображаемого предмета на простые составляющие элементы. Синтаксически оно может реализоваться однородными членами предложения («злодеяний, обманов, измен»), обширными сложноподчиненными предложениями с обилием однородных придаточных (повесть «Два гусара» начинается периодом из 192 слов с десятью придаточными предложениями), потоками сходных по интонации предложений: «Я люблю эту женщину настоящей любовью, в первый и единственный раз в моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил» («Казачки»). Во всех подобных случаях отдельные элементы быстро обнаруживают внутреннюю связь, основанную на единстве художественного взгляда (это Толстой называл «генерализацией»).

И «мелочность», и «генерализация» помогают Толстому разрушать автоматизм привычного восприятия. Писатель показывает отдельность того, что обычно воспринимают слитно, и слитность того, что обычно видят порознь.

По этой причине особенной художественной напряженностью отличаются толстовские сравнения, элементы которых сохраняют свою смысловую отдельность, самостоятельность — и вместе с тем прочно придвинуты друг к другу властной авторской интонацией. «Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так и в нынешний ве-

чер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное». «Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели». Эти сравнения из романа «Война и мир» казались современникам Толстого чересчур странными и даже смешными. В сатирическом журнале «Искра» появились карикатуры, построенные на буквализации толстовских метафор: виконт был изображен лежащим на блюде, а ель слушала разговор Андрея Болконского со старым дубом, сидя на стуле. И все же рискованность толстовских образов оказалась оправданной: они надолго сохранили эмоциональную действенность.

Фраза Толстого тяготеет к изобразительности, она нередко вбирает в себя деталей и подробностей больше, чем может воспринять за время прочтения читательский взгляд. Ее нужно рассматривать как картину — сначала в целом, а потом по отдельным деталям. «Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипения пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающих густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестящими искр и, где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато-золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров». Живописная картина пожара создается множеством языковых красок: и скоплением шипящих звуков, и обилием утяжеляющих речь причастий, и прихотливо-беспорядочным синтаксисом. Даже иноязычный текст Толстой вводит в язык своих героев не столько с целью внешнего правдоподобия, сколько с целью портретно-психологической характеристики. Так, Наполеон в «Войне и мире» говорит то по-французски, то по-русски (чего, естественно, на самом деле быть не могло). Отвечая недоумевавшим читателям, Толстой определил двуязычную речь Наполеона как «лицо с светом и тенями», тех же, кто этого не понимает, он сравнивал со зрителями, которые на портрете видят вместо положенной художником тени «черное пятно под носом».

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Толстой часто пользовался необычными словами и фразеологизмами исключительно для того, чтобы оттенить нарисованную им картину, сделать ее восприятие более острым:

« — Василий, — говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах, — пусти меня на козлы, голубчик». Автор «Детства» использует просторечное выражение («удить рыбу» в просторечии — «дремать сидя») и выделяет это выражение курсивом как непривычное в литературном языке. «Теневую» функцию могут выполнять у Толстого кавказские экзотизмы, военные термины и реалии, книжная и научная лексика. Это слова-сигналы, разрушающие автоматизм восприятия, создающие эффект читательского присутствия в изображаемом писателем мире.

Творческий почерк Толстого неоднократно менялся, но это было не прямолинейное движение, а раскрытие все новых граней и возможностей художественной системы писателя. Резкие повороты в развитии поэтики и языка были необходимы Толстому, чтобы уберечься от опасности канонизации, механичности и «бессознательности» стиля. «Неправильность» толстовского языка, о которой говорили некоторые современники писателя, — кажущаяся. Толстой вступал в конфликт не с внутренними законами языка, а с привычными нормами. Педантичное следование нормам делает речь неощутимой, что противоречило бы основному принципу толстовской поэтики — обновляющему «остранению» мира. Толстому необходимо было выстраивать множество речевых плотин: длиннот, повторов, нестандартных словоупотреблений, чтобы раскрепостить энергию своей мощной, категорически-авторитетной, проповеднической интонации, претендующей на единое и единственное объяснение мира. Но, стремясь к всеобщности и всеохватности, язык Толстого сохранил в высшей степени индивидуализированный характер, живую конкретность человеческого голоса.

Опыт Толстого демонстрирует неисчерпаемость ресурсов художественного словоупотребления, безграничность возможностей интонационно-синтаксического построения, относительность всех языковых норм и запретов.

## МЕЧТА О РУСОФОНИИ

Как звучит наше слово в мировом масштабе? Вопрос и политический, и культурный, и жизненно важный для тех 288 миллионов жителей планеты, что считают русский язык родным. Смогут ли дети наших бывших сограждан в ближнем зарубежье учиться в русскоязычных школах? Будет ли язык Толстого и Достоевского по-прежнему осваиваться студентами западных университетов? Не уроним ли мы сами престиж русской речи, обращаясь с нею небрежно и невежественно?

Повышенным чувством лингвистического патриотизма всегда обладали французы. Всех носителей своего языка — в Европе, в Африке, в Канаде — они называют «франкофонами», а социально-культурное бытие своей речи обозначают понятием «франкофонии». Даже специальное министерство по этой части у них имеется.

А чем мы хуже? Так подумал я однажды и изобрел термин «русофония». Да! В доказательство могу предъявить известный парижский русскоязычный журнал «Синтаксис», где в 1991 году напечатано эссе, которое так и называлось — «Русофония». Сочинил его в Цюрихе, где преподавал русскую литературу. Тогда наши богачи еще не оккупировали Швейцарию, и никто не мог предвидеть, что всего через десяток лет продавцам дорогих ювелирных магазинов на Банхофштрассе придется выучить выражение «Добро пожаловать», чтобы приветствовать самых расточительных покупателей в мире. За дверями университета русская речь в ту пору не слышалась, и, разлученный с нею, я начал лелеять мечту о русофонии. Приехав читать лекцию в Сорбонну, показал свое эссе создателям «Синтаксиса» — Марии Розановой и Андрею Синявскому. Помню, Синявский, увидев само название, оживился и заулыбался: уж он-то был отъявленный «русофон»: читал лекции студентам только по-русски и, живя в Фонтене-о-Роз, делал вид, что по-французски не понимает.

Идея русофонии вызвала отклик у авторитетных лингвистов. В предисловии к коллективному труду «Русский язык кон-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ца XX столетия (1985—1995)» его ответственный редактор Е. А. Земская берет сторону не тех, кто ужасается нынешнему состоянию языка, а тех, кто «спокойно оценивают современный язык и призывают внимательно разобраться в том, что в нем нового, что необычного». Ведущий исследователь разговорной речи вместе с коллегами поддерживает идею русофонии как «веселой науки», не претендующей на императивность: «Мы не нормализаторы».

С момента изобретения термина прошло пятнадцать лет — и что я вижу? В Париже учреждена новая литературная премия «Русофония», которая «будет присуждаться за перевод на французский язык написанного на русском языке литературно-художественного произведения». То есть речь о культурном звучании русской словесности по-французски. Что ж, и против такой трактовки термина ничего не имею. Взаимодействие языков и культур всегда на благо.

А кто в Москве печется о широком звучании русского слова? В президентском указе «органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано осуществить соответствующие мероприятия в рамках проводимого Года русского языка». Может быть, создадут нечто вроде «министерства русофонии»? Но не будем ждать одних милостей сверху. Считаю, что «четвертая власть» в вопросах языковой политики может быть не менее эффективна и мобильна, чем власть исполнительная.

Если каждый журналист годик побудет настоящим «русофоном», подлинным защитником языковой культуры, если он добровольно откажется от штампов в писании и сквернословия в устной речи, — как свободно вздохнет «великий и могучий».

Вспомним грустные лингвистические анекдоты советского времени. После того как советские туристы побывали в отеле, у следующих постояльцев из Союза спрашивают: «Вам кофе в постель или ну его на фиг?» А предлагая бесплатное угощение, официантка поясняет: «Халява, сэр!» То есть мы сами экспортировали отнюдь не лучшие образцы родной речи. Огорчитель-

но, например, что в Польше молодое поколение не знает русского языка. По-английски приходится общаться с населением славянской страны. Абсурд! Но, чтобы повернуть к нам сердца поляков, нужно дать им нечто подобное сердечному слову Окуджавы, нервному порыву Высоцкого. Обоих наших великих бардов там не забыли до сих пор. А если мы будем блистать перлами вроде «конкретно, блин!», то нечего и рассчитывать на взаимную близость.

Ладно, закончим все же на жизнерадостной ноте. Один русский поэт недавно осуществил во Франции своего рода революцию и добился подлинного торжества русофонии. Правда, поэт не слишком молодой: за сто двадцать годков перевалил. И в то же время язык его остался вечно юным. Речь о Велимире Хлебникове. В Лионском университете однажды состоялась научная конференция хлебниковедов. Обычно тамошние русисты делают свои доклады по-французски — таков неумолимый закон «франкофонии», ему подчиняются все граждане, в том числе и русские эмигранты. Но Хлебников — особая статья. Он ухитрялся обходиться без греко-латинских корней, без иноязычной лексики, весь свой мир строил на славянской основе. Смотрят ученые: ну нельзя о Велимире беседовать иначе, как на родном языке поэта. И три дня звучало на берегах Роны русское слово. Ценный прецедент.

## ЭЛЛОЧКА — ЭТО Я?

Словари не просто переиздаются — они уточняются и обновляются. Но есть один, который много лет не пересматривался, хотя сделать это давно пора. И, в общем, нетрудно, поскольку он весьма невелик. Всего тридцать слов, как утверждали в 1927 году его авторы-составители.

Вы, наверное, уже догадались, что речь о героине «Двенадцати стульев» Эллочке Щукиной, которая в своей жизни легко и свободно обходилась тридцатью словами. Ее речевой репертуар был в десять раз меньше, чем лексикон людоедского племени

«Мумбо-Юмбо». Причем доподлинно Ильф и Петров воспроизвели пункт за пунктом только семнадцать единиц Эллочкиной лексики и фразеологии. Теперь уже безнадежно устаревшей. «Не учите меня жить» — еще можно услышать сегодня, но «хамите», «парниша», «поедем в таксо», «срезала, как ребенка» — эти перлы отжили свой век. Сменились другими. Да и имя Эллочка встречается редко. Современная типичная любительница шикарной жизни носит более модное имя. Например, Ксения.

В 1961 году, помнится, вышел оранжевый пятитомник Ильфа и Петрова — как гонялись за ним книголюбы! «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» сделали библией интеллигенции. Именно тогда сатирик Владимир Лифшиц сложил стихи о бессмертной героине, которая в новых исторических условиях сменила словечко «парниша» на «чувак», «знаменито» на «волнительно» и так далее. Поэтический приговор был суров: «Русский язык могуч и велик. Из уваженья к предкам не позволяйте калечить язык Эллочкам-людоедкам!»

Справедливо. Но теперь мы не такие утописты и мечтатели, какими были наши милые шестидесятники. Что значит «не позволяйте»? Куда денешь песенную попсу, телевизионные ток-шоу? А дамские детективы, на которых держится книжный бизнес? В издательствах-монстрах господствует беспощадная цензура, требующая от авторов держаться в основном в рамках людоедского словаря. Эту броню никаким смехом не пробьешь. Реальная же действенность художественной сатиры в том, что, посмеявшись над персонажем, читатель примерит гротескный образ к самому себе. По поводу «Госпожи Бовари» Флобер говорил: «Эмма — это я». А слабо нам, вспоминая Ильфа и Петрова, самокритично сказать: «Эллочка — это я»?

Человек — существо, склонное к подражанию. В первую очередь речевому. Как легкомысленный шлягер впивается в память и начинает крутиться в голове, так и словесный штамп. Услышим его — и тут же невольно повторяем: «Круто!» или «Ну, полный абзац!» Как все — так и мы. Но владеть словом — это не просто соблюдать нормы и избегать ошибок. Это говорить по-



своему, разнообразно и гибко. И лучшая реакция на штамп — внутреннее решение: я так говорить не буду, оставляю это слово или выражение для гламурной Ксении.

Вот, скажем, популярное ныне речевое клише: «Я в шоке». С лингвистической точки зрения криминала в нем нет. Раздражает оно именно своей частотностью. Никакой женщине не понравится, если у нее с подружкой окажутся совершенно одинаковые кофточки. Так зачем же все время пользоваться одинаковыми речевыми конструкциями? Богатая речь — это большой гардероб синонимов. Вместо «я в шоке» можно сказать: «досадно», «печально», «я огорчена», «неприятно это слышать».

Героиня Ильфа и Петрова любила выражение «толстый и красивый», такова была «характеристика неодушевленных и одушевленных предметов». У сегодняшней Ксении и ее подруг в ходу сочетание «белый и пушистый», поначалу звучавшее смешно, а теперь ставшее пошлостью.

Наша Ксения — существо избалованное. Не любит испытывать дискомфорт. «Как же! Буду я париться!» То есть беспокоиться, волноваться. (Уверен, что недолго проживет это слово в таком значении, вернется в русскую баню, к шайкам и веникам.) Постоянно недовольна тем, что приятели и знакомые ее «достали» или даже «заколебали». В последнем из приведенных слов она ничуть не улавливает замаскированного матерка. Устаревшее «Хо-хо!» сменила на «Блин!» И вообще в отличие от державшейся в рамках ильфо-петровской героини наша современница не брезгует и открытым матом.

А каков идеал Ксении? Жизнь «в шоколаде». Апофеоз благополучия — «блондинка в шоколаде». Вообще женское население нашей страны стремительно движется к стопроцентной «блондинизации». У этого процесса глубокие исторические корни: недаром еще легендарная героиня «Двенадцати стульев» «потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет». Любимое занятие «блондинок в шоколаде» —

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

«зажигать». В старом русском языке этому действию соответствовал глагол «кутить». Но «зажигать» — это не просто кутить, а развлекаться в формах, оскорбительных для человеческого достоинства окружающих. Чтобы «достать» своим вульгарным разгулом даже выдавшую виды французскую полицию. Излюбленный эпитет Ксении — «сексуальный». Он может относиться к мужчинам, к женщинам, к шмоткам, даже к цвету автомобиля. И никакого эротизма в том нет — просто мало прилагательных в голове.

В 2006 году Эллочке Щукиной воздвигли бронзовый памятник. В Харькове. Причем скульптор изобразил ее отнюдь не чудовищем — использовал в качестве натуры симпатичный облик актрисы Елены Шаниной, сыгравшей героиню в телефильме. За спиной у бронзовой «людоедки» — табличка: «Словарный запас — 30 слов». Опять москвичи отстали. Так давайте хотя бы составим — каждый для себя — черный список из тридцати словесных штампов. Чтобы никогда ими не пользоваться.

## ТРЕНДИ-БРЕНДИ

Сколько всего слов в языке? Как ни один астроном не может пересчитать все звезды, так ни один лингвист не ведает всех слов. Когда-то в московских газетах печатались объявления о защитах диссертаций. Случайно пробегая по ним взглядом, я заметил любопытный химический термин — «циклопентадиенилмарганецтрикарбонил». Звучал он как двестише с рифмой, потому и запомнился. Этот гигант из тридцати пяти букв — слово? Да, но ограниченного употребления. Место ему — в специализированных справочниках.

А толковые словари отражают лишь малую и наиболее важную часть словесного космоса. Они включают главным образом общеупотребительную лексику. Научный или технический термин, чтобы туда пробиться, должен очень постараться. Активно тусоваться, влезать в светские разговоры, мелькать в прессе,

часто звучать с телеэкрана. Тогда, может быть, языковеды смилятся и признают его настоящим словом, предоставят ему права полноценного гражданства.

Откуда сейчас приходит большинство новых слов? Конечно, из финансово-экономической сферы. Таков дух нашего расчетливого времени, таков сегодняшний языковой *тренд*. Конечно, вы слышали это звонкое сочетание звуков. Английское слово «trend» («направление, тенденция») уютно обосновалось в России и переделось в кириллические буквы — подобно тому, как любознательные иностранцы, столкнувшись с русским морозом, с удовольствием покупают и надевают на головы мохнатые шапки-ушанки.

Чаще всего встречаются с «трендом» те, кто читает биржевые сводки. «Общее направление изменения цен на рынке» — вот что такое «тренд» для брокеров и дилеров. Смотрят они на таблицы и графики курсов валют да всяких там индексов — и решают, какой тренд нынче, что покупать надо, что продавать. К нам с вами это имеет, впрочем, отдаленное отношение, но знать слово «тренд» все-таки стоит — вдруг встретится в кроссворде. К тому же значение сего слова постепенно расширяется, его все чаще применяют и к колебаниям политического курса, и к глобальным историческим сдвигам. Появилось информационное агентство «Тренд». А сколько всяких компаний и ООО с таким названием! Можно сказать, что «Тренд» — это теперь популярный бренд.

*Бренд* же заслуживает особого разговора. Если «тренд» еще только стучится в двери словарей, то для «бренда» они уже открылись. Английское слово «brand» прошло большой путь. Когда-то так называли выжженное клеймо, тавро. Потом слово стало означать торговую марку. В Россию прибыло сравнительно недавно, но уже прочно внедрилось. Поначалу писалось как «брэнд», но вскоре «э» сменилось на «е», а это верный признак обрусения.

Не всякую торговую марку называют брендом, а только такую, которая имеет рекламный эффект. Как английский газон

выращивается и пестуется столетиями, так и создание подлинного бренда требует долгого срока. Здесь важна традиция. Бренды помогают покупателю ориентироваться в рыночном хаосе. Скажем, пришло время купить новый пиджак. Я не Роман Виктюк, и трехсот пиджаков разных цветов и фасонов мне не нужно. Как выбрать один, чтобы он выглядел респектабельно и в то же время не слишком сногшибательно? Пожалуй, куплю твидовый. Бренд «Харрис Твид» имеет давнюю историю и безупречную репутацию. О нем говорят нечасто, зато ни одного дурного слова слышать не доводилось.

Или нужно купить конфет детишкам. Сколько теперь новых сортов и названий! Но, скользнув по ним взглядом, выбираем «Мишку косолапого». Это отечественный бренд. Роскошь нашего детства, дефицитный товар советских времен. Верим, что «Мишка» придется по вкусу и нашим внукам.

Перемена бренда (или «ребрендинг», как теперь это называется) — дело рискованное: товар может потерять старое лицо, а нового не приобрести. Отсюда нынешнее обилие ностальгических брендов. На пакете мороженого читаем название «48 копеек», хотя у него сейчас совсем другая цена. Производители хотят таким способом пробудить у нас приятные воспоминания. Нечто подобное делают современные поэты, внедряя в свои стихи классические цитаты. Берется, например, строка Мандельштама «Я список кораблей прочел до середины», к ней добавляется два десятка строк собственного сочинения. Даже если читатель твой опус и до середины не прочтет, все равно отнесется с почтением. Потому что Мандельштам — это престижный бренд, он вытянет в любом случае.

Бренд — это своего рода иероглиф. Не всегда важно, что он означал раньше. Например, театр «Ленком» сохранил свое название старых времен. Что такое «лен», что такое «ком» — никого не интересует. Важна узнаваемость имени. По этой же причине многие радикально-перестроечные газеты не меняли вывесок и продолжали жить под советскими именами, чтобы не потерять читателей.

Когда я пишу эти строки, по радио «Эхо Москвы» начинается новая программа «Бренды». Речь пойдет об авторучках «Паркер». Что ж, начинается писаться всемирная история брендов.

Следить за судьбой новых слов всегда интересно, но вовсе не обязательно включать их в собственный индивидуальный лексикон. Лично я не тороплюсь использовать модные новинки в своей профессиональной работе. Нет ничего проще, чем, например, известить мир о том, что в литературе появился новый тренд, а имя того или иного писателя — это надежный бренд. Но, боюсь, для серьезных, мыслящих читателей такие «тренди-бренды» прозвучат недостаточно убедительно.

## КОЕ-ЧТО О «НЕКОТОРОМ ХАМСТВЕ»

«Монтер» — один из легендарных рассказов Зощенко. Сюжет прост и неотразимо смешон: на групповой фотографии театрального монтера поместили где-то сбоку, а потом еще не дали билетов на оперу для двух знакомых барышень. Он в отместку выключил свет во всем здании. Спектакль оказался под угрозой срыва, и шантажист своего добился: устроили его девиц «на выдающиеся места».

Это произведение постоянно цитируют уже девяносто лет. Не всегда ссылаясь на Зощенко, но обычно имея его в виду. В одном из писем Владимира Высоцкого (май 1963 года) читаем: «Это они сделали вид, что ничего страшного, а в душе затаили некоторое хамство». Сравнительно недавно Виктор Шендерович писал в своих мемуарах, что на телепрограмму «Куклы» «затаили в душе некоторое хамство» ее невыдуманные персонажи. Порядок слов разный, но суть одна. Перед нами устойчивая языковая конструкция, фразеологизм.

А как там все-таки в первоисточнике? Заглянем в текст Зощенко: «Монтер Иван Кузьмич ничего на это хамство не сказал, но затаил в душе некоторую грубость». Заметили расхождение? Получается, что «некоторое хамство» — это видоизмененная

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

цитата, результат читательского «сотворчества». И вполне удачный, ибо существует в жизни неоткровенное, замаскированное, завуалированное хамство. О видах и формах его бытования в нашей речи и поговорим.

Вот ваш сослуживец или приятель озвучивает какую-нибудь сплетню, а вам она кажется неправдоподобной. «Это чушь собачья!» — восклицаете вы. Без намерения оскорбить собеседника, с единственным желанием опровергнуть недостоверную информацию. Тем не менее человека вы обидели. Наверное, что-то когда-то против него затаили в душе, и вот сейчас тайная недоброжелательность выплеснулась.

Идет дискуссия — в прямом телевизионном эфире или в узком профессиональном кругу. Наконец вам предоставлено слово. Победоносно окинув взглядом соперников, вы начинаете свой монолог словами: «На самом деле...» То есть собираетесь вещать от имени абсолютной истины, а все, что сказано прежде, считаете как бы неправдой. Воля ваша, но нехорошо так пренебрежительно относиться к оппонентам.

«Некоторое хамство» — это язык агрессивного подсознания. Тот самый язык, который, согласно пословице, враг наш. Недоброе слово, вылетающее порой из наших уст, — даже не воробей, а хищная птица, которая больно клюет окружающих и настраивает их против говорящего. Речевая агрессивность — наш невольный ответ на множество обид, разрядка повседневного стресса.

Одна из песен барда Михаила Щербакова заканчивается словами: «Небо наземь не спустилось, но в душе моей сгустилось некоторое хамство». Тонкое наблюдение: неосознанная злость накапливается постепенно, сгущается. И, чтобы она не прорвалась, ее нужно контролировать, держать на цепи.

Все мы подвержены одним и тем же слабостям: больше любим говорить, чем слушать, порой забалтываемся и не можем остановиться, нас то и дело заносит в примитивную похвальбу. Умный человек — тот, кто способен критически анализировать собственное подсознание и понимать других. А «некоторое хам-

ство» — это, в частности, склонность любой разговор поворачивать на себя.

— Вы вернулись из заграничной поездки? Я тоже бывал в тех краях.

— У вас обновка? У меня такая вещь тоже есть, только более модная и дорогая.

— Вы долго болели? И я себя неважно чувствую.

Вроде бы мелочи, а из них складывается неприятный речевой портрет эгоцентрика. Алексей Константинович Толстой описал такое «самопупство» в гротескной форме: «Если мать или дочь какая у начальника умрет, расскажи ему, вздыхая, подходящий анекдот. Но смотри, чтоб ловко было, не рассказывай, грубя: например, что вот кобыла тоже пала у тебя».

А особенно мы рискуем впасть в «некоторое хамство», когда пытаемся натужно острить. Михаил Викторович Панов в своих лекциях предлагал разграничивать понятия «остроумие» и «балагурство». Остроумие доступно немногим, это природный дар. А балагурить может каждый. Остроумец доставляет удовольствие другим, балагур — самому себе. Комикуя, он отдыхает, расслабляется, «оттягивается». И нередко за чужой энергетический счет, поскольку собеседников его шутки-прибаутки только напрягают. Именно примитивным балагурством принято заполнять паузы на некоторых музыкальных радиостанциях. Ведущая женского пола объявляет: «Наши слушатели проголосовали...» А партнер ее перебивает: «Что и куда они совали?» Это уже, пожалуй, хамство не «некоторое», а полное, густопсовое.

Вредит балагурство и радиожурналистам крупного калибра. Скажем, Сергей Доренко и информирован довольно основательно, и орфоэпически почти безупречен, и тембр голоса имеет приятный. Одна беда — перебарщивает по части нарочитых шуток, над которыми только сам и похохатывает. Его остроты высокомерны по отношению к аудитории: мол, с вами, профанами, невозможно говорить всерьез.

Если уж природа одарила вас остроумием, то оно само проявится, причем неожиданно и к месту. А форсированно бала-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

гурить не стоит — лучше уступите роль назойливого шута кому-нибудь другому. Замечено, что профессиональные мастера высокого смеха в быту предстают людьми серьезными и даже грустноватыми. Такими были, по многим мемуарным свидетельствам, и Гоголь, и Щедрин, и Зоценко. Зато в хамстве, даже некотором, эти корифеи не замечены.

## ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ, СИЛЬНЫЙ

Когда-то в наше языковое пространство дул южный ветер, принося с собой арабские слова: «халат», «халва». Бывало, и с Дальнего Востока прибывали к нам такие новинки, как «гейша» и «камикадзе». Сейчас наш лексический фонд формируется под воздействием западного ветра. Причем меняется не просто словарь, а языковой менталитет.

Скажем, слово «карьер» раньше употреблялось с осторожностью. Его применяли к дипломатам и артистам, а люди непубличных профессий считали, что надо хорошо делать свое дело, не думая о продвижении по служебной лестнице. Если другие заметят, оценят, выдвинут — то тогда пожалуйста, можно и согласиться, но самому карабкаться наверх неприлично. Теперь «делать карьеру» стало незазорно, а ругательное слово «карьерист» почти ушло из речи.

Не любили у нас людей амбициозных, то есть чересчур честолюбивых. Тех, кто ради продвижения готов на все. А теперь само слово «амбициозный» под воздействием английского «ambitious» приобрело новое значение: «претендующий на высокую оценку, на успех». Чаще всего говорят и пишут об «амбициозных проектах». Гигантские здания, фантастические башни... Реконструкция, реновация — все это дела весьма и весьма амбициозные.

Даже исконно русское слово «успешный» зазвучало с английским акцентом. Прежде оно сочеталось только с названиями дел, мероприятий: успешная акция, успешный матч. Теперь у нас по аналогии с английским «successful» появились успешные люди,



прежде всего бизнесмены и шоумены. А вот про «успешных» ученых мы слышим редко. Не звучит и сочетание «успешный писатель»: если речь о коммерческом эффекте книг, то это чаще всего мнимый, сиюминутный успех. Говорить же об «успешных» врачах или учителях было бы просто издевательством при их зарплатах.

Самое же грустное — то, что обилие сверхуспешных богачей никак не ведет к успехам в социальной сфере. Нас убеждали: не завидуйте их виллам и яхтам, эти энергичные ребята так раскрутят экономический прогресс, что он коснется и беднейших слоев. Будет как на Западе. Но... на чужой манер хлеб русский не родится, как об англомане Муромском говорил Пушкин в «Барышне-крестьянке».

На общественное лицемерие и фальшь язык отзывается появлением лексических мутантов, слов-уродов с искривленным смысловым позвоночником. Что сделалось, например, со словом «пафосный»! Раньше оно было довольно книжным, означало «проникнутый пафосом», то есть то же, что «патетический». Теперь этот эпитет означает «престижный, эффектный». Пафосные лица на пафосных автомобилях ездят в пафосные клубы. Противно. Обидно и за русский язык, и за греческий, откуда к нам «пафос» пришел.

В старину образованные люди иногда шуточно называли подарок «презентом». Глагол «презентовать» до сих пор в словарях трактуется как «дарить, преподносить в подарок». А значит оно теперь: проводить презентацию. «Певец презентует новый альбом...» Не надейтесь, что он вам его подарит — разве что при условии, что вы поможете в раскрутке. Бескорыстие и щедрость не в моде.

Хорошо, когда у человека есть четкая и внятная позиция. Тогда не надо ему суетиться, вилять, приспосабливаться. Не надо себя «позиционировать» — вот еще словечко-мутант. Согласен с теми, кого оно бесит. Писатель Петр Вайль даже предложил за его употребление давать пятнадцать суток. Может, и получится, пока сей глагол еще не попал в словари.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

В очередной раз подчеркну: и Пушкин, и я — мы не против иностранных заимствований. Без них язык развиваться не может. Беда же в том, что мы меры не знаем в эксплуатации импортных товаров. Когда-то Россия раскрутила, например, Маркса и Энгельса так, как они и в Германии не были раскручены. Однажды около метро «Кропоткинская» останавливает меня группа немецких туристов и, указывая на бородатый монумент Энгельса, вопрошает: «Дас ист Кропоткин?» Не признали, стало быть, Фридриха своего...

Сегодня вместо Маркса и Энгельса у нас два новых истукана — Гламур и Пиар. Диктатура этих двух слов оказалась не слабее диктатуры пролетариата. Поначалу «гламур» был связан с дамскими журналами, бельем, косметикой — действительно, есть такая сфера материальной культуры. Но потом появились гламурные романы, гламурные фильмы. «Гламуром» стали называть всякое благополучие. И, конечно, появился лицемерный «антигламур», когда шустрые «бизнюки» на телешоу призывают простых женщин не читать глянцевого журналов и жить «духовной жизнью». А мы уж за вас помучаемся на заморских курортах.

Английский «PR» у нас обрусел до неприличия. «Пиаром» называют всю сферу рекламы и даже информации. Сколько производных слов: «пиарный» и «пиаровый», «пиарить» и «распиаривать». Стерта граница между представлением о необходимой честной рекламе и «втюхивании» заведомой дряни, между публичной декларацией своей общественной позиции и спекулятивным мельканием «випа» или «звезды» на экране. Главная хитрость — вовремя сказануть: все кругом занимаются пиаром, но не я. А то, что я участвую в бессмысленно-занимой дискуссии о народной нравственности или улыбаюсь легко одетым девицам, так это не пиар. А что же еще, бессовестный вы наш?

Русский язык рано или поздно очистится от вульгарно-рекламной лексики, выведет яды из своего организма. Будем заботиться каждый о собственном речевом здоровье. Для этого лучше поменьше держать нос по ветру — чтобы не продуло.

## ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЛЕТАНТ

Без профессионалов, конечно, ни в каком деле не обойтись. Они тащат на себе воз, продолжают традицию, обеспечивают стабильность. Но иногда требуется прорыв в неизвестное, выход из системы. И тогда приходит дерзкий дилетант с незамысленным взглядом и совершает то, что опытным специалистам в голову прийти не могло.

Именно так работал литератор-многостаночник Корней Иванович Чуковский. На каждом из творческих «станков» он вытачивал нестандартные, ни на что не похожие изделия. Детский писатель, критик, литературовед, исследователь языка, переводчик, мемуарист — во всякой роли он действовал вопреки привычному сценарию, везде выходил за рамки «формата». Семьдесят лет проведя за письменным столом, умудрялся до последних дней оставаться страстным любителем словесности, а не потным тружеником.

Вспоминается, как в 1960 году в «Литературной газете» был опубликован, говоря современным словечком, «наезд» на сказку «Муха-цокотуха». Мол, нельзя воспевать вредное насекомое, полностью уничтоженное в Китайской Народной Республике. К тому же муха никак не может выйти замуж за комара. Подписан этот бред был именем некоего Колпакова, кандидата исторических наук. Вскоре появился язвительный и неотразимо аргументированный ответ, за подписью «К.И. Чуковский, доктор филологических наук». Кажется, это единственный случай, когда писатель щегольнул своей ученой степенью, полученной за монографию о Некрасове.

Да, Чуковский — филолог, и притом особенный. «Филолог» значит «любящий слово». А есть еще редкие удачники, которым язык отвечает взаимностью. Чуковский был таким счастливым филологом, когда писал в дореволюционные годы острые и пристрастные критические статьи. Оставался филологом, когда по совету Горького принялся в 1916 году сочинять первую детскую сказку. Это потом уже возник имидж «дедушки Корнея»,

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

пишущего «для детишек», а ведь и «Крокодил», и «Мойдодыр», и «Тараканище» написаны совсем не старым человеком. И в сказках этих квалифицированные читатели находили бездну «взрослых» подтекстов, культурных и даже политических. Это намного больше, чем «детская литература». Стих Чуковского перекликается и с фольклором, и с классикой, и с авангардом. Юрий Тынянов, даря Корнею Ивановичу свою серьезную научную книгу, надписал:

Пока  
Я изучал проблему языка,  
Ее вы разрешили  
В «Крокодиле».

Изучать язык и в то же самое время творить его — что может быть интереснее! К этому Чуковский был расположен с отроческих лет, о чем с юмором рассказывал в воспоминаниях. Вот показательный случай. Директор гимназии Юнгмейстер, преподававший русский язык, заявил на уроке, что слово «отнюдь» устарело и вот-вот сгинет. Юный Чуковский (тогда еще Коля Корнейчиков) решил спасти умирающее слово и подговорил своих товарищей как можно чаще его употреблять. Почти на все вопросы педагога гимназисты дружно отвечали: «Отнюдь!» За что потом зачинщик лингвистического бунта был оставлен в классе на два часа без обеда. Умора! Но если мы сейчас, более чем сто лет после описанного эпизода заглянем в современные толковые словари, то увидим, что «отнюдь» там присутствует в лучшем виде! Причем без пометы «устарелое». Чуковский и его команда победили!

Казалось бы, чистое развлечение — записывать детские перлы типа «я никовойная», «папа самоее мамы». А когда Чуковский собрал из них книгу «От двух до пяти» — лингвисты ахнули: это же открытие особого детского языка, в котором присутствуют и вековая народная мудрость, и творческая стихия.

Чуковский диагностировал главную речевую болезнь двадцатого века — канцелярит, которому посвящена глава в темпераментной книге «Живой как жизнь». Некто спрашивает

у девочки: «Ты по какому вопросу плачешь?» Этот пример стал хрестоматийным. И там же Чуковский с тревогой отмечал, что многие считают мертвый канцелярит принадлежностью «подлинно научного стиля». «Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым», — горестно отмечал писатель-филолог. Ох, заглянул бы он в сегодняшний филологический журнал и прочел что-нибудь вроде: «В современной России налицо социально продвинутые группы, которым при этом явно недостает культурной легитимации»... Умения писать по-человечески вам недостает, продвинутые вы наши!

Ладно, не будем о грустном. Подумаем лучше о том, что такое жить «по-чуковски». Ведь его способ обращения с родным языком доступен каждому. Возьмите лист бумаги и выпишите «трудные» слова с правильными ударениями — не для кого-то, а для преодоления собственных речевых недостатков. Именно такой личный перечень составлял молодой Чуковский, а потом он это сделал уже для читателей книги «Живой как жизнь».

Неплохо завести семейный альманах по типу «Чукоккалы» — с шуточными экспромтами, эпиграммами, афоризмами. Туда же можно вписывать языковые шалости детей и внуков «от двух до пяти». Попробуйте не только читать им известные сказки, но и посочинять собственные, пусть не в стихах, а в прозе. Импровизация — великая вещь, а «развитие речи» может продолжаться до глубокой старости.

Не отдавайте свой язык на откуп профессионалам, которые якобы должны вами командовать. Участвуйте сами в формировании речевых обычаев и норм. Язык, он... Как говорил Чуковский, подхватив словечко двухлетней девочки: «Всехный, всехный! Подходи, не бойся!»

## О ДАМАХ И ТЕТКАХ

Вас не напрягают фанаты и фанатки мобильной связи? Галдят повсюду: на улице, в магазинах, в метро. Не считаясь с окружающими. Столько приходится выслушивать ненужных подро-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ностей о чужой жизни! Филологу, впрочем, это дает некоторый материал на тему речевой культуры. Или отсутствия оной.

«Это был конец света. С утра клиент попер. А я, как дура, рот раззявила...», — извещает кого-то энергичная дама, стоя в очереди к кассе супермаркета и прижимая мобильник к щеке. На всякий случай отодвигаю свою тележку подальше, а то столкнешься ненароком — и услышишь: «Куда прешь? Чего рот раззявил!» Присмотревшись, однако, вижу, что передо мной нестарая, в общем, особа вполне благопристойной наружности. И одета прилично. Просто она, как многие сегодня, придерживается грубоватого речевого стиля и даже о себе самой предпочитает говорить некрасивыми, заниженными словами.

Нужно ли ругать себя? Стоит ли нарочито упрощать свой язык для непринужденного контакта с собеседниками? С ходу на эти вопросы не ответишь. В былые времена классический русский интеллигент мог для разнообразия щегольнуть приземленным словечком, мог подшутить над самим собой, чтобы сбить пафос, создать атмосферу раскованности и доверительности.

Вспоминаю, как в студенческие годы в тесной филфаковской библиотеке на Моховой я увидел пожилого профессора, зашедшего перед лекцией за книгой. Попросив том Жуковского, он вдруг сам себе сделал замечание: «Ой, тут же написано: «Соблюдайте тишину!» А я, дурак, кричу!» Библиотекарша улыбнулась, вложила формуляр в бумажный кармашек и написала на нем: «Бонди». Да, это был тот самый знаменитый пушкинист, собеседник Блока и Ахматовой. И не нужна ему была солидная поза. Не чета он был пузатым авторам макулатурных монографий о социалистическом реализме.

В мемуарах о легендарном академике Ландау можно прочесть, как он, упомянув имя одного зарубежного коллеги, воскликнул: «Да я щенок в сравнении с ним!» Изысканное самоумаление. Но сдается мне, что такая утонченная речевая тактика немножко устарела. Нет сейчас бесспорных авторитетов, которые могут себе позволить не заботиться об имидже. Какой филолог сегодня

ня обзовет себя дураком без риска быть понятым буквально? А если некий физик скажет, что он щенок, то я, чего доброго, ему поверю. И физикам, и лирикам стоит быть осторожнее. Не зачем давать на себя лишний компромат.

Кстати, о лириках. Есть в арсенале поэзии такой прием — шуточный самооговор. Блестяще владел им знаменитый остроумец тридцатых годов Николай Олейников. Обращаясь в стихотворных экспромтах к дамам, он беззастенчиво восхвалял их прелести, а самого себя не прочь был обругать:

Я — мерзавец, негодяй,  
Сцапал книжку невзначай.  
Ах, простите вы меня,  
Я воришка и свинья...

Это, конечно, донжуанская хитрость, основанная на глубоком понимании человеческой природы. Услышав подобное саморазоблачение, женщина подумает: «Да нет, не такой уж он мерзавец. Наоборот, симпатичный и любезный мужчина». А потом, если возникнет непродолжительный романчик, то, расставаясь с дамой, можно её напомнить: разве я не предупреждал, что я негодяй? Какие претензии?

Но, повторяю, искусство изысканного самоумаления осталось в прошлом. Потерян секрет мастерства — как утрачен способ выпекания французских булок. Ежели современный литератор отзовется о себе нелестно, то закопает свою харизму навсегда. Помню, на одном «круглом столе», посвященном проблемам современной словесности, писательница с большим стажем жаловалась: мол, в одном журнале меня сначала публиковали, а потом «под зад коленкой».

Чего она добилась этой неизящной откровенностью? Лично мне ее новые книги даже читать не хочется: зачем, если сам автор себя не уважает? Ну, умеет она копировать примитивно-бытовую речь замордованных жизнью женщин. Но нет в этой прозе даже представления о человеческом достоинстве, о высоте духа. А у реальных женщин, пусть самых простых, оно есть.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Только живет оно в глубине, добраться до которой обыденный язык не может.

В нашем обществе, все еще далеком от истинной демократии, женщина — слабое звено. И этот печальный факт наглядно отражается в языке. Вот идет шумная передача «Пусть говорят». О чем там толкуют — мне не очень интересно, важнее как говорят. И, к сожалению, самый низкий уровень речевой культуры обнаруживают не постоянно критикуемые нами девушки и юноши, а женщины среднего возраста. Бранный лексикон, скандально-базарный тон, срывающийся на крик и на визг... И так ведут себя не только «простые» дамы из публики, но и некоторые персонально приглашенные деятельницы искусства. Даже дама-депутат резким фальцетом выкрикивает непарламентские выражения. А ведь, помимо прочего, грубая речь старит женщин. И молодежь между собой таких несдержанных особ называет не «дамами», а «тетками» или «бабками».

Милые дамы! Уверяю вас, что добровольный отказ от бранной лексики — по отношению к себе и к окружающим — делает женщину в мужских глазах моложе примерно на пять-шесть лет. Выбросьте из речи даже такие слова, как «дура», «дурак», «скотина» (про мат не говорю — матерятся после сорока лет только тетки и бабки). Откажитесь от «ора», от командирского тона. А потом посмотрите, как изменится жизнь. Попробуйте этот простейший способ, при котором и пирожные можно есть, и за весом следить не нужно.

А мужики, как говорится, подтянутся. И тоже заговорят по-человечески.

## НЕ УВЕРЕН — НЕ ПОПРАВЛЯЙ!

В выходных данных некоторых книг теперь можно прочесть: произведение печатается «в авторской редакции». Увы, в большинстве случаев это означает, что книга вышла в безграмотном виде. Не проделана над ней необходимая редакторская и корректорская работа.



«Замуж за миллионера или брак высшего сорта» — начертано на переплете одного из таких опусов (тоже в «авторской редакции»!). Латинское «Z» вместо русского «З» — обычный в наше время рекламный выпендрёж, а вот отсутствие запятой перед «или» и написание слова «брак» со строчной буквы — элементарная ошибка. Второе название после союза «или» всегда пишется с прописной буквы, перед «или» ставится запятая. О систематическом нарушении этого правила уже говорилось выше. Но что делать — не дорожат современные издатели профессиональной честью. Изделие «Замуж» назвать «книгой» можно только в кавычках, к его изготовителям едва ли применимо высокое слово «автор», но у любого печатного продукта должен быть корректор, имеющий абсолютное право на исправление явных ошибок.

Так называемые «авторские редакции» ведут к снижению культурного уровня книгоиздания. Вспоминаю «Книгу мертвых» Эдуарда Лимонова. Венедикт Ерофеев там многократно назван Вениамином, а английский город Кил, где проводятся конференции по творчеству Бродского, переименован в «немецкий город Киль». Да, как пел Высоцкий: «Они всё путают — и имя, и названья». По-моему, издательский редактор или корректор в данном случае и мог, и должен был исправить «имя и названье» недрогнувшей рукой.

Я против всех и всяческих диктатур, но диктатура корректуры может быть полезной. При условии, конечно, безупречного соблюдения корректорами орфографических и пунктуационных законов. Сам я представителей этой профессии уважаю и редко вступаю с ними в споры. По поводу знаков препинания дебатов вообще не припомню, поскольку стараюсь избегать синтаксических нагромождений. «Фраза у меня короткая, доступная бедным», — говорил Зощенко, и мне его позиция близка. Но ежели кто ощущает себя Львом Толстым и предпочитает фразу ветвистую — пожалуйста. Тогда, правда, придется разбираться с пунктуацией. Например, учитывать, что однородные придаточные предложения не разделяются запятой и что даже про-

грамма Word в этом вопросе может ошибаться. (Ну, так и есть! Запросил у компьютера «проверку правописания», и бездушная машина навязывает ненужную запятую после слова «запятой».)

Споры возникали иногда по поводу прописных и строчных букв. Скажем, сочетание «серебряный век» мне хотелось писать так, как оно выглядит в ахматовской «Поэме без героя»: «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл». Но корректоры упорно «поднимали» букву «с», и я с ними согласился. Мы вправе гордиться нашим Серебряным веком и писать его с прописной буквы. Такую традицию можно считать устоявшейся нормой.

Не всякая норма однозначна, возможны варианты. Одно из модных сегодня слов — «апокалипсис». Таково название одной из книг Нового Завета, а в современной речи этим словом обозначают конец света, глобальную катастрофу. Много пишется апокалиптических книг... Опять программа Word подчеркивает «апокалиптических» и советует писать: «апокалипсических». Так же иногда пишут мне на полях «живые» корректоры. Но во всех солидных словарях эти варианты приводятся как равноценные. Тут у каждого носителя языка имеется право на свободный выбор, и навязывать другому свой вкусовой вариант неправомерно.

Нечто подобное наблюдается и в области орфоэпии. Рекомендуются произносить «творОг», но допустим и «твОрог». Ни малейшей разницы нет между «одноврЕменно» и «одновремЕнно». Если вас коробит от того, что собеседник произносит эти слова иначе, чем вы, — значит, уровень вашей культуры невысок. Здесь нужен плюрализм, то есть множественность мнений. Это слово утвердилось в нашей речи при президенте Горбачеве, а сейчас оно, к сожалению, выходит из моды. Опять нас несет в сторону осмеянного классиками «единомыслия».

Чрезмерная уверенность в собственной правоте иногда приводит к тому, что под видом «исправления» в текст вносятся ошибки. Например, процитировали мы с Ольгой Новиковой

в одном из своих эссе известную формулу русских футуристов «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». Открываем потом газету — и видим, что «бросить» заменено на «сбросить». Да, так небрежно и неточно иногда приводят призыв из «Пощечины общественному вкусу», но зачем же искажение превращать в обязательную норму?

А то еще начинают бороться с прилагательным «петербургский», которое является такой же законной формой, как «петербургский». Или с пеной у рта доказывают, что «в этой связи» — неправильное выражение (Н. А. Еськова в своей книге «Популярная и занимательная филология» напоминает: оно узаконено академическим словарем еще в 1962 году!).

В этой связи вспоминается, как один писатель дружески пенял мне на то, что в моей книге героиня одета в зеленый костюм «в пандан» цвету глаз. Дескать, французское слово *pendant* должно по-русски передаваться «пандан» без всякого «в». Если бы коллега потрудился заглянуть в «Толковый словарь иностранных слов» Л. П. Крысина, то прочел бы там: «ПАНДАН, в сочетании: в пандан чему-н.». И пример приводится: «Погода в пандан настроению». Никак нельзя без «в»!

Надо, надо исправлять ошибки. Но не совершая при этом новых.

## У КАЖДОГО СВОЙ ИДЕФИКС

Да, именно так пишется русское слово «идефикс». Ударение на последнем слоге, «де» произносится как «дэ». Слово мужского рода, склоняемое. Может даже иметь форму множественного числа, например: у людей бывают разные идефиксы.

«*Idée fixe*» по-французски означает «навязчивая идея». Был когда-то такой медицинский термин, означавший явно вздорную мысль, укоренившуюся в сознании больного человека. Потом выражение приобрело переносный смысл — навязчивая идея, излюбленная мысль, «конёк» (такой русский эквивалент для

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

«идефикса» предложил Д. Н. Ушаков в первом томе своего словаря в 1935 году).

Наряду с правильным вариантом в устной и письменной речи бытует сочетание «идея фикс», этокое смешение «французского с нижегородским» («idée» ведь произносится именно как «идэ»). Есть рекламное агентство «Идея Фикс», есть музыкальная группа с таким названием. И все-таки это элемент малокультурной речи, я против его включения в словарь.

А нормативное слово «идефикс» может украсить и обогатить интеллигентную речь. В нем есть и филологическая строгость, и легкий иронический оттенок. Высокую идею, лермонтовскую «одну, но пламенную страсть» идефиксом не назовешь. Так же как не обзовешь этим словом профессиональный педантизм и служебную добросовестность. Если пожарный инспектор требует, чтобы повсюду имелись огнетушители, — это не идефикс, а необходимая забота о нашей с вами безопасности. Если начальник запрещает курить в рабочих комнатах — это не идефикс, а цивилизованная норма: отравлять некурящих коллег дымом могут только эгоистичные дикари, которых надлежит беспощадно урезонивать.

Идефикс — это, к примеру, желание коллекционера раздобыть во что бы то ни стало редкую почтовую марку. Или погоня за автографами знаменитостей. Или стойкая бытовая привычка: иной человек ни за что не возьмет в рот луковицу из супа, хотя другой съест ее с удовольствием.

И, конечно, множество странных и забавных идефиксов существует в отношении людей к языку, к письменности, к стилистике. Сергей Довлатов, как свидетельствуют его друзья, строил фразу так, чтобы в ней все слова начинались с разных букв. Ни за что не написал бы он, как Пушкин: «Последние пожитки гробовщика...» (и «последние», и «пожитки» начинаются на «п»). Имело ли такое довлатовское самоограничение какой-либо реальный эстетический смысл? Нет, это совершенно неощутимо при чтении. Авторский идефикс чистейшей воды. Причуда талантливого человека. Важно, однако, подчеркнуть, что

другим пишущим Довлатов своего принципа никогда не навязывал.

В 1958 году поэт Борис Тимофеев (автор сатирических стихов и лирической песни «Под окном черемуха колышется...») выпустил книгу «Правильно ли мы говорим?». Там были здравые мысли: автор напоминал, например, что глагол «довлеть» означает «быть достаточным, удовлетворять». Приводил красивую строку из раннего Асеева: «Стиху довлет царское убранство» и осуждал неправильное употребление типа «над нами довлет». Довлеть — это не «давить», не «тяготеть». Лучше совсем не пользоваться редким глаголом, чем так его профанировать.

Менее удачным оказалось выступление Тимофеева против выражения «продукты питания». Он писал, что «продукт» — это результат переработки: бензин — продукт переработки нефти и т.п. Так что же является «продуктом питания», конечным результатом пищеварения? — саркастически вопрошал сатирик и сам же отвечал: «Кажется, ясно». Вроде бы даже логично, но русский язык не прислушался, и сочетание «продукты питания» (в значении «продукты для питания») по-прежнему существует. Только, конечно, в официально-деловой речи. В быту мы не скажем: «Я пошел купить продукты питания».

Другой идефикс был связан со словом «плащ». Плащ — это накидка без рукавов, утверждал автор, а то, что мы с вами носим, должно называться «дождевик» или «пыльник». И опять был формально прав: посмотрите, в каких плащах скачут на экране мушкетеры — никаких рукавов. Но люди упорно называли «плащами» свои легкие пальто, и толковые словари признали это новое значение.

Так часто бывает: иные рыцари плаща и шпаги страстно борются с новыми словами или значениями, а те все равно легализуются в языке.

Есть свои идефиксы и у автора этих строк. Не нравится мне, скажем, что в слове «ракурс» ударение передвинули на первый слог, и я говорю так, как рекомендовал словарь Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова в 1960 году: «ракУрс». Или вот слово «фОль-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

га»: в том же словаре произношение «фольгА» отвергалось как неправильное. Потом как-то потихоньку его допустили в качестве равноправного варианта. А теперь вульгарная «фольгА» объявлена единственной нормой. Душа моя этого принять не может, поскольку в памяти прочно сидит четверостишие пушкинского друга Антона Дельвига:

Певец Онегина один  
Вас прославлять достоин, Ольга,  
Его стихи блестят, как золото, как рубин,  
Мои ж — как мишура и фольга.

Какая рифма: «Ольга — фольга»! И так хочется сохранить норму пушкинской эпохи! Но вот как-то в магазине попросил я у молодой продавщицы продать мне рулон «фОльги». И она просто не поняла, о чем речь, удивленно переспросила: «Что-что?» Пришлось поступиться принципами: «Ладно, давайте фольгУ!» Что ж, не буду навязывать другим своих вкусов. Готов к тому, что весь остальной народ будет говорить иначе. И пусть даже Ольга будет произносить «фольгА» и «рАкурс».

## ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ РЕКЛАМЫ

«Девушка, у меня не хватает зубов», — такая дебильная фраза уже не первый год регулярно доносится из радиоприемника. Ей-богу, она может вывести из себя самого уравновешенного слушателя. Мы не против рекламы стоматологической клиники, но разве нормальный мужчина начнет так телефонный разговор? Наверное, он все-таки скажет, что хотел бы вставить зубы.

Поговорим о странностях рекламы. От нее никуда не денешься: это часть нашей жизни и часть нашей речи. «Ведь я этого достойна» или «в одном флаконе» — такие выражения можно услышать по любому поводу, они перекочевали из рекламы в разговорный язык, где живут наравне с цитатами из классиков.

А кому не случилось слышать, как, например, маленькая девочка вдруг ни с того ни сего выкрикнет: «Прокладки на каждый день!»? Человек — существо, склонное к подражанию, независимо от возраста, пола и образовательного уровня.

Ни детские, ни взрослые глаза и уши от рекламы мы защитить не в состоянии. Остается только пожелать, чтобы она была в ладах с русским языком, его духом и буквой.

Бывало, что рекламу в нашей стране сочиняли первоклассные мастера слова: «Лучших сосок не было и нет — готов сосать до старости лет». Вы, конечно, узнали Маяковского, воспевшего продукцию Резинотреста. Или: «Нами оставляются от старого мира только — папиросы “Ира”». Жаль, что от старого советского мира нам такой культурной традиции не осталось. Это-то как раз стоило сохранить.

Сейчас если где мелькнет стихотворная реклама, то хоть святых выности. «Жиллет — лучше для мужчины нет» — эта немудрящая рифма на поэтичность не претендует. Но вот мы слышим с телеэкрана длинную эпопею, изложенную четырехстопным дактилем и завершающуюся словами:

Чтобы зимой наслаждаться на деле,  
Утро свое начинай с «Имунеле».

Стоит ли объяснять, что выражение «на деле» употреблено здесь некорректно, не в том значении? Кто-то скажет: мол, это в шутку так сочинено, это стеб такой. Не надо: якобы шутовская корявость уже чуть не погубила серьезную профессиональную поэзию. Настоящее остроумие — это как у Маяковского. Юмор и виртуозность в одном флаконе. А иначе стихотворная реклама просто не нужна.

Переходим к прозе. Два известных шоумена, можно сказать два современных денди, основали ресторан. И сами его рекламируют в шутовском (как бы) диалоге. Процитировать доподлинно не могу: текст тусклый, не запоминающийся. Но что точно я заметил: в главной фразе дважды употреблена частица «только». Это просто речевой брак и, конечно, срам для амби-

циозных рестораторов. Боюсь, что у них и мясо подают пережаренное.

Рекламируется парфюм. «Вам нужен совершенный подарок», — звучит закадровый текст. Буквы нормальные, но духу языка что-то здесь противоречит. А вслед за этим знаменитый российский оперный певец громко вопрошает: «Какова цена?» Прямо как иностранец, владеющий здешним языком с грехом пополам. По-русски все-таки будет: «Сколько стоит?»

Иностраннный акцент отчетливо слышится в рекламе заморского слабительного: «Ключ от любых запоров». По-русски «запором» называют обычно не дверной замок с ключом, а громоздкое устройство для запираения ворот. Поэтому каламбур абсолютно нарочит и лингвистически непригоден. Мне тут невольно вспоминается надпись на упаковке крема для бритья, сочиненная в советские годы нашими друзьями из ГДР: «помогает сбриванию всяческого рода бород».

Многим из нас приходится в профессиональных целях писать что-то на иностранном языке, чаще всего по-английски. И неплохо бывает в таких случаях показать свой текст настоящему иностранцу, носителю данного языка. Он непременно укажет нам на сочетания, которые на этом языке «не звучат».

Как не звучат на нашем языке следующие рекламные выражения: «беззаботное удовольствие» (о твороге), «слабые волосы — не для меня» (о шампуне), «вдохни жизнь» (о средстве от кашля), «нет остановки — только пауза» (об автомобиле), «мезим — здорово желудку с ним» (о соответствующем снадобье), «оптимизм в твоих руках» (не помню уже о чем, в любом случае это не по-русски) и многие другие.

Вот где наш язык нуждается в реальной защите. Не на словах, а на деле.

Я не за цензуру, я — за редактуру. За обязательный (в законодательном порядке) лингвистический контроль любой рекламы, с привлечением отечественных филологов-экспертов. Естественно, за счет рекламодателей. И, конечно, без последующих накруток на стоимость товаров и услуг.



## ОНЛАЙН VS ОФЛАЙН

Мир раскололся надвое. И трещина проходит через язык.

Половинки называются «онлайн» и «офлайн» (не надо дефисов, не надо двойного «ф»). Значение: «в Сети» и «вне Сети». Оба этих слова уже есть в «Русском орфографическом словаре» под редакцией В. В. Лопатина, где они даны с пометой «неизм.» («неизменяемое») как наречия. «Оплата покупок онлайн», «поиск работы онлайн и офлайн» — вот примеры грамотного употребления этих слов, найденные мной онлайн. В разговорной речи, впрочем, уже пошел процесс склонения двух новичков как существительных, да и в интернетных текстах можно прочесть что-нибудь вроде: «обратная связь в онлайн и офлайне» или «как примирить онлайн с офлайном».

Как примирить две половинки расколотого мира в языковом аспекте — об этом и пойдет у нас речь. Проблем здесь — десятки. Сегодня приглашаю задуматься о двух. Первую я обозначил бы как «падёж падежей» (первое слово через «ё»), вторую — как «полный абзац с абзацами».

Падежный вопрос связан с интернетной системой ссылок. Если слово подчеркнуто и/или выделено синим цветом, оно зачастую оказывается в именительном падеже вопреки синтаксическому контексту. В социальных сетях то и дело встречаешься с конструкциями типа: «Иван Иванов теперь дружит с Мария Петрова», «Анна Сидорова, Сергей Васильев, Василий Сергеев и 9 другим это нравится». Причем подобные искажения не диктуются фатальными техническими обстоятельствами: встречаются в аналогичных случаях и правильные написания. Просто неряшливость программы, обусловленная, конечно же, человеческим фактором.

То же с названиями СМИ, которые то и дело мелькают на информационных порталах в голом виде — в демонстративно именительном падеже. Понятно, что склоняемость существительных в нашем языке требует некоторых дополнительных усилий.

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

Не то что в беспадежном английском. Но, как говорится, родину не выбирают. Склонимся же перед великим и могучим и начнем склонять имена и названия по его законам!

Более драматичен вопрос об абзацах. Здесь противоречие между «бумажными носителями» и сетевой письменностью еще глубже. По правилам русской пунктуации новый абзац начинается с отступа, именуемого также красной строкой. Между абзацами делать дополнительный интервал не принято. Двойной интервал — сильный авторский знак, способ субъективного членения текста на сегменты. Этим приемом блеснул когда-то Валентин Катаев, начавший с 1960-х годов писать свою «мовистскую» прозу. Сегменты, отделенные двойным интервалом, Катаев называл «строфами». То есть двойной интервал — знак поэтический, очень эмоциональный.

Интернет же всех принудил быть поэтами в прозе, шиковать двойными пробелами. При этом авторам навязывается отказ от красных строк. Посмотрите сетевые версии толстых журналов: именно так в большинстве из них выглядит современная проза.

Такой компьютерный дизайн идет вразрез и с нормами пунктуации, и со стилистическими законами литературы. А молодые читатели переносят этот пунктуационный беспредел и на «бумажные носители». Сколько времени и сил приходится тратить, чтобы объяснять студентам: выделив текст полностью, поставьте интервал между абзацами на «ноль» и установите отступ в начале абзаца!

Интернет — такое же полезное изобретение, как печатный станок, телефон, радио, телевидение. Он расширил возможности коммуникации — и для тех, кто пишет, и для тех, кто читает. Но «онлайновая» письменность должна признать приоритет «бумажных носителей», приоритет «офлайнового» письма. Если же влияние будет осуществляться в обратном порядке, то, чего доброго, наши потомки прочтут в учебниках: «В 1831 году Гоголь встретился с Александр Пушкин» или «Лев Толстой, будучи офицером, участвовал в оборона Се-

вастополя» и т.п. И во всей книге не будет ни одной красной строки.

Надеюсь, такая «антиутопия» — не более чем шутка.

## О ВЫРАЖЕНИИ «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»

Язык наш сопротивляется всякому вранью, в том числе и навичному людскому самообману. Он никак не хочет принять, в частности, словосочетаний «гражданский муж» и «гражданская жена». Противоречат они и здравому житейскому смыслу, и существующим законам.

Обратимся к свежим примерам из Интернета. Женщина жалуется (в цитате сохранена авторская орфография): «Моя проблема в том, что мой гражданский муж, с которым мы уже не живем год, не помогает нам материально. Так как он не где не прописан, я немогу подать на него на элименты и хотела бы лишить его родительских прав».

Ее собеседница, профессиональный юрист, дает квалифицированный совет: «Если вы хотите лишить вашего бывшего сожителя родительских прав, вам нужно написать исковое заявление».

Заметим, что грамотный эксперт пользуется старинным русским словом «сожитель». Не шибко поэтичным, но абсолютно адекватным. Есть у него в современном языке немало синонимов: «друг», «партнер», «бойфренд», «молодой человек» (так дамы называют своих возлюбленных независимо от их возраста). Есть меткая русская формула «муж не муж» — очень реалистичная, я бы сказал. А никаких «гражданских мужей» и «гражданских жен» в природе не существует. Муж — он и есть муж, жена — она и есть жена. Остальное от лукавого.

Лукавому переосмыслению подверглось у нас в последнее время выражение «гражданский брак». Оно возникло некогда

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

в Западной Европе как альтернатива церковному браку. Новый тип супружества начали практиковать атеистически настроенные русские нигилисты. Николай Чернявский продернул их в комедии, которая так и называлась — «Гражданский брак». Имела сценический успех, но Салтыков-Щедрин прихлопнул ее разгромной рецензией.

Основоположницей советского гражданского брака считается Александра Коллонтай, возвестившая на страницах «Правды» о том, что вступила в таковой с ревматросом Дыбенко. С церковными венчаниями тогда было покончено. Нелишне вспомнить, что до 1944 года формальная регистрация брака в СССР была юридически необязательна, тем не менее соответствующие конторы существовали. Где служил Киса Воробьянинов? Правильно: в ЗАГСе, что означает «запись актов гражданского состояния».

В настоящее время, говорят юристы, термина «гражданский брак» в российском законодательстве нет. Называть так неофициальное совместное проживание некорректно — точнее будет сказать: «фактический брак». Но как ни скажи, с правовой точки зрения это не совсем брак. Поскольку есть в нем изрядный брачок: не дает он слабому полу никаких прав и гарантий. У так называемых «гражданских жен» большие проблемы с взысканием «элиментов». После кончины спутника жизни при отсутствии завещания они не являются законными наследницами. Именовать неформальный любовный союз «гражданским браком» — это просто житейская дезориентация.

Тут возникает неизбежное противоречие между двумя разновидностями русского языка — мужской и женской. Женщины обычно называют «гражданским браком» прелюдию к настоящему супружеству, а мужчины — необременительную любовную связь. По данным социологических опросов «гражданские мужья» в большинстве своем считают себя холостяками. Такой вот «разнотык», говоря словечком Зоценко.

А что за океаном? Там для фактического, незарегистрированного брака есть два наименования: «civil union» и «domestic

partnership» (буквально: «гражданский союз» и «домашнее партнерство»). Подойдут они нам? Не уверен: первое по-русски звучит как звонкий политический бренд, второе, наоборот, слишком приземленно.

Теперь о самом новом в этом районе русского языка. Оказывается, выражение «гражданская жена» уже применяют к женщине, с которой состоит в любовной связи мужчина, женатый на другой даме. Раздолье мужикам! Можно иметь законную супругу, а наряду с нею — «гражданскую жену». И может быть, даже не одну.

Вспомним один сравнительно недавний морально-политический скандал. Пресса писала о «первом гражданском министре обороны» и его «гражданской жене» (какова переключка эпитетов!). Наверное, слова «сожительница» и «любовница» при таком уровне материального достатка фигурантов показались неуместными. Ох, до чего же беззащитно прилагательное «гражданский»!

А вы, граждане, что думаете по этому поводу?

## РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЕ

«Это мой шурин — или зять. Или кто там еще? Ха-ха-ха, никогда не разбирался (не разбиралась) в этих терминах».

Сколько раз я слышал подобное! И всякий раз думал про себя: ну чем вы гордитесь? Невежеством? Разве трудно усвоить точные значения таких простых слов, как *свекор* (*свекровь*), *тесть* (*теща*), *сват* (*сватья*), *свояк* (*свояченица*), *зять*, *сноха*, *невестка*, *деверь*? Это так же просто, как для неравнодушного к поэзии человека понять, что такое ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и анапест. Нет, даже проще: в случае с наименованиями родства не требуется ни музыкального слуха, ни эстетического чутья. Достаточно немного любви к родному языку и уважения к семейным ценностям.

У нас же их не уважают — ни на деле, ни даже на словах. Не «коварный зарубеж», а мы сами придумали в страшные

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

годы такой термин, как ЧСИР — «член семьи изменника родины». Может быть, с тех пор и пошла традиция на всякий случай отречься от любых родственников и свойственников: вдруг этот свояк или деверь окажется диверсантом, оккупантом, эмигрантом... Лучше быть Иваном, родства не помнящим.

Сами наименования родства сделались комическими словами. Не говорю уже про анекдотическую «тещу», но и «зять» вызывает усмешку. В «Мертвых душах» говорливого Ноздрева сопровождает молчаливый «зять Мижуев», то есть муж его сестры. Так вот, в те времена, когда люди еще читали классику, некоторые шутники говорили: «Это мой зять-мижуев» — просто потому что смешно звучит.

«Послушай, Зин, не трогай шурина» — смешил всю страну Высоцкий (хотя у Зины шурина быть не может, шурин — это же «брат жены»). Или: «Чтобы я привез снохе с ейным мужем по дохе» (но «мужем снохи» может быть только сын рассказчика).

Шутки шутками, а в условиях нынешней глобализации и англоизации дело может кончиться тем, что «свекровь» и «теща» соединятся в нашем языке в «мазер-ин-ло», а «зять» и «шурин» — в «бразер-ин-ло». Уже можно услышать или прочесть в Сети: «Блин, завтра мазер-ин-ло в гости нагрнет на десерт».

Ладно, с зятьями да шурьями (да, была такая форма!) — это полбеды. Но у нас малоупотребительными становятся слова «вдова» и «вдовец». Чем-то они режут слух составителям словарей и справочников. Даже «Википедия» тут пускает петуха. Про одного покойного гуманитария сообщается: «был женат», причем «на общественном деятеле» (почему, кстати, не написать: «деятельнице»? ). А в статье о его супруге сообщается, что она «была замужем» за таким-то.

Между тем она просто овдовела. Вдова — это степень родства. Не отменяемого смертью супруга. Вдова — это права. Моральные, имущественные, авторские. «Была замужем» —

в данном случае грубое искажение истины. На Западе этому придают большое значение. Вдова легендарного американского музыканта Курта Кобейна унаследовала тридцать миллионов, а если бы он с ней развелся перед смертью, то в качестве бывшей жены она получила бы всего один миллион. Недавно знаменитый британский писатель-фантаст, узнав о своей неизлечимой болезни, предложил верной подруге: «Станьте моей вдовой». Само это слово, кстати, чаще фигурирует в Сети, когда речь идет о загранице.

Мир слов — как мир людей. Сколько их позабыто-позаброшено! А что если им время от времени открывать двери, впускать в нашу речь? Чтобы они совсем не вымерли.

## КОНДУКТОРОВ УБИВАТЬ НЕ БУДЕМ

«Можете смело убивать кондукторов, которые говорят “ОПЛАТИТЕ ЗА ПРОЕЗД”! Можно или «оплатить проезд», или «заплатить за проезд»!

Так начинается перечень «самых смертоносных ошибок», помещенный на одном портале. Полезность такой работы над ошибками сомнения не вызывает. Но...

Вспоминается промозглый мартовский денек в Питере, дряхлый троллейбус где-то между Адмиралтейством и Исаакиевской площадью. Убого одетая кондукторша в ответ на чью-то грубость вдруг раздражается «достоевским и бесноватым» монологом: работа тяжелая, зарплата нищенская, жилья путевого нет — в общем, полная беспросветность. В каких словах она до того требовала оплаты проезда — право, не припомню. Не до культуры речи было в тот момент.

И может быть, в борьбе за культуру нам стоит быть чуть спокойнее, терпимее... Не держать людей в постоянном страхе насчет уровня их грамотности...

Бытовал когда-то в народе фольклорный «диктант», с которым иные зануды приставали к своим знакомым: длинная фраза про вдову, которая на террасе, увитой плющом, потчева-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ла коллежского асессора. Теперь эта традиция возобновилась в «тотальных диктантах», которые — будем надеяться — помогут повышению орфографической и пунктуационной грамотности.

Но одни лишь контрольно-воспитательные меры тут не помогают. Лучше заинтересовывать, вовлекать людей сызмальства в мир языка и его культурно-исторический контекст. Вспомним: чин коллежского асессора давал дворянство (Молчалин в «Горе от ума») и соответствовал военному чину майора (Ковалев в гоголевском «Носе»). Те, кому это вовремя рассказали, авось разберутся, где и сколько «с» в пресловутом «ассессоре». Буквы — они ведь живые! Занятно следить за их играми и танцами.

Появился в Интернете тест, который с нервным волнением разгадывают сегодня дипломированные филологи и литераторы: а ну как не наберем требуемых четырнадцати очков! Набравших, правда, приветствуют очень нежно: «После долгих поисков мы нашли Вас — Человека (с большой буквы), в совершенстве владеющего русским языком!» Это правильно: надо людей поощрять. Но смотрю на качество самих заданий. Предлагается, например, расставить запятые в следующей фразе: «Первая выставка передвижников, открывшаяся в 1871 году, убедительно продемонстрировала существование в живописи складывавшегося на протяжении 60-х годов нового направления».

Методический замысел понятен: один причастный оборот находится после существительного, другой ему предшествует. Но посмотрим на фразу с точки зрения стилистики, попробуем ее прочесть вслух. Это же косноязычный канцелярит: два причастия, да еще и отлагольное существительное между ними! Так ни писать, ни говорить не следует. Что же получается? Одно лечим — другое калечим. Выправляем пунктуацию — уродуем стилистику.

Ох уж эта тестомания! Заразная штука! Вот и мне на прощанье захотелось припугнуть читателей. Но не сильно — всего три вопроса.



1. Как вы пишете и произносите слово «конкурентоспособный»?

Не вставляете ли часом лишнее «н» между «т» и «о», как это, к сожалению, делают некоторые радиоведущие, а порой и ведущие экономисты нашей страны?

2. Правильно ли вы употребляете выражение «власть предрержащая» (в единственном числе) и «власти предрержащие» (во множественном)? Не подменяете его ошибочным «власть предрержащие»?

3. Знаете ли вы, что часто звучащее сочетание «имеет место быть» — признак невысокой речевой культуры говорящего? Это нелепый и ненужный гибрид выражений «имеет место» (то есть «имеется») и «имеет быть» (то есть «будет», «предстоит»).

Поздравляю тех, кто окажется безупречным по всем трем пунктам. А кондукторов убивать не будем.

## НЕ ПРЕТЕНДУЯ НА СОВЕРШЕНСТВО

«В совершенстве владеет английским, французским и испанским языками» — можно прочесть или услышать сегодня о какой-нибудь важной персоне. Для искушенного филологического уха это звучит и помпезно, и пошлово. Грамотнее был бы вариант: «свободно владеет». А «в совершенстве» никто из нас не владеет и своим родным языком.

Носителю подлинной речевой культуры некогда кичиться безупречностью. Он то и дело сомневается в своей правоте, чуть ли не каждый день заглядывает в словари и справочники. Которыми, кстати говоря, надо еще уметь пользоваться. Вспоминается такой казус. Один маститый критик рецензировал роман Даниила Гранина «Картина». И придирался буквально ко всему. Нашел он в тексте редкое слово «принуда» (в значении «принуждение») и ну браниться. Мол, что за безобразие: такого слова даже в словаре Даля нет! Аргумент и сам по себе неубедительный: писатель может выйти за пределы любого

словаря, он имеет право изобретать даже совсем новые слова. Да к тому же и ошибка. У Даля злополучная «принуда», конечно, имеется. Только ее надо искать не саму по себе, а в составе словарной статьи «принуждать». Ведь труд легендарного лексикографа строится по гнездовому принципу, то есть все одно-коренные слова там группируются вокруг одного главного слова. Не зная этого, читатель рискует попасть в положение одной героини басни Крылова, не умевшей правильно пользоваться очками.

А бывает, что журналисты, возомнив себя знатоками истории языка, начинают поучать своих коллег, навязывая им неправильный вариант вместо правильного. Есть старинные выражения «власти предержажие» и «власть предержажая». Обозначают они высшую власть и используются главным образом иронически. Что зафиксировано и в словаре Ожегова, и в книге Н.С. и М.Г. Ашукиных «Крылатые слова» (где указан источник — Послание апостола Павла к Римлянам). Не удосужившись даже заглянуть в эти справочники, некоторые товарищи начали мудрить на страницах прессы и по-школьному задавать вопросы: предержать что? Власть. Значит, правильно будет: «предержажие власть». Да упаси бог! С чего вы это взяли? Вы что, церковно-славянским языком владеете «в совершенстве»? Понимаете все грамматические формы во фразе «Всяка душа влаstem предержажим да повинуется»? А коли нет, так примите традиционную формулу в целом, как застывший иероглиф. Или совсем ею не пользуйтесь.

Да, прежде чем письменно поучать других, надо изучить, как говорится, историю вопроса. А устно никого поправлять вообще не следует, даже если он допустил явную ошибку. Потому что человеческое достоинство — ценность еще более высокого порядка, чем речевая культура. Доводилось мне слышать, как в ходе научной дискуссии дипломированные гуманитарии с неверным ударением произносят слово, обозначающее религиозный запрет: «табу». Можно ли съехидничать и переспросить: «Вы хотели сказать: табу́?» Нет, нельзя! Это

будет поступок образованного хама, а не русского интеллигента, для которого существует незыблемое табу — никого не передразнивать, никому не делать замечаний по поводу его речи.

Хотя иногда так и подмывает. Очень раздражает ставшая ходовой формула «имеет место быть». Существует оборот «иметь место» (калька с французского «avoir lieu») со значением «быть, происходить». Суховатое, официальное выражение: «подобные факты имеют место» и т.п. И была раньше формула «имеет быть», означающая будущее время: «состоится». Например: «Эта встреча имеет быть в ближайшую субботу» (заметьте, в сегодняшней речи это явная стилизация «под старину»). А «имеет место быть» — это гибрид, нечто наподобие «козлотура» из сатирической повести Фазиля Искандера. В качестве шутки не работает, в серьезной речи выглядит уродливо. Надеюсь, прочтут меня люди и откажутся от этого речевого китча.

Язык — не божество. Он больше подобен живому человеку. Пробует жизнь на вкус, экспериментирует, пересматривает свои былые нормы. Не так просто отличить ошибку от закономерного исторического сдвига. Мне всегда казалось, что конструкция «один из» не имеет множественного числа. А теперь можно услышать: «Булгаков и Набоков — одни из крупнейших писателей двадцатого века». Нормативно ли это? Пусть сам язык ответит. После глагола «обратиться» все чаще опускают слова «с просьбой» или «с призывом»: «Ветераны обратились к губернатору предоставить им...» Пожалуй, это все-таки неправильно. А еще одна новинка последних лет — вставка лишнего местоимения «о том» перед союзом «что». «Президент заявил о том, что его позиция остается прежней». Не проще ли сказать: «заявил, что»?

Включаю радио. Разговор идет о современной литературе. Упомянутся несколько книг — и всякий раз с неизменным эпитетом: «совершенно замечательная». Режет слух, хотя явно-го нарушения языковых норм здесь вроде бы нет. Речевая бед-

## ПЯТЬДЕСЯТ СВИДАНИЙ С РУССКОЙ РЕЧЬЮ

ность удручает. Мы осуждаем молодежь за жаргонизмы, но чем эпитеты «клевы́й» или «приколы́ный» хуже полуинтеллигентского клише «совершенно замечательны́й», ничего не говорящего ни уму ни сердцу?»

### НА ПРОЩАНИЕ

Слова «начало» и «конец» исторически восходят к одному корню. Потому заканчиваю тем, чем начал этот разговор с читателями.

Лучшее средство от речевых недугов — любовь. К жизни и к слову. Счастлив тот, у кого с родным языком не унылое сожительство, а страстный, крепнувший с годами роман.



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

**Новиков Владимир Иванович**

**ЛЮБОВЬ ЛИНГВИСТА**

*В авторской редакции*

Ответственный редактор *О. Аминова*

Младший редактор *М. Мамонтова*

Художественный редактор *С. Власов*

Технический редактор *О. Лёвкин*

Компьютерная верстка *А. Панина*

Корректор *А. Мартынова*

В оформлении фона обложки использована фотография:

Steve Cordory / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 06.04.2018. Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Гарнитура «Academy». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.

В электронном виде книги издательства вы можете  
купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)

**ЛитРес:**  
один клик до книг



**Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:**

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**

*International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,**

**в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**  
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

*Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:*

**Москва.** Адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. Телефон: +7 (495) 411-50-74.

**Нижний Новгород.** Филиал в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,  
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

**Санкт-Петербург.** ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,  
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** [server@szko.ru](mailto:server@szko.ru)

**Екатеринбург.** Филиал в г. Екатеринбург. Адрес: 620024,

г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

**Самара.** Филиал в г. Самаре. Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».

Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** [RDC-samara@mail.ru](mailto:RDC-samara@mail.ru)

**Ростов-на-Дону.** Филиал в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7 (863) 303-62-10.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10. Режим работы: с 9-00 до 19-00.

**Новосибирск.** Филиал в г. Новосибирске. Адрес: 630015,

г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7 (383) 289-91-42.

**Хабаровск.** Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,

пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7 (4212) 910-120.

**Тюмень.** Филиал в г. Тюмени. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).

Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98.

**Краснодар.** Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

**Республика Беларусь.** Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014,

Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto».

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92. Режим работы: с 10-00 до 22-00.

**Казахстан.** РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91,92). **Интернет-магазин:** [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Украина.** ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. **E-mail:** [sales@forsukraine.com](mailto:sales@forsukraine.com)

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э» можно приобрести в книжных**

**магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине [www.chitai-gorod.ru](http://www.chitai-gorod.ru).**

Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

**В Санкт-Петербурге:** в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.

Тел.: +7(812)601-0-601, [www.bookvoed.ru](http://www.bookvoed.ru)

**Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.** Тел.: +7 (495) 745-89-14.

BOOK24.RU



BOOK24.RU

ISBN 978-5-04-092615-2



9 785040 926152 >

